

ТАЙНЫ

Век XX



А. Ф. Кошко

**СРЕДИ УБИЙЦ
И ГРАБИТЕЛЕЙ**

ИСТОРИИ

в романах, повестях и документах



ТАЙНЫ ИСТОРИИ

Век XX

А. Ф. Кошко

СРЕДИ УБИЙЦ И ГРАБИТЕЛЕЙ



МОСКВА
«ТЕРРА»—«TERRA»
«Книжная лавка—РТР»
1997

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 1
К76

Художник
Р. АЮПОВА

Кошко А. Ф.

К76 Среди убийц и грабителей: Воспоминания бывшего начальника Московской сыскной полиции. — М.: ТЕРРА; «Книжная лавка — РТР», 1997. — 400 с. — (Тайны истории в романах, повестях и документах).

ISBN 5-300-01187-8

На состоявшемся в 1913 году в Швейцарии Международном съезде криминалистов Московская сыскная полиция по раскрываемости преступлений была признана лучшей в мире. А руководил ею «самый главный сыщик России», заведующий всем уголовным розыском Российской империи Аркадий Францевич Кошко (1867—1928). Его воспоминания, изданные в Париже в конце 20-х годов, рисуют подробную картину противостояния дореволюционного полицейского мира с миром уголовным. На страницах книги читатель встретится с отважными сыщиками и преступниками-изуверами, со следователями-психологами и с благородными «варшавскими ворами».

УДК 882
ББК 84 (2 Рос=Рус) 1

ISBN 5-300-01187-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1997
© «Книжная лавка — РТР», 1997

Вступление

В 1913 г. в Швейцарии состоялся Международный съезд криминалистов, на котором русская (московская) сыскная полиция по «раскрываемости преступлений» была признана лучшей в мире. Возглавлял ее тогда Аркадий Францевич Кошко, которого в нашей и зарубежной прессе называли не иначе, как «русским Шерлоком Холмсом».

А. Ф. Кошко родился в 1867 г. в Минской губернии в дворянской, богатой и знатной семье. По воспоминаниям близких известно, что уже с детства мальчик зачитывался детективными романами и повестями, которых и тогда было великое множество.

После окончания Казанского пехотного юнкерского училища он получает назначение в полк, расквартированный в Симбирске.

Монотонная жизнь полка не пришлась по душе молодому офицеру.

В 1894 г. он подал в отставку и поступил рядовым инспектором в Рижскую полицию. С первых же дней молодой сыщик хорошо зарекомендовал себя. Высокая раскрываемость преступлений, личная смелость, применение на практике всего лучшего, что было на то время известно европейской криминальной науке... Отсюда награды и быстрое повышение по службе. Через шесть лет А. Ф. Кошко был назначен начальником Рижской полиции, еще через пять — заместителем начальника Петербургской сыскной полиции, а в 1908 г. его назначили начальником Московской. К этому периоду относится первое в криминалистике применение новой системы, изобретенной А. Ф. Кошко (см. рассказы «Дактелоскопия» и «Сыскной аппарат»).

Эта система позднее была принята английским Скотленд-Ярдом. Когда после революции генерал Кошко вынужден был бежать из России, именно англичане предложили ему возглавить у них следовательский отдел.

Московский период в жизни А. Ф. Кошко принес ему и славу, и ордена, и новое повышение. Он был назначен заведующим всем уголовным розыском Российской Империи. Революция 1917 г. прервала столь блестящую карьеру Кошко. Он скончался в Париже в 1928 г.

КНИГА ПЕРВАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я, после долгих мытарств и странствований, очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь не нужную жизнь.

Я не живу ни настоящим, ни будущим — все в прошлом, и лишь память о нем поддерживает меня и дает некоторое нравственное удовлетворение.

Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита даром. Если сверстники мои работали на славном поприще созидания России, то большевистский шторм, уничтоживший мою родину, уничтожил с нею и те результаты, что были достигнуты ими долгим, упорным и самоотверженным трудом. Погибла Россия, и не осталось им в утешение даже сознания осмысленности их работы.

В этом отношении я счастливее их. Плоды моей деятельности созревали на пользу не будущей России, но непосредственно потреблялись человечеством. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея — убийцы, я сознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Я сознавал, что, задерживая и изолируя таких звероподобных типов, как Сашка Семинарист, Гилевич или убийца 9-ти человек в Ипатьевском переулке, я не только воздаю должное злодеям, но, что много важнее, отвращаю от людей потоки крови, каковые неизбежно были бы пролиты в ближайшем будущем этими опасными преступниками.

Это сознание осталось и поныне и поддерживает меня в тяжелых эмигрантские дни.

Часто теперь, устав за трудовой день, измученный давкой в метро, оглушенный ревом тысячей автомобильных гудков, я, возвратясь домой, усаживаюсь в покойное, глубокое кресло, и с надвигающимися сумерками в воображении моем начинают воскресать образы минувшего. Мне грезится Россия, мне слышится великопостный перезвон колоколов московских, и, под флером протекших лет в изгнании, минувшее мне представляется отрадным, светлым сном: все в нем мне дорого и мило, и не без снисходительной улыбки я вспоминаю даже и о многих из вас — мои печальные герои...

Для этой книги я выбрал 20 рассказов из той плеяды дел, что прошла передо мной за мою долгую служебную практику. Выбирал

я их сознательно так, чтобы, по возможности не повторяясь, дать читателю ряд образцов, иллюстрирующих как изобретательность уголовного мира, так и те приемы, к каковым мне приходилось прибегать для парализования преступных вожделений моих героев.

Конечно, с этической стороны некоторые из применявшихся мною способов покажутся качества сомнительного; но в оправдание общепринятой тут практики напомним, что борьба с преступным миром, нередко сопряженная с смертельной опасностью для преследующего, может быть успешной лишь при условии употребления в ней оружия если и не равного, то все же соответствующего «противнику». Да и вообще, можно ли серьезно говорить о применении требований строгой этики к тем, кто, глубоко похоронив в себе элементарнейшие понятия морали, возвели в культ зло со всеми его гнуснейшими проявлениями?

Писал я свои очерки по памяти, а потому, быть может, в них и вкрались некоторые несущественные неточности.

Спешу, однако, уверить читателя, что сознательного извращения фактов, равно как и уснащения, для живости рассказа, моей книги «пинкертоновщиной», он в ней не встретит. Все, что рассказано мною — голая правда, имевшая место в прошлом и живущая еще, быть может, в памяти многих.

Я описал, как умел, то, что было, и на ваш суд, мои читатели, представляю я эти хотя и гримасы, но гримасы подлинной русской жизни.

А. Ф. КОШКО

РОЗОВЫЙ БРИЛЛИАНТ

В одно прекрасное утро 1913 года я получил письмо от знатной московской барыни, — княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой, — одной из богатейших женщин в России, в коем княгиня горячо просила меня явиться лично к ней для переговоров по весьма важному делу. Имя отправительницы письма служило порукой тому, что дело действительно серьезно, и я немедленно отправился.

Княгиня в ту пору жила в одном из своих подмосковных имений. Застал я ее взволнованной и расстроенной. Оказалось, что она стала жертвой дерзкой кражи. В уборной, примыкавшей к ее спальне, находился несгораемый шкаф, довольно примитивной конструкции. В нем княгиня имела обыкновение хранить свои драгоценности, особенно дорогие ей по фамильным воспоминаниям. И вот из этого шкафа исчезли две нитки крупного жемчуга, кольцо с сердоликом и розовый бриллиант. Сердоликовое кольцо имело лишь историческую ценность, так как под его камнем хранился крохотный локон волос, некогда принадлежавший Евдокии Лопухиной — первой жене императора Петра Великого, кончившей свою жизнь, как известно, в монастыре по воле ее державного супруга. Один из Стрешневых, влюбленный в царицу Евдокию, выпросил у нее эту дорогую ему память. С тех пор эта реликвия переходила в роду Стрешневых от отца к сыну и наконец, за прекращением прямого мужского потомства, перешла к вызвавшей меня княгине.

Нитки жемчуга были просто ценностью материальной, что же касается розового бриллианта, то в нем соединялось и то, и другое: с одной стороны, он был подарен в свое время царем Алексеем Михайловичем жене своей (в девичестве Стрешневой); с другой — он являлся раритетом в царстве минералогии.

Княгиня была чрезвычайно опечалена утратой этих дорогих ей вещей, но и не менее взволнована мыслью о виновнике этой пропажи.

«Горько, бесконечно горько, — говорила она мне, — разочаровываться в людях вообще, а особенно в тех, кому ты привыкла издавна доверять. Между тем в этом случае мне приходится, видимо, испить эту чашу, так как и при самом покойном отношении к фактам, при самом беспристрастном анализе происшедшего, познания мои не рассеиваются и падают все на то же лицо. Я

говорю о моем французском секретаре, живущем уже 20 лет у меня в доме. Как ни безупречно было до сих пор его поведение, тем не менее согласитесь с тем, что обстоятельства дела резко неблагоприятны для него: он один знал местонахождение пропавших вещей и вообще имел доступ к шкафу. Но этого мало: он вчера весь день пропадал до поздней ночи, что с ним случается чрезвычайно редко, и, более того, он упорно не желает говорить, где находился между 7-ю и 11-ю часами вечера. Согласитесь, это более чем странно?!»

Я счел нужным пригласить этого француза к себе в сыскную полицию для допроса. Секретарь оказался чрезвычайно симпатичным человеком, лет 45-ти, спокойным, уравновешенным, с лицом и манерами, не лишенными благородства, словом, с тем отпечатком во внешности, что так свойствен французам, — этим сынам многовековой культуры.

Он сказал мне, что крайне удивлен и опечален тем, что у княгини могла явиться, хотя бы на одну минуту, мысль об его виновности, но вместе с тем категорически отказался дать и мне объяснение своего времяпрепровождения накануне, между 7-ю и 11-ю часами вечера. Как я ни бился, как ни доказывал ему необходимость установления *alibi*, как ни уверял я, что все, им сказанное, не выйдет за пределы этих стен, что ни одно имя, особенно женское, им произнесенное, не будет скомпрометировано — все напрасно! Он готов был идти на всякие печальные последствия своего упорства, но решительно отказывался ответить на нужные мне вопросы. Я так упорствовал, ибо чувствовал нервами, всем моим существом, что француз говорит правду и ни в чем не повинен. Я убежден был, что в этом благородном человеке говорят соображения рыцарской чести, а не страх и желание замести свои преступные следы.

Но, увы! Начальник сыскной полиции не может руководствоваться лишь внутренним своим убеждением, не может он не считаться с конкретными фактами, а потому и в данном случае не в силах моих было немедленно вернуть свободу симпатичному французу, и, волей-неволей, я передал его в руки следователя, высказав при этом последнему свои соображения. Следователь оказался упрямым, ограниченным человеком и, ухватясь за факт скрывания нескольких часов, неизвестно где проведенных накануне французом, порешил арестовать его. И бедный секретарь был препровожден в тюрьму.

Передав это неприятное дело следователю, я тем не менее поручил моему чиновнику Михайлову по возможности выяснить условия и домашний быт служебного персонала княгини. Через несколько дней Михайлову удалось натолкнуться на следующую подробность. Месяца три тому назад княгиней был уволен лакей, Петр Ходунов, прослуживший у нее 8 лет и пользовавшийся ее доверием. Этот лакей не раз путешествовал в штате княгини, следуя за ней за границу на ее собственной комфортабельной яхте.

Был чрезвычайно дисциплинирован, кроток и смирен. Княгиня настолько доверяла ему, что бывали, по ее же признанию, случаи, когда она приказывала Петру открывать заповедный несгораемый шкаф и то приносить, то прятать в него те или иные драгоценности. Уволен он был по довольно странной причине: оказалось, что этот смирный, трезвый человек принялся вдруг без всякого видимого повода грубить, пьянствовать, манкировать службой, словно нарочно напрашиваясь на увольнение.

Все это показалось мне странным.

Петр Ходунов не числился в штрафных списках сыскной полиции, на всякий случай я навел справку о судимости и по изданию Министерства юстиции, и каково было мое удивление, когда по нему оказалось, что Петр Ходунов, такой-то губернии, уезда, волости и деревни, дважды судился за кражи и отбывал за них тюремное заключение.

Я немедленно кинулся его разыскивать. Это не представило труда, так как адресный стол дал точную о нем справку.

Но здесь на меня напало раздумье: арестовать-то я его арестую, но что же из этого выйдет? Он, конечно, от всего отопрется, скажет, что целых три месяца как не служит у княгини и, во всяком случае, вещей не выдаст, а предпочтет терпеливо отсиживать, благо в прошлом он уже натренирован в этом отношении.

Я предпочел установить за ним наблюдение, поручив его двум агентам. Дня два они наблюдали за ним, донося, что Петр Ходунов ведет довольно рассеянную жизнь, видится со многими людьми, пьянствует по трактирам. Как вдруг на третий день агенты прибегают и сконфуженно признаются, что «упустили» Ходунова где-то в Лефортове. По всем данным, заметив за собой наблюдение, он ловко перехитрил их и... бесследно скрылся.

Что оставалось делать?

Разбравив моих неловких людей, я немедленно нагрянул на квартиру Ходунова с целью производства обыска, а при случае и ареста последнего. Хотя на арест я мало надеялся, так как между потерей из вида Петьки моими агентами в Лефортове и моментом нашего прибытия на квартиру прошло часа три, т. е. промежуток времени более чем достаточный для того, чтобы заподозривший беду мог вернуться домой, забрать украденное и исчезнуть бесследно. Ходунов занимал квартиру в две комнаты с кухней; одну из них он сдавал сапожнику, а в другой жил с какой-то Танькой и ее матерью. Петьку мы, конечно, не застали, но бросилось мне в глаза не совсем обычное поведение женщин: при нашем появлении они ничуть не растерялись, словно ждали нас, и перекинулись даже, как показалось мне, насмешливым победоносным взглядом. Держали они себя весьма вызывающе. Тщательный обыск ничего не дал, но так как женщины, а с ними и сапожник, ввали напропалую, утверждая, что Петька вот уже три дня как исчез неизвестно куда, между тем как люди мои, ведя наблюдение, еще сегодня «приняли» Ходунова с квартиры, то я решил арестовать

всю троицу, препроводив ее к себе и оставив засаду на квартире на случай, хотя и маловероятный, Петькиного прихода.

Я принялся за допросы. Мать оказалась довольно забитым существом, тупым и неграмотным, решительно все отрицавшим. Роль ее была, очевидно, пассивной; а так как к тому же она оказалась больной, страдая кровотечением, то я счел возможным отпустить ее домой под охраной агента. Дочь была в другом духе: шустрая, разбитная, хорошо грамотная, бывалая. Так же, как и мать, все отрицая, она симулировала, и довольно удачно, возмущение по случаю ареста, обещая даже кому-то и куда-то жаловаться. Ее я задержал при сыскной полиции. Сапожник отвечал то же:

— Знать — не знаю, ведать — не ведаю!

Но быстро сдал свои позиции, лишь только я прикрикнул:

— Ах, не знаешь?! Ну, и будешь сидеть, пока не разыщем Петьки. Да и за укрывательство вора еще отсидишь особо.

— Ну, во-о-о-т?! Ваше высокоблагородие, стану я сидеть из-за всякого г... Нет, уж вы, пожалуйста, отпустите, а я что знаю, то скажу.

— Где Петька?

— Этого не знаю; но действительно, за час до вашего прихода на квартиру Петька примчался что шальной, схватил баульчик, попрощался с бабами, что-то сказал про депешу тете Кате (это, стало быть, сестра старухи) да и был таков.

— Где же живет эта тетя Катя?

— Вот этого, ей-Богу, не знаю.

— Ты давно снимаешь комнату у Петьки?

— Третий месяц пошел.

— Не замечал ли какой-нибудь разницы в их жизни за последнюю неделю?

— Действительно, прежде они жили беднее, а последнее время загуляли. И гости, и пьянство, и харча стала другой. Третьего дня и меня угостили на славу; опять же и Таньке он золотые сережки вчера подарил.

Я освободил сапожника и препроводил его домой под засаду.

Хорошо было бы разыскать эту «тетю Катю», думалось мне. Хотя, с другой стороны, и она не выдаст Петьки, если только заинтересована в деле. Во всяком случае, об этом надо подумать.

На следующий день мне доложили, что мать просит разрешения прислать арестованной дочери пищу и смену белья.

В наших полицейских камерах кормили хорошо и обильно, а посему арестованные, конечно, не нуждались в собственном продовольствии, но я не препятствовал подобным просьбам, требуя лишь внимательного и предварительного осмотра «передач». Так было и в данном случае, с той лишь разницей, что Танькину передачу я пожелал видеть лично. Она оказалась скромной: горшок щей, круглая, дома испеченная булка да чистая сорочка.

Я в раздумье усталился на изрезанную и общипанную булку; как вдруг мне пришла в голову мысль.

Взяв крохотный листочек бумажки, я мелкими каракулями карандашом на одной ее стороне написал: «Тетей Катей от Петьки получена депеша. Спрашивает, как ему быть?»

Эту записку вместе с огрызком обслынявленного карандаша я приказал запечь в особо состряпанную для сего булку и передать ее Таньке вместе с домашней ее корзинкой, щами и рубашкой.

На следующий день, при отдаче Танькой пустого горшка и грязной сорочки, в рубце ее подола мои люди нашли зашитый ответ, написанный ею на моей же бумажке. Он был таков: «Вели тете Кате послать Петьке депешу в Нижний Новгород (следовало название улицы и гостиницы), написав, что я под замком».

Вечером в сопровождении двух агентов я выезжал с курьерским поездом в Нижний.

Остановясь в гостинице «Россия», я вызвал туда начальника местного сыскного отделения. По его словам, Петькино пристанище оказалось скверненькими меблированными комнатами где-то за Окой, но имевшими для нас то преимущество, что содержал их старик, некогда служивший в сыскной полиции и не порвавший и доньше с ней связи. Он не раз оказывал услуги местному начальнику, сообщая о подозрительных типах, посещавших его комнаты. Я решил поговорить с ним.

— Скажите, проживает у вас Петр Ходунов?

— Как же-с, третий день занимает номер.

— Что он у вас делает?

— Да черт его знает! Уходит с утра, пропадает весь день, а к вечеру возвращается с ярмарки пьяным.

— Послушайте! Вы сами прежде служили по сысскому делу, так, понимаете, вы можете нам помочь.

— С превеликим удовольствием! — отвечал старик, оживляясь, как старый боевой конь при звуках знакомого сигнала.

— Скажите, не имеется ли свободного номера рядом с Ходуновым?

— Как раз сегодня освободился.

— Вот и прекрасно! Мои люди его займут. А как стены между ними, толсты?

— Какое там! Дощатые, можно сказать, перегородки.

— Сейчас Ходунова нет дома?

— Нет, ушел с утра и, наверное, до ночи не вернется.

— Отлично! Вы вот что, голубчик: сейчас же просверлите в стене пару дырочек да замаскируйте их хорошенько, вбейте, что ли, рядом гвоздей, а я отправлю к вам двух «пассажиров».

— Слушаю-с...

Через час двое приезжих, купеческой складки, с чемоданчиками в руках, поторговавшись, заняли соседний с Ходуновым номер. В просверленные в стене отверстия они осмотрели Петькино помещение и видели вечером, как полупьяный Петька, придя к себе, быстро разделся, вынул из карманов два свертка, один маленький, другой побольше, и, спрятав их под подушку, завалился спать.

На следующее утро один из моих агентов докладывал мне по телефону в «Россию»:

— Петька встал, помылся, оделся и, вынув из-под подушки нечто, спрятал один сверток в карман пиджака, а другой, маленький, бережно развернул, повернулся к окну и, вынув двумя пальцами его содержимое и прищурив глаз, поглядел на свет. В пальцах его засверкал розовый камень. После этого Петька, самодовольно улыбнувшись, снова завернул камень в бумажку и спрятал его в нижний правый жилетный карман. Затем, торопливо присев, написал какое-то письмо, заклеил конверт и, видимо, собирается уходить.

— Ни на минуту не спускайте с него глаз и передайте это мое приказание агентам наружной охраны. Помните, что вы лично отвечаете мне за точное исполнение этого поручения.

Я сейчас же помчался за Оку и по дороге встретил моих подчиненных, зорко следящих за каким-то впереди них идущим субъектом. Незаметно присоединясь к ним, я последовал за Петькой. Последний быстро шел и привел нас к главному ярмарочному зданию, где во время ярмарки помещался почтамт. Ходунов взошел в него. Мы последовали за ним. Вместе с нами вошло человек 10 из местной агентуры. Петька подошел к окошечку, купил марку, наклеил ее и направился к ящику, чтоб опустить письмо. В этот самый момент я подошел к нему и крикнул на весь почтамт:

— Стой! Я начальник Московской сыскной полиции. Подавай бриллиант!

Петька опешил, разинул рот и, наконец, пролепетал:

— Что вам угодно? Какой бриллиант?

— А тот самый, что лежит у тебя в правом жилетном кармане! — и с этими словами я запустил пальцы в его жилет и, быстро освободив камень от бумажки, высоко поднял его над головой. В пальцах моих засверкал бледно-розовый камень, цвета нежной, румяной зари. По оцепеневшему на миг почтамту прошел изумленный гул голосов. Петька окончательно растерялся.

— Господи! Да откуда же вы все это узнали? Вот чудеса-то?! Берите уж и жемчуг, все равно от вас не скроешь! Насквозь видите! Ну и дела! Вот так штука!

— Где сердоликовое кольцо?

— Вот чего нет — того нет, господин начальник!

— Куда дел?

— Продам вчера здесь, на ярмарке, персу. Да оно ничего не стоит, пять рублей получил...

— Веди сейчас же к персу!

Лавка перса была указана, и кольцо от него отобрано.

Итак, вор был арестован и все вещи найдены. Вечером под конвоем Петька был отправлен в Москву, а я на радостях пожелал со своими двумя московскими служащими отпраздновать удачу. С этой целью мы отправились вечером в ярмарочный кафешантан.

Только русский человек дореволюционной эпохи может иметь понятие о том, что представлял из себя Нижегородский шантан в

период ярмарки. Русский безбрежный размах подгулявшего купечества, питаемый и воодушевляемый сказочными барышами, зашибленными в несколько дней; шальные деньги, энергия, накопленная за год и расточаемая в короткий промежуток времени, — вот та среда и атмосфера, в какой я очутился. О моем пребывании в ресторане каким-то образом узнали, и едва успели мы занять столик у эстрады и проглотить по стакану сухого мюшполя, как стал я замечать, что не только с соседних, но и отдаленных столиков потянулись к нам шеи и головы. Сначала на нас посматривали с осторожным любопытством. Но по мере того как опустошались бутылки, застенчивость пропадала и нам стали улыбаться, подмигивать, поднимать бокалы и пить за наше здоровье, а то и попросту указывать пальцами. Наконец, в зал ввалился из кабинета какой-то сильно подвыпивший купец и с бокалом в руках, обратясь ко всем вообще и ни к кому в частности, заплетающимся языком, но громовым голосом произнес:

— Православные! Знаете ли вы, кто присутствует среди нас? Не знаете? Так я вам скажу... Мой земляк, мы оба из Москвы, господин Кошков! Во-о какие остроты водятся в нашей Белокаменной! Он да я — это не то что ваша нижегородская мелюзга! Слыхали поди, как сегодня он в почтамте подошел к жулику да и говорит прямо: «Скидывай сапог! У тебя промеж пальцев зеленый бриллиант спрятан!» Что бы вы думали? Так и оказалось все в точности! Этакого человека мы должны ублажать. Он охраняет наши капиталы от всякой шантажи и пользу нам великую приносит!

Слова пьяного москвича послужили сигналом: меня тотчас же окружили, кто жал руки, кто лез целоваться. Какой-то особенно экспансивный и не менее пьяный субъект вывернул огромный бумажник и заорал:

— Может, деньги нужны? Бери без стеснения, милый человек! Бери, сколько хошь...

Другой ввел в зал оркестр, заигравший туш. Заорали «ура!». На шансонеток, съехавшихся со всех концов Европы, посыпался дождь сторублевых бумажек, и пошел пир горой, неудержимый, дикий, не знающий границ ни в тратах, ни в сумасбродствах, — словом, тот пир, о масштабах и размахе которого не могут иметь и не имеют хотя бы приблизительного понятия все те, кто не родился с русской душой.

Оглушенный, растроганный и в полном изнеможении вернулся я к себе в гостиницу.

На следующее утро я покинул Нижний и возвратился в Москву. Вызвав к себе Таньку, я сказал ей:

— Ну, полно ломаться! Говори же, где Петька?

— Ой, да что вы, господин начальник, все о том же. Я говорила уже много раз, что ничего о нем не знаю.

— Так-таки ничего не знаешь?

— Разрази меня Господь! Не сойти мне с этого места! Лопни мои глаза! Ничего не знаю!

— И глаз своих не жалеешь?

— Да, господин начальник, пусть лопнут, ежели вру!

Я, не торопясь, вынул из кармана бриллиант, развернул бумажку и издали показал его ей.

— А это видела?

Танька вспыхнула и прошептала: «Видела».

Я взял мою записочку с ее надписью на обороте.

— А это видела?

— Я писала, — чуть слышно прошептала Танька.

— То-то и оно!.. А говоришь — «лопни мои глаза»! Ведь записочку-то я тебе послал, я же и ответ твой из рубашки расшил! Эх ты, Танька, Танька! Сама же своего Петьку выдала!

С Танькой сделалась форменная истерика.

Возвращая похищенные вещи княгине Шаховской-Глебовой-Стрешневой, я заметил в ней не только радость, но и немалое смущение.

— Господи, как это ужасно! А я-то заподозрила этого честнейшего и ни в чем не повинного человека! Как взгляну я теперь ему в глаза?

Как взглянула княгиня в глаза своему верному французу — мне неизвестно. Но образ этого рыцаря надолго запечатлелся в моей памяти.

ВАСЬКА СМЫСЛОВ

Ваську Смыслова Московская сыскная полиция знала прекрасно. Он уже несколько раз нами арестовывался за мелкие кражи; но, отбыв тюремное наказание, снова принимался за свое «ремесло».

Как-то дня через два после довольно значительной кражи в одной из квартир на Поварском, кражи, еще не раскрытой, вдруг раздается звонок по моему служебному телефону. Я подхожу:

— Алло! Кто говорит?

— Это вы, господин начальник?

— Я.

— Желаю вам здоровьица, с вами Васька Смыслов говорит.

— Здравствуй, Васька, что скажешь?

— А ваши-то дураки третьева дня опять меня прозевали!

— Ну-у?! Врешь!..

— Ей-Богу! Ведь на Поварском-то моя работа!

— Ну, что же? Везет тебе, Васька, но только смотри, не по-падись!

— Ну уж нет, господин начальник, теперь мы наловчившись, не поймают, шалишь!

— Ох, Васька, смотри не бахвалься!

— Будьте без сумления, не попадусь!

И Васька повесил трубку.

Смыслов был жизнерадостным малым с хитринкой и, как ни странно, с большим добродушием. Он, видимо, не лишен был и юмора и, чувствуя весь комизм моего положения, принялся с этого дня звонить мне всякий раз после удачно совершенной кражи. Стянув благополучно в одном из ювелирных магазинов на Кузнецком мосту несколько часов, при помощи выдавленного стекла в витрине, Васька звонил:

— А это опять я, господин начальник! Что, чисто сработано на Кузнецком?

— Да что и говорить, молодец! Комар носа не подточит...

— То-то и оно, а вы говорите — поймаете, да ни в жисть!

— Поживем, Васька, увидим!

— Да и посмотреть нечего! сказал, не поймаете.

Сделав паузу, Васька продолжал:

— А вот что я вам скажу, господин Кошкин, готовлю я здесь дельце покрупнее, как сработаю, непременно вам позвоню.

— Ох, Васька, лучше не звони, дразнишь ты меня!..

Васька хихикнул в трубку от удовольствия:

— Ничего, господин начальник, уж вы потерпите, это вам полезно!..

И Васька дал отбой.

Создавшееся глупое положение начинало меня изводить. Я был уверен, что Васька сдержит обещание, и решил принять меры. Мною было отдано следующее распоряжение: лишь только я тремя долгими звонками позвоню из своего кабинета в дежурную комнату, дежурный чиновник немедленно должен броситься к одному из свободных телефонов и тотчас же справиться на центральной станции о номере, разговаривающем в данный момент с начальником сыскной полиции. В это же время на другого чиновника возлагалась задача раскрыть имеющийся при полиции порядковый регистратор телефонных номеров с указаниями против каждого номера адреса абонента. Третий же чиновник с двумя агентами должен будет в это время одеваться и, получив адрес от первых двух, немедленно мчаться на дежурном автомобиле к указанному месту.

Двое суток мы ждали Васькиного звонка. Наконец, на третий день меня кто-то вызвал по телефону, и, подойдя к аппарату, я услышал Васькин голос. Держа трубку в правой руке, левой я нажал электрическую кнопку на письменном столе и дал три долгих звонка.

Теперь вся задача сводилась к тому, чтобы в течение известного времени занять Ваську достаточно интересным для него разговором, не возбуждая при этом его подозрения.

Васька начал, как всегда:

— Я обещался позвонить вам, господин начальник, вот и звоню.

— Скажи, Васька, а как ты не боишься мне звонить? Вдруг я узнаю, откуда ты звонишь и по номеру телефона открою твое местожительство.

Васька выразительно свистнул:

— Не на такого напали. Что я за дурак, что стану звонить вам от родных или знакомых. В Москве, слава те Господи, телефонов в любом подъезде, а Москва-матушка велика. Подите-ка, ищите!..

— Да ты, я вижу, Васька, башковат!

— Ничего-с, Господь головой нас не обидел. А ночью нынче мы опять поработали, на Мясницкой. Чай, слышали? Да только взяли самую малость!

— Нашел чем хвастать! Великое дело, подумаешь! А вот слышал ты, что этой же ночью было на Тверской?

— Нет, не слышал, а что, господин начальник? — и в голосе Васьки зазвучало любопытство.

— То-то и оно, что ты, Васька, на мелочи размениваешься, а настоящего дела и не видишь!

— Да что же такое? Скажите ж!

— А то, что на Тверской ювелирный магазин дочиста обобрали...

— Да ну-у?!

— Вот тебе и да ну-у...

— И много взяли, господин начальник?

— Да, говорят, тысяч на триста.

— Ишь, черти... — И в голосе Васьки послышалась зависть.

— А как ты полагаешь, Васька, чьих рук дело?

Васька подумал и сказал:

— Не кто другой, как Сережка Кривой.

— А кто это Сережка Кривой?

— Неужто не знаете? Да что с Танькой Рябой хороводится.

— Таньку Рябую знаю.

— Ну, вот, они вместе и орудуют.

— А давно ты видел Сережку Кривого?

— Да с неделю, пожалуй, будет.

— Послушай, Васька, ты бы узнал мне, где теперь Сережка; зато когда и попадешься, так я тебе твоей услуги не забуду и всякое снисхождение сделаю.

— А и впрямь, не поискать ли? — задумчиво сказал Васька, но потом добавил: — А только не найтить!

— Почему же?

— Да вы, господин начальник, говорите, триста тысяч, разве при таких деньгах он останется в Москве? Поди, теперь и след его простыл!..

Васька хотел еще что-то добавить, но вдруг как-то вскрикнул, трубка защелкала у меня в ухе, и я понял, что Васька пойман.

Через четверть часа он уже был у меня в кабинете.

— Ну, что, Васька, чья взяла? Кто кого перехитрил?

— Да уж ловко сделано, слова не скажу, господин начальник!

Васька почесал в затылке, помялся и неуверенно сказал:

— А позвольте вас спросить насчет 300 тысяч, это вы зря, для обману говорили?

— Конечно, для обмана. Нужно было занять тебя интересным разговором.

Васька восхищенно закатил глаза в потолок, ударил себя кулаком в грудь и с чувством промолвил:

— Ну, и ловкач же вы, господин Кошкин!!

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В 1908 или в 1909 году я получил из Главного управления почт и телеграфов извещение, что за последние месяцы многие города России наводнены искусно подчищенными почтовыми марками, семи- и десятикопеечного достоинства. Подчистка настолько совершенна, что лишь при сильной лупе может быть обнаружена. Есть основание предполагать, что в этом мошенничестве орудует хорошо организованная шайка, разбросавшая сети чуть ли не по всей России. Ходят смутные слухи, что центр организации находится в Варшаве.

Получив эти сведения, я приказал агентам обойти каждому в своем районе все табачные, мелочные и пр. лавочки, где, по установленному издавна обычаю, продавались марки.

Москва велика, а посему операция эта заняла немало времени.

Вместе с тем я обратил внимание на то, что за последнее время появилось множество объявлений в газетах от имени коллекционеров, предлагавших скупать старые марки. Поэтому я порешил произвести обыски и у этих коллекционеров, впрочем не давшие ничего, кроме огромных запасов старых марок.

Во многих табачных и мелочных лавках агенты мои, вооруженные специально для них приобретенными лупами, обнаружили, отобрали и принесли мне марки, казавшиеся им подозрительными, каковые я принялся внимательно разглядывать. Подчистка была идеальна: не только ни малейших следов старых штемпелей, но полная сохранность по краям зубчиков, неприкосновенность клеевой массы и т. д. Единственно при сравнении двух марок — новой и подчищенной, — в последней краска была чуть-чуть бледнее и казалась слегка выцветшей. Разница была столь ничтожна, что пришлось партию этих марок отправить в Главный почтамт на экспертизу, где лишь и была окончательно установлена их непригодность. Характерно, что марки эти попадались лишь поштучно и никогда целыми листами. Опрошенные лавочники-продавцы в один голос заявляли, что марки ими приобретены в почтовых отделениях и что о недоброкачественности их они и не подозревали. Один лишь из них, человек, видимо, крайне робкий, напуганный вмешательством властей, чистосердечно признал, что получил для своей лавки запасы марок от небызвестного марочного коллекционера, проживавшего на одном

из Козицких переулков, некоего Е. Получал он их от Е. со скидкой в 1/2 копейки со штуки.

Я командировал агентов к Е. При обыске у него подчищенных марок не нашли; но одно обстоятельство обратило на себя внимание моего помощника В. Е. Андреева, который был во главе обыска, это то, что в бумажнике Е. была найдена накладная на товар из Варшавы, причем товар, в ней обозначенный, оказался весьма оригинального свойства — мешок перьев! Зачем коллекционеру марок выписывать из Варшавы перья? Словно гусей, уток и прочей птицы мало в Москве? Этот Е. был арестован и препровожден в сыскную полицию. Сначала он отпирался; но, просидев двое суток в камере и будучи вызванным на очную ставку с табачным лавочником, его прежде назвавшим, а теперь признавшим, он перестал упираться, сознался во всем и широко пошел нам навстречу в деле раскрытия всей этой мошеннической махинации. Он рассказал следующее: месяца три тому назад является к нему какой-то человек, по виду еврей, продает ему несколько экземпляров довольно редких марок, долго болтает на разные темы и заканчивает свою беседу выгодным предложением: поставить ему партию прекрасно подчищенных 7 и 10-копеечных марок со скидкой трех копеек со стоимости каждой. Тут же он показал свои образцы. «После долгих колебаний я соблазнился и изъявил согласие на аферу. Тогда мой искуситель назвал мне фамилию Зильберштейна, каковому и предложил писать в Варшаву до востребования. Мы списались, и вот время от времени я получаю от Зильберштейна партии марок, упакованные в мешки с перьями, что не дает возможности их прощупать».

— Как вы полагаете, — спросил я, — пришел ли по последней накладной мешок?

— Судя по времени, должно быть — да.

Я отправил человека с накладной на товарную станцию, и мешок был вскоре привезен. Мы высыпали перья, и среди них обнаружили до 10 тысяч марок. Они были сложены пакетиками по 100 штук, и каждый из них был аккуратно перевязан голубой ниткой.

Не представляло труда, конечно, написать Зильберштейну от имени Е. письмо с заказом и арестовать его в Варшаве, в почтамте, в момент получения им корреспонденции до востребования; но марочное предприятие приняло всероссийский масштаб, требовало раскрытия и самого источника производства и полной его ликвидации. Между тем Зильберштейн мог оказаться лишь посредником, а не непосредственным работником и главой предприятия. Все эти соображения заставили меня отказаться от мысли о немедленном аресте последнего, и я стал изобретать повод к поездке в Варшаву. В этом отношении мне помог все тот же арестованный коллекционер.

— Ничего не может быть проще! — сказал он. — Зильберштейн не раз предлагал мне в письмах приехать в Варшаву для обсуждения какого-то нового и весьма прибыльного дела. Я подо-

зреваю, по его намекам, что речь идет о распространении подчиненных гербовых марок.

— Зильберштейн вас никогда не видел?

— Нет.

— Отлично! Сделайте паузу дня в три, а затем напишите ему, что готовы приехать в Варшаву для переговоров и просите указать вам точно место вашей будущей встречи.

Е. согласился исполнить это требование, но сказал:

— Вы видите, г. начальник, что я не только покаялся в преступлении, но и готов всячески содействовать раскрытию всего дела. Будьте добры, освободите меня, я истосковался по дому!

Я был в затруднительном положении и решил посоветоваться с прокурором суда Арнольди.

— Не знаю, что и посоветовать вам, — сказал он мне. — При освобождении Е. он может бежать или испортить вам дело. Впрочем, делайте как хотите, Аркадий Францевич. Вам виднее.

— Я освобожу вас до суда, — сказал я Е., — но приставлю к вам двух агентов, несущих денно и ночно дежурство при вас.

— Помилуйте! Для чего эти предосторожности?

— Нет, уж вы извините, но они необходимы.

— Ну, что же, пусть будет так!

Дня через три Е. написал Зильберштейну до востребования. В этом письме он изъявлял согласие на переговоры о выгодном деле, но заявлял, что сам выехать не может, а готов прислать родного брата, каковому доверяет, как самому себе. Вскоре пришел ответ от Зильберштейна с подробным указанием дня, часа и места встречи. Для свидания Зильберштейн выбрал Саксонский сад и скамейку как раз против входа в летний театр. Для большей точности он просил г. Е. держать в руках местную русскую газету «Варшавский дневник». Е. тотчас же написал о приемлемости времени и места, и я стал собираться в путь. К назначенному сроку я с двумя агентами выехал в Варшаву.

В условленный час я был в Саксонском саду на указанной скамейке и внимательно прочитывал широко развернутый «Варшавский дневник». Кругом меня никого не было, если не считать какой-то толстой еврейки с младенцем, сидящей напротив. Прошло полчаса — никого. Прошел час — никого. Я собрался было сокрушенно уходить, полагая, что нечто совершенно непредвиденное задержало или напугало Зильберштейна. Как вдруг моя еврейка перешла площадку и подсела ко мне. Немного помолчав, она с оборотистой улыбкой спросила меня:

— Скажите, мошье, вы русский?

— Русский.

— Уй! Люблю я русских, хороший, щедрый народ!

Я поклонился.

— Вы живете в Варшаве или приезжий?

— Приезжий, сударыня.

— Я так и думала! Вы не похожи на варшавянина. Вы из Петербурга?

— Нет, я из Москвы.

— Из Москвы?! — как бы удивленно улыбнулась она и, тотчас же прильнув к моему уху, прошептала: — Ну, так я уже вам покажу сейчас господина Зильберштейна!

Она повела меня на Трембачскую улицу, подвела к какому-то небольшому кафе и указала на столик у самого зеркального окна. За ним сидел еврей, лет 40, рыжеватый, довольно прилично одетый. Он взглянул на нас через окно и улыбнулся моей провожатой. Я вошел в кафе и направился к Зильберштейну. Он приподнялся навстречу, и мы молча пожали друг другу руки. Сели.

— Мне очень приятно познакомиться с таким хорошим человеком! Мы так хорошо работали вместе, вы всегда так аккуратно платили, словом, делать с вами гешефты — одно удовольствие!

Я улыбнулся:

— Да, собственно, вы работали не со мной, а с моим братом. Но это, конечно, все равно.

— Ну, и какая же разница? Ваш брат нам писал, что приедете вы, и я прекрасно знаю, что вы не господин Е., а его брат. Ну, не все ли равно?

— Положим, и моя фамилия Е., но, конечно, я лишь брат вашего покупателя, — и для большей достоверности я вытащил паспорт и раскрыл его перед Зильберштейном.

— Зачем мне ваш паспорт? Разве я сразу не вижу, с кем имею дело? — Тем не менее он запустил глаза в документ. — Знаете, господин Е., раньше чем разговаривать о делах, выпьем по келишку? Ну?

— Хорошо бы позавтракать сначала, я голоден.

— Можно и позавтракать! Отчего нам не позавтракать?

— Да, но здесь как-то неуютно! Пойдемте в какой-нибудь ресторан почище!

— Видно, господин Е., что вы настоящий аристократ, работаете, так сказать, на широкую ногу! — и Зильберштейн восхищенно на меня взглянул.

— Да, слава Богу, пожаловаться не могу, обороты хорошие делаю!

— Ну, так знаете, что я вам скажу? Если мы договоримся, вы — миллионер! Поверьте слову Янкеля Зильберштейна!

— Ладно, ладно! Об этом после, г. Зильберштейн, а теперь бы поесть!

— Идемте, идемте, господин Е.! Я тут недалеко такой ресторан знаю, что останетесь довольны: такие фляки, такие зразы, такой цомбер заиенчи подают, что сам г. Ротшильд не забракует!

Зильберштейн привел меня в довольно приличный ресторан. Выпили мы с ним рюмки по три старки, и мой еврей размяк.

— Какой вы симпатичный и компаньонный человек! С вами так приятно иметь дело! — восклицал он поминутно.

Мы принялись за завтрак.

— Знаете, г. Е., я такое, такое дело хочу вам предложить, что если до сих пор мы зарабатывали копейки, то на новом гешефте будем зарабатывать рубли!

— Да, вы в одном из ваших писем намекали; я хорошенько не уверен, но мне показалось, что вы имеете в виду гербовые марки?

— Юдишер копф! — восхищенно воскликнул Зильберштейн. — Да, я именно об этом и «намекивал». Вы только подумайте, разница-то какая! Пятирублевые, десятирублевые, наконец, Боже ты мой, сорокарублевые марки! Вы понимаете меня?

— Отлично понимаю! Но прежде чем говорить, нужно и на товар посмотреть.

— Пхе, само собой! Кто же заглазно товар покупает? Да еще такой деликатный?

— Вот я про то и говорю. Покажите образцы, а то и самое предприятие, чтобы я мог судить как о качестве, так и о солидности и размахе дела.

— А вы надолго приехали в Варшаву?

— На несколько дней, во всяком случае, в зависимости от того, сколько потребует дело.

— Ну, так нечего и торопиться! Я переговорю со своим компаньоном, и завтра мы вам покажем и образцы, и если он только согласится, то и самую выделку. Я хоть сейчас готов вас повезть, да приходится считаться с ним, а он недоверчив и боязлив.

Однако после второй бутылки вина Зильберштейн проникся горячей ко мне любовью и патетически воскликнул:

— Да, что уж вас мучить, — вот вам образцы!

И он достал из бумажника несколько гербовых марок. Я принялся разглядывать эту не менее изумительную работу.

Подвыпивший Зильберштейн укоризненно воскликнул:

— Что вы делаете? Неужели вы невооруженным глазом думаете что-нибудь увидеть?! Да возьмите же, господин Е., лупе, лупе возьмите, вот она! — и он протянул мне лупу.

— Благодарю вас, у меня есть лупа. Я сначала желаю получить общее впечатление.

Поглядев со всех сторон марки, я затем принялся их исследовать и через лупу. Наконец, оторвавшись от этого занятия, я солидно промолвил:

— Товар хорош, без изъяна, ничего не скажу, даже удивительно!

Зильберштейн самодовольно улыбнулся.

— Вы, быть может, думаете, что Зильберштейн вам хвастает и показывает настоящие марки?

— Нет, я этого не думаю. Но, разумеется, для крупного заказа мне нужна твердая вера в серьезную техническую постановку. Ведь каждую марку не осмотришь. Быть может, г. Зильберштейн, вы переговорите с вашим компаньоном и как-нибудь устроите это?

— Хорошо, господин Е. Будьте завтра в час дня на Праге: там, на такой-то улице, в доме № 43, имеется маленький ресторанчик, хотя и грязненький, посещаемый больше фурманами, но надежный во всех отношениях. Я познакомлю вас со своим компаньоном, и, быть может, он и согласится вам показать кое-что.

На этом мы и порешили.

Я позвал лакея и потребовал счет.

— Мы с вами будем рассчитываться на немецких началах, — сказал мне Зильберштейн. — Я заплачу за то, что я кушал, а вы за то, что сами скушали.

— Ну, что там считаться! Для такого приятного знакомства заплачу я за все.

— Для чего же это? — слабо запротестовал Зильберштейн. — Лучше бы на немецких началах?

— Ладно! Завтра заплатите вы, вот и выйдут немецкие начала.

Мы вышли. Зильберштейн долго тряс мне руку, объясняясь в любви, перевозносил мою щедрость. Но, наконец, мы расстались, и я отправился к себе в гостиницу.

Пробыв в ней часа два, я к вечеру вышел и с наступившими сумерками отправился в местную сыскную полицию. Я обратился к Ковалику, начальнику Варшавского отделения. Рассказав ему кратко, в чем дело, я просил его дать мне назавтра к часу двух агентов, переодетых фурманами (извозчиками), для наблюдения за Зильберштейном и его сообщником. К варшавским агентам я присоединил своих двух, привезенных мною из Москвы.

На следующий день, ровно в час, я входил на Праге в грязненький ресторанчик, где у стойки толпилась уже куча людей крайне пролетарского вида. Вскоре к ним присоединился и один из агентов — извозчик. Не успел я занять в соседней, «чистой», комнате столик, как пожаловали Зильберштейн и его спутник. Зильберштейн радостно меня приветствовал и познакомил с компаньоном, называя его Гриншпаном. Мы заказали какую-то еду.

Гриншпан резко отличался от Зильберштейна. Насколько последний был доверчив и экспансивен, настолько первый казался осторожным и скрытным. Несколько раз в течение завтрака Зильберштейн одергивался и обрывался Гриншпаном. Так было, когда Зильберштейн в порыве восхваления своего товара хватался за бумажник, желая вынуть новые образцы. Так было и тогда, когда Зильберштейн, увлеченный размерами будущих барышей, признавался, что масштаб их работы — всероссийский.

Поговорив с час, я в принципе изъявил согласие принять широкое участие в сбыте гербовых марок в Москве, но при условии хотя бы некоторого введения меня в курс дела и техники производства. Осторожный Гриншпан не дал окончательного ответа, но просил завтра еще раз явиться в этот же ресторан, где он и обещал окончательно объявить о своем решении. Очевидно, за предстоящие сутки он намеревался навести обо мне справки в гостинице, а

может, и понаблюдать за мной и моими прогулками по Варшаве. Мы вышли из ресторанчика, долго прощались у подъезда; но, убедившись, наконец, что мои люди и оба извозчика тут, я расстался с мошенниками и направился к себе. Опасаясь за собой слежки осторожного Гриншпана и боясь провалить дело, я решил в этот день не выходить больше из гостиницы. Поздно вечером зашел ко мне один из моих агентов и доложил, что все они внимательно весь день следили за обоими субъектами и точно установили, что проживают они на окраине Праги при переплетной мастерской с вывеской: «Переплетная мастерская Я. Гриншпана». В течение дня они несколько раз выходили и приходили обратно, и, наконец, один из них, поменьше ростом (Зильберштейн), вернулся в последний раз в 9 часов, после чего они переплетную закрыли, а в боковых от нее окнах появился свет.

Тут же вечером я получил из Москвы срочную телеграмму от своего помощника, извещавшую меня о кровавом убийстве и ограблении в одной из квартир Поварского переулка, а потому, торопясь вернуться, я решил форсировать события и, не дожидаясь завтрашнего свидания, произвести немедленно обыск в переплетной, тем более что все говорило за то, что производство марок организовано там же: оба сообщника живут вместе, прикрываются вывеской переплетной мастерской, т. е. декорацией удобной, так как этого рода мастерство требует и бумаги, и клея, и всяких инструментов для тиснения, быть может, пригодных и для подчистки и вырезывания марок.

Я позвонил Ковалику и сообщил ему о моем решении немедленно произвести обыск. Он пожелал принять в нем участие, и мы, с его и моими агентами, направились на Прагу. Постучавшись в переплетную, мы не получали долго ответа. Мы стали барабанить сильнее, и, наконец, за дверью послышался испуганный мужской голос:

— Кто там?

— Открывайте, полиция!

— Ой, вей! Какая полиция? Что вам угодно, г. обер-полицеймейстер?

— Открывайте немедленно, или мы выломаем дверь!

Угроза подействовала, и трясущийся от страха Зильберштейн в пантуфлях раскрыл двери. Мы быстро вошли в комнату — мастерскую. Тут был прилавок, верстак, стол и две табуретки; в стороне виднелась кровать, на которой приподнялся навстречу нам всклокоченный Гриншпан. В соседней комнате была столовая, а еще дальше комната супругов Зильберштейн, вернее, — Гриншпан, так как Зильберштейн оказался родным братом Гриншпана, присвоившим себе чужую фамилию, прикрываясь которой он и получал всю корреспонденцию до востребования. При нашем, а в особенности моем появлении первые слова Гриншпана, обращенные к Зильберштейну, были:

— Ну что, Яша? Не говорил я тебе?!

Мы приступили к обыску, но, к тревоге моей, ни в мастерской, ни в столовой мы ровно ничего не обнаружили. Оставалась третья комната, спальня супругов. Из нее неслись какие-то подвывания, стоны и охи.

— Господа полиция, не входите, пожалуйста, туда! Там моя больная жена, — обратился к нам Зильберштейн.

— Невозможно! Мы обязаны осмотреть все помещение, — отвечали ему.

— Ну, только, пожалуйста, потихоньку и поскорее!

— Ладно, ладно, не беспокойтесь!

Мы вошли в спальню. На широкой кровати корчилась жирная еврейка, оглашая комнату криками.

— Что с ней? — спросил я Зильберштейна.

— Да то, что бывает с женщинами.

— Именно?

— Мадам Зильберштейн «ждет»...

— Чего же она ждет?

— Маленького Гершке или Сарочку!

— Ах, во-о-от что!

Но корчи мадам Зильберштейн мне показались неестественными, ее и без того преувеличенные вопли аккуратно усиливались по мере того, как приближались к ее кровати.

— Уй, уй! Не трогайте меня! Чтобы ты сдох, Янкель! Ты виноват в моих муках. Ох! Ой!..

Она явно переигрывала роль.

Я предложил послать за акушеркой, прикомандированной к полиции.

— Зачем вам беспокоиться?! — заволновался Зильберштейн. — Тут рядышком живет хорошая акушерка, ну, мы ее и позовем.

— Нет уж, мы лучше свою выпишем.

— Уй! Ведь это так долго будет, а тут бы сразу!

— Ничего, потерпите! Мы на фурмане вмиг слетаем.

Обыск продолжался, а один из агентов поехал за полицейской акушеркой.

Черты стонущей еврейки мне показались как будто знакомыми. Я взгляделся пристальнее и... ба! узнал мою вчерашнюю знакомую по Саксонскому саду. Не подав вида, я спросил у Зильберштейна:

— Давно ваша жена так мучается?

— Ух! Уже две недели, как не сходит с кровати. Все схватка: то отпустит на минуточку, то опять! Она очень, очень страдает! — Еврейка, услышав мой вопрос и ответ мужа, принялась выть еще громче. А затем, повернув ко мне голову, умирающим голосом промолвила:

— И знаете, я иногда прошу смерти у Бога, до того мне бывает швах. Уй, уй! Вот опять началось! Уй!

— Да, госпожа Зильберштейн, вы сегодня чувствуете себя много хуже, чем вчера в Саксонском саду, — сказал я спокойно.

Г-жа Зильберштейн сразу перестала стонать, быстро повернула голову в мою сторону и впилась в меня своими сирийскими глазами.

— Ну, что вы хотите этим сказать? Ну, да! Сегодня хуже, а вчера лучше. Вот и сейчас лучше, гораздо лучше! Я даже, пожалуй, и встану!.. — и госпожа Зильберштейн опустила свои толстые ноги с кровати на пол.

Когда вернулся агент с акушеркой, она решительно отказалась от медицинского осмотра и, накинув на плечи капот, отошла в сторону. Мы внимательно осмотрели и ощупали всю кровать, но... ровно ничего не нашли. Не более удачными оказались выстукивания стен, особенно той, что прилегала к отодвинутой теперь кровати.

Вдруг один из агентов, производивший обыск в этой комнате, заявляет, что половицы пола, как раз на месте, где стояла кровать, как-то шатаются при нажиме. Их подняли, и под ними оказалась крутая лесенка, ведущая в глубину подвала. Принесли свечи, спустились вниз. Там оказался коридорчик в виде траншеи, сажени 2 длиной, а в конце его небольшая комната, эдак в 40 примерно квадратных аршин. Эта «катакомба» и оказалась местом «омолаживания» марок. Мы застали в ней двух спящих мастеров-евреев. В одном углу стоял особый котел, где отваривались и отклеивались старые марки. Посередине комнаты был стол с чертежными досками, на которых высушивались и заново обмазывались клеем марки. Но что интереснее всего — это то, что в наши руки попало несколько тысяч марок целыми листами. Тут же лежал один лист в работе, еще не законченный, и по нему мы имели возможность восстановить картину и способ его выделки. Оказывается, брались вычищенные и еще несколько влажные марки, раскладывались на чертежной доске клеевой стороной вниз по десять и двадцать штук в каждой стороне, в зависимости от желаемого размера квадрата. Укладывались эти марки чрезвычайно тщательно, а именно так, чтобы краевые зубчики одной входили в промежутки зубчиков другой и образовывали этим самым как бы непрерывную общую массу. После этого бралась узенькая (не шире миллиметра, а может, и менее) ленточка тончайшей папиросной бумаги длиной во весь лист и осторожно наклеивалась по сошедшимся зубчикам между рядами марок. Затем брался особый инструмент (тут же лежавший), напоминающий собой колесико для разрезания сырого теста, но отличавшийся от кухонного инструмента тем, что по краям этого колесика (перпендикулярно периферии) торчали частые и острые иголочки. Если взять этот инструмент за ручку и прокатить колесико по обклеенному междумарочному пространству, то на нем опять пробьются дырочки, но ряды марок, благодаря оставшейся папиросной бумаге, окажутся плотно связанными друг с другом, и разве с помощью чуть ли не микроскопа вы различите эту поистине ювелирную работу.

Братьям Гриншпан ничего не оставалось делать, как сознаться. Спасая свою шкуру, они выложили все. За 6 месяцев своей работы

они успели раскинуть широкую сеть по всей России. В каждом крупном городе имелись и агенты, вербовавшие сбытчиков, и «коллекционеры», снабжавшие их старыми марками. Организация была настолько многочисленна, что перед Варшавской судебной палатой, где слушалось это дело, предстало несколько сот обвиняемых. К чему были приговорены хитроумные «предприниматели», — я не помню; но помню зато, что с чувством глубокого удовлетворения покидал я тогда Варшаву и возвращался в Москву, где жизнь не ждала и продолжала являть миру все новых и новых горе-героев.

ТЯЖЕЛАЯ КОМАНДИРОВКА

Это случилось в Риге в начале девяностых годов, т. е. в бытность мою начальником Рижского сыскного отделения.

В местном кафедральном соборе был украден крупный бриллиант с иконы Божьей Матери. Все обстоятельства дела говорили за то, что кража эта совершена церковным сторожем, проживавшим в подвальном помещении собора. Хотя обыск, произведенный у него, и не дал положительных результатов, но справка, наведенная в его прошлом, подтвердила мои подозрения, так как оказалось, что сторож судился уже однажды за кражу и отбывал за нее тюремное заключение.

Получив эти сведения, я порешил арестовать его.

Просидел он в полицейской камере дней 5, в течение которых я трижды его допрашивал. Но сколько я ни бился, как ни старался поймать на противоречиях, — ничего не выходило, он просто умолкал, не желая отвечать на вопросы.

Я попробовал было приняться за его жену, но баба оказалась хитрой, грубой, но не болтливой. Она не только отговаривалась полным неведением, но заявила мне прямо, что муж ее арестован не по закону, а зря.

Из этих допросов у меня окрепла лишь уверенность в их обоюдной виновности. Но что было делать? Как доказать ее? Как найти бриллиант? И вдруг меня осенила мысль!

Вспомнилось мне, что в комнате сторожа стоит большая двуспальная кровать, и я порешил ее использовать. Позвав двух агентов, я объяснил им план действия: завтра, по моему вызову, явится к 12 часам на допрос сторожика; продержу я ее с час, а они в ее отсутствие проникнут в помещение сторожа; один из них (Панкратьев) подлезет под кровать и зароется там в разном хламе и тряпье, замеченном мною еще при обыске, и пролежит под ней до 8 часов вечера, т. е. до моего прихода; другой же отмычкой приведет замки в первоначальный вид и удалится.

Сказано — сделано.

На следующий день я подробно допрашивал сторожиху и, не добившись ничего, с мнимой досадой заявил ей:

— Черт вас обоих знает! Может, и правда — вы не виноваты! Ладно, я выпущу сегодня твоего мужа, но помни, что вы оба у меня под подозрением.

Отпустив с допроса жену, я через час освободил и мужа, объявив ему, что освобождаю его по закону, хотя в душе считаю его виновным.

К 8 часам я с агентами явился к собору и постучал в комнату сторожа. Завидя нас, они заметались в панике. Я громко крикнул:

— Панкратьев, где бриллиант?

И вдруг к неописуемому ужасу их под кроватью что-то зашевелилось, и вылезший из-под нее взъерошенный Панкратьев радостно рывкнул:

— В дровах, господин начальник!

Наступила мертвая тишина.

— Ты слышишь? — обратился я к сторожу. — Подавай бриллиант!

— Да врет он, ваше высокоблагородие! Я ничего не знаю.

— Ну, Панкратьев, рассказывай, как было.

— Да что же, г. начальник, рассказывать. Залез я под кровать, пролежал с час, пришла женщина, за ней часа через два и мужчина. Поставили самовар, сели чай пить, напились, и женщина говорит:

— Ты бы посмотрел, Дмитрич, все ли цело в дровах?

— Куда же ему деваться? — отвечает он.

Однако мужчина вышел наружу и вскоре принес полено. Поковыряли они его, поглядели, — все на месте. Жена и говорит:

— Ты бы оставил его в комнате, оно вернее.

А он отвечает:

— Нет, не ровен час — опять нагрянут. Лучше отнести на прежнее место.

И отнес. Вернувшись, он принялся с женой сначала смеяться и издеваться над вами, а потом пошло такое, что лучше и не рассказывать, г. начальник. Они, сволочи, пружинным матрацем чуть мне всю рожу не расцарапали.

— Ну, что ты на это скажешь? — обратился я опять к сторожу.

— Все это им померещилось! Знать — не знаю, ведать — не ведаю и вас не ругал.

Пришлось искать в дровяных штабелях, что были выложены у задней стены собора. По свежим следам отыскали приблизительно место, и, рассмотрев и расколов сотни полторы полен, мы отыскали, наконец, драгоценный камень...

— Г. начальник, — говорил мне Панкратьев, — ради Бога, давайте мне больше таких командировок, а то я чуть было не подох: восемь часов отлежал под кроватью, да еще укутавшись грязным вонючим бельем и тряпками. Просто сил моих нет! Тьфу! — и он сочно сплюнул.

ДЕЛО ГИЛЕВИЧА

Многолетний служебный опыт заставил меня выработать в себе привычку терпеливо выслушивать каждого, желающего беседовать лично с начальником сыскной полиции. Хотя эти беседы и отнимали у меня немало времени, хотя часто меня беспокоили по пустякам, но я не только выслушивал каждого, но и конспективно заносил на бумагу все, что казалось мне стоящим малейшего внимания. Эти записи я складывал в особый ящик и извлекал их оттуда по мере надобности. Надобность же эта представлялась вовсе не так редко, как может подумать читатель. Как ни необъятен, как ни разнообразен преступный мир, но и он имеет свои законы, приемы, обычаи, навыки и, если хотите, — традиции. Преступные элементы человечества связаны более или менее общей психологией, и для успешной борьбы с ними весьма полезно отмечать все яркое, необычное, что поражает внимание. Словом, краткие отметки и записи, собираемые мною, не раз сослуживали мне верную службу.

Это особенно сказалось в деле Гилевича.

Началось оно так.

«Господин начальник, там какой-то студент желает вас видеть по делу, но, смею доложить, он сильно выпивши», — докладывал мне дежурный надзиратель в моем служебном кабинете в Москве, на Малом Гнездиковском переулке.

«Ладно! зовите!..»

Через минуту в комнату вошел студент. Неуверенным шагом он приблизился к письменному столу и тотчас же схватился руками за спинку кожаного кресла. Это был здоровый малый, в довольно потрепанной студенческой форме, с покрасневшим лицом и с всклокоченными волосами. Он уставился на меня помутневшими глазами и улыбался пьяной улыбкой.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Извините, господин начальник, я пьян, и в этом не может быть ни малейшего сомнения, — отвечал студент, — позвольте по этому случаю сесть?..

И, не ожидая приглашения, он плюхнулся в кресло.

— Что вам от меня нужно? — спросил я.

— И все... и ничего!

— Может быть, вы сначала выпитесь?

— Jamais! Я к вам по срочному делу.

— Говорите.

— Видите ли, господин начальник, я просто не знаю, как и приступить к рассказу, до того мое дело странно и необычно.

— Ну, ну, расказывайтесь скорее: мне время дорого.

Студент икнул и принялся полузаплетающимся языком рассказывать:

— Прочел я как-то в газете, что требуется на два месяца молодой человек для исполнения секретарских обязанностей за хорошее вознаграждение. Прекрасно и даже очень хорошо! Я отправился по указанному адресу. Меня принял господин весьма приличного вида и, поговорив со мной минут десять, нанял меня, предложив сто рублей в месяц. Сначала все шло хорошо, но затем многое в его поведении мне стало казаться странным. Он как-то подолгу всматривался в меня, словно изучая мою внешность. Однажды же, поехав со мной в баню, он особенно внимательно разглядывал мое тело, а затем, самодовольно потерев руки, чуть слышно прошептал:

«Прекрасное, чистое тело, никаких родимых пятен и примет...»

Да-с, господин начальник, никаких пятен и примет, т. е. rien, не правда ли, удивительно? Через несколько дней мы поехали с ним в Киев, остановились в приличной гостинице в одном номере. Весь день мы бегали по городу по разным делам и покупкам, и когда к вечеру вернулись в гостиницу, то я, устав, пожелал отдохнуть. Разделся и лег. Патрон мой сел было писать письмо, а затем говорит мне вдруг:

«Примерьте, пожалуйста, мой пиджак, и если он вам впору, то я охотно его вам презентую».

Я примерил, и, представьте, пиджак оказался сшит как на меня. Мой патрон остался очень доволен и тут же подарил его мне. Наконец, я заснул. Сколько я спал — не знаю, но вдруг просыпаюсь под тяжестью устремленного на меня взгляда. Приоткрывая глаза, вижу, что патрон мой пристально на меня смотрит. Я снова зажмурился, но настолько, чтобы иметь все же возможность наблюдать за ним. Прошло минут десять, в течение которых он не отрывал от меня взора. Тогда я принялся нарочно похрапывать, и он решил, видимо, что я сплю, тихонько встал, подошел к чемоданчику, стоявшему у его кровати, и вынул из него пару длинных ножей. Понимаете ли, господин начальник, пару длинных ножей, вот таких (он показал размер руками). Все это он проделал тихо, осторожно, по-прежнему не спуская с меня взгляда. Меня объял дикий ужас, и я, раскрыв глаза, приподнялся на постели и спустил ноги на пол. Увидя это, он быстро спрятал ножи, а я, схватив брюки, быстро напялив их на себя, не надев даже кальсон и едва застегнув тужурку, и под предлогом расстройства желудка выбежал из номера. Я прямо помчался на вокзал (к счастью, деньги были), да в поезд. И вот сегодня, прибыв в Москву, я отпраздновал свое избавление от несомненной опас-

ности и явился к вам, чтобы рассказать этот более чем странный случай.

— Чего же вы бежали? Чего вы опасались?

— А ножи?

— Какой же расчет ему было вас убивать?

— Да черт его знает! Но он так глядел на меня, так глядел на меня, господин начальник, что мне все казалось, что он хочет, чтобы я был он, а он — я.

— Ну, голубчик, вы, кажется, зарапортовались. Что за чушь... «Я был он, а он я?» Просто это вам приснилось.

— Какое приснилось, когда я и багаж свой там оставил!

— А какой у вас был багаж?

— Да, например, серебряная мыльница.

— А еще что?

— Опять же полотенце, кальсоны и подаренный пиджак.

Подумав, я спросил:

— Где вы живете здесь?

— Пока нигде, а жил там-то, — и он назвал адрес и свою фамилию.

Я навел справку по телефону, и она подтвердила его слова.

— По какому адресу ходили вы наниматься в секретари?

— Вот этого припомнить я не могу, разве просплюсь и завтра вспомню.

— Хорошо, если вспомните, то приходите. До свиданья!

Студент как-то помялся, а затем проговорил:

— Господин начальник, конечно, мои сообщения малоценны, но а все-таки, может быть, вы одолжите три рубля, а я припомню адрес и сообщу вам.

— Извольте, получите! — и я протянул ему трехрублевку.

Студент схватил ее и рассыпался в благодарностях:

— Вот за это спасибо, ну, и выпью же я сейчас за ваше здоровье. Vivat, господину начальнику! Gaudeamus igitur. — Сделав неуверенный поклон, он вышел из кабинета.

Я набросал кратко на бумажке сообщенные им данные и спрята-
л ее, на всякий случай, в заведенный для этого ящик.

На следующий день он не явился, и я вскоре забыл об его существовании.

Дней через пять после этого звонит мне по телефону начальник Петроградской сыскной полиции Владимир Гаврилович Филиппов:

— У нас тут, Аркадий Францевич, на Лештуковом переулке, случилось весьма загадочное убийство. В меблированных комнатах найден труп без головы, одетый в новый пиджак, хорошей работы. Голова трупа обнаружена в печке, в сильно обезображенном виде (вырезаны щеки, отрезаны уши, содрана кожа на лбу). Голову пытались, видимо, сжечь, но неудачно. Из осмотра пиджака выяснено, что он работы московского портного Жака. Не откажите, пожалуйста, послать к нему агента с теми данными, которые я вам продиктую сейчас. На всякий случай образчик материи при-

везет вам сегодня со скорым поездом посланный мною чиновник; он же доложит вам все детали осмотра.

И Филиппов продиктовал мне ряд цифр и терминов, данных ему «экспертизою» портных.

Я обещал ему, конечно, полное содействие и откомандировал немедленно агента к портному Жаку. У него выяснилось, что пиджак этого размера, качества и цвета был сшит недавно некоему инженеру Андрею Гилевичу, за 95 рублей.

Услышав имя Гилевича, я сразу встрепенулся, так как тип этот мне был хорошо известен по недавнему ловкому мошенничеству, с дутым мыльным предприятием, в которое Гилевич успел втравить много лиц и немалые капиталы. Фотография этого крупного афериста, равно как и образец его почерка, имелись у нас, при московской полиции. Гилевич в свое время произвел на меня самое отвратительное впечатление и рисовался в моем воображении типичным «героем» Ломброзо.

Я тотчас же позвонил Филиппову и сообщил полученные от Жака сведения. Вместе с тем я добавил, что имею основания полагать, что убит вовсе не Гилевич и что, как мне кажется, дело пахнет инсценировкой. Принимая во внимание, что у Гилевича было большое родимое пятно на правой щеке, факт обезображения лица усиливал мои подозрения.

В. Г. Филиппову обстоятельства, сопровождавшие убийство, казались тоже странными, и он решил пока тело не хоронить и энергично приняться за расследование.

Человек, приехавший из Петербурга с образчиком материи костюма, был мною расспрошен, и из его рассказа выяснилось, что в комнате убитого при обыске было найдено два длинных ножа и серебряная мыльница с вензелем «А».

Услышав о ножах и мыльнице, я тотчас вспомнил о пьяном студенте. Порылся в ящике, и, найдя записку с его показанием и адресом, я полетел к нему. Застав его снова в безнадежно пьяном виде, храпящим в беспробудном сне, я велел привести его в сыскную полицию. Здесь на диване он проспал несколько часов. Когда он пришел в себя, его накормили и напоили, после чего он предстал предо мною.

— Вот что, опишите-ка вы мне вид вашей мыльницы, забытой вами в Киеве.

— Ах, господин начальник, я так виноват перед вами! Честное слово, я все вспоминал адрес этого типа, но никак не мог припомнить.

— Хорошо, об этом после. Как выглядела ваша мыльница?

— Да самая обыкновенная, коробка с крышкой...

— На крышке был какой-нибудь рисунок?

— Нет, имелась лишь буква.

— Какая буква?

— «А».

— Почему же «А»?

— Да это, видите ли, не моя мыльница, а моего приятеля; впрочем, я собирался ее вернуть, да вот не пришлось.

— Теперь извольте припомнить адрес, куда вы ходили наниматься в секретари.

— Да я, ей-Богу, и сам бы рад вспомнить, и, как назло, память отшибло.

— В таком случае я вас отсюда не выпущу. Извольте припомнить.

Студент стал напряженно соображать, тер себе лоб, закатывал глаза, и вдруг лицо его расплылось в улыбку.

— Да, да, кажется, вспомнил! — сказал он радостно. — Третья Ямская-Тверская, номера дома не знаю, но по виду укажу.

— Ну, вот и отлично. Едем сейчас же!

На Третьей Ямской-Тверской студент тотчас же указал на какие-то меблированные комнаты. Их содержала некая Песецкая. Узнав моего спутника и справившись даже об его компаньоне, она рассказала мне подробно, как в ее комнатах проживал некий Павлов, что к нему ходило по объявлениям много молодежи, что, наняв, наконец, «вот их» (она кивнула на студента), он, вместе с секретарем, через несколько дней выехал от нас. Через неделю примерно Павлов вернулся, но уже один. Опять к нему стали ходить разные студенты, и, наняв одного из них, он с неделю как уехал с ним вместе в Петербург. «Впрочем, я по книге точно могу вам сообщить все сроки их отъездов и приездов».

— Посмотрите на эту карточку, не господин ли это Павлов? — сказал я, предъявляя ей фотографию Гилевича, захваченную мной из служебного архива.

— Он, он и есть! — убежденно сказали Песецкая и студент.

Теперь для меня не оставалось сомнения, что убийство на Лештуковом переулке — дело рук Гилевича. Однако мотив убийства оставался для меня неясен. Что могло побудить Гилевича пойти на это страшное дело? Казалось, ни корысть, ни месть не руководили им. Какие же стимулы двигали его преступной волей? Половое извращение, садические наклонности? Но зачем же тогда это переодевание трупа в собственный пиджак? Для чего же это старательное искажение лица убитого?

В это время мне снова позвонил по телефону В. Г. Филиппов.

— Знаете, — сказал он мне, — ваше предположение относительно Гилевича не оправдалось: я вызвал к трупу мать и брата Гилевича, и они оба признали в убитом сына и брата, Андрея. Мать рыдала над покойным, ни минуты не сомневаясь в личности убитого. Придется, видимо, направить розыск по другому пути.

В ответ на это я сообщил В. Г. Филиппову добытые мною сведения и убеждал его не полагаться на мать и брата Гилевича.

Теперь на очереди стоял вопрос о выяснении личности жертвы. Я обратился ко всем ректорам московских высших учебных заведений, прося дать мне сведения о студентах, которые за последние две недели брали долгосрочные отпуска. Вместе с этой просьбой я

сообщил им некоторые приметы убитого студента, т. е. его высокий рост и плотное ширококостное сложение. Вскоре канцелярии учебных заведений прислали мне соответствующие списки, по которым набралось фамилий тридцать. По всем полученным адресам я разослал агентов и лично принялся рассматривать их рапорты.

Из 30 рапортов лишь 2 обратили на себя мое внимание. В первом говорилось, что студент Николай Алексеевич Крылов такого-то числа выехал в Петроград, а во втором, что студент Александр Прилуцкий, найдя занятия, выехал на два месяца в Петроград, оставив в Москве за собой комнату. Я кинулся по последнему адресу.

Квартирная хозяйка дала о Прилуцком хороший отзыв: смирный, кроткий человек, небогат, но платит аккуратно. Говорил, что нашел место в отъезд на два месяца. Комнату оставил за собой, заплатив за месяц вперед. Вещи свои он запер в комнате, захватив с собой лишь небольшой чемоданчик.

Я вызвал агентов и приступил к тщательному обыску. Из хранившейся у Прилуцкого переписки выяснилось, что он сирота и имеет лишь одного близкого, родного человека в лице тетки, живущей в небольшом имении Смоленской губернии.

Я немедленно командировал в это имение агента, снабдив его фотографиями трупа и мертвой головы.

Агент по возвращении доложил, что тетушка Прилуцкого получила от последнего около двух недель тому назад письмо из Москвы, в котором он ей радостно сообщал, что нанялся секретарем к некоему Павлову и уезжает с ним в Петроград. Тетушка была глубоко потрясена и опечалена мыслью о возможности гибели племянника. По предъявленным фотографиям она не могла категорически признать в убитом своего племянника, но по строению и расположению зубов усмотрела в фотографии большое сходство с ним. Тетушка рассказала, что отец покойного, заботясь об образовании сына, положил на его имя 5000 франков в один из парижских банков, надеясь, что сын со временем приедет в Париж для усовершенствования в науках.

По получении этих сведений стало ясным, что убит Прилуцкий.

Но меня продолжал мучить все тот же проклятый вопрос: для чего понадобилось Гилевичу это убийство? Не 5000 франков соблазнили, конечно, его. Прилуцкого он до этого не знал. Очевидно, Прилуцкий стал жертвой благодаря лишь своему сходству с Гилевичем. И все чаще и чаще мне вспоминались слова пьяного студента:

«Он хочет, чтобы я был он, а он — я!»

Сообщив полученные мной дополнительные сведения Филиппову, я узнал, что и у него есть новые, интересные данные по этому делу.

Он запросил все страховые общества, и в результате выяснилось, что жизнь Андрея Гилевича была застрахована в 250 000 рублей в страховом обществе «Нью-Йорк», и оказалось, что мать

Гилевича предъявила уже полис для получения страховой премии. Филиппов отдал, конечно, приказ арестовать мать и брата Гилевича, но в тюрьме брат повесился, и за решеткой осталась сидеть лишь мать.

Так вот для чего понадобилось это таинственное превращение мертвого Прилуцкого в «убитого Гилевича»!

Теперь оставалось разыскать убийцу. Это являлось, однако, делом нелегким, так как за это время он мог легко скрыться за границу.

Самые тщательные розыски не приводили ни к чему. Я стал уже терять терпение, как вдруг получил из Смоленской губернии от тетки Прилуцкого следующее письмо:

«Милостивый государь, господин начальник!

Считаю своим долгом довести до Вашего сведения нижеследующие обстоятельства, могущие, быть может, помочь Вам разобраться в крайне тревожном для меня деле исчезновения моего племянника, Александра Прилуцкого. Вчера я получила из Парижа письмо, при сем прилагаемое якобы от Саши, где он просит меня выслать нужные документы в Главный парижский почтамт до востребования. Они необходимы ему для получения из банка вклада, положенного на его имя отцом. Хотя почерк в письме и походит на Сашин, но меня берут все же сомнения в его подлинности. Кроме того, я не допускаю мысли, чтобы Саша, всегда державший меня в курсе своих дел и предположений, мог уехать в Париж, не предупредив меня о том заранее. Ведь, уезжая из Москвы в Петербург, он тотчас известил меня об этом. Разберитесь, господин начальник, в этом сложном и, может быть, страшном для меня деле, и да поможет Вам в этом Господь!»

По моему приказанию была сейчас же произведена экспертиза почерков пересланного мне письма и автографа Гилевича, хранящегося у нас в архиве, и идентичность их была вполне установлена; особенно сходными оказались заглавные буквы А.

Итак, Гилевич в Париже!

Переговорив с В. Г. Филипповым, мы решили командировать в Париж для задержания Гилевича чрезвычайно способного и дельного чиновника особых поручений М. Н. К—а, каковой, получив мои инструкции, отправился в Париж для задержания Гилевича.

Какова была, однако, моя досада, когда на следующий день после его отъезда в «Новом времени» появилась заметка, сообщающая об отъезде М. К—а в Париж и о цели его командировки. Я немедленно послал срочную шифрованную телеграмму ему вдогонку, сообщая о заметке и предлагая купить все парижские номера «Нового времени» за такое-то число.

Получив мою телеграмму, М. Н. К. по приезде в Париж успел купить все номера газеты на Северном вокзале, и лишь 2 или 3 из них успели проскочить в продажу. Прежде всего, М. Н. К. кинулся в Главный почтамт, где узнал, что по соответствующему номеру до востребования вчера еще была получена каким-то гос-

поодином корреспонденция из России. Оставался, следовательно, банк. Тут, к счастью, деньги, положенные на имя Прилуцкого, еще никем не были взяты. К. предупредил кассира, прося тотчас же его известить, как только явятся за ними. На второй день кассир дал ему знать о соответствующем требовании, и К. увидел незнакомого человека, вовсе не похожего на Гилевича. Он дал ему получить деньги и арестовал незнакомца с помощью французской полиции при его выходе из банка. Арестованный был отвезен в полицейский комиссариат, где и оказался искусно перекрашенным Гилевичем. Когда с него были сняты приклеенные бородка и парик, когда грим был смыт с его лица — в личности арестованного не оставалось никакого сомнения.

Убийца пытался было уверить французскую полицию, что русские власти преследуют его как преступника политического, но словам его, конечно, не придали значения.

Видя, наконец, что игра проиграна, Гилевич признался во всем. Из банка он был препровожден в комиссариат вместе с ручным чемоданчиком, с которым он приехал, очевидно, прямо с вокзала. Теперь, принеся повинную, он попросил разрешения еще раз тщательно помыться, ввиду недавней гримировки. Ему разрешили, и он, в сопровождении полицейского, отправился в уборную, захватив из своего чемоданчика полотенце и мыло. В уборной он незаметно сунул в рот отколотый кусочек мыла и, набрав в руки воды, быстро запил его. Не успел полицейский его отдернуть, как Гилевич уже пал мертвым.

Оказалось, что в мыле он хранил цианистый калий, который и проглотил в критическую минуту.

По распоряжению Филиппова тело Гилевича было набальзамировано и отправлено в Петербург.

Так покончил земные счета один из тяжких преступников нашего времени.

Умелый адвокат, защищавший мать Гилевича, добился ее оправдания. Но что значит для этой матери суд людской с его оправданием или карой, когда она, по возмездью небес, лишилась двух взрослых сыновей, вырванных из жизни петлей и ядом?!

ЖЕРТВЫ ПИНКЕРТОНА

В мой служебный кабинет с перепуганным лицом вошел тучный, высокий человек в пальто с барашковым воротником, высоких, лакированных сапогах и каракулевой шапкой в руках, лет пятидесяти, с проседью, по виду третьеразрядный купец. После нескольких приглашений он решился, наконец, грузно опуститься в кресло, глубоко вздохнул и обтер вспотевший лоб.

— Кто вы и что вам угодно? — спросил я его.

— Мы будем 2-й гильдии купцом, Иваном Степановым Артамоновым, имеем в Замоскворечье свою бакалейную торговлю, а только, между прочим, все это ни к чему, потому что, можно сказать, перед вами не купец, а труп!

— Т. е. как это труп?! — удивился я.

— Оченно даже просто, господин начальник! Какой же я живой человек, когда завтра мне смерть!

— Ничего не понимаю. Говорите, ради Бога, яснее!

— Да уж все расскажу, г. начальник, на то и пришел. Одна на вас надежда, оградите меня от напасти! Не оставьте своей помощью!

И перепуганный купец рассказал следующее:

— Вчерась мы, как и кажинный день, заперли в 9-м часу лавку, отпустили приказчиков, подсчитали выручку и, покончив с делами, поставили самовар и принялись чай пить. Выпили это мы с моей супружницей стаканчика по три. «Дай, — говорит, — Степаныч, я подолью тебе свеженького». А я ей: «Нет, Савишна, что-то не пьется, не по себе мне как-то: не то сердце ноет, не то под ложечкой сосет». — «Это ты крошки перекушал нынче», — отвечает она. «Нет, крошки мы съели в плипорцию. Не в ей дело, душа, — говорю, — как-то ноет. Не быть бы беде!» — «Типун тебе на язык, Степаныч!» — и супруга моя даже сплюнула. Вдруг в это время звякнул звонок. Господи, кого это несет в такую пору? Входит в столовую кухарка и подает письмо. «Откудова?» — спрашиваю. «Да какой-то малец занес, сунул в руку и ушел». Чудно это мне показалось. По коммерции своей я получаю письма, но утром и по почте, а это — на ночь глядя и без марки к тому же. Забилося мое сердце, ищу очков — найти не могу, а они тут же на столе лежат. Савишна мне говорит: «Давай, отец, я распечатаю и прочту. Глаза мои помоложе будут». — «Сделай одолжение, —

говоря я, — а мне что-то боязно!» Супруга раскрыла конверт, вытащила письмо, развернула да как вскрикнет: «С нами крестная сила!» Я всполошился, ажно в пот ударило. «Что, — говорю, — орешь?» — «Смотри, смотри, Степаныч!» — и дрожащей рукой протягивает письмо. Я поглядел: свят! свят! свят! Страсти-то какие! Внизу листочка нарисован страшный шкилет, тут же черный гроб и три свечи. Да вот извольте сами посмотреть! — сказал Артамонов, протягивая мне письмо.

Я пробежал его глазами:

«Приказываю Вам завтра, 13 декабря, вручить мне на площади «У болота», ровно в 8 часов вечера, запечатанный конверт с тысячью рублей. В случае неисполнения этого приказа будете преданы лютой смерти!

Грозный атаман лихой шайки — Черный Ворон».

Купец продолжал:

— Как увидели мы с Савишной шкилет да гроб, сидим ни живы ни мертвы, а читать письмо боимся. Посидели эдак молча, а затем я и говорю: «Ну, Савишна, читай, у тебя глаза вострее!» А она: «Мое ли это дело? Ты хозяин и мужского пола, ты и читай!» Поспорили мы эдак, а читать оба боимся. Концы к концам, я кликнул Настю — это, стало быть, дочку мою. Она у нас образованная, в 7-м классе гимназии обучается, да только не в меру горда. Ну, ладно! «Настенька, — говорю я, — почти-ка нам это письмецо и объясни все по порядку, что в нем прописано». Дочка взяла листок, громко прочла, покачала головой да и говорит эдак мудрено: «Папаша, вы стали, — говорит, — обедком экспроприаторов!..» — «Это что же означает? — говорю. — Каким таким обедком? Да мы, слава Богу, жизнь прожили и не то что обедками никогда не бывали, а люди еще от нас кормились». И так мне обидно стало за это глупое слово! Дочка пожала плечами, фыркнула и, уходя, сказала: «Какой вы, папаша, необразованный, ничего вы не понимаете!» «Ах, ты, дурища! — крикнул я в сердцах. — Я хошь и необразованный, а вот тебя вырастил, выкормил да и наукам обучил, а ты и помочь родителю не хочешь в смертельных опасностях!» Ну, да что с нее возьмешь, г. начальник! Известное дело, — не уважает она нас. Подумал я эдак, подумал и решил отнести завтра деньги. Хошь оно тысячу целковых отвалить и не по нашим капиталам, да что поделаешь, — живот свой дороже. И расстроился я просто во как! Однако Савишна мне говорит: «Не дело надумал, Степаныч! Ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря». «Какое, — говорю, — зря! У меня и у самого сердце кровью обливается, да что ж поделаешь — умирать неохота». А жена в ответ: «Пользы никакой от этого тебе не будет. Ну, заплатишь ты тыщу, а душегубы с тебя через неделю еще три потребуют. Скажут, — купец пугливый да покладистый. Ты что же — и три отвалишь?» И расстроила она меня этими самыми разговорами, г. начальник, до того, что хошь плачь! «Нет, — говорит, — Степаныч, послушай

моего бабьего совета! Сходи ты в сыскную полицию, разыщи самого главного начальника да и расскажи ему все, как есть. Оно вернее будет! И защитит он тебя от мазуриков, да и деньги при тебе останутся». До утра мы с ней судили да рядили, и баба моя на своем настояла. И вот я пришел к вашей милости, не оставьте без внимания, защитите! — И Артамонов, прослезившись, обтер глаза платком.

— Ну, и скажите спасибо вашей жене, что на правильный путь вас направила. Нечего мошенников поощрять! А мы вас защитим, но только и вы должны нам помочь.

— За этим дело не станет! — сказал повеселевший Артамонов. — Ежели там расходы какие или, к примеру сказать, благотворительность, то мы с превеликим нашим удовольствием! — и он полез было за бумажником.

— Да вы, никак, рехнулись, голубчик, с перепугу?! Прячьте, прячьте ваши деньги, они нам не нужны. Мы цареву жалованье получаем и обязаны защищать от мошенников всех и каждого. Ваша помощь будет не в том. Вы должны будете завтра в назначенный в письме час явиться на место и ждать Черного Ворона, а когда он явится и подойдет к вам, то сунуть ему запечатанный конверт, набитый газетной бумагой. В это время мои люди его схватят.

Артамонов чуть не кувырнулся со стула:

— Ну уж нет, г. начальник! От этого увольте! С чего же это я на рожон полезу? Да этот самый Ворон как пальнет в меня — тут мне и конец! У меня как-никак жена, дочь, торговля! Я не только что встречаться, а за версту не желаю видеть этого душегуба! Нет уж, вы, сделайте милость, как-нибудь без меня управиться!

— Чудак вы человек! Как же без вас обойтись? Ведь если вместо вас пойдет другой, то Черный Ворон пройдет мимо него, не останавливаясь, и мы его не обознаем и не словим. Не найдя вас, он обозлится, и вот тогда-то вам, наверное, крышка!

— Мать честная! Святые угодники! Что же мне теперича делать? И так обернешься — плохо, и эдак — ан, еще хуже! Вот истинная напасть, и выхода нет!

— Выход есть: послушайте меня — и все хорошо будет.

— Да как же, г. начальник, ведь боязно-то как?!

— Чего же вы боитесь, подумайте сами? Вы все сделаете, как он приказывал, конверт передадите, с чего же ему вас убивать или трогать?

— Так-то оно так! А ежели они спохватятся, что в конверте не деньги, а одна труха?

— Так мы не дадим ему время разглядывать!

Артамонов глубоко задумался, затем нерешительно молвил:

— А все же, может, г. начальник, вы найдете забубенную голову таку, что за вознаграждение согласится пойтить за место меня.

— Опять начинай сначала! Да ведь Ворон-то вас в глаза знает? Ведь писал-то он вам! Поджидать-то будет вас?

Наконец, после долгих уговариваний, мне удалось уломать и убедить моего купца. Он обещал завтра явиться к «Болоту» ровно в восемь.

Я отправил агента для предварительного осмотра места встречи. Из его донесения выяснилось, что место Вороном выбрано удачно, так как представляет собой обширную площадь. Ни подъезда, ни лавки, ни подворотни, куда бы можно было спрятать засаду, — поблизости не имеется. Я лично съездил взглянуть на площадь и убедился в точности донесения. Однако мне показалось возможным рассадить моих людей по деревьям, там и сям растущим среди площади. Деревья были старые и ветвистые, и, конечно, в декабрьских сумерках, при крайней отдаленности редких керосиновых фонарей, агенты на них будут незаметны.

На следующий день я так и распорядился. Часа за два до условленного срока мои засадчики заняли свои птичьи позиции. Один из них мне потом докладывал:

— Ровно в 8 часов появилась дрожащая фигура Артамонова, каковая, озираясь и спотыкаясь, начала разгуливать по площади, держась поблизости наших деревьев. Минут через 15 появился со стороны прилежавшего к площади рынка мальчишка лет 14-ти, подошел к оцепеневшему купцу и деланным басом проревел:

— Конверт!

Артамонов, дрожа всем телом, протянул конверт и в полуобморочном состоянии прислонился к дереву. Мальчишка, не глядя, стал запихивать воображаемые деньги за пазуху рубашки. Ну, мы тут его и схватили. При обыске у него ничего не оказалось, кроме вот этих трех книжонок. И агент положил мне на стол три лубочно раскрашенных экземпляра из «пинкертоновской» серии. Один из них был как раз озаглавлен Черный Ворон, и тут же на обложке виднелись череп, скрещенные кости, черный гроб и три свечи.

— А ну-ка, позовите-ка ко мне Черного Ворона!

Ко мне ввели мальчика, рыдающего в три ручья.

— Ты и есть Черный Ворон?

Мальчик, не отвечая, продолжал реветь.

— Ах ты паршивец этакий! Вот прикажу сейчас разложить тебя да как всыплю тебе полсотни горячих, так ты у меня забудешь, как людей запугивать письмами!

Выбравив его хорошенько, я вызвал к себе его родителей. Он оказался сыном довольно зажиточного и тоже замоскворецкого лавочника. Перепуганные родители явились в полицию и, услышав о приделке сына, так и ахнули:

— Ах он паскудник! Ах он разбойник этакий! Да ведь теперь сраму от него не оберешься! То-то мы стали замечать, что из выручки стали деньги пропадать. Ну, уж мы ему и зададим! Т. е. так взлупим, что всю жизнь будет помнить!

Счастливым и сияющим, Артамонов явился благодарить за чудесное спасение, но, узнав, в чем было дело, сначала обозлился:

— Ишь щенок паршивый! И подумать только, сколько кровушки он мне перепортил!

Но, быстро успокоясь, назидательно промолвил:

— А всему причиной — книги! Я и то, г. начальник, моей Насте говорю: не суши ты зря мозгов! Коль родилась душой, так душой и помрешь, умней не станешь. Да с ней разве сладишь? Начитается этих самых... как их?.. романов, а там, того и гляди, сбежит из дому с нашим старшим приказчиком — Савельевым!

САШКА СЕМИНАРИСТ

Тяжелые месяцы выпали на мою долю в 1913 году!

Москва была терроризирована серией вооруженных грабежей, сопровождавшихся убийствами. Грабежи эти следовали один за другим, с промежутками в неделю-две и носили несомненные общие признаки: жертвы обирались дочиста (часто до белья включительно), убивались всегда каким-нибудь колющим оружием. Из этого цикла убийств мне особенно врезались в память, по дальнейшему ходу дела, следующие.

Убийство флиртующей пары, направлявшейся на Воробьевы горы в ресторан Крынкина. Убиты и ограблены были не только сидки, но и извозчик, на котором они ехали.

Убийство за Драгомиловской заставой богатого коммерсанта Белостоцкого и тяжкое ранение ехавшего с ним родственника и зверское убийство под Москвой, в селе Богородском двух старух. Картина этого последнего убийства была особенно кошмарна. Жертвы жили в Богородском, в старом церковном домике. Одна из них была вдовой местного священника. Вместе с ней проживала ее сестра-старушка. Обе женщины не только были убиты, но подверглись еще перед смертью утонченной пытке. Вид их трупов леденит кровь: поломанные кости, вырезанные груди, обугленные пятки, — говорили о перенесенных ими чудовищных истязаниях. Все в доме было перевернуто вверх дном. Все, что можно было унести, — унесено. Словом, та же картина ограбления дочиста, столь знакомая мне по ряду других происшедших недавно случаев. Тут же при доме на дворе валялись трупы двух отравленных собак.

Я перечислил лишь три случая, но, в общей сложности, на протяжении трех-четырех месяцев произошло больше десяти злодеяний, совершенных, очевидно, одной шайкой.

После первых двух однородных и нераскрытых случаев я поставил на ноги всю сыскную полицию. Все, что было в ее силах, было сделано. Были опрошены воры и мошенники, зарегистрированные по нашим спискам, были обысканы все обычные места сбыта краденого, десятки агентов проводили дни и ночи во всевозможных кабаках и притонах, особенно охотно посещаемых преступным миром Москвы, в надежде уловить какую-нибудь нить, могущую навести на след. Однако все было безрезультатно.

Не лучше обстояло дело с облавами и засадами.

В конце концов я пришел к заключению, что здесь орудует шайка не профессионалов, а наоборот, людей, никогда не проходивших через руки сыскной полиции и вообще стоящих вдалеке от обычных преступных элементов Москвы. Подобное умозаключение мало еще подвигало меня вперед, и с каждым новым проявлением активности наглой шайки я сильно нервничал, сознавая необходимость во что бы то ни стало быстро раскрыть и уничтожить нарядившуюся преступную организацию.

Но что было делать? Люди мои сбились с ног, я сам измучился в тщетных исканиях ключа к этой головоломной загадке.

И вот уже, медленно крадучись, стало заползать в душу сомнение в своих силах, стала меркнуть вера в себя.

Но, отогнав прочь эту временную слабость, я продолжал напряженно работать.

Наконец, через полтора месяца после разбойного нападения за Драгомиловской заставой, один из коммерсантов, тяжело раненный грабителями, настолько оправился, что, с разрешения врача, я посетил его и произвел допрос.

Он уцелел каким-то чудом. Рана, нанесенная ему в шею у ключицы, оказалась весьма глубокой, и лишь благодаря счастливой случайности сонная артерия не была задета.

— Расскажите мне, пожалуйста, возможно подробнее о нападении, жертвой которого вы стали, — обратился я к раненому.

— Извольте, хотя в сущности я вряд ли смогу быть вам полезным, так как видел и знаю немного.

— Рассказывайте, пожалуйста, все, что вы помните.

— Ехал я с моим покойным родственником вдвоем, в его кабриолете. Он только что получил из банка деньги для расчета с рабочими и какие-то процентные бумаги. Проехали мы Драгомиловскую заставу, начались пустыри, кругом никого. Едем мы молча, погруженные в свои мысли, как вдруг сбоку, из какой-то канавы выскакивает пять человек. Двое из них схватили лошадь под уздцы, а один, по-видимому главарь, крикнул нам: «Ну, вылезайте скорей». Мой родственник вылез. Стал вылезать и я. Как вдруг вижу, что главарь шайки подскочил вплотную к родственнику и страшным ударом ножа уложил его на месте. Не успел я вскрикнуть, как справа подбежал ко мне один из грабителей, щупленький, небольшого роста, и замахнулся на меня ножом. Однако я успел выхватить револьвер и выстрелил в упор. От неожиданности и испуга он громко вскрикнул: «Ох черти!» — после чего завыл от боли и левой рукой схватил кисть своей правой руки. Я, видимо, поранил ему пальцы. Увидя это, главарь крикнул ему: «Эх ты, пиво! И садануть-то как следует не сумел!»

— Как вы сказали: пиво?

— Да, пиво; очевидно, воровская кличка. Тут разбойник, стоявший слева, ударил меня в шею ножом. Я упал, хотя и не потерял сознания. Однако, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, я притворился мертвым. Разбойники ограбили и раздели нас, после

чего скрылись. Через час примерно случайные проезжие меня подобрала.

Полученные мною сведения, несмотря на то что они были довольно скудны, видоизменили мои первоначальные предположения. «Пиво» — несомненная кличка, а раз кличка, следовательно, дело идет о сообществе если и не профессиональных убийц, то, во всяком случае, людей, недалеко стоящих от обычной преступной среды.

Придя к такому выводу, я немедленно запросил петербургскую полицию и все провинциальные сыскные отделения, но отовсюду получил тот же ответ: «Преступника, зарегистрированного под кличкой Пиво, не имеется».

Между тем шайка продолжала безнаказанно орудовать. Вскоре снова произошло дерзкое убийство. Был убит и ограблен богатый тряпичник, вернее — заправила и хозяин целой организации тряпичников. Вместе с ним был ранен один из его работников, показавший, что разбойников было четверо. Картина и приемы грабежа были все те же. Но почему теперь орудовали четверо, а не пять человек, как раньше? Сама собой напрашивалась мысль, что бывший из шайки разбойник покинул ее вследствие ранения руки при самозащите родственника Белостоцкого.

Я порешил поместить во всех газетах обращение к врачам, прося сообщить начальнику Московской сыскной полиции, не обращался ли к ним в течение последних двух месяцев за медицинской помощью низкорослый субъект неинтеллигентного вида, тщедушного телосложения с пораненной кистью правой руки. Многие газеты, поместив это воззвание, описывали тут же и злодеяния, в которых обвинялся разыскиваемый преступник. Одновременно с этим были мною запрошены по тому же поводу все земские и частные больницы, равно как и амбулаторные пункты губернии.

Но все напрасно!..

Московские врачи совсем не отзывались, а больничные пункты дали отрицательные ответы.

Я пришел в полное отчаяние, вылившееся в раздражение, упрекая служебный персонал в ничегонеделании. Я пытался играть на их самолюбии и, наконец, обещал служебную награду тому из них, кто первым откроет хотя бы малейший след в этом, право, заколдованном деле.

Дело это представлялось поистине необычайным: ряд месяцев упорной неослабевающей работы сыскной полиции не дал никаких результатов.

На толкучках и рынках ограбленные вещи не появлялись, и, что удивительнее всего, — молчали банки, конторы и меняльные лавки, получившие от полиции подробные списки похищенных процентных бумаг и купонов. Между тем грабители, продолжая оставаться и орудовать в Москве, должны были время от времени ликвидировать награбленное? Конечно, для меня не было тайной, что в Белокаменной имеются мошеннические меняльные лавки,

скупающие за полцены заведомо краденые ценности; но представлялось невероятным, чтобы ни один купон хотя бы не проскочил в обращение и не был предъявлен к уплате третьими лицами в одно из кредитных учреждений Москвы. Тем более что грабительской шайке удалось завладеть за это время немалым количеством процентных бумаг. Ценные бумаги были похищены и у старушек в Богородском, у убитого Белостоцкого. Жена Белостоцкого показала, что в день убийства муж ее должен был взять из своего вклада в банке на 50 тысяч рублей государственной ренты для внесения этой суммы в виде обеспечения в какое-то дело. В банке это обстоятельство подтвердилось, и было установлено точное количество билетов, взятых покойным Белостоцким в день убийства, и номера серий. Между тем Москва как воды в рот набрала и молчит, сугубо молчит. В отчаянии мне казалось, что не только Москва, но вся Россия, весь мир, все силы земные и небесные против меня.

Между тем жизнь продолжала течь своим порядком, выбрасывая на поверхность всю муть и накипь, столь присущие большим городам с их миллионным разношерстным населением. Передо мной продолжали проходить и мелкие воришки, и дерзкие хищники, и жалкие жулики, и наглые аферисты. В этой скорбной веренице промелькнул между прочими преступниками некий «доктор» Федотов. Этот «доктор» оказался бывшим ротным фельдшером, присвоившим себе самозванно звание доктора медицины и занимавшимся запрещенными законом абортами. При аресте он принес повинную и пожелал почему-то меня видеть. Я его вызвал к себе.

— Что скажете, Федотов?

— Да я, господин начальник, хотел вас попросить: не откажите, пожалуйста, если можете, облегчить мою дальнейшую тяжелую участь, а я вам сообщу кое-какие сведения.

— Хорошо, Федотов, я прикажу своему агенту указать на ваше полное и чистосердечное признание. Большого я сделать не могу.

— Уж вы, пожалуйста, постарайтесь!

— Хорошо, что могу, — то сделаю. Что же вы хотели сообщить мне?

— Я, видите ли, незадолго до ареста прочел в газете ваше обращение к врачам.

— Ну?

— Так вот... Месяца два тому назад ко мне обращался человек, отвечающий данным вами приметам. У него пальцы были поранены и запущены до того, что начиналась гангрена. Спасти их было нельзя, и я ему их отнял, все пять.

— Где же он живет?

— Этого не знаю.

— Как его фамилия?

— Мне он назвался Французовым. Говорил, что руку поранил на пивоваренном заводе, где будто бы работал.

— Как вы сказали, на пивоваренном?

— Да, на пивоваренном.

Мне тотчас же вспомнилась фраза:

— «Эх ты, пиво! И садануть-то как следует не сумел!..»

А ведь за Драгомиловской-то заставой, как раз недалеко от места убийства Белостоцкого, имеется большой пивоваренный завод.

Очевидно, теперь можно будет сдвинуться с мертвой точки и направить розыск по верному следу.

— Почему же, прочитав мое обращение, вы не сделали тогда же заявления? — спросил я Федотова.

Он конфузливо улыбнулся и промолвил:

— Ведь вы, господин начальник, обращались к докторам. А какой же я доктор?

— Не можете ли еще чего сообщить по этому поводу?

— Да, кажется, сказал все, что знал. Разве еще то, что, в уплату за мой труд, он дал мне купон.

— Сейчас же, с двумя надзирателями, сходите домой и принесите этот купон.

По проверке купон оказался с тысячерублевой ренты, принадлежавшей богородской попадье. Этим фактом еще раз подтвердилось участие одних и тех же преступников в ограблении Белостоцкого и старух в Богородском. Итак, я был на верном пути.

По данным московского адресного стола, Французовых числилось человек 20, но все они оказались почтенными людьми, не внушавшими подозрения. Не более успешные сведения получились мною и из провинции.

Отправясь лично на пивоваренный завод, за Драгомиловскую заставу, я справился в конторе у заведующего личным составом о рабочем Французове. Порывшись в списках, заведующий заявил, что рабочего Французова у них нет и не было. Тут же вертевшийся, весьма шустрый, конторский мальчишка, слышавший наш разговор, вдруг выпалил:

— А вот на браге у нас работал Колька Француз.

— Что, это его фамилия? — спросил я.

— Нет, — ответил мальчик, — фамилия ему Фортунатов, а это его прозвали французом.

— Почему же его так прозвали?

— Да потому, что у него была французская болезнь.

Я справился у заведующего об Николае Фортунатове и узнал, что последний взял расчет около трех месяцев тому назад и с тех пор на заводе не показывался. Из опроса рабочих выяснилось, что он уехал в деревню. В конторе же я узнал, что Фортунатов родом из деревни Московского уезда.

В тот же день я с агентами выехал туда. Фортунатова мы там не застали. Родители его давно не видали и будто бы не знали даже его адреса. Однако при обыске, произведенном у них в избе, мы нашли элегантное шелковое платье, отделанное дорогим кру-

жевом. На мой вопрос, откуда оно, старуха принялась рассказывать неправдоподобную историю о какой-то московской барыне, ей якобы его подарившей за долголетнюю и добросовестную доставку молока, сливок, сметаны и прочих молочных продуктов. Старуха путалась, сбивалась и, наконец, созналась, что платье это подарил ей сын, Колька. Я нашел нужным арестовать родителей Фортунатова и, привезя их в Москву, задержал при сыскной полиции.

По наведенным справкам быстро выяснилось, что платье это принадлежало той даме, что была зарезана вместе со своим спутником и с извозчиком по дороге на Воробьевы горы.

Колькины родители оказались хитрыми и осторожными мужиками. Целых две недели добивался я у них адреса Фортунатова, но они упорно отговаривались незнанием.

Наконец, я решил прибегнуть к «подсадке».

Я приказал перевести Колькиных родителей в полицейский дом при Сретенском участке, сделав вид, что отказываюсь добиться от них правды и предоставляю суду разобраться в их деле. Дня за три до их перевода я направил в Сретенский полицейский дом свою агентшу под видом воровки. Об агентше знал лишь смотритель дома, которому мною были даны строгие инструкции не делать никаких послаблений в режиме моей служащей. Через пару дней для большего правдоподобия я одновременно перевел туда содержавшуюся при сыскной полиции настоящую воровку.

Продержав всю эту компанию вместе с неделю, я освободил и вызвал к себе агентшу.

— Ну, что? — спросил я ее.

— Старуха оказалась настоящим кремнем. Я и так, я и сак, — молчит. Однако за неделю я расположила ее к себе, и хоть о деле она ни словом не обмолвилась, но при моем уходе отвела меня в сторону и дала адрес некоей Таньки, Колькиной любовницы. Старуха просит Таньку сходить к сыну и, буде милость его будет, прислать им, старикам, в тюрьму чайку и сахарку.

Моя агентша отправилась к Таньке и в точности исполнила поручение старухи. В то же время за Танькиной квартирой было установлено строгое наблюдение.

Один из моих агентов, красавец собой, переодетый почтальоном, пристал на улице к Таньке, познакомился, разговорился и вскоре же проводил ее до квартиры Фортунатова.

В тот же вечер мы нагрянули с обыском. Преступник держал себя на первых порах крайне нагло.

— Ты Фортунатов?

— А хотя бы и Фортунатов!

— Вот ты-то нам и нужен.

— А зачем это я вам понадобился?

— Где работаешь?

— Нигде. Разве с такой рукой работать можно? Я с ними, кровопийцами и угнетателями бедняков, судиться еще буду!..

— Ну, ладно, француз, одевайся!

— И это уже знаете!..

Обыск у Кольки решительно ничего не дал. Привезя его в сыскную, я тотчас же приказал привести «доктора» Федотова.

Фельдшер лишь слегка кивнул утвердительно головой.

— Что, выдали? — со злою улыбкой спросил Колька у фельдшера.

— Ей-Богу, нет! Что вы, что вы! Я сам здесь сижу, зацапали меня.

— Вот как? Сидите? А пожалуй, и служите здесь? Много ли получаете?

— Да вот сами увидите, когда в одну камеру посадят.

— Эвона! Нашли дурака! В одну камеру! Знакомое дело: ша-лишь!

Я прервал этот диалог:

— Успокойтесь, не будете вместе сидеть.

Фельдшера увели.

— Ну, Фортунатов, полно дурака валять! Признавайся, ведь я все знаю.

— А что вы знаете, когда знать-то нечего?!

— Нечего?

— Нечего!

— А купон с убитой старухи в Богородском?

— Какой купон? Какая такая старуха?

— А тот самый, что ты дал доктору за отнятие пальцев.

— Да я его получил сдачи в какой-то лавке.

— В какой?

— Не помню.

— Эх ты, пиво, и садануть-то как следует не сумел!

При этом восклицании Колька побледнел, тяжело вздохнул, и капли пота выступили у него на лбу. Но, оправившись, он продолжал все отрицать. На следующий день я вызвал к себе родственника Белостоцкого, почти оправившегося от ранения, прося его взглянуть на Кольку. Вместе с тем я предупредил его, что, в случае непризнания или неуверенности, он не должен при Кольке этого обнаруживать.

— Посмотрите молча на него и пройдете в следующую комнату. О результатах же скажете мне потом.

Так и сделали: Фортунатов был вызван ко мне в кабинет. Присутствовавший при этом пострадавший, взглянув на него, простился со мной и вышел из комнаты. Написав какую-то бумажку и сделав надлежащую паузу, я последовал за ним, оставив Кольку с двумя надзирателями. Колька, считавший свою жертву давно убитой, конечно, не обратил на нее никакого внимания.

— Ну что? — спросил я пострадавшего.

Он развел руками:

— По росту и фигуре похож, а Бог же его знает!

— Вы постарайтесь точно припомнить.

— Да, как тут припомнишь? Вот если б по испуганному крику, он до сих пор звенит в моих ушах.

Задача была трудная. Однако я решил попытаться счастья. Позвав надзирателя, я сказал:

— Когда я буду его допрашивать, то вы, стоя за спиной Фортунатова, незаметно приблизьтесь и двумя пальцами ткните его в бок, в щекоотливое место.

Результат превзошел мои ожидания.

Колька, всецело поглощенный допросом, напряженно следящий за каждым своим словом, не заметил приблизившегося к нему надзирателя и, получив вдруг шенкель, от неожиданности и испуга дико вскрикнул:

— Ох, черти!!

При этом крике раненый, находившийся в соседней комнате, бомбой влетел в кабинет, со словами: «Он! Он! Сомнений никаких; тот же голос, те же слова, та же интонация! Ах, он негодяй! Ах, он мерзавец! Ах, он убийца проклятый!» — и с поднятыми кулаками он кинулся было на Кольку. Его оттащили. Не желая терять благоприятный психологический момент и пользуясь полной обалделостью Кольки, я стукнул кулаком по столу и крикнул ему:

— Ну, живо, признавайся! Видишь, сами мертвые встают из гроба и уличают тебя!

Колька заметался, с ужасом поглядел на свою жертву, видимо, признал ее и, с трясущейся челюстью, бессвязно залепетал:

— Да я что? Я ничего. Они же меня ранили...

— Ах, «они же меня ранили»? Довольно!

Колька, поняв, что проговорился, бухнулся на колени и принес полную повинную.

Оказалось, что шайка, так долго терроризировавшая Москву, состоит из пяти человек. Атаманом ее является Сашка Самышкин, по прозвищу Семинарист, а членами состоят: слесарь пивоваренного завода, какой-то мясницкий ученик, как назвал его Колька, Колькин брат да он сам. Адреса их были указаны Колькой, кроме адреса главаря, ему неизвестного. В этот же день грабители были арестованы, причем были найдены многие вещи и ценности, похищенные ими за последние месяцы. Все они рассказывали ужасы про своего атамана. По их словам, это был не человек, а зверь: в убийствах людей он находил какое-то наслаждение, пролитие человеческой крови давало ему какую-то своеобразную сладострастную отраду. По их словам, при убийстве в Богородском, Сашка Семинарист мучил свои жертвы в течение нескольких часов. Дисциплина в шайке была строжайшая. Так, слесарь однажды, исполнивши неточно приказание Сашки, получил от него немедленно пулю в грудь и был ею довольно тяжело ранен. Сашку все остальные преступники, видимо, ненавидели, но еще больше боялись.

При дележе добычи они собирались где-либо на пустырях, и тут же Сашка назначал место, день и час их будущей встречи. В промежутках между этими сборищами Сашка самолично намечал

очередную жертву и, придя на свидание, отдавал лишь соответствующие распоряжения. Об ослушании, отказе или споре не могло быть и речи. Адреса Самышкина никто не знал.

Арестованные убийцы представляли собой полное ничтожество. Особенно отвратное впечатление производил «мясницкий ученик»: среднего роста, с неимоверно широким туловищем, с руками, висящими чуть ли не ниже колен, он внешностью своей напоминал орангутанга. Впрочем, нам эта горилла дала довольно ценное указание. Так как часть процентных бумаг от последнего грабежа, ввиду их разной стоимости, не могла быть немедленно поделена, то Сашка намеревался разменять бумаги на деньги и назначил расчет через пять дней. «Мясницкий ученик» знал при этом, что финансовые операции свои Сашка всегда производил в одной и той же меняльной лавке, на Ильинке, каковую и указал, предполагая, что, ввиду предстоящего расчета, Сашка за эти дни непременно ее посетит.

Внешность Семинариста преступники описали самым подробным образом: высокий рост, смуглое красивое лицо, черные, небольшие, колечком закрученные усы, сверлящий взгляд, походка с развалом. Они предупредили при этом, что Сашка живым не сдается и непременно окажет всяческое сопротивление.

Я установил немедленно тщательное наблюдение за меняльной лавкой, поставив во главе его опытного надзирателя Евдокимова, по прозвищу «Хитровый батька», дав ему на подмогу надзирателя Белкина, отличающегося огромной силой, и десять агентов. Агенты, переодетые двориками, посыльными, извозчиками, дежурили три дня, как вдруг, на четвертый день, появился Сашка. Ему дали войти в лавку. Не желая понапрасну рисковать людьми, Евдокимов порешил отказаться от лобовой атаки, дав Сашке выйти от менялы и пропустив его мимо себя, быстро, вместе с Белкиным, подошел сзади и крепко схватил его под левую, а Белкин под правую руку. Сашка рванулся было, но не тут-то было!

Тогда Сашка прибег к хитрости. Он громко обратился к прохожим за помощью, разыгрывая из себя жертву не то какого-то насилия, не то нападения. И в самом деле, картина была странная: мирный на вид человек, просящий помощи и отбивающийся от почтальона и посыльного, висящих по его бокам.

Когда, извещенный по телефону, я примчался в автомобиле на Ильинку, то застал Евдокимова и Белкина в довольно затруднительном положении: толпа, явно сочувствующая Сашке, сильно напирала на них. Став во весь рост в автомобиле, я громко крикнул:

— Я — начальник сыскной полиции, Кошко, и приказываю немедленно задержать этого величайшего преступника и убийцу!

Эффект получился огромный: народ сразу отхлынул. Усадив Сашку в автомобиль, мы повезли его на Гнездиновский. Описанные приметы Самышкина были довольно точны. Меня поразило в его лице выражение неуклонной воли и властности с примесью презрения.

— Как твоя фамилия? — спросил я.

Он посмотрел на меня сверлящим взглядом и с расстановкой промолвил:

— Вы меня, пожалуйста, не «тыкайте»; не забывайте, что я такой же интеллигент, как и вы.

— Хорошо интеллигент, что и говорить! Ты не интеллигент, а убийца и изверг рода человеческого!

Сашка пожал плечами и замолчал.

Вызвав предварительно к себе в кабинет всю «честную компанию», т. е. слесаря, «мясницкого ученика» и француза с братом, я потребовал и Самышкина. Встреча атамана с шайкой была довольно любопытна. Сашка с величайшим презрением окинул взглядом всех членов шайки и злобно прошептал:

— Что, сволочи, выдали?

Разбойники пришли в неопишное волнение, смертельно, видимо, боясь даже скованного по рукам атамана. Сашка не считал нужным что-либо скрывать и с невероятным цинизмом подробно рассказал о всех своих злодеяниях. Он оказался сыном городского головы одного из уездных городов Пензенской губернии. Дошел в свое время до третьего класса Духовной семинарии, вследствие чего, очевидно, и приобрел свою кличку. Отца и мачеху свою он ненавидел и заявил мне прямо, что намеревался в недалеком будущем отправить их на тот свет. Смелости Сашка был невероятной. Вскоре же после ареста он пытался бежать. Допрашивался он моим чиновником Михайловым, в кабинете последнего. Кабинет этот был расположен на 1-м этаже. Ввиду жары, окна были открыты настежь. Перед Михайловым на столе лежал маузер, и в тот момент, когда он нагнулся поднять что-то с полу, скованный по рукам Сашка быстро подскочил к столу, обеими руками схватил револьвер, оглушил им по голове Михайлова, после чего быстро прыгнул в окно и... очутился в объятиях стоящего под окном городского.

Сашка был приговорен судом к повешению, но по амнистии, последовавшей к Романовскому юбилею, наказание ему было смягчено до 20 лет каторжных работ.

Февральская революция освободила Сашку, пожелавшего якобы отправиться на фронт. На самом деле Сашка явился в Москву, где и принялся за прежнее. Он не забыл свести счеты со слесарем и «мясницким учеником», убив их обоих. Большевикам Сашка чем-то не угодил и был ими расстрелян в 1920 году, в Москве.

ПСИХОПАТКА

В приемной при Московской сыскной полиции был вывешен, по моему распоряжению, плакат, в котором говорилось, что начальник сыскной полиции принимает по делам службы от такого и до такого-то часа, но в случаях, не терпящих отлагательства, — в любой час дня и ночи.

Однажды, как-то ранней весной я засиделся в служебном кабинете до позднего вечера, разбираясь в ряде срочных дел, как вдруг около полуночи слышу, подкатывается к управлению автомобиль, и вскоре дежурный чиновник докладывает:

— Господин начальник, там какая-то дама в трауре желает непременно вас видеть.

— Меня? В такую пору?

— Да, я ей предлагал в общем порядке сделать заявление, но она, указывая на плакат, говорит, что дело не терпит отлагательства, и непременно желает обратиться к вам лично.

Я с досадою пожал плечами:

— Ну, что же, зовите.

Ко мне в кабинет вошла еще не старая женщина, довольно миловидная, вся в черном, с крепом на голове и, подойдя к столу, упала в кресло. Закрыв лицо платочком, она, слова не говоря, принялась рыдать.

— Бога ради, сударыня, успокойтесь, не волнуйтесь и расскажите, в чем дело?

Барыня продолжала рыдать, и вскоре у нее началась икота, нервный смех, словом, все признаки истерики. Я поспешно предложил стакан воды и, дав время успокоиться, снова спросил:

— Скажите, что случилось?

— Ах, мое горе безгранично, я так потрясена.

— Я вас слушаю, сударыня, говорите.

— Господин начальник, у меня пропал кот Альфред!..

Я от неожиданности разинул рот, вытаращил глаза, а в душе поднялась волна негодования.

«Ах ты, дурища этакая!..» — подумал я, но не успел произнести слова, как моя странная посетительница затрещала безудержно, безнадежно, не переводя дыхания:

— Да, господин начальник, чудный, дивный, несравненный сибирский кот, с такими зелеными глазищами и огромными, пуши-

стыми усами, — и дама, вытаращив глаза и надув щеки, постаралась изобразить всю красоту пропавшего кота.

— Послушайте, сударыня, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься подобными пустяками? Сделайте ваше заявление в моей канцелярии, и меры к розыску вашего животного будут приняты.

— Ах, как вы можете, господин начальник, называть постигшее меня горе пустяками!.. Хороши пустяки, когда я не ем, не сплю и лишилась покоя. Да знаете ли вы, что Альфреда моего я любила больше мужа, больше жизни (тут дама истерично взвизгнула), да и как можно было не обожать его? Ведь это был не только красавец, но и удивительный ум. Ах, господин начальник, до чего он был умен! Скажешь ему, бывало, Альфред, прыг мне на плечо, и он тотчас же, изогнув грациозно спину и взмахнув хвостом, делал тигровый прыжок и оказывался моментально на плече!..

— Послушайте, сударыня, — начал было я, но она перебила:

— И заботилась же я, г. начальник, о моем милом котике! Я не только внимательно следила за его желудком, но и стремилась предугадывать все его желания.

Дама опять заплакала.

— Так, может, его никто и не крал? — сказал я, сдерживая улыбку. — А он просто покинул вас и бродит сейчас где-нибудь по крышам. Не забывайте, сударыня, ведь март месяц!

Моя собеседница презрительно на меня поглядела и, пожав плечами, сухо, но с достоинством промолвила:

— Мой Альфред никогда подобной подлости не сделал бы.

Я нажал кнопку и вызвал в кабинет агента Никифорова.

При Московской сыскной полиции имелся так называемый летучий отряд из 40 примерно человек. В него входили специалисты по разным отраслям розыска. В нем имелись: лошадиники, коровники, собачники и кошатники, магазинщики и театралы, — названия, происходящие от сферы их деятельности. Для читателя такое подразделение покажется, быть может, и странным, между тем оно необходимо, так как, во-первых, кражи резко отличаются друг от друга способами их выполнения, а во-вторых, места сбыта ворованного различны. Следовательно, весьма важно иметь постоянных агентов, специализирующихся каждый в своей области.

Вызванный мною Никифоров был кошатником и собачником и проявлял недюжинные способности в своем деле. Слово сама природа создала его для этого амплуа. Даже в его внешности было что-то собачье: сильно вывернутые ноги, как у таксы, манера склонять голову набок, прислушиваясь, и способность при волнении заметно шевелить ушами.

Описав приметы пропавшего кота, я приказал Никифорову, особенно на этот раз, постараться.

После долгих слез, заклиний и мольбы дама, наконец, отпустила мою душу на покаяние, и, вернувшись домой, я, утомленный, крепко заснул.

Во сне я видел Альфреда.

На следующее утро, едва усевшись в своем кабинете, я был потревожен Никифоровым, вошедшим ко мне с большим узлом в руках.

Альфред был найден!

Когда я на письменном столе развязал узел, то в нем оказался действительно очаровательный сибирский кот, каковой, изогнув колесом затекшую спину, принялся разевать розовый ротик и беззвучно мяукать.

— Куда прикажете его деть? — спросил Никифоров.

— Да посадите пока в свободную камеру, но не забудьте закрыть окно.

— Слушаю, г. начальник.

Я позвонил даме по телефону, прося явиться за найденным Альфредом. В трубку я услышал лишь задушевный крик.

Через четверть часа она примчалась на автомобиле и, сияющая, ворвалась ко мне в кабинет.

— О, благодарю, благодарю вас, господин начальник!.. Недаром же я обратилась именно к вам! Я знала, что нет для вас невозможного. Неужели, неужели же мой Альфред найден?! — и она крепко потрясла мне руку. — Но где же он?

— Сейчас вам его принесут. Он посажен в камеру.

— О!.. В камеру!.. Господин начальник!.. — укоризненно протянула она.

— Не мог же я его хранить на сердце, сударыня?!

— Конечно, ну, а все-таки!..

Трудно описать дикую радость ее, когда появился Никифоров, любовно неся в руках Альфреда. Слезы умиления, безумные поцелуи, тискание, прижимание к сердцу. Альфред тут же проявил свой недюжинный ум и явно признал хозяйку.

— Г. начальник, разрешите мне поблагодарить вашего дорогого, милого, симпатичного Никифорова?

— Пожалуйста, сударыня, я ничего не имею...

Каково было мое удивление, когда она вынула пятисотрублевую бумажку, прося передать ее Никифорову.

— Нет, нет, сударыня, такой суммы я принять ему не позволю: вы избалуете мне людей. Да, наконец, что же вы хотите, чтобы завтра же Альфред ваш опять исчез? Нет, не вводите людей в искушение.

Наконец, уговорились на 100 рублях, и обрадованный Никифоров, получив столь неожиданную награду, долго и упорно шевелил в этот день ушами.

НЕСКОЛЬКО ПОРТРЕТОВ

Должность начальника сыскной полиции имеет ту своеобразную особенность, что по характеру своих обязанностей она привлекает к себе людей не только различных социальных положений, но и обращающихся к ней по разнообразным, и часто весьма курьезным, поводам. Начальник сыскной полиции является нередко своего рода духовником и поверенным душ людских, но еще чаще выслушивает ряд вздорных претензий и жалоб. И какие только типы просителей не проходят перед ним! Я в одном из предыдущих рассказов описал уже психопатку с пропавшим котом. Но вот еще несколько курьезных портретов моих нередких посетителей.

РАЗИНЯ

— Г. начальник, там какой-то человек желает вас видеть.

— Что ему нужно?

— Не говорит.

— Ну, просите.

В кабинет степенно входит человек купеческой складки. Ищет глазами образ; найдя, — не торопясь крестится и, отвесив мне чуть ли не поясной поклон, нерешительно приближается к столу.

Я указываю ему на кресло.

— Присаживайтесь!

— Ничего-с, мы и постоим-с.

— Да уж что ж стоять! Разговаривать-то сидя ловче. Садись! Садитесь же!

Мой посетитель садится на край кресла и, оглаживая свою рыжеватую лопатообразную бороду, глядит на меня умиленно-кроткими, голубоватыми глазками. В комнате распространяется своеобразный и довольно сложный запах: какая-то смесь дегтя, пота, чая и черного хлеба.

— Ну, что же вы мне скажете?

Он откашливается и высоким тенором начинает свой рассказ:

— Мы сами будем ярославские. Работаем по торговой части. Барышей огромных не зашибаем, но, между прочим, Бога гневить не будем: кормимся. Вот и нынче пригнал я в Москву-матушку вагон телятинки, продал его без убытку-с. Хорошо-с! Захотелось это мне побаловаться чайком. Ну, что же, была бы охота! Захожу это я в трактир, что «Якорем» зовется. А мы про здешние трактиры московские наслышавшись: не только оберут тебя, как липку, а и самого украдут и цыганам спустят, коль смотреть в оба не будешь. Ну-с, хорошо-с! Вхожу это я, а сам думаю: «Смотри, Митрич, не зевай! Не ровен час!» Слуга в раздевальне мне говорит:

— Купец, снял бы шубу, а то сопреешь!

«Шалишь! — думаю. — Не на дурака напал! Так я тебе и поверил!»

— Ничего, милый, мы привыкли, — говорю я.

А шубу я себе справил степенную, с широким бобровым воротником, — ну, словом, первый сорт. Да нашему брату иначе в Москву и носа не показывай, коммерция того требует, опять же

и для кредита. Ну, так вот-с, вхожу я в зал и усаживаюсь за столик, а шубы не скидываю. Выпил чайник-другой и взопрел. Давай, думаю, скидану-ка я шубу здесь же, на спинку стула, и для верности сяду на нее, куда же ей в таком разе деваться? При мне и останется. Так и сделал.

И в такое это я, ваше высокородие, пришел благодушное равновесие, что и сказать нельзя. Без шубы стало вольготно, теляток хорошо продал, на сердцах легко и весело. Выпил это я не торопясь еще парочку чайников, рассчитался со слугою, даже гривенник ему, мошеннику, отвалил, да и встаю, чтобы облечься в шубу: глядь! Мать честная?! А воротника на шубе как не бывало! Я и сюды, я и туды, спрашиваю я половых, а они только смеются:

— Надо было, купец, шубу-то у швейцара оставить, все бы было цело!

Они, поди же, мошенники, сами же и обкорнали ее. Ну ж и жулье московское! Век буду жить — не забуду и внукам прикажу помнить! Явите Божескую милость, господин начальник, прикажите разыскать воротник! Ведь двести целковых заплачен, не сойти мне с этого места!

НАХАЛ

Сыскной полиции стало известно, что вновь вернулся в Москву, отбыв свой срок высылки, некий ловкий шулер Прутянский. По дошедшим сведениям Прутянский принялся за старое, и я приказал произвести в номере его, в гостинице, обыск. Обыск ничего не дал. И я, конечно, забыл об этом ничтожном случае.

На следующее утро мне докладывают, что какой-то чиновник в форме желает меня видеть.

— Просите.

С шумом раскрывается дверь моего кабинета, и высокий, осанистый господин, с гордо поднятой головой, в форменном кителе ведомства учреждений Императрицы Марии и с форменной фуражкой в руках, быстро подходит к столу, небрежно бросает на него фуражку и, не дожидаясь приглашения, плюхается в кресло.

— Что вам угодно?

— Да помилуйте! Это черт знает что такое! Вчера ваши люди ворвались ко мне в гостиницу, перерыли все вверх дном и, не извинясь даже, ушли. Да ведь это что же такое? Житья нет, если каждый будет безнаказанно врывать в твоё жилище! Да я, наконец, буду жаловаться на вас в Петербург, если вы только не обуздаете ваших олухов!

— Как ваша фамилия?

— Коллежский советник Прутянский, — бросил он небрежно.

Будучи уже взбешенным необычайно наглым тоном моего посетителя да услышав еще фамилию известного, зарегистрированного шулера, я потерял всякое самообладание и, стукнув изо всей силы кулаком по столу, крикнул:

— Вон! Сию минуту вон, нахал этакий! Да я тебя, шулера, не только из кабинета, но и из Москвы немедленно выставлю! Вон, говорят тебе!

И, встав из-за стола, я стал наступать на него. Нахалы обычно бывают не менее трусливы, чем наглы. Это вполне подтвердилось на Прутянском. Забыв на столе фуражку, он кинулся к выходу и, пугливо на меня оборачиваясь, стал царапаться и ломиться в шкаф, стоящий у стены, рядом с дверью.

— Куда в шкаф лезешь? Казенное имущество ломаешь! — крикнул я, притопнув.

Наконец, коллежский советник выбрался из кабинета, оставив на паркете следы своего необычайного волнения.

ГУЛЯКА

Ночью вдруг меня будит телефон.

— Алло, я вас слушаю, — проговорил я хрипло.

В трубке послышался полупьяный голос:

— Позвать ко мне главного начальника всей сыскной полиции Москвы и... и ее уездов!

— Он самый у телефона. Что вам угодно?

— С вами говорит коллежский регистратор Семечкин.

— Очень приятно!

— Мне то-о-же!..

— Что вам от меня нужно?

— Да как же? Помилуйте! Это Бог знает что?! Я говорю чеку, че-ло-о-веку... Подай еще графинчик водки, а он заявляет: «Поздний час, господин, из буфета не отпускают». И что значит «поздний час», когда, строго говоря, ранний... Да, наконец, опять же Лелечка... он меня компер... коммер... компрометирует в ее глазах. Это же не порядок... Как вы находите?

— Конечно, конечно! Вы правы. А где же это вас так компрометируют?

— Как?.. Неужели вы не знаете, а еще главный начальник всех сыскных уездов?! Странно!!

— Представьте, знал, да забыл!

— В «Слоне», в «Слоне», стыдитесь!

— Где же вы там: в общем зале или в кабинете?

— Что за вопрос?! Конечно, в зале! Моя Лелечка не станет шлаться по кабинетам. Сидим справа от входа: я, Лелечка да приятель, Ладонов... Только он напрасно думает... Ничего у него с Лелечкой не выйдет!..

— Хорошо! Вы погодите немного, а я прикажу сейчас хозяину отпустить вам графинчик.

— Хорошо. Я этой услуги вам не забуду! Мерси!

По моему приказанию один из агентов тотчас же направился в ресторан «Слон» и, арестовав Семечкина, водворил его на остаток ночи в полицейскую камеру. На следующее утро мы встретились. Семечкин оказался консисторским служащим, впрыскивавшим вчера в «Слоне» свой первый, только что полученный чин. Это был добродушнейший и безобиднейший человек, лет 25, скромный, конфузливый.

— Ради самого Господа, господин начальник, не оглашайте моего глупого проступка: и со службы-то меня выгонят, и жена съест живьем!

— А как же это вы, господин коллежский регистратор, решились столь бесцеремонно беспокоить меня, да еще среди ночи.

— Видит Бог, был пьян, пьян, как стелька!.. Да разве трезвый я бы посмел?!

Пожутив его еще немного, я отпустил Семечкина на все четыре стороны и, конечно, не возбудил о нем дела.

Радость Семечкина была безбрежна.

НЕДОСТОЙНЫЙ ИЕРЕЙ

Как-то в 1907 году в Петроградскую сыскную полицию обратился сенатор Х. Начальник полиции В. Г. Филиппов отсутствовал, и я, в качестве помощника, заменяя его, принял сенатора.

Ко мне вошел старик лет шестидесяти, весьма почтенного и благообразного вида и, сев в предложенное кресло, с опаской огляделся и негромким голосом заговорил:

— Я обращаюсь к вам по весьма щекотливому и, разумеется, совершенно секретному делу. В моей семье произошло несчастье, и, быть может, вы сможете если и не ликвидировать его совсем, то, по крайней мере, ослабить его печальные последствия.

— Я к вашим услугам, ваше превосходительство.

Сенатор, беспокойно взглянув на меня, продолжал:

— Видите ли, у меня сбежала дочь, — и он сделал паузу. Затем: — Это бы еще куда ни шло! Мало ли бывает: молодость, романы, любовь и подобные бредни. Но несчастье в том, что выбор моей дочери пал черт знает на кого. Ну, будь там какой-нибудь корнет, гусар, адвокат, артист, наконец, готов примириться на длинноволосом студенте, а то, подумайте, — кучер! Грязный, неопрятный мужик, с дегтем, кислятиной и вшами! Какая муха ее укусила, — ума не приложу. Во всяком случае, ни воспитание, ею полученное, ни среда, ее окружающая, не могли привить подобного вкуса. Я просто теряюсь в догадках, что это: эротическое помешательство или желание опроститься по рецепту Толстого? Быть может, я выжил из ума, отстал от века, впал в детство, но решительно отказываюсь понимать поведение моей Наточки.

Лошадиный Ромео умчал ее куда-то, и вот уже несколько дней, как об ней ни слуху ни духу. Я очень, очень прошу вас: помогите мне разыскать мою девочку. Но, ради Бога, никакой огласки, никакого скандала — это так важно и для ее чести, и для моей репутации.

Я успокоил, как умел, старика, обещав немедленно приняться за поиски.

Отыскать Тимофея Цыганова не представляло труда, так как имя его нам дал сенатор, а улицу, дом и квартиру — адресный стол. Я решил вызвать его в сыскную полицию и поговорить сначала по-хорошему.

Ко мне в кабинет вошел здоровенный малый, краснощекий, с длинной черной бородой лопатой и волосами, обильно смазанными деревянным маслом и подстриженными в скобку.

— Здравствуй, Тимофей!

— Здравия желаю, г. начальник!

— Послушай, братец, что ты там затеял?

— Это вы насчет чего же изволите?

— Полно, Тимофей, притворяться! Сам знаешь, что насчет сенаторской дочки говорю.

— Ах, звона про что!

— Ну, так как же?

— Так что? Счастье мое, линия, стало быть, такая подошла!

— Счастье-то счастьем! Но подумай, что же ты делать с нею станешь? Разве она тебе пара?

— Известно: делать буду то, что обыкновенно делают. А пара она мне али нет, — это уж дело мое.

— Что же ты воображаешь, что сенатор на это и согласится?

— А, пушай их не соглашаются! Нам это безразлично!

— Как безразлично? Прикажет, — и разъединят вас.

— Ну, уж этому не бывать! Где это видано, чтобы мужа с женой, без их воли, разъединяли? Такого и закону нет.

— Да вы разве женаты?

— Как же-с! Поживившись законным браком.

— Кто же вас венчал?

— Известное дело, — поп, кому же другому?

— Какого же прихода?

— А вот память отшибло — не помню! — сказал с иронией Тимофей.

— Полно вздор городить! В какой церкви венчались?

— Не желаем говорить, — да и все тут! Хотите, узнавайте сами.

Делать с ним было нечего, и, отпустив его, я приказал агентам проверить во всех церквях брачные записи по метрическим книгам. На что ушло дня три.

В конце этого срока заехал ко мне опять сенатор Х., — справиться о ходе дела. Я передал ему мой разговор с Тимофеем, и старик, узнав о вновь приобретенном «бо-фисе», схватился лишь за голову и упал в кресло. Несколько отдышавшись и обдумав положение, он с грустью сказал:

— Ну, раз дело дошло до свадьбы, то тут не поможешь. Одно осталось, это пообтесать как-нибудь этого болвана да пристроить куда-нибудь в глухую провинцию на службу. Другого выхода у меня нет. Будьте добры, забудьте всю эту грустную историю и прекратите производство по этому делу.

Между тем из ревизии церковных книг выяснилось, что Тимофей Цыганов и девица Х. такого-то числа были повенчаны настоятелем церкви Литовского тюремного замка отцом Владимиром Воздвиженским, причем запись эта в книге была вычеркнута и

сбоку на полях имелась приписка отца Владимира: «Записано по ошибке».

Надо думать, что отец Владимир пронюхал за эти дни о поднятой тревоге и, узнав, что повенчанная им девица — дочь сенатора, струсил и вычеркнул запись. Будучи опрошенным, он заявил, что действительно собирался свершить обряд венчания и заранее заготовил запись в книгу, но, ввиду недоставления молодыми нужных документов, — венчать отказался и запись вычеркнул.

Подробные справки, собранные об о. Владимире, оказались ужасающими. Он принадлежал, очевидно, к тому редкому типу православных пастырей, не верующих ни в Бога, ни в черта и видящих в своем священстве лишь доходную статью, стремясь извлечь из всего максимальную выгоду, не брезгуя при этом никакими средствами. Вместе с тем и частная жизнь о. Владимира была порочна: вечные кутежи, иногда даже оргии, карты и женщины, — вот его обычное времяпрепровождение. В числе собутельников его значился и пономарь церкви Литовского замка, приятель его, некий Афанов.

Добытые сведения об отце Владимире усилили, конечно, наши подозрения, и дело о нем продолжалось.

Запись в метрической книге почерком своим отличалась от приписки на полях, сделанной о. Владимиром. Мы раздобыли, прежде всего, образец почерка пономаря Афанова, и авторство его было немедленно установлено. Афанов оказался невероятным трусом и, будучи припугнут предстоящей тяжелой карой в случае упорства, быстро сознался во всем и рассказал, как было дело. Оказалось, что венчание свершилось за три тысячи рублей, причем невеста предъявила в виде документа всего какую-то визитную карточку с рекомендательной надписью. Свидетелями были: он, пономарь Афанов и тюремный сторож Иванов. Мы арестовали обоих, после чего был приглашен в полицию и отец Владимир.

В кабинет вернувшегося В. Г. Филиппова, где находился и я, был приглашен обвиняемый священник: откормленный человек с рыжей бородой, волнистыми кудрями, в шелковой рясе. Держать себя он пытался приветливо, независимо и боголепно.

— С хорошей погодой вас! — сказал он, подавая руку и взмывая ею как-то сверху вниз.

— Садитесь, батюшка.

— Отчего-с, с превеликим удовольствием!

— Так как же, батюшка, стало быть, не венчали и свадьбы не было?

— Господи ты Боже мой! Да разве бы я посмел без документов! Нет, господа! Свадьба — дело не шуточное. В таинстве этом, освященном Церковью Апостольской, не только духовно соединяются две жизни, но и преподается им обязанность к интимному сближению полов с целью продления рода человеческого...

В. Г. Филиппов прервал его:

— А знаете ли, батюшка, что на Голгофе, рядом со Спасителем, висел и вор на кресте, а вот здесь, — крест висит на воре! — и он указал на наперсный крест батюшки.

— Однако! — изумленно сказал священник, но, оправившись и приняв прежний елейный тон, он продолжал: — Оно, конечно, оскорблять меня вы здесь можете, я — беззащитен; ну, а все-таки почту своим долгом довести ваши слова до сведения Преосвященного.

— Итак, батюшка, решительно: не венчали?

— Да лишусь я своего иерейства, ежели лгу! — и отец Владимир, встав и повернувшись к иконе, широко перекрестился.

— Семенов! — крикнул я. — Введите-ка Афонова.

Дверь раскрылась, и на пороге появилась сконфуженная фигура пономаря.

Он как-то по-идиотски осклабился и, обращаясь к отцу Владимиру, неожиданно радостно объявил:

— Володя, а я сознался!

— Ну и прохвост! — сказал сухо, но убедительно батюшка.

За свои свадебные спекуляции отец Владимир был лишен сана и приговорен к полутора годам арестантских работ.

КРАЖА В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ

Эта дерзкая кража произошла весной, в 1910 г.

Среди сладкого сна, часа этак в 4 утра, я был разбужен телефоном. Дежурный чиновник мне сообщил об известии, только что переданном ему квартальным надзирателем из Кремля. Сообщение было весьма тревожное, а именно: часовой, дежуривший у кремлевской стены, близ Успенского собора, услышал звон разбиваемого стекла и в одном из окон собора заметил силуэт человека, по которому и выстрелил, но, видимо, безрезультатно. Духовные власти уже оповещены и сейчас приступят к открытию и осмотру собора.

Я в минуту оделся и на автомобиле помчался в Кремль. К собору я успел как раз к открытию дверей. С несколькими чинами полиции вошел я в храм и, приступив сначала к беглому, поверхностному осмотру, обнаружил сразу кошунственное злодеяние: слева от царских врат на солее, вплотную к иконостасу, находилась икона Владимирской Божьей Матери в огромном киоте, вернее божнице. Божница эта была в сажень высотой, аршина полтора шириной, с дверцей, и видом своим походила несколько на шкаф. Икона Владимирской Божьей Матери была древней святыней Руси и любимейшей царской семьи, так как иконой этой был благословен на царство первый из дома Романовых — царь Михаил Федорович. Золотая риза образа была богато изукрашена драгоценными камнями, но особую стоимость представлял собою огромный квадратный изумруд, величиной чуть ли не со спичечную коробку, зеленевший среди сверкающих бриллиантов. При осмотре иконы оказалось, что камни эти вместе с кусками золотой ризы были грубо вырезаны каким-то острым инструментом и исчезли бесследно. Живопись самой иконы не была повреждена. На дне киота виднелись золотые обрезки и пыль, тут же валялся окурок. Вор, видимо, свершал свое дело в самой божнице, прикрыв за собой дверцу для уменьшения шума.

Едва я кончил этот осмотр, как храм стал наполняться представителями властей предержащих. Кого-кого тут только не было: и градоначальник, и прокурор, и митрополит Владимир, и представитель дворцового ведомства, и проч., и проч. Такой необычайный интерес к случившемуся объяснялся, конечно, не только размером и дерзостью кражи, но также и живой заинтересованностью в происшедшем государя императора и всей царской семьи.

Я решил приступить к тщательному осмотру собора, дабы точно установить, не скрылся ли преступник или не скрыл ли он награбленного в самом храме. Так как Успенский собор велик, то мне пришлось вытребовать до пятидесяти агентов и, во главе со следователем по особо важным делам К., приступить к обследованию. Осмотр этот оказался нелегким и занял весь день. Трон Бориса Годунова, гробницы патриархов, купол, крыша, равно как и самые потаенные уголки собора, были нами обследованы, но, увы, безрезультатно. Особенно много времени занял иконостас, строго говоря, не иконостас, а та сплошная масса икон, что тянется во много рядов вдоль южных и северных стен собора. Иконы эти прочно скреплены друг с другом и стоят сплошными щитами, причем между задними сторонами икон и стенами храма находится пустое пространство, с пол-аршина шириною. Пространство это внизу шире, так как перед нижними иконами проходит сплошная полка, или, скорее, широкая и высокая ступень, высотой, примерно, в аршин и шириною — вершков в десять. Все это пустое пространство сверху донизу и вдоль всех стен было тщательно обшарено нами с помощью длинных шестов, но тщетно.

На правом подоконнике узкого окна, расположенного над иконами, а следовательно, на значительной высоте от пола, были обнаружены следы потревоженной вековой пыли, но весьма неясные и мало говорящие.

Стекло левого окна было разбито, несмотря на полувершковую толщину. Окно это, впрочем, как и все окна собора, было до того длинно, но узко, что напоминало собой скорее бойницу, и вряд ли человек мог из него вылезти. Однако, для большей достоверности, я отправил самого тощего и маленького агента, с чисто детским телосложением, для осмотра его, и оказалось, что и его комплекция вдвое шире окна.

Вечером, к концу осмотра, в храм приехал опять митрополит Владимир и, обратясь к следователю К., спросил: кончен ли осмотр и может ли храм быть открыт для обычных богослужений? К., не спрося моего мнения, ответил Владыке утвердительно, заявив, что грабитель, конечно, выбрался из храма. Я был решительно обратного мнения. Ведь раз из окон вылезти нельзя, двери же храма с момента выстрела часового по силуэту в окно и до нашего прибытия не расставались со своими пудовыми замками и засовами, следовательно, вор должен находиться в храме и надлежит поставить засаду. Эти соображения я высказал Высокопреосвященнейшему и категорически просил на время отменить богослужения, в противном случае я снимал с себя ответственность за исход дела. Мои настояния возымели действие, и митрополит хотя и неохотно, но согласился их уважить.

В Петербург были посланы тотчас же телеграммы о случившейся краже, и вскоре был получен ответ от министра внутренних дел, что государь император приказывает приложить все силы и средства как к разысканию похищенного, так и к обнаружению виновного.

Итак, я оставил в соборе засаду из двух надзирателей и двух городских.

Прошла ночь — ничего. Прошел день — тоже. Прошла еще бесплодная ночь, и митрополит Владимир прислал мне сказать, что храм необходимо открыть. Я воспротивился, и он уступил. Прошли еще сутки безрезультатно, и Высокопреосвященнейший возобновил свои настояния. С огромным трудом мне удалось выпросить у Владыки еще сутки, по прошествии которых он решительно потребовал снятия засады, причем мне вежливо было дано понять, что, в сущности, не я, а следователь К. руководит следствием и находит со своей стороны засаду излишней. Кое-как мне удалось выпросить у Владыки еще несколько часов.

Тяжелые минуты настали для меня. Неужели же дело, волнующее самого императора, приковавшее к себе внимание обеих столиц, будет мною провалено? Обыски, организованные на Хитровке, Сухаревке и прочих обычных местах сбыта краденого, не дали также ничего. Допрос профессиональных, зарегистрированных воров не был успешнее. А тут как на грех случилось за эти же дни два крупных происшествия: это убийство 9 человек на Ипатьевском переулке и получение 300 000 рублей по подложной ассигновке из губернского казначейства, что, конечно, дробило силы сыскной полиции.

Мрачно сидел я в своем кабинете. Служебное самолюбие страдало. Встревоженное воображение рисовало самые безотрадные перспективы.

Вяло зазвонил телефон, и я неохотно взял трубку:

— Кто говорит?

— Это вы, господин начальник?

— Я, конечно, я, Боже мой!.. — был мой раздраженный ответ.

Это звонил надзиратель, стоявший на наружной охране собора, и сообщал, что в соборе слышна стрельба. Я пулей полетел в Кремль, пригласив с собою и своего помощника В. Е. Андреева. В дверях храма нас встретил один из дежуривших в нем надзирателей, Михайлов, расторопный и довольно интеллигентный малый.

— Ну, что у вас, Михайлов?

— Да все слава Богу, вор пойман.

— А что означает ваша стрельба, неужели оказал сопротивление.

— Какое там, господин начальник, он с голодухи чуть жив.

— Почему же вы стреляли?

Михайлов конфузливо помялся и спросил:

— Прикажете рассказать подробно?

— Говорите.

— Видите ли, господин начальник, сменили мы наших ночных товарищей, и те тут же, под троном царя Бориса, завалились спать. Они спят, а мы с Дементьевым караулим. Как приказано, сидим смирно, не разговариваем. Кругом мертвая тишина. Спокойно смотрят на нас лики святых угодников, да где-то вдалеке мерцает синий огонек неугасимой лампы. Лишь изредка нарушит тишину треск

сухого дерева, да заскребет иной раз мышь у свечного ящика. Сидим мы и молчим, а в голове проносится былая жизнь на Руси, протекавшая в этом храме. Сидишь под тронем Годунова да думаешь: неужели было время, что царь Борис восседал именно здесь, на этом самом месте, над твоей головой? Или представишь себе те десятки тысяч отпеваний, что пропеты были здесь за минувшие столетия. Смотришь на царское и патриаршее место, и мерещатся тебе то Грозный-царь, то Никон-патриарх, и жутко становится как-то на душе. Сажу я это да поглядываю на своего соседа, а у того на лице те же чувства написаны.

В таком напряжении прошел час-другой, как вдруг ясно послышался стук, и еще, и еще. Мы встрепенулись, растолкали спящих товарищей и вчетвером принялись слушать. Непонятный шум продолжался: не то кто-то скребет, не то бьет в стену. Смотрим кругом, а никого не видно, и понять не можем, откуда эти звуки. А они все сильнее и сильнее. Я перекрестился, Дементьев стал шептать молитву. Мы прижались друг к другу и впились в иконостас глазами. Но вдруг случилось нечто ужасное: с самого верхнего ряда икон сорвался образ и с грохотом упал на плиты каменного пола. От этого грохота пошел гул по всему собору и замер где-то в куполе. Шум временно затих, и наступила гробовая тишина. Наши сердца стучат, горло сжимается, во рту пересохло. Как вдруг на том месте, откуда упала икона, появилось нечто. Что это было — разобрать мы не могли, но нечто ужасное, какой-то серый ком, по форме вроде человека, но без глаз, носа, рта и ушей. Мы дико вскрикнули и, не целясь, открыли беспорядочную стрельбу из маузеров по страшному призраку. При первом же выстреле он, цепляясь и хватаясь за иконы, соскользнул на пол и на нем растянулся. Тут мы только разглядели, что перед нами человек. Наши пули его не задели, да только грех большой приключился: одна пуля пробила икону святителя Пантелеимона. Но тут мы упавшего схватили, а вы и подъехали.

Войдя в самый храм, я отправился к вору. Вид его меня поразило: поистине, он походил скорее на призрака, чем на живого человека. Его голова, лицо, руки, платье были окутаны толстым, пушистым слоем вековой пыли. Этот «некто в сером» едва держался на ногах и производил самое жалкое впечатление.

Весть о поимке вора-святотатца быстро разнеслась по Москве, и толпы народа, горя жаждой мщения, хлынули к собору, желая самосудно разделаться с дерзким осквернителем святыни. Об этом донесли мне мои люди, уверяя, что вывести вора из собора главным выходом, через гудящую толпу, немислимо, он неизбежно будет разорван негодующим народом. Поколебавшись, я решил вместе с В. Е. Андреевым вывести вора из храма задним ходом, через Тайницкие ворота и увезти его на извозчике, а не на автомобиле, что дожидался нас со стороны Кремлевской площади. Этот маневр удался, и преступник Кремлевской площади был нами доставлен на Малый Гнездниковский переулок.

Здесь я тотчас же велел принести белье и платье моего старшего сына. Вора вымыли и переодели. Он назвался Сергеем Семиным, по ремеслу — ювелирным учеником.

— Что, Сережка, есть хочешь?

Он вместо ответа задрожал от одного представления об еде и принялся глотать слюни.

Из ближайшего ресторана ему были принесены две порции щей, две отбивные котлеты и огромная булка.

Мне впервые в жизни пришлось воочию наблюдать процесс насыщения поистине голодного человека. Он с жадностью глотал щи, запихивал в рот невероятные куски мяса, рвал хлеб и минут через пять уничтожил все без остатка.

— Хочешь еще?

— Да, если будет ваша милость!

— А не помрешь ли с голодухи-то сразу?

— Ничего-с, в лучшем виде-с съедим-с!

Ему принесли еще котлету и хлеба.

— Ну, а теперь, Сережка, поьем чайку?

— С превеликим удовольствием, господин начальник!

Нам принесли чаю, и я с ним выпил стаканчик.

Между тем за это время ко мне в управление пожаловали московские власти, желающие взглянуть на редкую птицу. Каждый из них подавал мне советы, какие меры и способы применить при допросе. Через градоначальника, генерала Андреянова, мне удалось, наконец, их вежливо сплавить. Но лишь представитель прокуратуры, товарищ прокурора В. В. Ш., настоял на своем присутствии при допросе.

— Ну, Сережка, поел-попил, а теперь поговорим о деле. Где камни?

— Да я передал их Мишке, с Хитрова рынка.

— Ну и дрянь же ты, Сережка. Вот ваш брат про сыскную полицию брешет небылицы: и пытаются, и бьют будто бы вас. А ты видишь, как тебя приняли в сыскной полиции? Одели, накормили, напоили, а ты за это в благодарность врешь, как дурак. Ну и свинья же ты!

Сережка потупил голову, подумал, посмотрел исподлобья на В. В. Ш. и, обратясь ко мне, спросил:

— А кто они будут? — и он кивнул в сторону Ш.

— Это товарищ прокурора.

— Господин начальник, — неуверенно сказал Сережка, — позвольте им выйти вон.

Я смущенно повернулся к Ш. Он поспешно и утвердительно закивал головой и, с натянутой улыбкой подобрав портфель, вышел из кабинета.

Сережка облегченно вздохнул и принялся рассказывать. Оказалось, что все эти трое с лишним суток Семин скрывался за иконами. Когда мы обшаривали шестами пустое пространство, то его не нащупали лишь потому, что ему удалось забиться в нижнюю

выступающую часть сплошной иконной стены, так сказать, под ступеньку или полку, о которой я уже говорил. Шест, опускаемый сверху, доходил до полу, но, конечно, не мог проникнуть круто в сторону и зацепить укрывавшегося.

Семин в своей засаде пережил муки голода и жажды, так как за все время он съел лишь одну просфору и выпил бутылку кагоры, найденные им в алтаре. Пытаясь выбраться, он полез наверх по иконной стене и случайно выдал икону, падением своим столь напугавшую моих агентов.

План действий у Семина был заранее выработан и состоял в том, чтобы, по совершении кражи, спрятать в надежном, заранее облюбованном месте драгоценности и выбраться, разбив окно, наружу. За похищенным же он намеревался явиться через месяц-другой, словом, тогда, когда горячка уляжется. Все, очевидно, так бы и произошло, если бы законы перспективы не обманули Семина. Выбатывая план и осматривая будущее поле действия, он ошибся в размерах окна и, глядя снизу, нашел его достаточно широким, выполняя же преступление и разбив стекло, он тщетно пытался просунуть в окно голову и пролезть: окно оказалось чересчур узким. Просвистевшая над головой пуля часового оповестила его о тревоге, и он кинулся искать убежища. Спустившись с разбитого левого окна, Семин принялся бегать по собору, и, увидав толстый шнур вентилятора, висящий у правого окна, он быстро поднялся по нему, влез на окно, а затем порешил, наконец, спуститься за иконную стену на пол. Отсюда и следы потревоженной пыли на правом окне.

— Куда же ты спрятал вещи?

— Да там же, в соборе, в одной из гробниц.

— Что ты врешь! Мы все гробницы осмотрели.

— Да вам не найти: так ловко запрятано! Видали вы две гробницы рядом под общим мраморным чехлом? Промеж них в мраморе у самого пола большая как бы отдушина, так, с пол-аршина шириной. Вот ежели на животе в нее залезть, то очутишься между двумя металлическими гробами; затем, перевернувшись на спину и подняв правую руку, нужно запустить ее на правый же гроб; там, между ним и мраморным чехлом, — пустота. Тут-то и положены мною снятые драгоценности, завернутые в пиджак. Разве вы не заметили, господин начальник, что меня взяли без пиджака?

— А не врешь ли ты, Сережка? Как же это мои люди не достали их?

— Да, кроме меня, никому и не достать! Нужно уметь.

— Ну, вот что, Сережка! Едем в собор, ты и достанешь.

Хотя я и боялся использовать его услуги, так как мало ли что, он мог еще там удивиться, но решил рискнуть. Однако все обошлось благополучно, и Сережка добыл вещи.

Я обратился к прокурору, прося вместо К. назначить другого следователя для избежания каких-либо трений со мной в дальнейшем течение следствия. Просьбу мою прокурор уважил, и был

назначен следователь Головня. Лишь только вещи были найдены, начались поздравления и приветствия со всех сторон. Митрополит Владимир, лично приезжавший благодарить меня, чувствовал себя сконфуженным и горячо извинялся за свои сомнения в моих розыскных способностях. Из кусков стекла разбитого соборного окна я приказал сделать овальные стеклышки, прикрывающие крошечные фотографии Успенского собора, и в виде брелков подарил их на память каждому участвовавшему в раскрытии этого дела, причем и следователь К. не был мною забыт.

Вскоре ко мне явилась делегация от церковных властей и поднесла благословенную митрополитом Владимиром копию иконы Владимирской Божьей Матери, в кованой, серебряной ризе, с соответствующей надписью. Эта икона была передана мною моему сыну-стрелку и погибла в Царском Селе при разгроме большевиками его квартиры.

На суде, приговорившем Семина к восьми годам каторжных работ, защитник его пел долгие дифирамбы по адресу Московской сыскальной полиции, указывая на вздорность слухов о жестоком якобы обращении в ней с преступниками, ставя ее на один уровень с европейскими полициями (чем я, впрочем, был не особенно польщен). Сам подсудимый в последнем слове, ему предоставленном, кратко заявил:

— Одно могу сказать, господа правосудие, что ежели бы не господин Кошкин, то не видать бы вам бруллиантов!..

И эти слова были для меня, конечно, лучшей наградой.

УБИЙСТВО В ИПАТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

В дни нашумевшего дела о краже в Успенском соборе в Москве произошло другое событие, глубоко взволновавшее население Первopрестольной. Сыскная полиция была извещена об убийстве 9 человек в Ипатьевском переулке.

Переулоч этот представляет собой узкий, вымощенный крупным булыжником проезд, с лепящимися друг к другу домами и домишками, и ничем особым не отличается.

В одном из полуразрушившихся от ветхости домов, давно предназначенном на слом, в единственной относительно уцелевшей в нем квартире ютилась рабочая семья, состоящая из 9 человек. Четыре взрослых приказчика и пять мальчиков составляли эту семейную артель. Все они были родом из одной деревни Рязанской губернии, и работали в Москве все сообща на мануфактурной фабрике. Злодейство было обнаружено после того, как жертвы не явились на работу. Встревоженная администрация предприятия в то же утро послала одного из своих служащих справиться о причине этой массовой неявки, и последний, войдя в злополучную квартиру, был потрясен видом крови, просочившейся из-под дверей ее комнат и застывшей бурыми змейками в прихожей. На его зов никто не откликнулся. В доме царила могильная тишина. Администрация нас тотчас же известила, и я лично немедленно направился в Ипатьевский переулоч.

Старый, облезлый дом, с побитыми окнами, с покоробленной крышей, с покосившимися дверями и покривившимися лестницами, напоминал заброшенный улей. Никто, разумеется, не охранял этой руины. Ни дворников, ни швейцара в нем, конечно, не было. Поднявшись во второй этаж, я приоткрыл дверь единственной квартиры, еще недавно населенной людьми, а ныне ставшей кладбищем. Спертый, тяжелый дух ударил мне в нос: какой-то сложный запах бойни, мертвецкой и трактира. Волна воздуха, ворвавшаяся со мной, уныло заколебала густую паутину, фестонами висящую по углам комнаты. Это была, видимо, прихожая. Открыв правую дверь и осторожно шагая по липкому, сплошь залитому застывшей кровью полу, я увидел две убогие кровати, составлявшие единственную обстановку этой комнаты. На них лежало два мальчика, один — лет 12, другой — лет 14 на вид. Дети казались мирно спящими, и, если бы не восковая

бледность их лиц да не огромные, зияющие раны на их темени, — ничто бы не говорило об отнятой у них жизни. Та же картина была в левой от прихожей комнате, с той лишь разницей, что вместо двух там спали вечным сном три мальчика, того же, примерно, возраста. В соседней с нею комнате, с той же раной, лежал на постели взрослый человек, очевидно, приказчик. Из прихожей прямо вел коридор в две смежные комнаты — первую большую, а за ней маленькую. В большой лежало два взрослых трупа. Из маленькой до моего приезда был увезен в больницу пострадавший, подававший еще некоторые признаки жизни. Посреди задней большой комнаты стоял круглый стол, на нем недопитые бутылки водки и пива, а рядом с ними вырванный листок из записной книжки, и на нем ломаным почерком было нацарапано карандашом:

«Ванька и Колька, мы вас любили, мы вас и убили».

Поражало обилие крови, буквально наводнившей всю квартиру. Не только пол был ею залит, но подтеки и следы ее виднелись повсюду: и на стенах, и на окнах, и на дверях, и на печках.

Осмотр помещения привел к обнаружению в печке кучи золы, в которой оказался полуистлевший воротник от сгоревшей мужской рубашки, а из самых глубин печки была извлечена десятифунтовая штанга с отпиленным вместе с шаром концом. Этой своего рода булавой, видимо, и орудовали преступники, проламывая черепа своих жертв.

Имевшиеся в квартире сундучки, — обычная принадлежность простого рабочего человека, хранящая обыкновенно его незатейливый скарб, — были взломаны и говорили о грабеже.

Чувствовалось, что записка с дикой надписью не есть тот конец, ухватясь за который удастся распутать кровавый клубок. Несомненно, это была лишь наивная попытка направить розыск по ложному пути. Я говорю, — наивная, так как для чего же было убийцам оповещать уже мертвых любовников о своем авторстве? Для чего было рисковать и оставлять чуть ли не визитные карточки? Наконец, представлялось маловероятным, чтобы две женщины могли запросто осилить и убить 9 человек.

Как я говорил уже выше, дом был необитаем, следовательно, не у кого было справиться ни о жизни, ни о привычках убитых. Не представлялось возможным выяснить, хотя бы даже приблизительно, обстановку не только в день убийства, но и за неделю, за месяц до него.

Прежде всего я обратился в лечебницу, куда был перевезен оставшийся в живых приказчик. Но он оказался при смерти, в полном забытии, и лишь бессвязно бредил. Я просил медицинский персонал внимательно следить за его бредом. Но результат от этого получился ничтожный и довольно странный: мне сообщили, что среди бессвязного лепета раненый часто и отчетливо повторяет слово: «Европа».

— Почему «Европа»? Почему эта часть света так полюбилась вдруг этому несчастному, в лучшем случае, только грамотному человеку?

Но через неделю и он умер, а с его смертью еще больше потускнела и надежда добиться истины.

Одновременно я обратился и в мануфактурное предприятие, где навел подробные справки о покойных служащих. Там я получил хотя и туманные, но все же кой-какие указания, а именно: некоторые из товарищей скончавшегося в лечебнице приказчика мелко слышали, что покойный намеревался открыть в сообществе с каким-то земляком какое-то торговое предприятие.

Так как земляка этого никто никогда не видел, то разыскать его представлялось далеко не легким делом. Между тем земляк этот представлялся мне если не ключом к загадке, то, во всяком случае, единственным имеющимся шансом к ее растолкованию.

Следовательно, он должен был быть разыскан. Я послал агента в Рязанскую губернию, чтобы составить в волостном правлении точный список всех крестьян волости, к которой принадлежал покойный, проживавших за последний год в Москве. Их набралось до 300. Я разбил Москву на участки, и десятки моих агентов принялись порайонно допрашивать всех помещенных в списке рязанцев. Их подробно расспрашивали о жизни и работе в Москве, будто ненароком спрашиваясь и об убитом земляке. Конечно, принятая работа могла оказаться стрельбой по воробьям из пушки, но иного способа у меня не было и волей-неволей я остановился на этом.

Неделя прошла, не дав ничего. Как вдруг на второй неделе, при опросе рязанцев, проживавших в Марьиной роще, выяснилось, что одна из чайных этой части города была недавно продана старым владельцем, — рязанским крестьянином, Михаилом Лягушкиным, — новому, причем чайная эта носила громкое название «Европа».

Европа — это было уже ценное указание, принимая во внимание бред умершего приказчика.

Я принялся за поиски Михаила Лягушкина. В районе Марьиной рощи его знали почти все и в один голос говорили, что, продав чайную, он уехал на родину, в деревню. Но агент, снова посланный в Рязанскую губернию, выяснил, что Лягушкин туда не появлялся.

Однако недели через две по Марьиной роще, где продолжали дежурить мои люди, пронесся слух, что Лягушкин приобрел трактир в Филях и, отремонтировав его, открыл под той же вывеской — «Европа». Это подтвердилось, и Лягушкин в Филях был немедленно арестован и привезен в сыскную полицию. Он оказался крошечным человечком с птичьей физиономией и с черными, бегающими глазами. Конечно, вину свою он упорно отрицал. Обыск в Филях ничего не дал, но детальный осмотр его белья, платья и обуви лишь усилил мои подозрения, так как в рубце между заготовкой и подошвой сапога были обнаружены следы старой, запекшейся

крови. Присутствие ее Лягушкин объяснил своими нередкими посещениями бойни. Между тем химический и микроскопический анализы показали, что кровь человеческая. Полуистлевший воротник рубашки, найденный в печке, несмотря на свой крохотный, чисто детский размер, приходился Лягушкину впору.

Наконец, сравнение почерков хитроумной записки и торговых книг трактира «Европа» подтвердило их тождество. Но несмотря на эти улики, Лягушкин продолжал все отрицать.

Потребовав точного отчета об его местожительстве со дня убийства до дня открытия трактира в Филях, мы получили адреса трех углов, последовательно им перемененных за этот промежуток времени. Сделав в них обыски, мы ничего не нашли. Однако в первой квартире хозяйка указала, что, до того как поселиться у нее, Лягушкин жил месяца три напротив, у сапожника, снимая там комнату.

Сделали обыск и у сапожника.

Здесь мы обрели ценную находку.

В чуланчике, примыкавшем к комнатухе, некогда занимаемой Лягушкиным, была найдена отпиленная короткая часть штанги с шаром, которой недоставало у орудия преступника, обнаруженного в печке, на месте убийства.

Под тяжестью этой новой неопровержимой улики преступник, наконец, сознался.

Оказалось, что убитый приказчик давно уже решил купить у него чайную «Европа», в Марьиной роще, и в день смерти взял 5000 рублей, накопленные за долгую службу, намереваясь на следующий же день свершить купчую. Вечером к нему зашел Лягушкин, не раз навещавший его за эти месяцы.

Сделку заблаговременно «вспрыснули», и Лягушкин угостил, кстати, и проживавших в той же комнате двух других приказчиков. В этот вечер он не раз бегал в соседний трактир за «подкреплением». Наконец, когда хозяева отяжелели от вина, он распрощался и ушел, но... через час вернулся, прошел по коридору опять в большую комнату и, подкравшись к спящим приказчикам, уложил их обоих на месте; затем в следующей комнате покончил (вернее, смертельно ранил) и покупателя. Со дна его сундука он извлек злополучные пять тысяч и намеревался скрыться, как вдруг его взяло сомнение. Я привожу дословно его дальнейшее показание:

— «Нет, Мишка, — сказал я себе, — не валяй дурака, покончи и с остальными. Ведь все они мне земляки, стало быть, и по деревне молва пойдет, да и полиции расскажут, что вот, мол, такой-то вчера водку вместе с ними пил, и будет мне крышка. Тогда я взял свою культяпку и прошел обратно в прихожую, а из нее сначала в одну, а потом и в другие две комнаты. Жалко было пробивать детские черепочки, да что же поделаешь? Своя рубашка ближе к телу. Расходилась рука, и пошел я пощелкивать головами, что орехами, опять же вид крови распалил меня: течет она алыми,

теплыми струйками по пальцам моим, и на сердце как-то щекотно и забористо стало.

Прикончив всех, я заодно перерыл сундуки, да одна дрянь оказалась. Кстати, передел чистую рубаху, а свою, кровавую, пожег в печке для верности; туда же и гирьку запрятал».

Жутко было слушать исповедь этого человека-зверя с таким спокойствием излагавшего историю своего кошмарного преступления.

Суд приговорил Лягушкина к бессрочной каторге.

МАРИЕНБУРГСКИЕ ПОДЖОГИ

В самом начале девяностых годов, в бытность мою начальником Рижской сыскной полиции, лифляндский губернатор М. А. Пашков предложил мне заняться так называемым Мариенбургским делом. Мариенбург — это большое, густо заселенное местечко Валкского уезда, принадлежавшее некоему барону Вольфу. Барон сдавал эту землю в долгосрочную аренду, и люди, снимая ее, строились, обзаводились хозяйством, плодились и умирали. Ничто не нарушало мирного, своеобразного уклада жизни этого уголка, уклада, не лишённого, впрочем, некоторого феодального оттенка. Барон Вольф являлся не только собственником земли, но и обладал, по отношению людей, ее населяющих, некоторыми обломками суверенных прав. По праву так называемого патронатства от него зависел выбор местного пастора. И вот на этой-то почве разыгралось дело, о котором я хочу рассказать.

Вновь назначенный бароном пастор был не угоден населению, и последнее, не добившись от барона его увольнения, перешло в виде протеста к насилию. Начался ряд поджогов сначала хозяйственных построек, принадлежавших владельцу, затем строений, отведенных под жилье пастора, потом обширных запасов сена, хлеба и прочих сельских продуктов, получаемых пастором с довольно значительного участка, наконец, войдя во вкус, поджигатели принялись и за рядовых жителей. Пожары сопровождались кражами, иногда довольно значительными; были случаи и с человеческими жертвами. Так, при одном пожаре сгорели старуха с внуком.

Местная полиция, с ее малочисленным штатом и скромным бюджетом, была бессильна что-либо поделать. Барон Вольф жаловался в Петербург на бездействие властей, результатом чего и было предложение губернатора мобилизовать мне силы Рижской сыскной полиции, вместе с широким ассигнованием средств, потребных на ведение этого дела. Одновременно со мной был привлечен к этой работе и прокурор рижского суда А. Н. Гессе.

Выслав вперед нескольких агентов, я с прокурором выехал в Мариенбург, где А. Н. Гессе, кстати, хотел ознакомиться с делопроизводством местного судебного следователя, — милого, но малоопытного человека. Остановились мы в своем вагоне, а вечер провели у судебного следователя. Возвращаясь к ночи на вокзал, мы были свидетелями очередной «иллюминации». Как уверяли потом,

обнаглевшие поджигатели в честь нашего приезда подожгли два огромные стога сена. На следующий день, произведя всестороннее расследование случившихся за последний месяц пожаров, мне без труда удалось установить факт поджогов. Где находили остатки порохового шнура, где обгорелый трут, а то и просто следы керосина.

Мои агенты, проводившие время по трактирам, пивным и рынку, не уловили ни малейшего намека на имена возможных виновников, услышав лишь общее подтверждение наличия именно поджогов. Вместе с тем они вынесли впечатление, что благодаря шуму, поднятому вокруг этого дела, и безрезультатным усилиям уездной полиции, продолжающимся вот уже с месяц, все местные жители крайне осторожны и сдержанны со всяким новым, незнакомым лицом. Тщетно мои два старших надзирателя уверяли всех и каждого, что они рабочие с недалекого завода, выигравшие 5 тысяч рублей в германскую лотерею, запрещенную нашим правительством, но, тем не менее, весьма распространенную по Лифляндской губернии, и подыскивающие небольшое, но свое, торговое дело, — им плохо верили, относясь с опаской, исключаящей, конечно, всякую откровенность.

Получив вещественные доказательства поджогов и малообещающие сведения о возможности поимки виновных, я в довольно кислом настроении вернулся в Ригу.

Представлялось очевидным, что лишь коренной житель Мариенбурга, пользующийся доверием своих земляков, мог бы пролить хотя бы некоторый свет на это недаввшееся в руки дело. Но, к сожалению, таким «языком» мы не располагали, и оставалось лишь одно — искусственно его создать. Конечно, такая комбинация требовала времени, что мало меня устраивало, так как поджоги все продолжались, но, за неимением другого, пришлось прибегнуть к этому затяжному способу.

Призвав к себе одного из ездивших со мной агентов, я предложил ему вновь прозондировать почву в Мариенбурге с целью определения того вида торговли, каковым они могли бы там заняться, не внушая подозрения.

По возвращении из командировки агент доложил, что лучше всего было бы открыть пивную, так как в местечке их всего две, да и по характеру торговли пивные всегда служат местом многолюдных сборищ, что опять-таки облегчает возможность получения нужных нам сведений.

Сказано — сделано!..

Снабдив моих двух агентов подложными паспортами со штемпелями и пропиской того завода, на коем, по их словам, они работали до лотерейного выигрыша, я отправил их в Мариенбург торговать пивом.

Прошло недели две, и один из агентов, приехав в Ригу, сообщает, что дела идут плохо, пивная пустует, публика, по старой памяти, идет в прежние лавки, а их обходит.

Что тут делать?

Поломав голову, я изобрел следующий аттракцион. Вспомнив, как в дни юности захаживал я иногда на Измайловском проспекте в Bier-Halle, где к кружке пива непременно подавалась соленая сушка, я предложил и моим людям завести такой обычай. На возражение агента, что подобный расход даст убыток предприятию, я ответил согласием на убыток, и он уехал обратно в Мариенбург, увозя с собой из Риги несколько пудов соленых сушек.

Сушка оказала магическое действие, и через неделю, примерно, агенты сообщали, что от публики отбою нет.

Прошло так месяца полтора, и стал приближаться Новый год. Агенты мне пишут:

«Как нам быть, г. начальник? К Новому году торговые патенты должны быть обменены, и по установившемуся обычаю принято при получении нового — передавать младшему помощнику начальника уезда конверт с 10—15 рублями, принося ему вместе с тем новогодние поздравления».

Я ответил: «Передавайте конверт и поздравляйте».

Они так и сделали. Один из агентов отправился в нужный день к начальству и, получив новый патент и передав красненькую, поздравил его с Новым годом. Он был высокомилоливо принят начальством, и все обошлось гладко.

Между тем поджоги продолжались. Я нервничал и торопил моих «купцов».

Наконец, в начале февраля они доносят, что имеют сильное подозрение против ряда лиц, посещающих их лавку. Во главе этой дружной и вечно пьяной компании, состоящей из кузнеца и 2-х сыновей сторожа кирпичи, стоит некий Залит — местный брандмейстер, он же и фотограф. Подозрения свои агенты строят, во-первых, на том, что все эти люди, особенно сыновья сторожа, были по общему отзыву доселе бедняками. Между тем за последние месяцы они швыряют деньгами и целыми днями торчат в пивной, выпивая бесконечное количество пива. Во-вторых, был такого рода случай: пьяный кузнец как-то проговорился и предсказал на ночь пожар, намякнув при этом и на обреченный дом. Предсказанье в точности сбылось, и дом сгорел. Агенты тут же сообщали подробные адреса этих четырех заподозренных лиц.

Получив столь серьезные сведения, я опять в обществе прокурора, милейшего А. Н. Гессе, выехал в Мариенбург, захватив с собой нескольких своих людей.

На место мы прибыли к вечеру и, дождавшись ночи, вышли из своего вагона и, разбившись на три группы, одновременно нагрянули с обысками к брандмейстеру, кузнецу и сыновьям сторожа. Победа оказалась полной.

Как у Залита, так и его сообщников мы обнаружили значительные суммы денег, о происхождении коих они не могли дать объяснений. У каждого из них мы нашли восковые конверты с пороховым шнуром, по несколько десятков аршин трута, большие запасы керосина и т. д., и т. д.

Все они были, конечно, арестованы и препровождены в Ригу. Я лично присутствовал на громком процессе этих поджигателей, имевшем место в Риге, причем у меня с защитником обвиняемых, известным петроградским адвокатом Г., произошел довольно странный конфликт. В качестве свидетеля я рассказал подробно и откровенно суду о пивном трюке, к каковому мне пришлось прибегнуть для уловления виновных. На обычное предложение председателя суда, обращенное сначала к прокурору, а затем и к защитнику: не имеете ли предложить вопросы свидетелю, прокурор ответил отрицательно, а присяжный поверенный Г. с запальчивостью:

— О, да!.. Имею!.. — после чего, повернувшись ко мне, наглым и ироническим тоном спросил:

— Расскажите, любопытный свидетель, какими еще происками занимались вы в Мариенбурге?

Я обратился к председателю:

— Г. председатель, я покорнейше прошу вас оградить меня от выпадов этого развязного господина!

Председатель принял мою сторону и заявил Г.:

— Г. защитник! Призываю вас к порядку и прошу задавать вопросы свидетелю через меня и в более приличной форме!

Г. возразил:

— Я требую занесения слов свидетеля, обращенных ко мне, в протокол.

Я потребовал того же.

— Не имеете ли еще вопросов? — спросил председатель адвоката Г.

— Нет, не имею.

На этом инцидент был исчерпан.

Брандмейстера Залита приговорили к 8 годам каторжных работ. Его сообщники отделались, кажется, меньшими сроками.

По окончании дела я, в присутствии моего агента, вызвал к себе помощника начальника уезда.

— Послушайте, а красненькую-то отдать нужно! Деньги ведь казенные.

Он, в сильном смущении, ответил:

— Слушаю-с, господин начальник! — и торопливо полез в бумажник. Вспотевший, красный как рак, он долго упрашивал меня не докладывать губернатору об его зазорном поступке, и я, на радостях, каюсь: махнул на него рукой.

ДАКТИЛОСКОПИЯ

В борьбе с преступным миром дактилоскопия не раз оказывала мне существенные услуги. В этом отношении мне особенно врезался в память следующий случай.

Но прежде чем рассказать о нем, я принужден сделать маленькое отступление и, хотя бы в самых кратких и общих чертах, напомнить читателю, что такое дактилоскопия. Дело в том, что нет в мире двух людей, у коих рисунок кожи на пальцах был бы одинаков. Разница либо в спиральных кожных линиях, либо в узелках, либо в морщинках, — но всегда и непременно имеется. Эта особенность кожи чрезвычайно прочна. Так никакие ожоги и ранения кожных покровов не в силах видоизменить первоначального рисунка. Пройдет ожог, затянется поранение, и снова на молодой, вновь родившейся коже проступит тот же рисунок, что был ей свойствен с момента появления данного человека на Божий свет. На этом причудливом свойстве природы, известном, впрочем, еще в глубокой древности, основаны ныне и дактилоскопические системы. Способ относительно быстрого нахождения в многочисленных, прежде снятых отпечатках снимка, тождественного с только что снятым, был разработан и применен мною впервые в Москве. Он, очевидно, оказался удачным, так как был вскоре же принят и в Англии, где и поныне английская полиция продолжает им пользоваться.

Итак, в 1910 году меня как-то известили по телефону, что в только что прибывшем ростовском поезде, в купе 1-го класса, обнаружен труп мужчины, лет 45, убитого ударом кинжала в грудь. В сопровождении судебного следователя Ч. и полицейского врача М. я немедленно отправился на Курский вокзал. Вагон с убитым оказался отцепленным и стоящим на одном из запасных путей. Отодвинув дверцу купе, нам представилась следующая картина: на нижнем диване, головой к окну, лежал на спине человек лет 45 на вид, одетый в пиджак, без воротника (последний тут же виднелся в сеточке на стенке); правая рука у трупа свесилась и пальцами касалась пола. С левой стороны груди у убитого торчала белая ручка слоновой кости глубоко воткнутого в тело кинжала. Лицо трупа было покойно, он походил на мирно спящего человека, из чего возникло предположение, что смерть последовала мгновенно и, надо думать, во сне. Во всяком случае, ни малейших следов борьбы не имелось. Все в купе было в порядке: два запертых че-

моданчика лежало на верхней сетке, на столе виднелась раскрытая коробка тульских пряников, что как будто бы давало основание думать, что убийство, вероятно, совершено между Тулой и Москвой. При обыске трупа мы обнаружили в боковом кармане пиджака совершенно новенький бумажник с 275 рублями, с монограммой «К». В левом кармане брюк находился хотя и смятый, но не бывший в употреблении носовой платок, с большой, красной меткой (тоже «К») и в правом — серебряный, гладкий портсигар, с большой золотой монограммой, все с тем же «К» и двумя золотыми украшениями: фигуркой обнаженной женщины и кошечки с крохотными изумрудами вместо глаз. Этот портсигар сразу обратил на себя мое внимание, и я бережно, не касаясь гладкой поверхности и держа его осторожно пальцами за ребра, принялся его осматривать. Мне бросились в глаза два небольших кровавых пятнышка и следы захватов от пальцев. Я тотчас же осмотрел руки убитого, но они оказались чистыми, без малейших следов крови. Невольно напрашивалась мысль, что портсигар этот подsunут убитому убийцей уже после совершения преступления. Ввиду целостности вещей: часов (они оказались на убитом), бумажника с 275 рублями и пр., похоже было, что преступление совершено не с целью грабежа. Никаких документов, устанавливающих личность, на покойном не оказалось. Из расспросов проводника вагона, заступившего в Орле, мы узнали, что он видел покойного в последний раз в Туле, возвращавшимся в вагон с коробкой пряников в руках. Убийство было обнаружено лишь по прибытии поезда в Москву при обычном обходе вагонов жандармским унтер-офицером. Я велел перенести труп в приемный покой при Курском вокзале и, забрав с собой копию протокола осмотра и отобранные вещи, вернулся на службу к себе. Особенно бережно я вез портсигар.

Приехав в сыскную полицию, я тотчас же вызвал чиновника, специалиста по дактилоскопии, и предложил ему расшифровать следы пальцев на портсигаре убитого. Насыпав осторожно специального, особо тонкого и сухого порошку на захватанную поверхность, он осторожно его сдунул, в результате чего тонкий слой порошка остался прилипшим лишь к слегка жирной поверхности металла, не оставив следа на тех местах, где обрисовывались спиральные завитки кожи. Получилось черное поле, как бы изрытое спиралеобразными траншеями. Рисунок этот был немедленно сфотографирован и подведен под соответствующую формулу, после чего мы приобщили его к группе карточек подлежащих регистров. Он оказался новым, т. е. в коллекции нашей подобного не имелось; из этого следовало, что убийца — не профессионал, не рецидивист.

Дело это не захватило меня, так как вначале представлялось мне довольно банальным. Раз нет следов наличности грабежа, стало быть, месть на какой-либо почве руководила рукой преступника. Стоит, думалось мне, установить личность убитого, и без особого труда картина преступления раскроется. Смущал меня несколько

портсигар, как будто подсунутый убийцей; но подобного рода трюки с целью сбить розыск с правильного пути встречались уже не раз в моей практике.

Во всех московских газетах я сделал сообщение о найденном трупе в ростовском поезде, его приметах и об оказавшемся при нем портсигаре с монограммой «К», фигурой женщины и кошки с изумрудными глазами. Я был уверен, что завтра же явятся ко мне родные или друзья убитого за справками. И, в самом деле, на следующий же день, часов в 12 мне доложили о какой-то даме, желающей меня видеть по этому делу.

— Проси, — сказал я курьеру.

В мой кабинет вошла молодая еще дама с взволнованным лицом и заплаканными глазами.

— Я пришла к вам, прочтя в газетах о найденном трупе, — увы! — думается мне, моего несчастного мужа! — и дама разрыдалась.

Я успокаивал ее, как мог.

— Почему же, сударыня, вы думаете, что убитый именно ваш муж?

— Видите ли, с неделю тому назад муж выехал в Ростов по делам и должен был именно вчера вернуться. Он не приехал и не извещал меня о причине задержки, что вовсе на него не похоже; затем приметы схожи, а главное, — этот портсигар. Относительно портсигара я не знаю, что и думать. По описанию, — это точно портсигар мужа, но, с другой стороны, за неделю до своего отъезда муж его потерял и был этим весьма опечален, так как дорожил этой памятью, моим подарком. Каким образом он снова очутился в его кармане, — я себе не представляю. Но, во всяком случае, я крайне, крайне встревожена.

Я достал из ящика злополучный портсигар и протянул его ей. Едва увидя его, дама вскрикнула:

— Он, он! Это портсигар Мити! Я даже знаю, что внутри на вызолоченной поверхности в уголке нацарапано мое имя «Вера».

Действительно, указание было точно и сомнений не оставалось.

— Скажите, сударыня, не украл ли кто-либо этот портсигар у вашего мужа с неделю назад? Не имели ли вы на кого-нибудь подозрений?

— Нет, муж тогда определенно заявил, что потерял его где-либо на улице, положив в прорванный карман пальто.

— Между тем вы видите, — он не потерян.

— Не знаю просто, что и думать! Вы разрешите мне отправиться и осмотреть покойника?

— Конечно, сударыня! Я дам вам в сопровождение одного из агентов, поезжайте немедленно!

Мы расстались. «Бедная женщина! — думалось мне. — Вряд ли минует тебя горькая чаша вдовства!» Но каково было мое удивление, когда часа через полтора она вошла вновь в мой служебный кабинет, но сияющая, счастливая и довольная!

— Представьте, какое счастье! Убитый — вовсе не мой муж! О, Господи, Ты милосерден ко мне! Я теперь ожила, словно возродилась. Я счастлива, г. начальник, как давно не была!

— Ну поздравляю! Очень, очень рад за вас! Но прошу все же немедленно прислать ко мне вашего супруга, как только он вернется из Ростова.

— Конечно, я непременно его пришлю.

— До свидания, сударыня. Что касается портсигара, то пока мне необходимо оставить его, но по ликвидации дела я, надеюсь, смогу вам его вернуть.

На этом мы, распрощавшись, расстались.

К вечеру в этот же день явился ко мне некто Штриндман, совладелец ювелирного магазина близ Кузнецкого моста, и заявил о своей тревоге. Его компаньон, Озолин, должен был, согласно телеграмме, вернуться вчера из Ростова, куда он ездил для покупки у одной знакомой дамы бриллиантового кольца. Это кольцо хорошо было знакомо обоим совладельцам магазина, так как еще в прошлом году поднимался вопрос об его приобретении, но тогда не сошлись в цене. Ныне же владелица его снова предложила купить, и, списавшись с нею, Озолин выехал лично в Ростов для совершения сделки. Хотя Штриндман и прочел в газетах о том, что на вещах трупа имелась монограмма «К», но тем не менее просил меня разрешить ему взглянуть на мертвое тело. Я, конечно, разрешил и... убитый оказался именно Озолиным.

Итак, дело неожиданно получало новое освещение. Не месть, а корысть руководила преступником. У меня еще при осмотре трупа на месте мелькнуло предположение, что портсигар убийцей подсунут для отвода глаз; теперь же предположение это перешло в уверенность и, более того: по всей вероятности, новенький бумажник с 275 рублями и носовой платок положены для той же цели.

— Скажите, — спросил я Штриндмана, — в какую сумму оцениваете вы кольцо?

— Мы заплатили за него 58 тысяч.

— Кроме вас, знал ли еще кто-нибудь о цели поездки убитого?

— Никто, кроме нашего приказчика Ааронова.

— Он не мог совершить этого убийства?

— О нет, господин начальник! Яшу мы знаем давно, он и вырос у нас, он честный мальчик. Да, кроме того, все это время он безотлучно находился при работе, а посему самому, хотя бы, не мог совершить это преступление.

— Скажите, не подозреваете ли вы кого-нибудь вообще?

— Решительно никого! Я просто ума не приложу ко всему этому!

Подумав, я сказал:

— Видите ли, для пользы дела я не должен пренебрегать ничем, а поэтому, вы меня извините, для очистки совести прошу и вас приложить палец.

— Т. е., это как же приложить палец?

— А вот, сейчас.

Я позвал чиновника, и тот проделал дактилоскопическую операцию над Штриндманом. Полученный отпечаток нам ничего не дал.

— Не видали ли вы у покойного этот портсигар? — и я ему его протянул.

Он внимательно оглядел вещь и отрицательно покачал головой:

— Нет, никогда! Впрочем, покойный и не курил.

— Отлично! Я дам вам агента, который отправится с вами в ваш магазин и приведет мне вашего Ааронова.

Часа через два я допрашивал Ааронова, оказавшегося евреем, лет 20, весьма скромным и сильно напуганным. Он ничего нового не сообщил мне, сказав, что знает о цели поездки Озолина в Ростов. На мой вопрос, не говорил ли он о ней кому-либо, Ааронов отвечал отрицательно. Снятый отпечаток и с его пальцев не соответствовал отпечатку пальцев на портсигаре. Я отпустил его.

Дело не разъяснялось, а главное, — не виделось конца, за который можно было бы ухватиться для ведения дальнейшего розыска с некоторым вероятием на успех.

Все ювелиры, московские и петроградские, все известные нам скупщики драгоценностей были, конечно, оповещены об украденном колье, которое было подробно им описано, согласно данным Штриндмана; но я не придавал этому обстоятельству большого значения, так как, во-первых, убийца и похититель мог вынуть камни из гнезд и продавать их поштучно, а во-вторых, и что вернее, мог до поры до времени воздержаться вовсе от ликвидации похищенного или сплавить его в знакомые, ничем не брезгающие руки.

Таким образом, прошло безрезультатно дня 3—4. За это время успел вернуться и побывать у меня «пропавший» было супруг счастливой Веры. Но его показания не внесли ничего нового, а снимок с пальцев подтвердил лишь, конечно, его невиновность.

Я не раз замечал в своей розыскной практике, что не следует пренебрегать способами уловления преступников даже в тех случаях, когда способы эти имеют за собой самые ничтожные шансы на успех. Часто бывало, что самые невероятные комбинации приносили неожиданно пользу. В данном темном случае выбора у меня не было, и я прибег к маловероятной, но сыгравшей, как оказалось впоследствии, капитальную роль уловке. Во всех московских газетах я поместил объявление на видном месте следующего содержания: «1000 рублей тому, кто вернет или укажет точно местонахождение утерянного мною серебряного портсигара с золотой монограммой «К» и золотыми украшениями: обнаженной женщины и кошки с изумрудными глазами. При указании требуются для достоверности точнейшее описание вещи и тайных примет. Вещь крайне дорога как память. Николо-Песковский переулок, дом № 4, кв. 2, спросить артистку Веру Александровну Незнамову».

Само собой понятно, что как артистка Незнамова, так и вечно находящийся при ней концертмейстер, проходящий с ней реперту-

ар, равно как и обтрепанный довольно лакей, — были моими агентами; квартира же на Николо-Песковском принадлежала одному из моих служащих.

Конечно, я не рассчитывал, что на подобную грубую удочку попадется сам убийца, но мне думалось, не соблазнит ли 1000 рублей кого-либо из второстепенных соучастников, если таковые имеются.

На второй же день после этого объявления вбегает ко мне моя агентша и радостно докладывает:

— Мы привезли, кажется, убийцу!

— Ну, ну! Уж и убийцу?! Не горячитесь, не увлекайтесь, рассказывайте, как было дело!

— Так вот, г. начальник, сидим мы в квартире и ждем у моря погоды. Чуть послышится шум на лестнице, я сейчас же кидаюсь к роялю неистово вопить гаммы, а концертмейстер мой мне подтягивает. В этакой тоске и прошел весь вчерашний день. Сегодня с утра начали с того же. И вот с час тому назад вдруг кто-то позвонил. Силантьев, взяв салфетку под мышку, пошел открывать дверь, а мы с Ивановым затаили не то «Да исправится молитва моя», не то «Не искушай меня без нужды». К нам в комнату вошел молодой человек, лет 18, еврейского типа и вопросительно на меня уставился. Я, обратясь к Иванову, томно промолвила:

— Вы извините меня, маэстро.

— Пожалуйста, пожалуйста! — сказал он и вышел из комнаты.

Тогда я обратилась к пришедшему:

— Что вам угодно, мосье?

— Скажите, пожалуйста, вы г-жа Незнамова?

— Да.

— Вы дали в газетах объявление о портсигаре?

— Да, я. А что, вы принесли его? — сказала я, симулируя радость.

— Положим, я не принес его, но могу вам указать точно его местонахождение.

Я разочарованно надула губки:

— Да, это прекрасно, конечно! Но, но... почему я должна буду вам верить.

— Уй, да потому, что я точнейшим образом вам опишу его и вы увидите, что я, несомненно, говорю о вашем дорогом сувенире.

И он самым подробным образом описал мне портсигар, не забыв, конечно, упомянуть о нацарапанном имени «Вера» на внутренней стороне крышки.

— Да, несомненно, вы говорите о моем портсигаре. Где же он находится?

— Уф, нет, мадаменьке, разве можно?! Сначала деньги.

— Маэстро! — крикнула я.

И мой концертмейстер и лакей вошли немедленно в комнату с браунингами в руках. Я, указав пальцем на перепуганного еврея, сказала:

— Берите его, господа!..

Его забрали, надели наручники да и привезли сюда. Назвался он Семеном Шмулевичем, православным, учеником часовых дел мастера Федорова, лавочка коего на Воздвиженке.

— Благодарю вас за хорошо выполненное поручение. А теперь пришлите-ка ко мне этого Шмулевича.

В кабинет вошел трясущийся от страха юноша и растерянно остановился среди комнаты.

— Ну что, Семен, влип, брат, в грязную историю?!

Шмулевич подпрыгнул, как на пружинах, и быстро-быстро затараторил:

— Уй, г. начальник, ваше высокопревосходительство, ради Бога, отпустите меня, я не виноват вот нистолечки. Я смиренный, бедный еврей (православный), никому горя не делаю. Ну, конечно, хотел сделать маленький гешефт (и Шмулевич прищурил глаз и, округлив пальчики, изобразил величину гешефта). Но что же здесь такого? Мадам в газете обещала 1000 рублей. Я и хотел честно заработать.

— Все это прекрасно, но портсигар, который ты почему-то так точно описываешь, был найден на убитом человеке. Откуда же ты знал даже о нацарапанном имени «Вера» на внутренней стороне крышки? Выходит, что ты, пожалуй, и убил этого человека?

Шмулевич, подпрыгнув, как ужаленный, истерично завизжал:

— И не говорите мне даже этого, господин граф! Да разве я могу?! Что вы, что вы! Убить человека?! Фуй, фэ! Семен в Бога верит и на это не способен. Я расскажу все, все как было, не совру ни капельки!

— Ну, рассказывай.

Шмулевич, захлебываясь от поспешности, с невероятной жестикующей принялся говорить:

— Прочел я как-то утречком, г. начальник, в газете об убитом в ростовском поезде, и когда дочитал до портсигара, то сразу почувствовал от страха боль в животе. Как раз такой портсигар, за неделю до этого, был куплен моим хозяином за 24 рубля у какого-то зашедшего к нам в лавку солдата. Портсигар этот мне очень понравился, и я долго его рассматривал. Через пару дней он исчез, хозяин его куда-то отнес. Как вдруг вчера я прочитал объявление дамочки и сразу подумал: не зевай, Семен, можешь хорошо заработать. А деньги немалые — 1000 рублей! Уй, у меня даже голова закружилась. Конечно, портсигар найден на убитом человеке, но я же в этом не виноват! Я честно укажу дамочке, что он находится в полиции, а она мне заплатит тысячу целковых. Вот и все. Я честный еврей, г. начальник!

Рассказ походил на правду. Однако я приказал снять отпечаток и с пальцев Шмулевича, и хотя он ничего не дал, я счел нужным временно задержать еврея.

Два агента были немедленно командированы за часовщиком Федоровым, и через час он предстал передо мной. Это был рослый

малый, типичного русского вида, с широким, довольно симпатичным лицом, но несколько неприятным выражением бегающих глаз. Держал он себя довольно спокойно и рассказал, что, действительно, означенный портсигар купил у какого-то солдата неделю с лишним тому назад, а через день его продал случайному, ему неизвестному покупателю. Большого выудить от него не удалось, и, собираясь его отпустить, я, для очистки совести, велел сделать дактилоскопический снимок и с его пальцев. Угрюмо сидел я у себя в кабинете, измышляя какой-либо новый подход к недававшемуся мне в руки делу, как вдруг входит чиновник с двумя снимками (убийцы и Федорова) и взволнованно сообщает об их тождестве. Я внимательно разглядел оба отпечатка. Сомнений не было: убийца Озолина был найден.

Новый двухчасовой допрос Федорова с уговариванием и доказательствами не заставили его признаться и указать местонахождение похищенного. Очевидно, он плохо верит в дактилоскопический метод и не понимает тяжести этой неопровержимой улики.

Я снова вызвал Шмудевича.

— Вот что, Семен, хозяин твой оказался убийцей, и дело его кончено. От каторги ему не отвертеться. В этом деле он может запутать и тебя, так как портсигар-то ты видел и 1000 рублей ходил получать и т. д. Для тебя лучше всего ничего не скрывать и отвечать чистосердечно на мои вопросы, иначе, повторяю, упечет он и тебя в тюрьму.

— Спрашивайте, спрашивайте, г. начальник, я ничего скрывать не стану. И зачем мне скрывать? Я не виноват, а укрывать убийцу Семен не станет. Я готов на все, на все, г. начальник!

— Отлично! Скажи, пожалуйста, ты давно служишь у Федорова?

— Четвертый год, г. начальник.

— С кем Федоров вел знакомство, куда чаще ходил, кто у него бывал?

— Жил он очень небогато, дела шли плохо, никто у него из приятелей не бывал, и он никуда не ходил, разве только к маменьке.

— Где же живет его маменька?

— В слободе, за Драгомиловской заставой.

— И часто он ходил к ней?

— Не очень чтобы, так, разок в неделю.

— А ты почем знаешь? Разве он сообщал тебе, куда ходит?

— Да, хозяин и говорил часто, да и не раз брал меня с собой к ней.

— Скажи, за эти две недели хозяин никуда надолго не отлучался из лавки?

Шмудевич как-то замялся, а потом решительно:

— Нет, г. начальник, отлучался и даже очень отлучался.

— Когда же именно? — спросил я живо.

— Да вот дней 6 или 7 тому назад.

— Постарайся точно припомнить день.

Шмулевич закатил глаза, потер лоб и, припомнив, сказал:

— Да, да! Это было в тот вторник (день нахождения трупа). В понедельник, после закрытия лавки, он ушел, а вернулся во вторник, часам к трем дня. Отдохнув часика 4, он к вечеру опять ушел и к ночи вернулся.

— Куда же это он исчезал?

— Первый раз, — сказать не могу, ну, а во второй, наверно, был у маменьки.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что за заставой грязь непролазная и хозяин возвращается оттуда, всегда ругаясь, весь выпачканный. Так было и во вторник к ночи.

— Вот что, Семен: хозяин твой уйдет на каторгу, лавка его закроется, и ты останешься без работы, если вообще не будешь привлечен по этому делу. Предлагаю тебе следующее: ты получишь от меня 100 рублей награды, и если исполнишь в точности мое поручение, то я пристрою тебя в другой часовой магазин. Но, разумеется, ты должен для этого нам помочь.

— Отчего же не заработать 100 рублей?

— То-то и оно! Твой хозяин, убив человека, похитил у него бриллиантовое кольцо и, по всему видно, припрятал его у маменьки, за Драгомиловской заставой. Нам нужно его разыскать. Я, конечно, прикажу произвести обыск в лавке, но почти наверное его там нет.

— Конечно, нет! Бриллианты непременно у маменьки, — с убеждением сказал Шмулевич.

— Производить обыска теперь у маменьки я не хочу, так как при доме, в слободе, наверно, имеется и двор, и огород, а стало быть, маменька с сыном могли камни где-нибудь и зарыть, а ведь всей усадьбы не перероешь!..

— Это так, г. начальник.

— Так вот-с, я придумал следующее: ведь тебя-то они знают хорошо.

— Еще бы, чуть ли не за родного считают!

— Прекрасно! Ты сегодня же, к вечеру, прибежишь к ней, запыхавшись, и, передав узелочек с фальшивыми драгоценностями, шепнешь ей испуганно: «Хозяин велел мне передать этот узелок с вещами и приказали вам спрятать его скорее туда же, где во вторник он спрятал бриллианты. За ним следит полиция, и он не хотел прийти сам, а прислал меня». После чего ты сунешь ей узелок и без оглядкипустишься бежать обратно сюда. Сумеешь ли ты выполнить все это?

— Ну и почему же нет? Все выполню, г. начальник.

Посланные мною агенты через час примерно раздобыли по лавкам десятка два «драгоценностей», в виде серег, колец с цветными, фальшивыми камнями, толстых цепочек нового золота и т. д. Шмулевич завязал их в свой грязный носовой платок и помчался за Драгомиловскую заставу в сопровождении (на приличном рас-

стоянии) моего дельного и опытного агента Муратова. Я занялся делами и не заметил, как прошло время. Часам к 9 вечера явился сияющий Шмудевич и сообщил:

— Уф, г. начальник! Все исполнил, как было велено.

— Расскажи подробнее.

— Да что рассказывать? Маменька ихняя переполошилась, заахла и обещала в точности все исполнить, как велел сын; поспешно спрятала мой узелок к себе в карман, а я побежал назад.

— Ну молодец, Семен! Получай обещанное! — и я протянул сияющему Шмудевичу сторублевку.

Утром в кабинет мой явился Муратов и торжественно выложил на письменный стол нитку крупных бриллиантов, с красивым, старинной работы, фермуаром.

— Ну, Муратов, как было дело?

— Все обошлось чрезвычайно просто, г. начальник. Чуть только Шмудевич вышел от маменьки и удалился, как я тотчас же занял наблюдательную позицию, спрятавшись за плетнем, окружающим двор и домишко. Сидеть пришлось довольно долго, и я стал уже подумывать, что вещи будут спрятаны где-либо в доме. Как вдруг в одиннадцатом часу маменька вышла на крыльцо, оглядываясь кругом, а затем направилась через двор в сарайчик, взяла там лопату и поплелась в самый конец двора, к колодцу. Ночь нынче лунная, и я видел все, как днем. За колодцем она принялась рыть, вырыла вскоре жестяную коробку из-под печенья, вложила в нее узелочек Шмудевича и снова все закопала на прежнем месте, сравняла землю, набросила всякого хлама и, поставив лопату обратно в сарайчик, вернулась домой. Рано утром, чуть стало светать, я явился к маменьке с понятиями и потребовал от нее выдачи колье. Та упорно стояла на своем: «знать — не знаю, ведать — не ведаю». Тогда мы отправились к колодцу и по моему указанию вырыли спрятанное и составили обо всем протокол. Маменька притворилась крайне удивленной и продолжала упорно запирается.

— Вы прекрасно исполнили поручение, Муратов. Благодарю вас очень!

Мой агент поклонился.

Я приказал привести арестованного Федорова.

— Вот что, милый друг, — сказал я строго, — если ты вздумаешь и теперь еще запирается и не расскажешь, как было дело, то не только тебя, но и мамашу твою, зарывшую за Драгомиловской заставой, на дворе у колодца вот эти бриллианты (и указал ему на камни, тут же разложенные), я упеку в Сибирь. Рассказывай лучше все по-совести. Впрочем, можешь и не рассказывать, как знаешь, это дело твое, — и я, лениво зевнув, поглядел на часы. — Ну, так как же? — спросил я, сделав паузу.

Федоров попытлся, подумал, переступил несколько раз с ноги на ногу и, наконец, решительно потрянув головой, быстро заговорил:

— Что же, раз уже камни у вас, то, стало быть, шабаш!.. Пропавшее дело.

— Рассказывай, как убивал и кто помогал?

— Никто не помогал, сам все проделал. Думал выйти в люди, да вот сорвалось! Мое часовое дело не шло, едва-едва концы с концами сводил, жил бедно, а хотелось зажить по-людски, ну вот дьявол и попутал. Встретил я на Тверском бульваре знакомого своего Ааронова, он в мастерях служит у ювелиров Штриндмана и Озолина, что у Кузнецкого моста. Разговорились. И стал мне Ааронов хвастаться, что во, мол, у его хозяев какое большое дело, чуть ли не миллионное. Я ему сказал, что врешь ты все, лавчонка как лавчонка — одна ерунда. А он мне: «Вот так ерунда, когда наш Озолин прислал телеграмму, что приезжает завтра из Ростова и везет покупку! А знаешь ли, покупка-то какая? Бриллиантовое ожерелье в 58 тысяч! Вот тебе и лавчонка!» И запал мне в душу этот разговор. Вот ведь случай разбогатеть, лишь бы обмозговать все да обделать чисто дело. Я тут же, на бульваре, стал обдумывать план. Если не брать у Озолина ничего из ценных вещей, кроме ожерелья, то не подумают, что тут грабеж, а чтобы не узнали убитого, я собью полицию с толку, подложив убитому фальшивые метки. Я выбрал букву «К», так как под рукой у меня имелся только что купленный серебряный портсигар с таким вензелем, белый платок с этой меткой, да я тут же купил бумажник с той же монограммой. Бумажник мне нужен был, кстати, и для обмена с убитым, так как у последнего могли быть при себе и большие деньги; оставить же его совсем без бумажника — невозможно, уж больно будет походить на убийство с целью грабежа. Помню, что я спросил еще Ааронова, будто невзначай: как это, мол, Озолин не боится возить при себе такие ценности. А он ответил: «Чего же бояться, Озолин возьмет в ростовском поезде маленькое купе и будет ехать в нем один, кто же может украсть у него вещи?»

В эту же ночь я выехал в Тулу, где порешил дожидаться ростовского поезда на Москву. Озолина я хорошо знал в лицо. Он, действительно, ехал в этом поезде и в Туле, выйдя из вагона 1 класса, купил в буфете коробку пряников, погулял по платформе и сел обратно к себе. Я устроился в том же вагоне. Купе Озолина было третье. Отъехав от Тулы верст 50, я уллучил время и, подойдя к озолинскому купе, запасенным железнодорожным ключом тихонько повернул замок и приотдвинул дверь. Озолин лежал на спине, крепко спал и похрапывал. Я тихонько вошел и страшным ударом кинжала в сердце уложил его на месте. Он не вскрикнул, не пошевелился даже. После этого я быстро задвинул дверь, запер ее на ключ и принялся искать ожерелье. Оно оказалось во внутреннем жилетном кармане. Выхватив его бумажник, я подложил ему свой, заранее подготовленный, с 275 рублями. В один карман брюк сунул платок, а в другой — портсигар и, выйдя в коридорчик, снова закрыл его дверь на ключ и быстро прошел в уборную. В его бумажнике оказалось немного, — только чetyреста с чем-то рублей. Я переложил их в карман, а бумажник спустил в клозет.

После чего я старательно помылся и прошел к себе в купе. В Москве 2-й я вышел из поезда и поплелся домой пешком. Что было дальше — не знаю. Рассказал вам всю чистую правду.

Суд приговорил Федорова к 8 годам каторжных работ за предумышленное убийство.

Желая исполнить свое обещание, я намеревался было пристроить «православного» Семена в какой-либо часовой магазин, но Шмулевич, неожиданно войдя во вкус розыскного дела, упросил меня оставить его при сыскной полиции. Впоследствии из него выработался хотя и небольшой, но довольно толковый агентик, специализировавшийся по розыску пропавших собак и кошек.

«НАЧАЛЬНИК ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ»

Мой надзиратель сокольнического участка Швабо мне как-то докладывает:

— Сегодня, г. начальник, я получил в Сокольниках довольно странные сведения. Зашел это я в трактир «Вену» поболтать с хозяином, что я делаю часто, так как трактирщик поговорить любит и нередко снабжает меня сведениями. Как раз сегодня он рассказал мне любопытную историю. К нему в трактир частенько заходит некий Иван Прохоров Бородин, человек лет пятидесяти, местный богатей, владелец кирпичного завода. Иван Прохоров пользуется в Сокольниках большим весом. Знакомством с ним трактирщик дорожит и, видимо, гордится. Так вот, с этим Иваном Прохоровым третьего дня приключилось неприятное и странное происшествие. Сидел он в «Вене» и мирно пил с трактирщиком чай. Вдруг подъезжает автомобиль, из которого вылезает жандармский офицер с двумя нижними чинами и каким-то штатским. Войдя в трактир, они без всяких объяснений арестовывают Бородину и увозят его неизвестно куда. Однако через сутки, т. е. вчера, Бородин в сильно подавленном настроении опять появился в «Вене» и по секрету рассказал трактирщику, что его жандармы отвезли в охранное отделение, обыскали, припугнули высылкой из Москвы, отобрали находившийся при нем пяти тысячный билет ренты и выпустили до завтра, под условием доставления в управление еще 5 тысяч рублей; в противном случае, — арест и высылка в Нарымский край неминуемы. Иван Прохоров очень напуган и собирается завтра внести требуемые 5000, лишь бы уцелеть. Такой испуг и покорность трактирщик объясняет тем, что прошлое Ивана Прохорова, согласно молве, не совсем чисто. Как уверяют, богатство его пошло от «гуслицких денег».

Выражение «гуслицкие деньги» давно стало нарицательным. Дело в том, что лет 25—30 тому назад нашумело на всю Россию дело шайки фальшивомонетчиков, занимавшихся выделкой фальшивых кредитных билетов в селе Гуслицы Московского уезда.

Я приказал Швабо сейчас же отправиться к Бородину и в самой мягкой форме пригласить его для переговоров к начальнику сыс-
ной полиции.

Как выполнил мое поручение Швабо, мне точно не известно; но, надо думать, — не очень дипломатично. Сужу я об этом по

словам Швабо, который, привезя часа через три Бородину в сыскную полицию, зашел доложить о выполнении поручения.

— Сообщив Бородину о вашем, г. начальник, предложении немедленно явиться, я поверг его в ужас.

— Господи! — воскликнул он, — да что же это такое? Вчера начальник охранного отделения, сегодня начальник сыскной полиции! Да ведь этак никаких денег не хватит!..

Но, видимо, спохватившись, он быстро оделся и, не сказав ни слова больше, приехал со мной.

— Позовите, пожалуйста, его!

Ко мне вошел высокий, плотный человек, с красивым, умным и симпатичным лицом, с седоватой бородой и висками. На лице его я прочел какую-то окаменелость, отражавшую не то горе, не то старательно скрываемую тревогу.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал я возможно приветливее.

— Благодарим покорно! — и он, не торопясь, сел.

— Расскажите, пожалуйста, что за странная история произошла с вами? Почему отобрали у вас 5 тысяч, да и намереваются отобрасть еще столько же?

— Какие 5 тысяч? — спросил Бородин, делая изумленное лицо. — Я даже в толк не возьму, про что это вы изволите говорить! Никаких пяти тысяч у меня не брали, да и вообще я ни на что не жалуюсь и всем премного доволен.

— Да полно, Иван Прохорович, говорить-то зря! Я вызвал вас для вашей же пользы. Ясно, что вы налетели на мошенников, они чем-то запугали вас, — вы и отпираетесь от всего. Если бы вас в «Вене» арестовали настоящие жандармы, то так скоро не выпустили бы, да и денег не потребовали бы. Раскиньте-ка умом хорошенько и расскажите откровенно и подробно, как было дело. Я же добра вам желаю!

Пока я говорил все это, лицо моего собеседника из бледно-желтого постепенно превратилось в багрово-малиновое и пот мелкими каплями выступил у него на лбу. Он стал дышать тяжело и, христнув вдруг пальцами, взволнованно и торопливо заговорил:

— Ваша правда, г. начальник! Что я буду в самом деле скрывать? Мне и самому показалось, что тут дело не совсем чисто. Ежели можете — защитите; но Христом Богом молю — не выдавайте, а я все, все по совести расскажу. Вчерашний день меня арестовали в «Вене» какой-то жандармский офицер с двумя солдатами и одним вольным человеком. Посадили в машину и отвезли в Скатертный переулок, как сказали мне, в охранное отделение. Номера дома не помню, но на вид признаю. Поднялись мы на третий этаж. Там меня сейчас же обыскали и отобрали бумажник; в нем была пятитысячная рента, на 300 рублей денег. Бумажник с деньгами обвязали шнурками и запечатали печатями. Затем посадили меня в прихожую и говорят: «Подождите здесь! Начальник сейчас занят». Сажу я так полчаса, сажу час. Мимо меня провели какого-то человека в наручниках, потом прошло два жандармских

унтер-офицера. Наконец, пришел жандарм и повел меня к начальнику. Вхожу: большая комната, посередине письменный стол, заваленный бумагами, а за ним господин в штатском платье. Я остановился. Он даже не взглянул на меня, а продолжал что-то быстро писать. Прошло этак минут десять. В кабинет вошел жандармский офицер и положил на стол огромный портфель и передал какую-то бумагу. Начальник пробежал ее глазами и говорит: «Я сейчас распоряжусь». Затем взял телефонную трубку, назвал какой-то номер. «Это вы, Савельев? — говорит начальник охранного отделения. — Немедленно берите людей и арестуйте Петровского и, пожалуйста, поживее!» Наконец, он поднял голову и обратился ко мне: «Так вот ты какой гусь! Давно мы за тобой следим да в старом твоём разбираемся. Ну теперь полно! Погулял — и будет! Давно пора под замок».

— Помилуйте, г. начальник, — взмолился я. — Да за что же это? Я живу, слава Богу, смирно, по-хорошему, зла никому не делаю. За что же меня под замок?

— Ну брось дурака валять да невинность разыгрывать! — крикнул он мне. — А «гуслицкие дела» забыл?

Я так и обмер.

— А что это за «гуслицкие дела»? — спросил я у Бородина самым невинным тоном.

— Да что уж тут таить, г. начальник! Случилось это лет 25 тому назад. Был я тогда еще мальчишкой и сбили меня с толку фальшивомонетчики, выделявавшие деньги в селе Гуслицы. За это я отбыл наказание и с той поры живу по-честному. Как вспомнили мне про гуслицкие деньги, вижу, дело плохо! Начальник приказал принести мой бумажник, сорвал с него печати, вынул билет и деньги и говорит:

— Много к твоим рукам прилипло гуслицких денег, да черт с тобой! Тут у нас завелось благотворительное дело, и деньги нужны, а их нет. Предлагаю тебе следующее: я под эти 5 тысяч освобождаю тебя до послезавтра с тем, чтобы к 2 часам дня ты доставил сюда же 5000 рублей. Принесешь, — я отпущу тебя на все четыре стороны; не принесешь, — пеняй на себя! Ты будешь немедленно арестован и выслан в 24 часа из Москвы в Нарымский край доить тюленей».

С этими словами начальник отпустил меня, оставив, однако, у себя ренту и три сотенных билета.

— Вот что! — сказал я Бородину. — Идите с моим агентом и укажите в Скатертном переулке дом, куда вас возили, а завтра в 11 часов утра приходите опять ко мне.

Бородин указал дом, и мы навели у дворников справку о жильцах 3-го этажа. Они оказались людьми смирными, не внушающими подозрений. Узнали мы и № телефона квартиры. Но что же было делать дальше? Нагрязнать с неожиданным обыском — мне не хотелось, так как мошенников могло случайно и не оказаться дома. Взятая у Бородина рента могла быть тоже унесена, да, наконец,

Бородин и не помнил номера своего билета, следовательно, даже при захвате аферистов последние смогут от всего отпереться, тем более что свидетелей не имелось. Поэтому я остановился на ином плане. За домом и особенно за квартирой третьего этажа было установлено наблюдение. Я же стал ждать завтрашнего ко мне визита Бородина.

Через несколько часов по установлению наблюдения прибегает один из агентов и докладывает, что из квартиры 3-го этажа вышел Василий Гилевич, хорошо известный нам по ряду мелких мошенничеств. Василий был родным братом Андрея Гилевича, убийцы студента Прилуцкого, громкое дело которого я уже описал в одном из предыдущих очерков. Очевидно, Бородина шантажировал этот «достойный» представитель не менее «достойной» семейки.

Я пригласил к себе в кабинет стенографа и дворника в качестве будущих свидетелей и усадил их к отводным трубкам моего телефона. Когда явился Бородин, я побеседовал с ним минут десять, стараясь уловить его манеру говорить, его язык, интонации голоса и т. п. После чего заявил ему: сидите смирно и слушайте! Агент-стенограф, сидевший у одной из отводных трубок, приготовил лист бумаги и карандаши; дворник деликатно взял свою отводную трубку двумя «пальчиками». Когда все было готово, я подошел к аппарату.

— Барышня, дайте № такой-то!

— Готово!

В трубке послышался женский голос:

— Я вас слушаю...

— Нельзя ли попросить к телефону господина начальника?

— Хорошо, сейчас!

Вскоре раздался мужской голос:

— Алло, я вас слушаю!

— Это вы, господин начальник?

— Гм... Кто говорит?

— Это я, Иван Прохоров Бородин, которому вы сегодня приказали явиться.

— Ну что, мошенник, деньги готовы?

— Не сердайте на меня, г. начальник! Ей-Богу, к двум часам не достать, обещаны они мне в четыре. Вот я и звоню. Уж вы позвольте мне опоздать на два часа, ранее никак не справлюсь! Ведь 5 тысяч — капитал, его сразу не соберешь!

— Ах ты, растяпа! Ах ты, сонная тетеря! Ну черт с тобой! Но помни, что если в четыре не явишься — в 24 часа вылетит из Москвы. А откуда ты телефон мой узнал? Разве на станции сообщают номер охранного отделения (и в голосе его послышалась тревога)?

— Никак нет, г. начальник! Я третьего дня, стоя у вашего стола, покуда вы писали, приметил № вашего телефона, стоящего на столе.

— Ну ладно, проваливай! И помни: в 24 часа!

Затем послышалось глухо: «Ротмистр, установите опять немедленно наблюдение за Бородиным!» После чего трубка была повешена.

— Вы успели все записать? — спросил я своего агента-стенографа.

— Так точно, все.

— А ты все слышал? — спросил я у дворника.

— Известное дело, — все! А только, г. начальник, я понимаю, что тут без убийства не обойтись! — отвечал глубокомысленно дворник.

— Ну и понимай на здоровье! — сказал я смеясь.

Бородин, наблюдавший всю эту сцену, сидел ни жив ни мертв. В нем, видимо, боролись разнородные чувства. С одной стороны, еще прочно сидел страх перед грозным начальником охранного отделения, с другой, — он видел, что во мне нет и тени сомнения в наличии мошенничества; вместе с тем ему думалось, а что, если начальник сысской полиции ошибается? Всю эту сложную гамму переживаний я прочел на его взволнованном красном лице.

К четырем часам я откомандировал моего помощника В. Е. Андреева с четырьмя агентами в Скатертный переулок для ареста всех людей, находящихся в «охранном отделении». Я рекомендовал ему пригласить с собой и участкового пристава с нарядом городских, но В. Е. Андреев нашел, очевидно, это лишним и, понадеясь на собственные силы, отправился один исполнять поручение.

Через час он мне звонит и сообщает:

— Тут, Аркадий Францевич, получается неожиданное затруднение. Дело в том, что мы арестовали трех мужчин, переодетых жандармами, и женщину, находившуюся в квартире; но не доглядели за Гилевичем, который успел проскочить в заднюю комнату, заперся там на ключ и забаррикадировал дверь. Он заявляет, что при малейшей с нашей стороны попытке форсировать его убежище он пристрелит нас, как собак, из имеющегося якобы при нем револьвера. Что прикажете делать?

Ничего не оставалось как ехать самому. Зная, что Гилевичи люди довольно «предприимчивые» и не останавливаются ни перед чем, я вытребовал из полицейского депо непробиваемый панцирь, в какой-то и облачился. В руки я взял портфель со вложенной в него пластинкой из того же, что и панцирь, состава и, приехав в Скатертный переулок, я прикрыл голову портфелем и подошел к дверям, за которыми находился Гилевич:

— Эй вы там, осажженный портартурец, сдавайтесь! Не заставляйте понапрасну выламывать двери!

Гилевич сразу узнал мой голос и злобно отозвался:

— Что, за третьим братом приехали?

— Да уж я и не помню, за которым по счету. Одно знаю, что все хороши!

— Собственно, что вам от меня нужно?

— А вот выйдете, г. начальник охранного отделения, тогда и поговорим.

— Не советую вам, г. Кошко, подходить к двери, а то получите пулю в лоб!

— Полно, Гилевич, дурака валять. Не заставляйте меня прибегать к крайним мерам, вам же хуже будет. Сами знаете, чем пахнут вооруженное сопротивление властям.

Последовала длинная пауза. А затем щелкнул замок, дверь быстро распахнулась (баррикады оказались лишь в воображении Андреева) и на пороге предстал Василий Гилевич.

— Сдаюсь! — было первое его слово. — Ваше счастье, что не было со мной Андрюшиных капель (это был намек на цианистый калий, коим отравился его брат, убийца Прилуцкого), а то не взяли бы вам меня живым!

Ему тотчас же надели наручники и повезли в сыскную полицию.

Обыск на квартире решительно ничего не дал.

— Ну-с, Гилевич, а теперь поговорим! — сказал я ему у себя в кабинете.

— Прежде всего, где те 5000 рублей, что отобраны вами у Бородин?

— Какие пять тысяч?

— Скажите! Не знаете? Быть может, и Бородин вам не знаком и не был у вас третьего дня?

— Бородин я знаю, и третьего дня он, действительно, у меня был. Я беседовал с ним о заказе на кирпичи, но о пяти тысячах слышу впервые.

— Ну уж это даже глупо! Вы сами понимаете, что в вашем положении лишь чистосердечное признание может облегчить вам предстоящее наказание, а вы вдруг вместо этого несете какую-то ерунду. У меня же есть живые свидетели против вас.

— Послушайте, г. Кошко, вы, кажется, принимаете меня за болвана и пытаетесь наивно ловить! Повторяю вам, что о деньгах слышу впервые, а кроме того, вообще все разговоры с Бородиным я вел с глазу на глаз, а не перед свидетелями.

— Вы так думаете?

— Не только я так думаю, но и вы думать иначе не можете. Я нажал кнопку звонка.

— Позовите ко мне свидетелей! — приказал я.

В кабинет вошли стенограф и дворник.

— Будьте любезны, — обратился я к стенографу, — прочтите то, что вы слышали и записали.

Агент прочитал запись моего утреннего разговора по телефону с Гилевичем, воспроизведенного им с абсолютной точностью. Я обратился к обоим свидетелям:

— Готовы ли вы принять присягу в том, что собственными ушами слышали этот разговор?

— Да хоть сейчас, г. начальник!

Гилевич долго сидел с раскрытым ртом и выпученными от изумления глазами. Наконец, он произнес:

— Ну-у?! Если так, то, конечно, мне ничего не остается, как рассказать правду. Но, ради Бога, удовлетворите мое любопытство, откройте мне эту изумительную тайну!

— Хорошо! Но предварительно дайте ваше откровенное показание.

Гилевич во всем признался, рассказав и о своем самозванстве, и о переодевании своих друзей в жандармскую форму. Квартира ему была предоставлена его приятелем-техником, уехавшим на 28 дней в отпуск и не подозревавшим ничего дурного. Гилевич заявил мне, что, получи он дополнительные пять тысяч рублей от Бородина, — и след его простыл бы, так как на следующий же день он намеревался уехать за границу, где, по его словам, подготовлялось им дело мирового масштаба.

— А ваша тайна? — спросил он меня.

— Вот она! — и я указал ему на телефон и две отводные трубки. Гилевич шлепнул себя по лбу и с горечью в голосе расхохотался. Суд приговорил его к 1 1/2 годам арестантских рот с лишением прав состояния. К сообщникам его присяжные заседатели отнеслись милостиво: они были оправданы.

КРАЖА У ГРАФА МЕЛЛИНА

В Венденском уезде, Лифляндской губернии, в имении у местного магната, графа Меллина, была совершена крупная кража. Событие это, насколько помню, относится к самому началу девятисотых годов. Расследование кражи, совершенной в уезде, не входило в мою компетенцию, но жалоба графа местному губернатору, М. А. Пашкову, на бездействие венденской полиции побудила последнего обратиться ко мне с предложением взять это дело в свои руки.

Из слов губернатора оказалось, что у графа похищен ряд ценностей: несколько пудов серебра, несколько золотых столовых приборов, целая коробка мелких бриллиантов, коллекция старых миниатюр, несколько драгоценностей графини, процентные бумаги и т. д., и т. д.

Взяв с собой двух дельных чиновников — Грундмана и Лейна, я выехал на место.

Имение графа Меллина было великолепно. Этот потомок ливонских рыцарей, несколько веков тому назад осевших в здешнем краю, окружил себя самой пышной роскошью. Его дом был настоящим дворцом.

Мне и моим спутникам отвели целый апартамент. Мы приехали ранним утром, и нас встретил не то управляющий, не то мажордом. Нам тотчас же подали элегантно сервированный чай, и управляющий заявил, что аудиенцию мне граф назначил в 12 часов.

Действительно, ровно в полдень я был принят. Граф держал себя любезно, но величественно. Он просил меня напрячь все усилия к раскрытию этой кражи, а затем тут же заявил, что «выход» графини состоится к завтраку. Это был поистине «выход». Она пожаловала к столу в нарядном туалете, в бриллиантах, окруженная несколькими приживалками, игравшими, очевидно, роль свитских фрейлин. Завтрак прошел довольно чопорно. Графиня, заговоря о краже, особенно жалела маленькую золотую книжечку, служившую для записи имен танцоров, которым был обещан танец. На крышке этой книжечки, по ее словам, находилась миниатюра удивительной работы, а под ней крошечные часики, величиной не более серебряного гривенника, — настоящий шедевр!

К завтраку был приглашен и местный начальник уезда, безуспешно до сих пор занимавшийся раскрытием кражи. Побеседовав

с ним после завтрака, я пришел к заключению, что розыск велся крайне небрежно и поверхностно.

Прежде всего я принялся за осмотр поля действия. Вещи оказались похищенными из нестораемого шкафа новейшей конструкции, помещавшегося в небольшой комнате, примыкавшей к кабинету графа. Помещение это было расположено в 1-м этаже дома, где находились лишь парадные комнаты и людские; снаружи имелись две двери, — подъезд и дверь со стеклянной террасы из сада. Сад примыкал к озеру, с версту примерно шириной; на противоположном берегу озера виднелся лес. Ключи от нестораемого шкафа хранились в письменном столе графа, о чем знал лишь встретивший нас управляющий. Порядок в доме был чисто немецкий. Граф лично перед сном осматривал запоры, вследствие чего проникнуть ночью в дом, не ломая замков, без помощи изнутри, представлялось немыслимым. Между моментом последнего осмотра графом своего шкафа и обнаружением им кражи прошло трое суток, — в течение этого срока воры беспрепятственно могли распоряжаться награбленным. К этому нужно прибавить еще неделю, время, потраченное начальником уезда на бесплодные розыски. Столь длительный промежуток позволил, конечно, ворами не только тщательно припрятать украденное, но и замести следы.

Тщательный осмотр замков шкафа и дверей показал, что все они открывались ключами, так как отмычки, даже при самом аккуратном применении, оставляют все же следы в виде царапин.

Я спросил графа, уверен ли он в своем управляющем.

— Как в самом себе! — отвечал он. — Мейер живет у меня двадцать лет и предан мне душой и телом. Да, наконец, он поставлен мною в исключительно благоприятные условия: я выстроил ему дом, подарил 50 десятин земли, его сыновья при моей поддержке получили высшее образование. Что бы ни говорили, — благодарность людская не пустой звук и ей, конечно, не может быть чужд и мой Мейер. Что касается других служащих, справьтесь о них у него, я ими не интересуюсь, предоставляя Мейеру набирать штат прислуги.

Закончив осмотр и получив отзыв графа об управляющем, я стал в тупик. Вес похищенного достигал примерно девяти пудов; чтобы вынести эту тяжесть из дома и благополучно сплавить ее, требовалось участие нескольких людей и, пожалуй, даже лошади.

К вечеру вернулись Грундман и Лейн, прошедшие день в окрестностях. Слухов, сколько-нибудь наводящих на след, уловить им не удалось. О графине люди отзывались хорошо, а графа рисовали как очень скупого человека, чуть ли не по золотникам отшествовавшего хлеб своим служащим.

— Можете ли вы мне дать точный список всей прислуги, как находящейся сейчас в доме, так и служившей в нем за последние годы? — спросил я у Мейера.

— О, да, конечно! Я человек аккуратный и веду для этого особую книгу. Если угодно, то я на полях отмечу вам даже, когда и за что был уволен тот или другой человек.

— Прекрасно! Пожалуйста.

С той же просьбой я обратился и к начальнику уезда.

Вскоре управляющий представил мне списки, по которым набралось фамилий сорок. Против некоторых имен значилось: «уволен за хищение сладкого», «рассчитан за грубость», «лишен аккуратности» и т. д.

Ознакомившись со списком, мы не нашли в нем имен, известных по преступному прошлому рижской полиции.

— Скажите, — спросил я управляющего, — был ли осмотрен лес на противоположном берегу озера?

— Да, уездный начальник его осматривал.

Я решил все же на следующий же день еще раз внимательно проделать этот осмотр.

Когда явился приглашенный мной начальник уезда, я задал ему вопрос:

— Вы хорошо осматривали лес?

— Да мы его вовсе не осматривали.

— Как не осматривали? А что же говорит Мейер?

— Не знаю.

Призвав управляющего, я выразил ему свое удивление. Он как-то замаялся и принялся уверять, что я не так его понял, что лес, действительно, не осматривался и пр.

— Хорошо! Вы пока мне не нужны. Теперь я хочу поговорить с начальником уезда.

Управляющий неохотно удалился и, как мне показалось, не отошел от закрытой двери. Я быстро распахнул ее и чуть не подшиб Мейера. Он принялся слащаво предлагать мне чаю, делая вид, что специально для этого вернулся.

— Благодарю вас! Не нужно нам чаю. Оставьте нас вдвоем.

Мейер поклонился и на этот раз ушел окончательно.

— Да, кстати! Вы просили у меня список служащих, — сказал мне начальник уезда, — извольте, вот он. Я взял его из мызной полиции.

Я не подозревал даже о существовании такого учреждения. Сравнив полученный оттуда список со списком управляющего, я, к удивлению моему, нашел в нем имя некоего Отто Вильнеса, бывшего лакея графа, год тому назад уволенного и не помещенного в справке управляющего.

Поделившись с моими агентами сделанным открытием, я услышал от Грундмана следующее заявление:

— Отто Вильнес? Мне это имя хорошо знакомо. Вы еще не служили в Риге, г. начальник, когда этот молодец преследовался нами за крупную кражу. Я припоминаю теперь и его воровскую кличку — «вице-фрейлен», что по-русски значит «старая дева». Видимо, мы напали на след воров.

Я приказал моим агентам помалкивать до поры до времени, так как требовалось не только разыскать похитителей, но и обнаружить похищенное. Не к чему было оповещать Мейера, очевидно, замешанного в эту кражу, о наших предположениях, так как последний мог бы предупредить об опасности своих сообщников.

Особое внимание я остановил на лесе, так как, всего вероятнее, через него были увезены украденные вещи. Перенести на руках похищенное из дома к озеру не представляло особого труда, для этого нужно было пройти по саду саженей тридцать. Тут же стояли привязанные лодки. Погрузив в одну из них похищенное и переплыв на тот берег, можно было, не торопясь, переложить поклажу в телегу, поджидавшую воров где-нибудь в гуще деревьев. Тут же, кстати, начиналась дорога, пересекающая лес и ведущая в соседние деревни.

Поэтому на следующее утро человек тридцать, во главе со мной, Грундманом и Лейном, направились в лес. Он занимал довольно значительную площадь, — приблизительно десятичтыреста. А потому на первый раз я ограничился осмотром дороги, с прилегающей к ней полосой, саженей в двести шириной. Через несколько часов поисков под одним из ореховых кустов были найдены пустые дубовые ящики из-под серебра. Кроме того, Грундман опознал местность, заявив, что в конце дороги находится мельница, принадлежащая брату Отто Вильнеса. Вечером мы вернулись домой, и граф, увидев найденные ящики, окрылился некоторой надеждой. Последующие обыски леса ничего не дали.

Дальнейшее пребывание в имении показалось мне излишним, и мы вернулись в Ригу. Однако перед отъездом я зашел в ближайшее почтовое отделение, обслуживающее имение, чтобы повидать почтмейстера:

— Знаком ли вам почерк управляющего Мейера?

— Как же, прекрасно знаком.

— Так вот, будьте любезны перлюстрировать все письма, как отправляемые им, так и получаемые на его имя. Снимайте за мой счет с них копии и высылайте их мне. Конечно, от вас требуется соблюдение полной тайны.

Приехав в Ригу, я тотчас же кинулся разыскивать Отто Вильнеса. По справкам адресного стола его в городе не оказалось. Тогда я решил послать агента на мельницу к брату Вильнеса. Командировка эта представлялась нелегкой, так как надо было осмотреть мельницу и ознакомиться с ее обитателями, не возбуждая при этом никаких подозрений; между тем Вильнесы были крайне недоверчивы и осторожны и по своему прошлому хорошо знали методы и приемы сыска.

Поэтому был выработан следующий план.

В Риге имелось Евангелическое общество, распространявшее среди населения печатные экземпляры Евангелия. При нем состояло много комиссионеров, рассказывавших по губернии с особыми суммами, наполненными священными книгами. Поехав в это обще-

ство, я выхлопотал мандат, суму и 10 экземпляров Евангелия на имя моего агента Лейна, который и отправился на мельницу. Со станции железной дороги до самой мельницы он шел пешком, без шапки, углубясь в чтение Священного Писания. На мельнице он застал брата Вильнеса, но «вице-фрейлен» отсутствовал. Вернулся Лейн, в сущности, ни с чем. Он выяснил лишь, что Вильнесы родные племянники Мейера со стороны матери.

Я принялся за выработку нового плана розыска воров, как вдруг получаю копию, снятую почтмейстером с письма управляющего к Отто Вильнесу. Письмо было адресовано в Ригу и заключало в себе следующие строки:

«Милый Отто.

На днях из Риги приезжала к нам охота. Поохотилась в лесу, кое-что убила, а затем, потеряв всякие следы дичи, вернулись восояси. У нас снова тишина и покой».

Я сейчас же кинулся с агентами по адресу этого письма. Указанная квартира оказалась не на имя Вильнеса, но в ней мы застали его мать.

— Где ваш сын? — спросил я ее.

— Отто третьего дня уехал в Петербург.

— Какой его адрес в Петербурге?

— Этого я не знаю, он еще не писал.

Мы стали производить обыск в квартире, но из похищенного у графа ничего не нашли. Грундман заметил, однако, что старуха все время держит в руках какую-то книгу, не отпуская ее ни на минуту. Он отобрал ее и, перелистав, нашел запечатанное письмо, адресованное управляющему Мейеру. Конверт был вскрыт. Письмо оказалось следующего содержания:

«Дорогой дядюшка.

Отправляюсь сейчас на вокзал, еду в Петербург. Спешу вам ответить на сегодняшнее письмо. Рад, что охота от вас уехала. У нас тоже все спокойно. Огорчу вас лишь тем, что сообщу о смерти бедного Яниса, умершего в субботу и похороненного пять дней тому назад. Я был на кладбище и отнес ему на могилу наши слезы. Ждите от меня дальнейших известий.

Ваш Отто».

— О каком это умершем Янисе пишет ваш сын? — спросил я мать Вильнеса.

— Не знаю. Мало ли у него знакомых!

— Почему у вас это письмо?

— Мой сын, уезжая, просил отправить его, а я все еще не собралась.

Оставив одного из агентов в квартире Вильнеса, я принялся за выяснение личности умершего Яниса. Могилу его нам важно было разыскать, так как, по разъяснению Грундмана, выражение «слезы» на латышском языке часто употребляется вместо слова «бриллианты». Поэтому были основания полагать, что Отто в своем письме говорил о зарытых в могиле Яниса бриллиантах.

Были запрошены все православные церкви, кирки, костелы и синагоги Риги, чтобы узнать, не хоронился ли ими за последнюю неделю некий человек по имени Янис. Отовсюду получили отрицательные ответы. Я был в полном недоумении, но священник одной из приходских церквей посоветовал мне обратиться еще за справками к священникам двух расквартированных в Риге полков — Изборского и Малоярославского. Оказалось, что на прошлой неделе, в домашней церкви Малоярославского полка был отпет и похоронен на полковом кладбище солдат 4-й роты Иван Либус, которого в общезнании товарищи всегда звали Янисом.

Получив эти сведения, я поехал к рижскому архиепископу, рассказал ему, в чем дело, и просил разрешения открыть и осмотреть могилу Яниса. Высокопреосвященный ответил мне весьма дипломатично:

— Я не могу разрешить раскапывать могилу умершего христианина, так как сие противно канонам нашей церкви. Но никому не возбраняется, однако, привести могилу в порядок, чтобы придать ей более благолепный вид. Можете обложить ее дерном, вынуть и обновить крест, увеличить могильную насыпь. Если вам желательно произвести означенный ремонт, то с моей стороны препятствий не встречается.

Я проявил, конечно, горячее желание заняться украшением могилы Яниса и, получив благословение и письменное разрешение Высокопреосвященного, с двумя агентами отправился на военное кладбище. Взяв постового городского и кладбищенского сторожа в качестве понятых, мы без труда нашли могилу Яниса и принялись за ее осмотр. Срыв могильный холм и вынув белый деревянный крест у его основания, на глубине примерно полуаршина мы нашли большой стальной игольник. Он оказался наполненным бриллиантами. По составлении протокола крест был водружен на место и могила приведена в полный порядок.

Прошла неделя-другая, а «вице-фрейлен» все еще не возвращался из Петербурга. Я опять послал Лейна на мельницу, приказав ему на этот раз подойти к усадьбе Вильнеса с противоположного конца дороги и с пустой сумой, словно возвращаясь обратно после обхода. Но, как и в первый раз, Отто на мельнице не оказалось. Вскоре, однако, почтмейстер переслал мне еще одно письмо Вильнеса, снова адресованное дядюшке. Из него выяснилось, что Отто из Петербурга перебрался в Ревель и нанялся в лакеи к барону М. Он извещал дядю, что вскоре будет «работа». Мы помчались в Ревель, без труда нашли барона М., и, наконец, «вице-фрейлен» был арестован. К нему удивительно шла вышеназначенная кличка: это был высокий, высохший человек, с лицом, абсолютно лишенным всякой растительности, чувствительный, сентиментальный и плаксивый, с пискливым бабьим голосом. Он, действительно, похож был на старую деву. При допросе «вице-фрейлен» решительно отрицал свою вину.

Так как арест его не мог остаться тайной для остальных сообщников, то, не теряя времени, я отправился на мельницу для производства обыска. Брат Отто был поражен, как громом, увидев появившегося со мной надзирателя Лейна, еще так недавно посещавшего его дом под видом смиренного книгоноши. При нашем приезде на мельницу Вильнес, почуя, очевидно, недоброе, схватил какую-то бумажку и сунул ее в рот. Она была, однако, немедленно извлечена оттуда и оказалась запиской управляющего, сообщавшего племяннику, что от Отто поступили сведения из Ревеля.

Мы арестовали и этого брата Вильнеса, хотя старательный обыск во всем помещении не дал никаких результатов.

По возвращении в Ригу мне доложили, что Отто Вильнес покушался в камере на самоубийство и с этой целью расковырял себе вену на руке при помощи железки, снятой им с конца шнура собственного сапога. Лишь случайный приход надзирателя спас Вильнеса от смерти. Он был отправлен в тюремную больницу, где врач обещал вскоре поставить его на ноги.

Через несколько дней мне позвонил по телефону начальник тюремной больницы и сообщил, что у матери Вильнеса, посещавшей больного сына, при выходе из больницы была отобрана Библия, переданная ей Отто. Это оказался экземпляр обычного издания Библии, небольшого формата. Я стал внимательно его перелистывать, ища каких-нибудь знаков, подчеркнутых букв и т. д. Но никаких признаков условного шифра не обнаружил. Я отделил ее от корешка и на внутренней стороне последнего заметил подклеенную чистую, белую бумажку. Осторожно отклеив ее и перевернув, я увидел мелко написанные строки. С помощью лупы можно было прочесть следующее: «Янис Либус, 4-й роты Малоярославского полка, умер 5-го ноября, похоронен на полковом кладбище. На его могилу я отнес наши слезы». Ниже был нарисован могильный крест, а под ним стояла отметка карандашом.

Очевидно, мать успела сообщить Отто, что при обыске его письмо, адресованное дядюшке, было нами отобрано, и Вильнес вторично извещал управляющего о месте нахождения бриллиантов. Им обоим не пришло в голову, что письмо это было мной сфотографировано, подлинник же отправлен по назначению.

Дело было уже достаточно выяснено, и я решил, что наступил момент арестовать Мейера. Агенты, отправившиеся с этой целью в имение графа Меллина, рассказывали мне, что граф страшно возмущался и всячески противился аресту своего управляющего как акту ни с чем не сообразному, жестокому и ненужному. Но инструкции, данные мною, были категоричны, и, несмотря на протесты графа, Мейер был все же арестован и привезен в Ригу.

Через несколько дней, как только Отто Вильнес оправился, я вызвал его к себе в кабинет.

— Вот что, Вильнес, — сказал я. — Вызываю тебя на допрос в последний раз. Хочешь — сознавайся, хочешь — нет, — твое дело. Улики против тебя совершенно неопровержимые. Твой дя-

дядюшка Мейер и брат твой арестованы и сознались уже во всем, рассказав (тут я, конечно, пошел на ура), как вы ночью на лодке перевозили вещи.

«Вице-фрейлен» недоверчиво улыбнулся.

— Не думай, что я говорю тебе это нарочно, с целью изловить тебя. Повторяю, они во всем сознались, и вот тебе доказательства: они выдали бриллианты, закопанные тобой на полковом кладбище под крестом Яниса. Вот они! (Я вынул из кармана игольник и рассыпал по столу бриллианты.) Вот записка Мейера твоему брату, также уличающая вас. Вот твое письмо из Ревеля, адресованное дядюшке. Вот бумажка, подклеенная в корешок Библии. Наконец, не от чистой же совести покушался ты на самоубийство? Довольно тебе? Помни, что чистосердечное признание уменьшит тебе наказание.

«Вице-фрейлен», огорошенный уликами, огорченный потерей бриллиантов, поверив, что дядюшка и брат его признались во всем, счел невыгодным больше заперяться и произнес полную повинную. Со свойственной ему экспансивностью он принял за самобичевание, осыпая себя не только презрительными эпитетами и ругательствами, но и судорожно вырывая клочья волос из своей и без того не пышной шевелюры.

— Едьте, едьте, г. начальник! Я покажу вам, где закопаны вещи, возвратите графу его имущество: не щадите нас, мошенников! Так нам и надо, туда нам и дорога!

Не желая терять момента и боясь, как бы «вице-фрейлен» не изменил своего решения, я тотчас же по телефону заручился паровозом и теплушкой и, взяв четырех агентов, вместе с Отто Вильнесом выехал, по его указанию, на станцию Хинценберг. Здесь, в лесу, недалеко от станции, он привел нас к какому-то кусту и сказал: «Тут».

С помощью ломов и лопат разбили и разбросали мы уже подмерзшую землю и откопали большую высокую коробку из-под ландринковского монпансье. В ней оказались свернутые в трубочку процентные бумаги и два браслета с пустыми гнездами от камней. Камни «вице-фрейлен» успел продать уже при поездке в Петербург. Тут же, рядом с жестянкой, в спичечной коробке, лежала записная книжечка графини с миниатюрой и часиками. К сожалению, случайным ударом лопаты был отколот краешек миниатюры и раздроблены часы.

От этого куста «вице-фрейлен», ориентируясь по надломленным на деревьях ветвям, повел нас дальше, к следующему тайнику. Таких тайников оказалось целых десять.

Все похищенное было найдено, но, к сожалению, не все в сохранном виде. Так, например, огромные серебряные блюда были разрублены на части, очевидно, для того, чтобы их легче было скрыть.

Предположения мои относительно того, как была произведена кража, вполне подтвердились. По признанию обвиняемых, дело

происходило следующим образом. Два брата Вильнеса пробрались ночью в сад и, подойдя к стеклянной веранде, были нагружены ценной поклажей, переданной им дядюшкой их, — управляющим Мейером, который ключами графа, взятыми из письменного стола, открыл несгораемый шкаф и извлек из него все ценности. Братья в несколько приемов перенесли похищенное от веранды к озеру, нагрузили лодку и переплыли на противоположный берег озера и взвалили все добро на поджидавшую их подводку. Один из них повез добычу, другой вернулся и отнес ключ от цепи, на которой была лодка, поджидавшему его дядюшке.

Довольно своеобразную психологию проявил граф по отношению к Мейеру: он принялся усиленно хлопотать за него, всячески пытаясь смягчить его участь.

Сам Мейер не обнаружил особого раскаяния и отзывался о графе с ненавистью и раздражением...

Как тут не сказать после этого, что благодарность людская — звук пустой!..

МИЛЛИОН НА МОНАХА

Это несколько странное заглавие ставится мною над моим рассказом лишь потому, что под таким ярлыком числилось в свое время в Московской сыскной полиции ловкое и весьма оригинальное мошенничество, о котором я и намерен рассказать.

Является ко мне как-то некий Стрельбицкий, довольно крупный мыльный фабрикант, и заявляет:

— Я, г. начальник, пришел к вам посоветоваться относительно одного весьма заинтересовавшего меня дела. Я получил крайне выгодное предложение, но столь странное, что просто не знаю, что о нем и думать. Впрочем, извольте посмотреть сами, — и он протянул мне какое-то письмо.

В нем значилось:

«Милостивый Государь.

По всесторонне выведенным справкам нам удалось выяснить с несомненной точностью как общую картину ваших торговых дел, так и весь ваш нравственный облик. Вы оказались прекрасным, честным человеком, а ваше мыловаренное предприятие — делом солидным и с обещающим будущим. Вместе с тем мы узнали, что в данный момент вы изыскиваете средства для расширения своих дел. Все это взятое вместе побуждает нас обратиться к вам с нижеследующим, но совершенно секретным предложением. Мы можем ссудить вам один миллион рублей на крайне выгодных для вас и весьма существенных для нас условиях. Дело в том, что в одном из глухих монастырей провинции проживает некий архимандрит (он же и настоятель обители), у коего имеется в одном из банков вклад на предъявителя в размере 1 миллиона рублей, помещенных в 4% государственной ренты. Несколько лет назад означенный архимандрит, не устояв от греха, сошелся с некой женщиной, правда, изумительной красоты, и прижил от нее ребенка — мальчика (ему теперь 6 лет). Вы знаете, конечно, что монашество, вместе с постригом и отречением от всего мирского, теряют и гражданские права: права семейственные, наследственные и т. д. И вот этот архимандрит, прихварывая последнее время и чуя близкую кончину, крайне озабочен мыслью о сыне. Завещать ему вклада он не может, перевести деньги на мать, — по ряду соображений не желает, а потому порешил поручить мне труд к отысканию надежного, честного и небедного человека, каковой бы

взял на свое попечение эту молодую, дорогую для него жизнь и надежно сберег бы к ее совершеннолетию отцовские деньги. В награду за эту услугу отец архимандрит предлагает исключительно выгодные условия займа. Вам предлагается миллион рублей под вексель сроком на 15 лет и с уплатой всего лишь 1% в год, т. е. 10 000 рублей, кои вы обязуетесь передавать матери на ее жизнь и воспитание ребенка. Вашей доброй совести предоставляется, конечно, возможность приумножить эти деньги ко дню совершеннолетия ребенка, но это обязательство не ставится вам в условие. Платите аккуратно ежегодную ренту матери и погасите вексель через 15 лет, — вот и все, что от вас требуется. Если означенное предложение вы найдете для себя приемлемым, то отвечайте тотчас же в Смоленск, почтовая контора, до востребования, по квитанции № 1462».

Лишь только я оторвался от чтения этого любопытного послания, Стрельбицкий поспешно спросил меня:

— Ну, что вы думаете обо всем этом?

— Думаю, что вас пытаются облапошить мошенники.

— Да неужели?!

— Разумеется! Не говоря уже о фантастичности самого предложения, но, насколько помню, до меня доходили уже смутные слухи об аналогичных за последнее время проделках в провинции. Надо думать, что «дельцы» перенесли свою работу в столицы, где и пытаются уловить доверчивые сердца.

Мой посетитель конфузливо улыбнулся и упавшим голосом промолвил:

— Вы знаете, что предложение мне показалось до того заманчивым, что я уже ответил в Смоленск и дал свое принципиальное согласие.

— Ах, вот как?! Ну и что же?

— Да пока ничего. Жду ответа.

— В таком случае почему же вы обращаетесь ко мне?

— Видите ли, я написал было сторяча, а как поразмыслил хорошенько, меня и взяли сомнения. После ваших же слов мои сомнения перешли в уверенность, и я решил отказаться от этого своеобразного предприятия.

— И хорошо делаете. Однако я прошу вас, во имя общественного интереса, помочь мне раскрыть эту тайну и этих предпринимчивых мошенников.

— Я к вашим услугам. Но чем же могу я помочь?

— Не откажите привезти мне тот ответ, что получите вы из Смоленска.

— Хорошо. Я вам это обещаю.

На этом мы расстались.

Дня через три Стрельбицкий ко мне явился с ответом.

«М. Г.

Согласно выраженному вами желанию, назначаем вам день, час и место нашей будущей встречи. Предлагаем вам прибыть в Смо-

ленск и 7 июля, в 10 часов утра, пожаловать в Лопатинский сад, занять место на пятой скамейке справа по главной аллее, считая от ресторана. Я встречу вас, и мною будет вам предъявлено для осмотра сохранное свидетельство банка. Все дело займет не более двух дней, а потому не запасайтесь лишними деньгами. Что касается вексельных бланков, то таковые, конечно, могут быть приобретены и здесь, а потому не хлопочите на этот счет в Москве. Отец архимандрит благодарит Бога за то, что удалось, наконец, найти человека, доброе имя котброго служит верной гарантией в близком его сердцу деле.

До скорого и приятного свидания».

Прочитав этот ответ, я призадумался. Много разнообразных мошенничеств самых причудливых «колеров» было раскрыто мной за последние годы, но в каждом из них так или иначе выпирала душа, смысл, так сказать, предпринятой аферы. Здесь же я именно не улавливал расчета в преступной комбинации. Для чего было вызывать в Смоленск человека и назначать ему свидание среди бела дня, на людном месте? Очевидно, не для насилия и грабежа. Для чего было придумывать сложную процедуру с векселем на 15 лет и не попытаться предложить хотя бы купить по дешевке хорошо подделанное сохранное свидетельство? Ведь не станет же человек подписывать миллионный вексель, не разглядев хорошо знакомого банковского документа и не наведя справок в банке об этом вкладе вообще? На что же могли рассчитывать мошенники, обращаясь к немолодому, опытному и серьезному коммерсанту? Тщетно я ломал голову и не находил ответа. Это дело настолько заинтересовало меня, что я решил не только отправить в Смоленск опытных людей, но и съездить туда лично.

Моя внешность и фигура резко отличались от Стрельбицкого, а посему я счел нужным для пользы дела не лично заменить его, а предоставить эту роль моему способному агенту Швабо, кстати, — и без грима, — на него похожющего. Эта предосторожность могла быть и излишней, так как Стрельбицкий не вел ни с кем из мошенников личных бесед, ограничиваясь письмами; но представлялось вероятным, что, изучая образ жизни своей будущей жертвы, мошенники могли мельком где-либо его видеть. Итак, к 7 июля Швабо, запасшись паспортом на имя Стрельбицкого и приняв, по возможности, образ последнего, выехал в Смоленск. В том же поезде ехал и я с двумя агентами. В Смоленске Швабо остановился в одной гостинице, мы — в другой.

В 10 часов утра Швабо, запасшись бумажником, набитым «куклами» (т. е. туго спрессованной газетной бумагой, обернутой в сто-рублевки) и кипю недорогих вексельных бланков, восседал уже в Лопатинском саду на указанной скамейке, а я и мои люди разгуливали непринужденно поодаль от него. Вскоре появился прилично одетый человек, подошел к Швабо и присел на скамейку. Я видел, как они вскоре раскланялись и пожали друг другу руки, после чего начался у них оживленный разговор. Неизвестный тип достал ка-

кую-то бумагу, Швабо внимательно ее разглядел и вытащил свой бумажник, похожий скорее на развернутую гармонию, потом они распрощались, долго тряся друг другу руки, и мой Швабо направился к себе в гостиницу.

Вскоре он мне докладывал:

— Все обошлось гладко; мой набитый бумажник произвел, видимо, впечатление. Однако, когда я заявил ему, что запасаюсь вексельными бланками в Москве, он почему-то, не сдержав досады, укоризненно мне заявил: «Для чего вы, право, это делали? Я же писал вам, что их можно здесь раздобыть, в Смоленске!» Он назначил мне завтра свидание в час дня, на той же скамейке, и обещал при этом познакомить с матерью младенца, для которой, разумеется, весьма интересно познакомиться с будущим, так сказать, опекуном ее сына. Сохранное свидетельство, показанное им мне, на вид не возбуждает никаких подозрений: обычный банковский лист из толстой пергаментной бумаги, наличие печатей, подписей директоров и кассира, словом, — все как следует. Завтра предполагается познакомить меня с матерью, после чего решено отправиться тут же, в саду, в ресторан позавтракать в отдельном кабинете, где будет мне предоставлена еще раз возможность детально осмотреть сохранное свидетельство. Затем решено ехать в отделение государственного банка, где я, убедившись в наличии вклада, указанного в документе, обязан буду заполнить мои вексельные бланки и тут же обменять их, в присутствии привезенного нотариуса и свидетелей, на их сохранное свидетельство. Вместе с векселями я подпишу и передам договор, написанный в ресторане, об ежегодной выдаче 10 тысяч рублей матери ребенка.

— В чем тут штука, Швабо, как вы думаете?

— Ума не приложу, г. начальник! Одно время мне думалось, что собака зарыта в том, что жертва, являясь в сад, должна иметь минимум 8 тысяч рублей в кармане, т. е. сумму, необходимую для покупки вексельной бумаги на 1 миллион. Но для чего же в таком случае назначать столь многолюдное место, — это во-первых; во-вторых, я сообщил им, что вексельные бланки уже заготовлены и куплены мной в Москве, следовательно, я могу и не иметь крупных при себе денег? С другой стороны, мошенник видел мой туго набитый деньгами бумажник, а потому, быть может, и продолжает игру. Словом, — у меня полный хаос в голове, и, право, порой мне начинает даже казаться, что вся эта история вовсе не выдумка, а на самом деле и есть таковой, какой ее расписывают эти люди.

— Полноте, Швабо, у вас ум за разум зашел! Вот подождите до завтра, и, надо думать, в кабинете ресторана все разъяснится.

Назавтра мы выработали следующий план действия: лишь только в кабинете дело дойдет до переписывания чернилами набросанного карандашом договора о ежегодной пенсии матери, я с двумя моими агентами ворвусь туда и арестую мужчину и женщину. Сигналом для меня послужит отправка лакея за чернилами.

На следующий день Швабо, с одной стороны, а я и мои два агента — с другой, входили ровно в час в Лопатинский сад. Швабо уселся на свою скамейку, а я принялся наблюдать издали. Вскоре появился вчерашний тип под руку с изумительно красивой женщиной-еврейкой. Он дружески приветствовал Швабо, и последний, подскочив с места, галантно приложился к ручке, довольно величественно ему протянутой еврейкой. Посидев некоторое время на скамейке, они встали и направились в летний ресторан. Взойдя на веранду, они повернули в коридор и исчезли в кабинете. Я с моими людьми занял столик на веранде. Наша позиция была удобна, так как все кабинеты выходили дверями в коридор и все проносимое в них несло непременно мимо нас. Ждать пришлось долго — часа два. Наконец, появляется лакей, просит за стойкой чернильницу и перо и исчезает в кабинет с ними. Я мигнул моим людям, и мы бросились по пятам лакея. Едва успели мы ворваться в кабинет, как собеседник Швабо в мгновение ока очутился на открытом окне и едва мой агент успел схватить его за ноги. Еврейка же поспешно сунула себе в рот скомканный документ и судорожно принялась жевать. Мы не дали докончить ей «вкусного завтрака» и извлекли изо рта бумагу. Она оказалась все тем же сохранным свидетельством.

С арестованными мы отправились в местное сыскное отделение, у входа в которое разыгралась неожиданная сцена: какой-то господин, выходя из него и увидя нашего арестованного, завопил благим матом: «Вот он, вчерашний негодяй и мошенник, меня ограбивший!.. Ах, он подлец! Ведите, ведите его, господа, скорее к начальнику!»

Оказалось, что вопивший господин еще вчера стал жертвой нашего мошенника. Соблазняясь мнимым миллионом того же монаха, он пожаловал в Смоленск из Киева, накупил по указанию все того же жулика в местном казначействе вексельной бумаги на соответствующую сумму и, не желая ходить по ресторанам, пригласил обоих аферистов в гостиницу к себе в номер. Во время завтрака ему был подсыпан в вино какой-то порошок, после чего он крепко заснул, а проснувшись, обнаружил пропажу вексельных бланков и 1800 рублей. Тайна, наконец, разъяснилась: в заговоре с мошенниками был и один из кассиров местного губернского казначейства, к каковому аферисты и направляли обычно своих доверчивых жертв для покупки вексельной бумаги. По совершении преступления незаполненные вексельные бланки принимались казначеем обратно со скидкой 10% с их стоимости. Эта скидка и была его заработком в деле.

В тех случаях, когда жертвы привозили с собой чистые бланки, то либо они принимались тем же кассиром, либо сплавлялись мошенниками в Варшаву тоже с некоторой скидкой.

Таким образом, при каждом ударе для жуликов было обеспечено минимум 8000 рублей; но обычно эта цифра была выше, так как помимо вексельной бумаги люди на всякий непредвиденный случай запасались и деньгами.

По их собственному признанию, случай с Швабо был уже седьмым в их практике. Переписав договор чернилами, они предполагали распить за добрый почин бутылку шампанского со Швабо, каковому и намеревались подсыпать в стакан дурманного порошка.

Так раскрылась эта хитроумная мошенническая затея, а с нею проявилась и легкомысленная доверчивость шести русских степенных людей, околпаченных рассказами о легендарном миллионе отца архимандрита.

300 000 РУБЛЕЙ ПО ПОДЛОЖНОЙ АССИГНОВКЕ

В Московское губернское казначейство явился какой-то человек, предъявивший ассигновку, подписанную одним из московских мировых судей, и получил 300 тысяч рублей, состоявших в депозите этого судьи.

Недели через две потребовалась справка о состоянии депозита, причем выяснилось, что указанные 300 тысяч рублей уже более не числятся в нем и выданы по выписной ассигновке. Кинулись справляться, и оказалось, что распорядитель депозита никогда и не думал подписывать такой ассигновки. В результате губернское казначейство известило нас о происшедшем подлоге, и я принялся за дело.

Тщательный осмотр ассигновки привел к выводу, что три последних цифры шестизначного номера, на ней обозначенного, аккуратно и весьма искусно подчищены.

Следует заметить, что бланки ассигновки на текущие служебные надобности раздавались всегда по сериям штук по 100 и более на каждое учреждение. Таким образом, по пропечатанному номеру можно было всегда установить точно и то должностное лицо, из канцелярии коего была выпущена та или иная ассигновка. Номер, значащийся на подложной ассигновке, привел нас к одному из мировых судей Москвы; но у последнего, как и следовало ожидать, все оказалось в порядке, и ассигновка под вышеназванным номером еще даже не была использована.

Являлась поэтому необходимость во что бы то ни стало установить, какие же именно цифры были подчищены и заменены новыми на подложном документе? Эта задача представлялась нелегкой; однако талантливый фотограф сыскной полиции фон Менгден рьяно принялся за работу и, пробившись с неделю, достиг-таки цели. Способом наложения одного снимка на другой и фотографирования затем такой сложной комбинации ранее полученных изображений он добивался того, что неуловимые простым глазом оставшиеся очертания подчищенных цифр выступали все ярче и определеннее и после бесконечного числа таких манипуляций и увеличений стали, наконец, доступными и невооруженному зрению. Таким образом, нам удалось восстановить первоначальный и истинный № ассигновки. Этот номер относился к серии бланков одного из замоскворецких мировых судей, — некоего Р., брата не-

безызвестного члена Государственной Думы, а затем чуть ли не министра по делам Финляндии времен Керенского. Я отправился к нему.

Он принял меня согласно велениям кодекса либеральной морали. На своем, вообще маловыразительном, лице он попытался выразить и обиду, и презрение, и отвращение. Мои доводы о необходимости осмотра его делопроизводства, ввиду обнаружившегося подлога, невольным участником которого он мог явиться, не убедили этого умного человека, и он с пафосом заявил, что не позволит полиции (понимай: «этому презренному институту») рыться в его делах и бумагах. Мне стало противно не только настаивать, но и разговаривать с этой самовлюбленной либеральной тупицей, и я обратился к прокурору судебной палаты Хрулеву. Последний, приложив к судье весьма нелестный эпитет, не говорящий об его уме, принес мне от имени судебного ведомства извинения и, прикомандировав ко мне судебного следователя, уполномочил нас обследовать делопроизводство господина Р.

Прежде чем ехать вторично к судье, я запросил губернское казначейство, из какового мне ответили, что по ассигновке (мы дали подлинный, установленный нашим фотографом, номер), нами указанной, никаких сумм не отпускалось.

Я тотчас же велел собрать сведения о канцелярских служащих г. Р. Оказалось, что всеми делами его канцелярии ведает некий писарь Андрей Бойцов, с каковым случайно был знаком мой агент Леонтьев, специализировавшийся по наблюдению за штатами служащих как правительственных, так и частных учреждений. По заявлению Леонтьева, Бойцов — большая дрянь, взяточник, выколачивающий всякими способами доходы из своей службы: то подговаривая свидетелей, то подавая советы обвиняемым, то задерживая незаконно исполнение тех или иных бумаг.

Я пожелал использовать это счастливое знакомство и приказал Леонтьеву повидаться где-либо с Бойцовым, не подозревавшим, конечно, о службе Леонтьева в сыскальной полиции.

— Попытайтесь, Леонтьев, — сказал я, — за стаканом вина что-либо выведать. Быть может, Бойцов и проговорится.

На следующий же день Леонтьев встретился «случайно» с Бойцовым в трактире и разговорился. Рассказал ему, что это время бедствовал без места, но теперь устроился письмоводителем к земскому начальнику. Бойцов был оживлен, много говорил, но ни единым звуком не проговорился о «деле». Три дня я продержал слежку за Бойцовым, но и она ровно ничего не дала. Очевидно, Бойцов, встревоженный моим появлением у его патрона, был сугубо осторожен и, кроме своей квартиры, службы да трактира, никуда не ходил.

Я наметил себе линию ближайшего поведения. Я был уверен, что, являсь вторично к Р., я в канцелярских книгах его обнаружу какую-либо путаницу с денежными ассигновками, так как ведь из

его же серии был взят бланк для поддельного документа. Бойцов от всего, конечно, отопрется, и что же будет дальше?

Тут меня осенила мысль: необходимо будет опять использовать знакомство, вернее, встречу Бойцова с Леонтьевым.

Я приказал агентам, следящим за Бойцовым, не прибегать к осторожности, но умышленно дать последнему заметить их слежку за собой, что в точности и было ими исполнено.

Начиненный этими сведениями, я с судебным следователем явился к г. Р. Он принял нас так же сухо, но противиться осмотру делопроизводства на сей раз не мог. Осмотрев в канцелярии книгу ассигновок, я нашел в ней, в числе корешков уже использованных бланков, и носящий нужный нам номер, т. е. первоначальный, восстановленный фотографически в подложной ассигновке. Однако на этом корешке значились совершенно другое имя, дело и сумма не в 300, а в 10 тысяч рублей. Стало очевидным, что корешок в книге был для видимости заполнен выдуманным текстом, а ассигновка и ее талон пошли на мошенническую подделку с целью получения 300 тысяч.

Сообщив г. Р. о результатах осмотра его книг, мы ввергли его в великое смущение и недоумение. Куда девался его arrogantный тон? Он вдруг сделался до приторности любезным, сбегал лично за стулом и принялся слащаво меня упрасивать сесть. Очевидно, «либеральные принципы» уступили место соображениям шкурного характера.

— Я должен буду арестовать вашего Бойцова, — сказал я ему.

— Что вы, что вы, г. Кошко?! Неужели же вы заподозриваете этого честного и развитого малого? Он уж больше года у меня служит, и я не могу нахвалиться им.

— Вы можете хвалиться им сколько вам угодно; но я имею точные сведения, что ваш «честный» Бойцов — чистейший мошенник, обдывающий свои делишки, часто прикрываясь вашим именем. Да, наконец, и на корешке вашей книги почерк именно Бойцова.

— Что же, вам виднее, г. Кошко. Делайте как хотите! Пожалуйста, не стесняйтесь! — сказал г. Р. с обворожительной улыбкой.

Вернувшись снова в его канцелярию, я обратился к Бойцову. Этот тип был лет 35, с крайне наглым лицом и тем характерным выражением на нем, что присуще часто русским недоучкам, превратившим свою голову в свалочное место полупрочитанных и наполовину понятых брошюр, памфлетов и прокламаций.

— Одевайтесь, Бойцов. Вы арестованы! — сказал я ему.

— Это же по какому праву? — запальчиво ответил он.

— Да без всякого права, а просто арестованы, да и только!

— Нет, вы извольте сказать, на основании какой такой статьи уголовного уложения 1903 года?

— Вы уголовное уложение бросьте! Я — начальник сысской полиции, подозреваю вас в крупном мошенничестве, а потому нахожу нужным арестовать вас. Поняли?

— Это чистый произвол, бюрократические замашки, вопиющее насилие!

Я велел позвать двух городских, и Бойцов был препровожден в сыскную полицию. Здесь он продолжал держать себя так же вызывающе и дерзко: отрицая всякую вину, возмущаясь незаконным якобы арестом и требуя немедленно лист бумаги для подачи жалобы прокурору.

— Вам какой лист: большой или маленький? — спросил я иронически.

— Все равно! — ответил он сухо.

— Прокурору вы пишете, — это ваше право. Но, быть может, вы вспомните, куда ушла ассигновка, вашим почерком выписанная на корешке, в сумме 10 тысяч рублей? Представьте, какая странность, — в губернском казначействе такого номера ассигновки не предъявляли.

Но эта улика не смутила нахала.

— Разве я могу помнить все ассигновки? Да, наконец, если и вышла путаница, ошибка, — нельзя же за это сажать людей под замок!

Продержав безрезультатно Бойцова сутки, я снова призвал к себе того же Леонтьева.

— Придется, видимо, Леонтьев, вам сесть на пару дней.

— Что же, г. начальник, дело известное, — не впервой!

— Да, но на этот раз вам придется вести себя крайне тонко. Бойцов — стреляная птица, малейшая шероховатость — и дело испорчено!

— Постараюсь, г. начальник!

— Вот что. Я думаю, вам лучше всего накинуться на него с руганью и упреками, обвиняя его в вашем аресте. Сошлитесь на недавнюю встречу в трактире и на слежку, что была, очевидно, установлена за ним и встречаемыми им приятелями. Поняли?

— Так точно, понял!

Леонтьев разыграл свою роль превосходно. Из слов подслушавших агентов и из его позднейшего доклада картина представлялась таковой. Леонтьев, посаженный в камеру и завидя в ней Бойцова, с места в карьер на него набросился и принялся ругательно ругаться:

— Сволочь ты этакая! Будь тебе неладно! И тоже из-за всякой скотины страдай! Только что наладилось с местом, так — на тебе, теперь из-за эдакого г... лишаться всего! Отвечал бы сам за свои паскудства, а то честных людей втрапливаешь, анафема этакая!

Огорченный Бойцов принялся не то оправдываться, не то услаивать расхоронившегося коллегу по несчастью:

— Да ты что орешь зря? Я-то тут при чем?

— При чем?! — злобно передразнил Леонтьев, — а при том, что раз за собой знаешь грех, так не подходи на улице к людям!

Чай, не маленький, — знаешь, что шпики следят за тобой, чертова твоя голова!

— Вот чудак-человек! И греха за мной нет, да и о слежке ничего не знаю!

— Да, теперь рассказывай! Пой Лазаря! Поди, хапнул хорошо, а то и убил кого! Не зна-а-а-л!..

Поругавшись еще с добрый час, утомленный Леонтьев заснул. Прошло два дня. На третий Леонтьев, отпросясь «до ветру», явился ко мне в кабинет.

— Ну, как дела? — спросил я его.

— Трудно пришлось, г. начальник! Два дня крепился подлец, да, наконец, уверовал в меня. И вот только часа три назад просил о следующем: «Тебя, — говорит, — наверное, скоро освободят, так не откажи, пожалуйста, сходить к моей тетке. Старуха живет в кухарках у помощника ректора университета. Скажи ей, что если ее потребуют в полицию, так чтоб она не говорила о том, что я ей племянник и навещал ее недавно. А за твою услугу я дам тебе адрес моего хорошего приятеля и записку к нему, по которой он выдаст тебе 25 рублей. А ежели хорошо исполнишь поручение, то и еще 25. Я не раз выручал его из беды, и он мне теперь не откажет в этих деньгах.

— Ладно, — сказал я, — пятьдесят рублей деньги немалые; а только как же пронесу я твою записку, ведь при выходе обыскивают?

— Ну, это пустяки! Записочка небольшая, засунь ее куда-нибудь, хоть под мышку, а то и в рот».

— Прекрасно, Леонтьев! Отправляйтесь к старухе немедленно.

Леонтьев отправился и исполнил поручение, добавив еще от себя, чтобы последняя не говорила об оставленной ей племянником при последнем посещении вещи.

На следующий день я вызвал к себе старуху. Она явилась, ведя за руку пятилетнюю внучку. Это была древняя старуха, на вид лет 80, но еще довольно бодрая. Не успев выслушать вопроса, она, как ученый попугай, затараторила:

— Никакого Андрея Бойцова я не знаю, никакой Андрей ко мне не приходил, никаких вещей не оставлял.

В это время девочка прошептала:

— А как же, бабушка, ты говоришь, что дядя Андрей не заходил, а он ведь недавно был?

Я схватил девочку на руки и унес в соседнюю комнату, дал ей карамелей и спросил:

— Когда же был дядя Андрей?

Девочка, испугавшись, долго молчала, но потом, успокоившись, рассказала, что дядя Андрей недавно был и оставил бабушке узел.

— Куда же бабушка девала узел?

— Не знаю, — отвечала она. Большого от нее добиться не удалось.

Я вернулся с ней в кабинет.

— Да вы, барин, не слушайте ее, ведь она дите, ангел, можно сказать, Божий, — пропела сладко старуха и тут же, пригрозив кулаком девочке, злобно промолвила:

— Ишь, постреленок паршивый! Ужо я тебя!..

— И не стыдно вам, право! Вы одной ногой уже в могиле стоите, а на душу грех такой принимаете! Ведь племянник-то ваш человека зарезал, а ограбленные деньги снес к вам спрятать! Вот и девочка говорит, что узел-то у вас.

— Что вы, что вы, барин?! Господь с вами!.. Да стала бы я потрафлять убивцу?! А дите глупое, мало ли чего не наговорит! Нет, я, как перед Истинным, не виновата, не-е-е, не виновата!..

Боясь злобы старухи, я самолично отвез ребенка к помощнику ректора, сдал его ему на руки, рассказал все дело и просил оберегать девочку и, по возможности, повлиять на старуху, убеждая ее выдать спрятанные вещи.

Обыск, произведенный у старухи, ничего не дал, что, впрочем, не удивило меня, так как вещи могли быть ею зарыты на чердаке университета, тянущемся над зданием чуть ли не на несколько сотен саженей. Дело застопорилось и не виделось кончика, за который можно было бы ухватиться. Обыск у приятеля Бойцова, давшего по записке Леонтьеву 25 рублей, был также бесплоден.

За неимением лучшего пришлось прибегнуть к весьма сомнительному способу.

Призвав Леонтьева, я сказал ему, что придется опять «сесть» под предлогом нового ареста, произведенного над ним засадой у бабушки якобы в момент исполнения им поручения Бойцова.

— Теперь, Леонтьев, ваша роль еще труднее. Смотрите, — не провалитесь!

Через четверть часа Леонтьев уже орал на все камеры:

— Будь ты проклят с твоими окаянными деньгами! И я-то, дурак, послушался и направился к этой чертовой ведьме, чтоб ей пусто было! Ну, теперь шабаш, ввязался в чужое дело! И с чего, спрашивается, меня понесло! Пятьдесят целковых соблазнили? А накося, выкуси теперь: и место потерял, и честь замарал, а что еще будет, — одному Богу известно! Да уйди ты от меня, окаанный! — крикнул он что есть мочи на приблизившегося к нему с утешением Бойцова.

Последний, опять поймавшись на удочку, заговорил полушепотом:

— Нечего сокрушаться! Место потерял? Эка важность! Да если мы с тобой отсюда выберемся, так будь покоен — на обоих хватит; ты только помогай мне до конца, а в начете не будешь!

— Мели, Емеля, — твоя неделя! Не будешь с тобой в начете! Второй раз из-за тебя вляпываюсь: то в трактире шпики проследили, то на засаду у старухи нарвался! Нет, под несчастной планидой я родился!

Бойцов долго еще утешал Леонтьева. Вскоре я вызвал последнего якобы на допрос.

После допроса Леонтьев вернулся в камеру значительно успокоенным.

— Ну, слава Те Христос, кажись, втер им очки здоровые! Сказал, что к тетке твоей попал по ошибке, а направлялся в квартиру казначея, куда, действительно, поступила в горничные одна моя знакомая девушка. Кажись, поверили. Обещались проверить и, если окажется правда, то сказали, — беспрепятственно выпустят. Пускай их проверяют: барышня моя, действительно, поступивши, я и фамилию ейную им назвал.

Когда, дня через три, я освобождал опять Леонтьева, то Бойцов пристал к нему:

— Сходи да сходи на Чернышевский переулок. Там в доме № 10 живет швейцаром мой дядя. Скажи ему, что, мол, Андрей арестован и просит хорошенько припрятать оставленное мной пальто. А то сидеть — неизвестно еще сколько, кабы моль не съела.

Леонтьев на это сердито послал его к черту.

— Тебе что еще, мало моих мук? Нет, брат, ты сиди, а с меня будет! Довольно находился я по твоим сродничкам, не желаю больше!

Я с агентами лично направился на Чернышевский переулок в указанный дом и спросил молодцеватого швейцара:

— Где Андрей Бойцов?

— Не могу знать, ваше высокородие, — отвечал швейцар, принимая фуражку.

— Где пальто, что он тебе оставил?

— Пальто он, действительно, оставил, оно тут, я еще сегодня на ночь подкладывал его под голову.

— Подавай его скорее!

— Извольте. Вот оно-с.

Подпоров подкладку, мы обнаружили слой пятисотрублевых бумажек. По подсчету их оказалось на 250 000 рублей. Швейцар как увидел, даже побледнел от неожиданности.

— Эвона, какая музыка! — сказал он протяжно, почесывая затылок.

Едва успели мы вернуться в полицию, как неожиданно докладывают о приходе кухарки-старухи.

— Ваше высокородие, господин начальник, уж вы простите меня, дуру. Мой барин так разжалобил своими речами, что я пришла покаяться. Не желаю перед смертью брать греха на душу! Я принесла вам Андрюшкин узелок, извольте получить!..

В узле, к великому удивлению, оказалось не 50, а 58 тысяч. Впоследствии выяснилось, что в казначействе просчитались и выдали 308 тысяч, вместо 300.

Пригласив к себе в кабинет мирового судью Р., прокурора окружного суда Брюна де Сент-Ипполит, я разложил 58 тысяч на письменном столе, прикрыв их развернутой газетой, и, усевшись за стол, положил в ноги пальто с «начинкой». После сего я вызвал Бойцова.

Он появился, как всегда, с крайне развязным видом и тотчас же осведомился о звании присутствующего, ему незнакомого, Брюна.

— Это прокурор суда, — ответил я ему.

— Господин прокурор, я прошу вашего вмешательства! Вот уже неделя, как я ни за что арестован и содержусь под замком. Это непорядок, таких законов нет! уголовное уложение говорит...

— А это видел? — и я снял газету с денег.

Он не смутился:

— Тоже, подумаешь! Разложили казенные деньги и думаете поймать!

— А это видел? — и я поднял высоко пальто.

Бойцов побагровел и произнес:

— Ну, это другое дело! Это настоящее, юридическое, вещественное доказательство! — и, опустив голову, он угрюмо замолчал.

По Высочайшему повелению было отпущено 10 тысяч рублей в награду чинам сысской полиции, порабатавшим над этим довольно незаурядным делом.

РУССКАЯ ЗАБЛУДШАЯ ДУША

(Васька Белоус)

Не без волнения приступаю я к описанию преступных похождений Васьки Белоуса, закончившего свою бурную одиссею виселицей.

Тысячи преступников различнойших оттенков прошли передо мной за многолетнюю мою служебную практику, но эта мятежная жизнь, эта заблудшая душа стоит особняком в мрачной галерее моих горе-героев. Все в этом человеке было незаурядно: начиная от своеобразной, какой-то, если можно только так выразиться, преступной этики до редко мужественного восприятия смерти.

Но не буду забегать вперед и расскажу все как было.

В 1911 году в подмосковном районе вспыхнула эпидемия вооруженных грабежей. Характерной стороной их была своего рода гуманность, проявляемая грабителями. Жертвы хотя и обирались дочиста, иногда связывались, иногда запирались в чуланах, уборных и прочих укромных местах ограбляемых помещений, но никогда не убивались и даже не хранились. Словно орудовавшие грабители питали отвращение к пролитию человеческой крови. Таких краж и своеобразных грабежей последовало несколько десятков, но розыски уездной полиции не приводили ни к чему.

Московская сыскная полиция охраняла лишь городскую территорию, но, ввиду неуспеха уездной полиции, московский губернатор, генерал Джунковский, обратился и ко мне, прося помочь ему нашими силами.

Наши старания вначале были не более удачны: грабители успешно скрывались и никакие облавы не приводили к поимке как самой шайки, так и ее атамана. Впрочем, пружиной всего дела являлся сам атаман, не обладавший, видимо, определенным числом сообщников. Вывожу я это из разнообразного числа участников в каждом отдельном случае.

При задержании как-то одного замешкавшегося грабителя, да и по общемуговору, ходящему по окрестным деревням, удалось выяснить, что главарем банды является некий Василий Белоусов, по прозвищу — Васька Белоус.

Отзывы о нем были оригинальны: бедняков он не трогал (впрочем, с них и взять нечего), направляя свои усилия лишь на за-

житочных людей. Свершив удачно грабеж, он принимался за кутежи и щедрой, не знавшей меры и удержав рукой расшвыривал награбленные деньги тут же, по деревням, угощая и спаивая всех и каждого, осыпая подарками как своих односельчан, так и соседей-земляков, — словом, каждого, кто подвергивался под его щедрую руку. Этим, конечно, и объяснялась долгая неуловимость Васьки: крестьяне его охотно покрывали и давали приют этому носителю приятной и доходной для них статьи.

Биография Белоуса была такова: подкидыш без роду и племени, он был подобран и выращен какой-то сердобольной старухой. С детства отличался кротким нравом и трудолюбием. Был сначала пастухом в деревне, затем отменным работником. Наконец, отбыв солдатчину, вернулся обратно на родину и нанялся в услужение к одному из местных богатеев. К этому времени относится его знакомство с Василием Рябым, односельчанином, местным кузнецом, величайшей и всеми ненавидимой дрянью и пьяницей. Надо думать, что влияние этого кузнеца оказалось для Белоусова роковым. Не прошло и полгода, как кузнец уговорил Василия ограбить хозяина, причем кузнец в момент грабежа настаивал на убийстве последнего, и лишь настоянием Белоусова хозяин избежал смерти. Запуганный хозяин хотя и молчал, но дело раскрылось, и кузнец был приговорен к 4-м, а Белоус — к полутора годам арестантских работ. Время, проведенное Белоусом в заключении, не прошло для него праздно: зачатки грамотности, полученные им в солдатчине, он развил, научившись бойко читать и каллиграфно писать, причем случайным, по-видимому, подбором книг развил в себе, как это будет видно из дальнейшего изложения, своего рода романтичность, впрочем, очевидно, присущую ему от рождения. Эта односторонне развитая фантазия да тлетворное влияние тюрьмы, всегда сказывающееся на сколько-нибудь впечатлительных натурах, кинули окончательно Белоуса на путь преступных авантур, и, отбыв положенный срок заключения, Васька пустился во все тяжкое, что и вызвало мое вмешательство.

Бескровные грабежи следовали один за другим; кое-кто попадался на месте, иные при сбыте похищенного; но Васька Белоус был неуловим. Несколько раз при облавах в него стреляли, но всегда безуспешно, и Васька, пользуясь покровительством крестьян, бесследно скрывался. Его поимка осложнялась еще тем, что лишь один надзиратель из всех моих служащих — Муратов — знал Ваську в лицо, будучи с ним родом из одной деревни.

После ряда удачных грабежей Васька принялся бомбардировать меня письмами. Трудно сказать, какими соображениями он руководствовался при этом: не то игра с огнем была ему любя, не то желание разорить людей, его преследующих, а может быть, и слепая вера в свои силы, ловкость и счастье.

Так он писал:

«Там-то и там-то дело сделано мной, Васькой Белоусом, знаменитым атаманом неуловимой шайки, родившейся под счастливым

звездой Стеньки Разина. Крови человеческой не проливаю, а гулять — гуляю. Не ловите меня, — я неуловим. Ни огонь, ни пуля не берут меня: я заговоренный».

Однако вскоре характер Васькиных грабежей изменился. Так, на Владимирском шоссе был убит пристав Белянчиков. На следующий день я получил письмо:

«Его благородие, господина пристава Белянчикова, убил я — Васька Белоус. Уж очень стали они притеснять нас, да и на Пашку глаза запускать. Грабить их — не грабил, взял лишь леворвер, так как зачем он им теперече? Нам же пригодится».

Через несколько дней, близ станции Люберцы, была убита и ограблена вдова капитана 1 ранга.

И Васька писал:

«Генеральшу в Люберцах ограбил я — Васька Белоус. Убил же я ее за оскорбление».

Еще через несколько дней была ограблена крестьянская семья, причем 14-летняя дочь хозяина была изнасилована одним из грабителей. В этот же день нашли мертвое тело поблизости деревни, где произошел грабег.

В Васькином письме следовало:

«В такой-то деревне ограбил я, а Петьку Шачова пристрелил сам: не насильничай!..»

Так как грабежи стали сопровождаться и убийствами, то я направил все силы сыскальной полиции; но Васька Белоус все не давался в руки.

Он попался совершенно случайно и при крайне трагических обстоятельствах.

Как-то ранним утром мой надзиратель Муратов (как я говорил, единственный из моих агентов, знавший Ваську в лицо) отправился вместе с женой на рынок за покупками. Как вдруг заметил он в толпе Ваську. Зная, с каким лихорадочным рвением разыскивается этот опаснейший преступник, Муратов, не долго думая, подскочил к нему, и будучи безоружным и притом весьма щедушным человеком, тем не менее впился в руку этого колосса и принялся звать о помощи. Васька одним движением могучего плеча стряхнул с себя несчастного Муратова и, выхватив браунинг, дважды выстрелил в него в упор. Смертельно раненный Муратов упал, обливаясь кровью. К нему подбежали, но этот герой служебного долга, не потеряв сознания, с волнением простонал.

— Оставьте меня!.. Мое дело кончено!.. Ловите, ловите скорей Ваську Белоуса!..

Между тем Васька помчался через рынок, подбежал к какому-то забору и стал через него перелезть. Тут же вертевшийся мальчик, заразившись общим настроением преследовавшей Ваську толпы, впился зубами в ногу перелезающего через забор Васьки и мертвой хваткой повис на ней. Подбежавшие городовые схватили разбойника, обезоружили его, после чего он был препровожден в ближайший, Мясницкий, полицейский участок.

Извещенный тотчас же по телефону, я поехал туда, куда уже было перевезено и мертвое тело самоотверженного Муратова. Я молча поглядел на Ваську и собирался уходить, как вдруг он обратился ко мне:

— Господин начальник, прикажите перевести меня в сыскную. Мне поговорить с вами надобно.

Я повернулся и, ничего не ответив, вышел, приказав, однако, перевести Ваську.

Бедный Муратов оказался убитым двумя пулями в грудь. Грустно мне было на третий день следовать за гробом мужественного сослуживца, а еще грустнее — видеть слезы его вдовы и осиротелых детей. Не без негодования собирался я приступить к допросу убийцы Муратова, но при появлении его в моем кабинете и при первых словах, им произнесенных, чувство гнева стало во мне утихать, уступая место сначала некоторому любопытству, а затем, пожалуй, и чувству (да простит мне покойный Муратов!) некоторой симпатии.

Обычно принято думать, что злодей, имеющий на душе ряд убийств, должен внешнею своею непременно отражать это Божеское проклятие, эту каинову печать. На самом деле ничуть не бывало: среди закоренелых преступников явно дегенеративные типы встречаются, пожалуй, не чаще типов обычных, и нередко в числе злодеев попадаются даже и люди приветливой внешности, с кроткой, симпатичной улыбкой и очень часто с невинно-детским выражением чуть ли не ангельских глаз.

Васька Белоус был из числа последних. Красавец собой, богатырского роста и телосложения, чрезвычайно опрятный и, если хотите, по-своему элегантный, он положительно чаровал своей внешностью. Гордо посаженная, белокурая голова с приятным лицом, серыми, большими глазами, орлиным носом и густыми, пушистыми усами — такова была его внешность. Вошел он ко мне в кабинет в поддевке, ловко накинута на богатырское плечо, в высоких, смазных сапогах, в стальных наручниках, — словом, ни дать ни взять, пойманный молодец-удалец из старой русской быliny.

Это впечатление было настолько сильно, что я неожиданно для самого себя впал в какой-то чуть ли не эпический тон.

— Ну, Васька, погулял, и будет! Пора и ответ держать! Не криви душой, рассказывай все по совести, не скрывай думушки заветной!

— Это точно, господин начальник! Ничего не скрою, все расскажу. Умел молодец гулять, — умей и ответ держать.

— Что же ты, Васька, письма разные писал? Крови, мол, человеческой не проливаю, а на деле сколько головушек сокрушил?

— Нет, господин начальник, писал я правду: капли крови зря не пролил да и проливать своим товарищам не позволял.

— А как же пристав, вдова в Люберцах, Шаров?

— Это не зря: господина пристава я застрелил за то, что он к Пашке лез силой со срамными предложениями. А Пашку мою я люблю больше жизни. С генеральшей в Люберцах, право, грех вышел: не хотел я убивать ее, да не стерпел.

— Что же ты не стерпел?

— Да, как же, господин начальник? Забрались мы ночью к ней в квартиру. Я в спальню, она спит. Только что успел забрать часы да кольцо со столика у кровати, как вдруг в полупотемках задел графин с водой; он бух на пол! Генеральша проснулась, вскочила, разобиделась да как кинется, да мне в морду, раз-другой... Ну, я не стерпел обиды и убил за оскорбление. Убивать-то не хотел, а выстрелил больше для испугу, да вот на грех угодил в убойное место.

— А Шагова?

— Этому молодцу туда и дорога! Не насильничай и не похваляйся этим! Не желаю, чтобы про Ваську Белоуса слава дурная ходила... Он не убийца и не насильник! Людей зря не мучит!

— Ну, ладно, Васька! Будь по-твоему! Но как же ты Муратова, моего бедного Муратова, не пощадил? Ведь посмотри на себя: в тебе сажень косая в плечах, а Муратов был слабым, хилым человеком, к тому же и безоружным? Ну ты бы его пихнул хоть, страхнул бы с себя, зачем же было убивать его?

Васька глубоко вздохнул.

— Да, господин начальник, признаюсь, подло я с ним поступил! Да и сам понять не могу, что за вожжа мне под хвост попала? Взглянул я на него, и такая злость меня разобрала! Да и испугался я за волю мою — волюшку. И, не долго думая, — взял да и выпалил. А теперь и вспомнить горько. Позвольте мне, г. начальник, повидать их жену и сироток. Я в ногах у них валяться буду, прощенья вымаливать!

— Валяться ты-то будешь! Да что толку в том? Мертвого не воскресишь!

— Это точно! — и Васька еще глубже вздохнул.

Подумав, я сказал:

— Что ж, Васька, плохо твое дело! Ныне в Московской губернии усиленная охрана, пристав Белянчиков — лицо должностное, не миновать тебе виселицы!

— Так, что ж, господин начальник? Оно и правильно будет. Таких людей, как я, и следовало вешать по закону. От таких молодцов, как мы, один лишь вред да неприятность, а пользы никакой.

— А жаль мне тебя все-таки, Васька! Ты вот и каешься, не запираешься, а хлопочи за тебя — не хлопочи, — пожалуй, не поможет!

— Да вы и не хлопочите, господин начальник: незачем! Зря! Ну, сошлют меня, скажем, на каторгу, — я сбегу оттуда да и примусь за старое. Раз человек дошел до точки, — ему уж не остановиться. Шабаш! Как вы его не ублажайте, а его все на

зло тянет. Нет, г. начальник! Премного вами благодарны, а только уж вы не беспокойте себя, не хлопчите, не оскорбляйте своего сердца! Вешать меня следовало, и кончину свою я приму без ропота! Об одном я вас только очень прошу. Я расскажу вам все, ничего не утаю, назову всю сволочь, со мной орудовавшую, вешайте, убивайте, уничтожайте ее, так как без меня, без удержу моего, они таких делов натворят, что и небушку станет жарко! Одно лишь скажу вам, г. начальник, как перед Истинным, хотите — верьте, хотите — нет, а Пашка моя во всех злодействах моих не участница! И уж вы, пожалуйста, не сомневайтесь, не задерживайте ее!

В это время вошедший надзиратель доложил мне тихонько, что в сыскную полицию явилась какая-то молоденькая девчонка, назвалась Пашкой, просит арестовать ее и посадить с Белоусовым.

— Позовите ее сюда! — сказал я.

Надзиратель вышел.

— А ведь Пашка пришла, — сказал я Ваське.

— Я знал, что придет. Она ведь меня любит! — не без гордости ответил он.

Дверь раскрылась, и в кабинет робко вошла девушка, по типу цыганка. Матовая кожа, коралловые губы, огромные черные глаза. Это был почти еще ребенок. Она напоминала мне почему-то одну из бронзовых статуэток индийских танцовщиц. Увидя Белоуса и забыв все на свете, она кинулась к нему. Колосс протянул было руки, словно желая заключить ее в объятия, да стальные наручники помешали. От досады он скрипнул зубами, безнадежно рванул свои путы и, согнувшись пополам, подставил Пашке лицо. Ее головка потонула в пушистых усах, а руки обвили склоненную к ней шею. Через миг он застыдился своего порыва, выпрямился и, тихонько отстранив Пашку, сказал ей:

— Видишь, Пашка, кого ты любила?! — и он протянул ей наручники.

Пашка заплакала и прижалась к нему.

— Ах, Вася, не все ли равно! Я хочу быть с тобой и в тюрьме, и хоть на каторге!

— Нет, Пашенька! Пришел мой конец. Погулял, и будет! За мои злодейства не каторгой меня пожалуют, а петлей да перекладиной!

Пашка зарыдала еще громче.

— А ежели ты любишь меня, как говоришь, то нечего тебе по тюрьмам зря вшей кормить, а ступай в Божью обитель, где до конца дней своих и замаливай перед Господом мои тяжкие грехи!

Умилившись и расстроившись, я отпустил Ваську с Пашкой в камеру. Исповедь этого человека, его тон, манера себя держать, наконец, эта трогательная любовь потрясли мои нервы. Что Васька был искренен, далек от всякой позы и аффектации, — я не сомневался. Да, наконец, последующие две недели, что провел Васька при сыскной полиции, подтвердили это: кроток, вежлив, смирен,

задумчив, он словно готовился к смерти, торжественно ожидая этой грозной минуты.

Бывало, спросишь его: — Васька, может, водочки или чего другого хочешь?

А он: — Покорнейше благодарим, г. начальник! Какая теперь водка! Время не то для меня настало, о душе подумать следовало!

Был яркий весенний день, полный жизни, блеска и радости, когда Ваську перевозили в тюрьму и под конвоем выводили от нас на улицу. Я стоял у открытого окна моего кабинета и наблюдал за этим печальным зрелищем: Васька вышел без шапки, на целую голову возвышаясь на толпой. Шел он степенно, не торопясь и, подойдя к тюремной карете, повернулся ко всем, сделал поясной поклон и громко промолвил:

— Простите, братцы, меня, окаянного! — после чего сел в карету, и она тронулась.

Глубокое раздумье и какая-то жалость охватили меня. Несмотря на все его злодеяния, Васька не представлялся мне отвратным. Мне думалось: попади этот человек в иные условия, вырасти он в иной среде, просвети он свой разум оплодотворяющим знанием, и явил бы он миру не преступную, а великую душу. Мне почему-то казалось, что именно из такого теста лепит природа больших людей и что в данном случае тесто его было взято сдобное, добротное, да не хватило не то дрожжей, не то растопок для печки, и в результате, — тесто, не поднявшись, скисло. Умер Василий изумительно!

Я не присутствовал на его казни, но товарищ прокурора Ч. с дрожью в голосе и со слезами на глазах рассказывал мне:

— Привезли его на место казни. Василий был совершенно покоем. Исповедался громко и покался от всего сердца. После исповеди обратился ко мне:

«Ваше высокородие, разрешите сказать несколько слов солдатам?»

Хоть и не разрешалось это, однако я сделал исключение. Василий обратился к конвою и сказал:

«Братцы! Вот политики говорят, что вешать людей нельзя, что правительство не имеет на это никакого полного права, что человек — не собака и т. п. Врут они все! Такой человек, как я, — хуже собаки! И ежели не повесить меня, — то много еще крови невинной прольется! Слушайте свое начальство — оно лучше знает!»

После этого Белоусов опять обратился ко мне:

«Разрешите, ваше высокородие, не одевать мешка на голову?»

Я, едва стоя на ногах, смог лишь утвердительно кивнуть головой. Василий подошел к виселице, сам влез на табуретку и, отстранив приближающегося палача, сказал:

— Не погань рук! Я сам все сделаю!

После чего, расстегнув ворот рубахи, накинуд на шею петлю, заправил ее хорошенько, глубоко вздохнул, поднял глаза к утреннему небу и тихо прошептал:

— Прощай, Паша!..

Затем сжал плотно веки и, с силой оттолкнув ногой табуретку, повис в петле. Несколько судорог в теле, несколько конвульсий в пальцах, и он затих навеки.

Плакал жандармский офицер, плакали конвойные, плакал и я...

Пашка в точности исполнила преподанный ей Василием завет: она удалилась в Новодевичий монастырь, где под тяжелыми сводами святой обители усердно принялась замаливать кровавые грехи ее умершего любовника.

КРАЖА В ХАРЬКОВСКОМ БАНКЕ

Это дело мне особенно врезалось в память, может быть, потому, что им замкнулся круг моего долголетнего служения царской России! Оно памятно мне и потому, что сумма похищенного из банка была настолько велика, что в истории банковского дела в России подобных прецедентов не имелось.

Итак, 28 декабря 1916 года, т. е. ровно за два месяца до революции, я, уже в качестве заведующего всем розыскным делом в империи, получил в Департаменте полиции шифрованную телеграмму от заместителя начальника харьковского сыскного отделения — Лапсина, сообщавшего о краже, произведенной в банке Харьковского приказчичьего общества взаимного кредита. Похищено было на 2 500 000 рублей процентных бумаг и некоторая сравнительно незначительная сумма наличных денег. Лапсин сообщал, что воры, устроив подкоп со двора соседнего с банком дома, проникли через него в стальную комнату банка и с помощью невиданных им (Лапсиным) доселе инструментов распилили и распаяли стальные нескораемые шкафы, откуда и похитили вышеуказанные ценности. Следов воров обнаружить ему не удалось, но один из служащих банка, заподозренный в соучастии в преступлении, задержан и временно арестован. Эта телеграмма была получена мной утром, часов в 11, а в 4 ч. директор департамента полиции А. Т. Васильев передавал мне, что министр внутренних дел, только что вернувшийся с высочайшего доклада, заявил о желании императора, прочитавшего в утренней газете сообщение о харьковской краже, видеть это преступление открытым в возможно близком будущем. Почему министр находит необходимым поручить ведение этого дела непосредственно мне самому.

Выехать в этот же день мне не удалось, так как харьковский курьерский поезд уже ушел, и я отложил отъезд до завтра, т. е. до 29 декабря.

Эта дерзкая кража тревожила меня во всех отношениях: не говоря уже об исключительно крупной сумме похищенного, обратившей на себя внимание императора, но и обстоятельства дела не давали уверенности в успехе моих розысков. Дело в том, что воры воспользовались рождественскими праздниками, т. е. двумя днями, в течение коих банк был закрыт, а следовательно, с момента свершения и до момента обнаружения преступления протек-

до 48 часов. За этот промежуток времени воры могли основательно замести следы, а то и скрыться за границу.

Общая картина преступления заставляла думать, что в данном случае орудовали так называемые «варшавские» воры.

Эта порода воров была не совсем обычна и резко отличалась от наших, великороссийских. Типы «варшавских» воров большей частью таковы: это люди, всегда прекрасно одетые, ведущие широкий образ жизни, признающие лишь первоклассные гостиницы и рестораны. Идя на кражу, они не размениваются на мелочи, т. е. объектом своим выбирают всегда лишь значительные ценности. Подготовка намеченного предприятия им стоит больших денег: широко практикуется подкуп, в работу пускаются самые усовершенствованные и весьма дорогостоящие инструменты, которые и бросаются тут же, на месте совершения преступления. Они упорны, настойчивы и терпеливы. Всегда хорошо вооружены. Будучи пойманы, — не отрицают своей вины и спокойно рассказывают все до конца, но не выдают, по возможности, сообщников.

В числе 2-х миллионов фотографий с дактилоскопическими отпечатками и отметками, собранных в департаменте с преступников и подозрительных лиц, имелась особая серия фотографий «варшавских» воров. Из этой группы карточек я захватил с собой в Харьков, на всякий случай, штук 20 снимков с особенно ловких и дерзких воров.

Вместе со мной, по моему предложению, выехал весьма способный агент Линдер, молодой человек, польский уроженец, обладавший, между прочим, истинным даром подражания манере говорить по-русски всяких инородцев. Этому второму Мальскому особенно удавались евреи и чухонцы.

Итак, 29 декабря мы выехали с Линдером в Харьков и, благодаря некоторому опозданию поезда, прибыли туда 31 вечером. Я немедленно вызвал к себе Лапсина, каковой в устном рассказе передал дело. Он повторил, в сущности, содержание своей шифрованной телеграммы, добавив лишь подробности, на основании которых был арестован банковский служащий. Оказалось, что подкоп под стальную комнату велся из дровяного сарайчика, соседнего с банком двора, принадлежащего квартире, занимаемой банковским служащим. Этот господин пользовался вообще неважной репутацией. В момент совершения кражи его не оказалось в городе, откуда он выехал с женой на два праздничных дня куда-то в окрестности Харькова. Но, несмотря на это алиби, судебный следователь счел нужным его арестовать, так как подкоп, несомненно, прорывался недели две, не меньше, и велся у самой стены занимаемой им квартиры, так что представлялось невероятным, чтобы стук кирок и лопат не обратил бы на себя внимание чиновника.

На следующий день я пожелал лично осмотреть место преступления. Осмотр подкопа подтвердил соображения следователя.

Стальная же комната банка являла весьма любопытное зрелище: два стальных шкафа со стенками, толщиной чуть ли не в четверть аршина, были изуродованы и словно продырявлены орудийными снарядами. По всей комнате валялись какие-то высокоусовершенствованные орудия взлома. Тут были и электрические пилы, и баллоны с газом, и банки с кислотами, и какие-то хитроумные сверла, и аккумуляторы, и батареи, словом, оставленные воровские приспособления представляли из себя стоимость в несколько тысяч рублей.

Опрошенный мной арестованный чиновник оказался заядлым поляком, все отрицавшим и жестоко возмущавшимся незаконным, по его мнению, арестом.

Так как прорытие подкопа, равно как и подготовка к краже, вообще должны были занять немало времени, то воры, надо думать, прожили известное время в Харькове. Посему, взяв Линдера и местных агентов, я принялся объезжать гостиницы, захватив как привезенные с собой из Москвы 20 фотографий варшавских воров, так и карточку арестованного чиновника.

Мне посчастливилось! Из десятка гостиниц, нами посещенных, в одной опознали по моим карточкам неких профессиональных воров, Станислава Квятковского и Здислава Горошка, в другой — Яна Сандаевского и еще троих, фамилии коих не помню, всего — шесть человек. Оказалось, они прожили в этих гостиницах с месяца и уехали лишь 26 числа.

Вместе с тем выяснилось новое обстоятельство. По фотографии арестованный чиновник был опознан лакеем той гостиницы, где проживали Квятковский и Горошек. Лакей этот, шустрый малый, не только сразу же опознал обоих воров и чиновника, но, со смешком, поведал о тех перипетиях, косвенным участником коих он являлся за время проживания этих господ в его гостинице. По его словам, к Горошку, а особенно к Квятковскому, часто заходил арестованный чиновник и более того: Квятковский был, видимо, в любовной связи с женой ничего не подозревавшего чиновника. Эта женщина не раз навещала в гостинице Квятковского, и нередко ему, лакею, приходилось относить записочки то от него к ней, то обратно. Из этих тайных записок любопытный лакей и убедился, к своему удовольствию, в их связи.

Этот первый день Нового года казался мне не потерянным напрасно, и я заснул покойно.

Между тем дополнительные сведения, собранные об арестованном чиновнике, не говорили в его пользу. До Харькова он служил в Гельсингфорсе, в отделении Лионского кредита, откуда и был уволен по подозрению в соучастии в готовившемся покушении на кражу в этом банке.

Мои дальнейшие вызовы и допросы арестованного чиновника ничего не дали. Он все так же продолжал отрицать всякую за собой вину. После долгих размышлений я решил попробовать следующее.

— Вот что! — сказал я моему Линдеру. — Сегодня же пере-
езжайте в другую гостиницу подальше от меня; а завтра, под фла-
гом дружбы с Квятковским и по причине предстоящего якобы
отъезда вашего из Харькова, зайдите к жене арестованного чинов-
ника и передайте ей привет Квятковского. Для достоверности по-
кажите ей фотографию последнего, будто бы вам данную, с
дружеской надписью на обороте. Надпись по-польски вы сфабри-
куйте сами. Образцом почерка Квятковского послужит его факси-
миле, имеющееся на полицейской карточке. Было бы крайне
желательно при этом получить от указанной дамы какое-либо пись-
мо или записку, адресованную Квятковскому. Линдер блестяще вы-
полнил поручение. На следующий день он был принят этой особой.
О своем визите он мне так рассказывал:

— Я пришел к вам, пани, от Стасика Квятковского, моего сер-
дечного друга. Пан Станислав просит передать свой привет и сер-
дечную тоску по пани.

— Я не разумею, цо пан муви! — смущенно сказала она. —
Какой пан Станислав, какой пан Квятковский?

Я снисходительно улыбнулся.

— Пани очень боится! Но, чтобы вы не тревожились, Стасик
просил меня показать пани вот этот портрет. Не угодно ли? — и
протянул ей карточку с надписью.

Взглянув на нее, моя барынька просияла, видимо, успокоилась
и стала вдруг любезнее.

— Ах, прошен, прошен, пане ласкавы, сядать!

После этого все пошло как по маслу. Она призналась мне, что
сильно соскучилась по Квятковскому, и поставила меня в довольно
затруднительное положение, пристав с вопросом, где теперь пан
Станислав. Я вышел из затруднения, сославшись на легкомыслие
женщин.

— Пан Станислав, любя и доверяя вам всецело, тем не менее
просил не называть его адреса, так как боится, что вы случайно
можете проговориться. А ведь тогда все дело, так благополучно
проведенное им и вашим супругом, может рухнуть.

— Напрасно пан Станислав во мне сомневается! Ради него,
ради мужа, наконец, ради самой себя я обязана быть осторожной.
Впрочем, пусть будет, как он хочет!

В результате Линдер был всячески обласкан, накормлен вкус-
ным обедом, а вечером, покидая гостеприимную хозяйку, он бросил
небрежно:

— Быть может, пани желает написать что-либо Стасю, так я
охотно готов передать ему вашу цедулку.

Пани обрадовалась случаю и тут же написала Квятковскому
нежное послание, заключив его фразой:

«...Как жаль, коханы Стасю, что тебя нет со мной сейчас, когда
муж мой в тюрьме!»

Поблагодарив Линдера за хорошо исполненное поручение, я на
следующий день вызвал арестованного чиновника.

— Ну что же, вы все продолжаете отрицать ваше участие в деле?

— Разумеется!

— Вы отрицаете и знакомство ваше с Квятковским?

— Никакого Квятковского я не знаю!

— И жена ваша не знает пана Квятковского?

— Разумеется, нет! Кто такой этот Квятковский?

— Любовник вашей жены!

— Ну, знаете ли, этот номер не пройдет! Жена моя святая женщина, и в супружескую верность ее я верю как в то, что я дышу!

— И напрасно! Я могу вам доказать противное.

— Что за вздор! Ведь если бы и допустить недопустимое, т. е. что жена изменяет мне с Квятковским, то как бы вы могли доказать мне это? Ведь не держали же вы свечку над нею и паном Станиславом?

— А откуда вам известно его имя?

Чиновник сильно смутился, но, оправившись, ответил:

— Да вы как-то, на одном из допросов, так называли Квятковского.

— Я что-то не помню. Во всяком случае, у вас недюжинная память! Но оставим пока это, поговорим серьезно. Я делаю вам определенное предложение: я обещаю вам доказать, как дважды два — четыре, неверность вашей жены, а вы обещайте мне помочь разыскать Квятковского, замаравшего вашу семейную честь. Идет, что ли?

— Нет, не идет! Так как я, не зная Квятковского, не могу вам помочь и разыскать его. Но заявляю, что не пощажу любовника моей жены, буде таковой оказался бы!

— Ладно! Довольно с меня и такого обещания. Вы, конечно, хорошо знаете почерк вашей жены?

— Ну еще бы!

— Так извольте получить и прочесть письмо ее, написанное вчера на имя Станислава Квятковского! — и я протянул ему переданный мне Линдером запечатанный розовый конверт.

Чиновник схватил конверт, вскрыл его, извлек бумагу и жадно накинуд на нее. Я наблюдал за ним. По мере чтения лицо его все багровело и багровело, руки начали трястись, дыхание становилось прерывистым. Наконец, кончив чтение, он яростно скомкал бумагу, метнул бешеный взгляд и, хлопнув кулаком по столу, воскликнул:

— Пся крэв! Ну, ладно, пане Станиславе, не скоро пожалуешь ты сюда! А если и пожалуешь, то не для свидания с моей женой! Ах ты, мерзавец, подлец ты этакий! Ну, теперь держись! Хоть и сам погибну, но и тебя потоплю! Господин начальник, — обратился он ко мне, — извольте расспрашивать, я теперь все, все скажу, рад вам помочь в поимке этого негодяя Квятковского!

— Хорошо! Где он теперь?

— Должно быть, в Москве, у любовницы Горошка, на Переяславльской улице.

— При нем и похищенное?

— Да, при нем. Он должен будет обменять процентные бумаги на чистые деньги и заняться дележом их среди участников.

— Так, быть может, он уже все обменял и поделил?

— Ну, нет! Это не так просто. Квятковский и Горошек крайне осторожны. Для предстоящего обмена должен приехать из Гельсингфорса в Харьков некий «делец» Хамилейнен, мой личный знакомый, каковой, получив от меня препроводительное письмо, здесь, в Харькове, выедет с ним в Москву, где и сторгует бумаги примерно за полцены их номинальной стоимости.

— Можете ли вы сейчас написать мне это письмо за вашей подписью и на имя Квятковского?

— Горю желанием скорее это сделать!

— И прекрасно! Вот вам конверт и бумага.

Через 10 минут письмо было готово, подписано и адресовано Квятковскому в Москву, на Переяславльскую улицу.

— Вот вам письмо, действуйте! — и чиновник радостно потер руки. — Ну, пан Станислав, держись! Будет и на моей улице праздник!

Чиновник откровенно признал свое участие в деле, выразившееся в предоставлении сарайчика для подкупа и обещании выписать из Гельсингфорса Хамилейнена. Вместе с тем он назвал имена и всех участников «предприятия». Их вместе с ним, Квятковским и Горошком, набралось 9 человек.

Тотчас же выслав начальнику Московской сыскной полиции Маршалку (меня заменившему) фотографии пяти воров, опознанных в харьковских гостиницах, я просил его приложить старанье к обнаружению пока трех из них, поставив вместе с тем на Переяславльской улице крайне осторожное наблюдение за Квятковским и Горошком.

Призвав к себе Линдера, я рассказал ему о признании чиновника и добавил:

— Отныне, Линдер, вы не Линдер, а Хамилейнен!

— Ридцать копеек, перки-ярви, куакола! — ответил он, скорчив бесстрастную, сонливую чухонскую физиономию.

Я невольно расхохотался.

За откровенное признание и оказанное тем содействие розыску я приказал ослабить, до пределов возможного, тюремный режим арестованному чиновнику. Ему было разрешено получать пищу из дому, иметь свидания, продолжительные прогулки, собственную постель и т. д. Но вместе с тем я пояснил начальнику харьковской тюрьмы все значение преступления арестованного, преступления, которым заинтересовался сам государь император. А потому, при всех послаблениях, я приказал установить строжайшую изоляцию для арестованного, внимательнейший контроль над его передачами и т. д. Работа в Харькове мне показалась законченной, и я с Лин-

дером выехал в Петроград. Всю дорогу Линдер тренировался в финском акценте и к моменту приезда в столицу достиг положительно совершенства.

По дороге из Харькова я простудился, а потому не мог медленно выехать в Москву, между тем дело не ждало. По этой причине я командировал туда временно вместо себя Л. А. Курнатовского. Курнатовский — бывший начальник Варшавского сыскного отделения — после эвакуации Варшавы был прикомандирован к департаменту, в мое распоряжение. Я знал его за весьма ловкого и дельного чиновника. Вместе с Курнатовским отправился в Москву и Линдер, чтобы сыграть там роль гельсингфорского Хамилейнена. Одновременно я послал подробные инструкции и Маршалку, поручив ему ежедневно по телефону держать меня в курсе дела.

Через сутки, после отъезда Курнатовского и Линдера, Маршалк звонит мне и сообщает, что двое из остальных трех воров, опознанных в харьковских гостиницах, находятся в Москве и за ними установлено уже осторожное наблюдение.

Итак, из девяти участников: один сидит в харьковской тюрьме, а четырех, считая Квятковского и Горошка, московская полиция не упускает из виду.

Я предложил Маршалку не форсировать событий до моего приезда, каковой состоится на днях, так как самочувствие мое уже улучшалось.

Перед отъездом Линдеру было мною приказано остановиться отдельно от Курнатовского, и притом непременно в «Боярском дворе». Эта гостиница имела то преимущество, что в каждом номере находился отдельный телефон. Моему «Хамелейнену» было приказано вести широкий образ жизни, каковой подобает миллионеру (это, впрочем, его не огорчило), раздавать щедрые чаевые, обедать с шампанским и т. д.

Дня через два я приехал в Москву. Пора было действовать.

По моему предложению Линдер, закулив трубку, отправился к любовнице Горошка на Переяславльскую улицу, захватив, разумеется, и рекомендательное письмо арестованного харьковского чиновника. Для удобства дальнейшего изложения буду называть этого чиновника Дзевалтовским.

Линдеру было строгойше запрещено не только видаться со мной, но и близко подходить к М. Гнездиновскому переулку, т. е. к зданию сыскной полиции, где я проводил целые дни у Маршалка, руководя делом. По прежнему опыту было известно, насколько осторожны и осмотрительны варшавские воры. И не подлежало сомнению, что за Хамилейненом будет устроена ими слежка.

Итак, я с нетерпением стал ожидать телефонных сообщений Линдера об его визите к даме Горошка. Часа через три он звонил и докладывал:

— Явился я на Переяславльскую улицу, позвонил; открывшая мне дверь субретка впилась в меня глазами.

— Барыня дома? — спросил я ее.

— Пожалуйте, дома...

Я передал ей новенькую визитную карточку, на каковой значилось:

ИОГАН КАРЛОВИЧ ХАМИЛЕЙНЕН

а внизу, петитом:

маклер Гельсингфорской биржи.

Ко мне в гостиную вскоре вышла красивая, молодая женщина и, подняв удивленно брови, промолвила:

— Вы желаете меня видеть?

Я, ломая русскую речь на финский лад, сказал:

— Мне дали ваш адрес и сообщили, что у вас я могу повидаться с господином Квятковским.

— Квятковским? А кто это такой?

— Это господин, к которому у меня имеется письмо из Харькова, и нужен он мне по важному делу.

Барынька пожала плечами и ответила:

— Я, право, ничего сказать вам не могу. Впрочем, эту фамилию, кажется, я слышала от моего брата. Будьте любезны оставить ваше письмо. Брат часа через два вернется, а за ответом не откажите зайти завтра часов в 12.

Я несколько подумал, как бы в нерешительности, поколебался, а затем все же передал ей письмо Дзевальтовского. Во время нашего разговора входила горничная помешать печку, и я заметил, что последняя усиленно меня разглядывает.

«Эге! Будет слежка!..» — подумал я.

И действительно: одев пальто и дав горничной синенькую на чай, я вышел на улицу и вскоре же заметил закутанную фигуру, упорно следовавшую по моим пятам. По пути в гостиницу я зашел, как богатый человек, в дорогой ювелирный магазин, пробыл в нем минут пятнадцать, купил довольно объемистую серебряную солонку с эмалью и с футляром в руках отправился в «Боярский Двор».

— Отлично, Линдер! Жду вашего завтрашнего рапорта.

На следующий день Линдер докладывает:

— Явился я на Переяславльскую ровно в 12. На этот раз меня приняли двое мужчин и, назвавшись Квятковским и Горошком (это, действительно, были они), заявили, что брат хозяйки, передав им письмо Дзевальтовского, предоставил эту квартиру для деловых переговоров со мной.

— Вы давно прибыли из Гельсингфорса? — спросили они меня.

— Сейчас я из Харькова, где пробыл трое суток, — отвечал я. — Все это время я провел с Дзевальтовским и его супругой. Три раза у них обедал. Господин Дзевальтовский предложил мне купить

у вас на 2 1/2 миллиона процентных бумаг и снабдил для этого письмом к вам, господин Квятковский. Кстати, его супруга, узнав, что мне предстоит видеться с вами, два раза настойчиво просила передать пану Станиславу ее искренний и дружеский привет.

Тут я взглянул на Квятковского и лукаво улыбнулся. Он, видимо, обрадовался поклону и окончательно успокоился на мой счет, признав во мне «неподдельного» Хамелейнена. После этого разговор принял чисто деловой характер. Я пожелал видеть товар. Мне ответили, что его сейчас нет, и ограничились лишь образцами, показав их тысяч на сорок. Я долго и внимательно их рассматривал, одобрил и приступил к торгу. За 2 1/2 миллиона с меня запросили сначала — 2. Я стал протестовать, уверяя, что организация сбыта мне обойдется дорого. В России продать бумаги невозможно, так как они, конечно, уже давно зарегистрированы всеми банками и кредитными учреждениями, как «нелегально» приобретенные. Между тем, ввиду войны, Россия блокирована, и переправить их за границу нелегко. Наконец, мы в принципе сошлись на 1 200 000 руб. Договорившись до цены, Квятковский и Горошек заявили, что желали бы иметь уверенность и гарантию в моей покупательской способности прежде, чем доставить товар на Переяславльскую. Я вывернул было им бумажник, туго набитый «куклами» (пачки проссаванной газетной бумаги, обернутые с наружной и внутренней стороны пятисотрублевками), но они на это лишь снисходительно улыбнулись и сказали:

— Этих денег, конечно, далеко не достаточно!

— Разумеется!.. — ответил я. — Но не могу же я носить при себе 1 200 000 рублей!..

— Как же вы думаете быть? — спросили они.

Я ответил, что подумаю и постараюсь доставить им назавтра ту или иную гарантию. Если ничто меня не задержит, то буду у вас завтра, в это время, — сказал я покидая их.

Какую же гарантию мог им представить Линдер?

Я долго ломал себе голову и, наконец, остановился на следующем: я отправился в одно из почтовых отделений, возглавляемое моим знакомым, неким Григорьевым, и находящееся неподалеку от Переяславльской улицы.

— У меня к вам просьба, — сказал я Григорьеву. — Завтра, между 12 и 4 часами дня, явится к вам в отделение некий господин Хамелейнен, может быть, в сопровождении знакомого и подаст телеграмму в Гельсингфорс, в отделение Лионского Кредита с требованием перевода 1 200 000 рублей на текущий его счет в Московское отделение Волжско-Камского банка. Будьте добры лично принять эту телеграмму, но, конечно, не отправляйте ее, а передайте потом мне.

Григорьев обещал все выполнить в точности, а я поставил Линдера в курс его дальнейшего поведения. Для большей убедительности Линдер должен был в своей телеграмме указать адрес на Переяславльскую улицу, куда надлежало гельсингфорскому банку

направить ответную телеграмму, извещавшую о состоявшемся переводе.

На следующий день Линдер в точности выполнил всю программу: в присутствии Квятковского дал телеграмму и просил последнего немедленно известить его по телефону в «Боярский Двор» о получении ответа из Гельсингфорса.

Направившись снова к Григорьеву, я прочитал телеграмму Линдера, составленную в выражениях выше мной приведенных, и тут же написал ему ответ: «Москва. Переяславльская улица, 14. Хамелейнен. Согласно вашему требованию, 1 200 000 (миллион двести тысяч) рублей переводим сегодня Московский Волжско-Камский банк ваш текущий счет № 13602 (тринадцать тысяч шестьсот два). Правление отделения Лионского Кредита».

Григорьев любезно отстукал на бумажной ленте текст этой телеграммы, наклеил его на телеграфный бланк, пометил сбоку место отправления (Гельсингфорс), число и час, заклеил телеграмму и передал ее мне. На следующее утро агент Патапкин, переодетый почтальоном, полетел на Переяславльскую улицу, передал телеграмму и получил даже трешку на чай.

Линдер принялся ждать обещанного извещения по телефону.

Однако день кончился, но никто ему не позвонил. Я стал уже волноваться, плохо спал ночь; но вот наутро звонит мне Линдер:

— Меня, господин начальник, известили о телеграмме, передал ее, и просили быть завтра к двум часам на Переяславльской для окончания дела.

Линдер сообщил мне это каким-то упавшим голосом.

— Что это вы, Линдер, как будто испугались?

— Да, не скрою, что жутковато! Ведь вы подумайте, господин начальник: являюсь я туда, по их мнению, с миллионом двумястами тысячами; а что если этим мошенникам придет мысль меня убить и ограбить?

— Ну, вот тоже!.. Точно вы не знаете, что воры-профессионалы их калибра на «мокрые» дела (убийства) не пойдут! Разве в случае самообороны.

— Так-то оно так, а все-таки боязно! Почему знать?

— Не падайте духом, Линдер, и помните, что внеочередной чин не дается даром! Вы вот что скажите мне: приходя на Переяславльскую близко расположена от гостинной, где обычно вас принимают?

— Да совсем рядом, они смежны.

— Из окон гостинной можно видеть улицу и подъезд дома?

— Да, крайнее окно выходит к самому подъезду.

— Прекрасно! Через час к вам явится агент, под видом приказчика ювелирного магазина, где вы на днях покупали солонку. Он принесет вам футляр с заказанной якобы вами вещью и непременно пожелает передать вам ее лично. Запомните его наружность. Этот агент будет завтра в 11 час. 30 мин. утра стоять справа от подъезда вашей гостиницы, переодетый лихачом; на нем вы и

поедете в банк и на Переяславльскую. Я сейчас с этим приказчиком пришлю вам написанную диспозицию завтрашнего дня. По телефону о ней говорить и долго, и небезопасно. Кроме того, этим способом исключается возможность ошибок: у вас будет достаточно времени изучить ее в точности. Ну, до свидания, Линдер, желаю вам полного успеха и не забывайте о предстоящей награде.

Повесив трубку, я принялся писать.

«Ровно в 12 часов выходите из дому и усаживайтесь на поджидающего вас лихача справа от подъезда. Едете на нем в Волжско-Камский банк, выходите у подъезда, держа под мышкой небольшой, заведомо пустой портфельчик. В банке вас встречает агент, что явится сегодня к вам в 8 часов вечера под видом знакомого (запомните хорошенько его лицо) и где-либо в уборной банка набьет ваш портфель двенадцатью пятисотрублевыми «куклами», изображающими 100 тысяч рублей каждая. Пробыв в банке не менее часа, вы выходите из него, озабоченно озираясь и демонстративно таща набитый портфель под мышкой. Лихач вас доставит на Переяславльскую, где и станет вас ожидать у подъезда. Если, паче чаяния, «товара» на этот раз не окажется на месте, то выругайтесь или держите себя сообразно с обстоятельствами, но не поднимая тревоги, уезжайте не в духе домой. Если товар на месте, то, убедившись в этом, начните приемку, что должно с проверкой бумаг и купонов занять у вас примерно около двух часов. Во время приемки, как бы опасаясь, чтобы извозчик не уехал, подойдите к окну, громко постучите в стекло и обернувшись на стук лихачу строго погрозите пальцем и мимикой передайте ему приказание дожидаться вас хоть до вечера. Лихач, как бы озябнув, примется бить себя рука об руку и по плечам, что послужит сигналом для дежурящего напротив Курнатовского. Ровно через полчаса после этого сигнала (по часам) Курнатовский с дюжиной агентов ворвется в квартиру и переарестует всех. Было бы желательно, но не необходимо, под каким-либо предлогом пройти вам в прихожую и незаметно приоткрыть дверь, выходящую на лестницу, что облегчило бы Курнатовскому с людьми моментально ворваться в гостиную. Впрочем, при наличии заготовленных заранее приспособлений, дверь, в случае чего, будет в минуту взломана. Предписываю вам строжайше придерживаться этой программы, предоставляя вам лишь право менять, по собственному усмотрению, только несущественные детали своего поведения, однако не нарушающие ни на йоту общего намеченного плана».

Эту своего рода диспозицию я направил тотчас же к Линдеру, в «Боярский Двор», с агентом.

На следующий день к 2 часам Переяславльская улица была запружена агентами: 4 дворника с метлами и ломом скалывали и счищали лед, тут же сновало три извозчика, на углу газетчик выкрикивал названия газет, на другом — нищий просил милостыню, какой-то татарин с узлом за спиной обходил, не торопясь, дворы и заунывно кричал: «Халат, халат!...» Л. А. Курнатовский

сидел напротив наблюдаемого дома в пивной лавке и меланхолично потягивал из кружки пиво. Все люди, разумеется, были вооружены браунингами.

Ровно в 2 часа к подъезду подлетел лихач, едва осадив рысака. Из саней вышел Линдер с портфелем под мышкой, пугливо огляделся кругом и, наконец, пошел в подъезд особняка. «Прошло, пожалуй, около часу, — рассказывал мне потом Курнатовский. — Я не спускал глаз с лихача. Наконец, я с облегчением увидел, как наш возница принялся хлопать рукавицами сначала друг о дружку, а затем и крестообразно по плечам, мерно раскачиваясь туловищем взад и вперед. Я взглянул на часы, было без пяти три. Ровно 25 минут четвертого я вышел из лавки, мигнул моим людям и быстро в сопровождении десятка подбежавших агентов я ворвался в подъезд. Дверь квартиры оказалась открытой, и мы, пробежав прихожую, ворвались в гостиную. Не успел наш Линдер вскрикнуть с деланным изумлением что-то вроде «тер-р-риоки!», как столы были опрокинуты, бумаги рассыпаны, а Квятковский и Горошко оказались поваленными на пол, обезоруженными и в наручниках. В общей потасовке досталось и Линдеру, продолжавшему выкрикивать какие-то чухонские ругательства.

Обыска делать не пришлось, так как все похищенные процентные бумаги оказались налицо».

В большом волнении сидел я в сыскной полиции, ожидая исхода Линдеровской покупки. Время тянулось бесконечно долго. Я пытался представить себе происходящее: вот 2 часа — Линдер не звонит, следовательно, «товар» оказался на месте. Вот четыре, возможно, что лихач дал сигнал и Курнатовский готовится нагрянуть. Может, уже и нагрянул?!

Около пяти часов послышался шум, топот многих шагов и в кабинет ко мне вошли и Курнатовский с агентами, и арестованные Квятковский, Горошек и Линдер. Курнатовский нес в руках отобранный чемоданчик с бумагами.

- Что, Людовик Антонович, деньги все налицо?
- Да, Аркадий Францевич, все.
- Ну, слава Богу!

Горошко и Квятковский все время конфузливо глядели на Линдера, словно извиняясь за невольное вовлечение его в беду. Впрочем, это продолжалось недолго, так как Линдер, оборотаясь ко мне, сказал:

— Прикажите, г. начальник, снять с меня эти проклятые наручники! У меня от них затекли руки.

Я, улыбнувшись, приказал освободить Линдера и предложил ему сесть. Увидя это и услыша чистую речь Линдера, поляки опешили и, раскрыв рты, впились в него изумленными глазами.

Вслушав краткий доклад Курнатовского, я предложил Линдеру рассказать о своем последнем визите.

— Приехал я, г. начальник, ровно в 2 часа на Переяславльскую, снял пальто, но в гостиную вошел обмотанный вот этим

бело-зеленым вязаным шарфом. Извиняясь за него, я сказал: «Ну и Москва ваша! Едва приехал, а уже простудился, и кашель, и насморк!» — «Москва — не Варшава и климат здесь не наш!» После этого Горошек и Квятковский усердно стали предлагать мне выпить стакан вина за предстоящую сделку. Они тянули меня к здесь же стоящему столику, на котором виднелись несколько марок шампанского, дорогие фрукты и конфеты. Я решительно отказался, заявив, что прежде всего дело, а потом уже и вспрыски. Они очень не настаивали, и вскоре мы заняли места, я — с одной стороны двух сдвинутых и раскрытых ломберных столов, а Квятковский и Горошек с другой. «Прежде чем приступить к приемке и расчету, для меня было бы желательно видеть весь товар, а для вас, очевидно, деньги. Вот почему прошу вас выложить все продающиеся бумаги на стол, что касается денег, то вот они. Я раскрыл свой портфель, быстро высыпал его содержимое и еще быстрее спрятал пачки обратно. Квятковский вышел и принес из соседней комнаты чемоданчик и выложил из него на стол кипы процентных бумаг. Мы вооружились карандашами, бумагой, и началась приемка. Я тянул сколько возможно: осматривал каждую бумагу, подробно записывал наименование, проверял купоны и т. д. К счастью, бумаги были не очень крупного достоинства, все больше в 5 и 10 тысяч, таким образом, число их было велико. Приняв их на 500 тысяч, я откинулся на спинку кресла, раскашлялся и, взглянув на часы, деланно ужаснулся: «Господи! Уже три часа, а проверено меньше четверти!» Затем, словно спохватившись, — «Как бы не уехал мой дурак!» — и встав, я поспешно подошел к окну, громко постучал в стекло и выразительно погрозил лихачу пальцем. Затем снова уселся и продолжал приемку, не забывая время от времени кашлять. Минут через 20 я симулировал новый и жестокий приступ кашля, что называется, — до слез, и полез в карман за носовым платком. Его якобы не оказалось. «Наверное, он в пальто», — сказал я, и не дав опомниться моим продавцам, быстро встал и, не расставаясь ни на минуту с портфелем, прошел в прихожую. Оглянувшись и не видя за собой никого, я поспешно отщелкнул французский замок на двери и, вынув из кармана платок, вернулся в гостиную, прижимая его к губам и обтирая глаза. Мы опять принялись за дело; но не прошло и 10 минут, как из прихожей неожиданно ворвались наши люди, и мы оказались поваленными, обезоруженными и скрученными. Кстати, г. начальник, прикажите вернуть мне мой браунинг!

Поляки, не отрывая глаз от Линдера, слушали его рассказ, после которого Квятковский воскликнул:

— Як Бога кохам, ловко сделано! Что и говорить! Я готов был бы об заклад биться, что пан не русский, а фин! Да, наконец, поклон от пани Дзевалтовской, телеграмма, деньги, сегодняшняя поездка за ними в банк! Ведь пан не знал, что люди мои следили за вами?

— Все, все знал, пан Квятковский! — ответил Линдер. — На то мы и опытные сыщики, чтоб все знать! Вы, варшавские гастролеры, работаете тонко, ну, а мы вас ловим еще тоньше.

Квятковский поцокал языком и недоуменно покачал головой из стороны в сторону.

— Вы не сердитесь, господа, если при аресте вас несколько помяли, — сказал я, — но вы сами понимаете, что при данных обстоятельствах это было неизбежно.

— Помилуйте, г. начальник, мы нисколько не в претензии. Что же делать? Мы берем, а вы ловите, каждый свое дело делает. Жалко, что сорвалось все так неожиданно. Но мы свое наворачстаем, будьте уверены!..

— Скажите, не укажете ли вы мне адреса остальных 7 человек, участвовавших с вами?

— Нет, г. начальник, не укажем. Мы пойманы, деньги вами найдены, ну и Бог с ними! А выдавать мы никого не будем.

— Это ваше дело, конечно! Но я надеюсь, что и без вашей помощи мы их разыщем.

Я приказал немедленно арестовать и тех двух воров, о которых мне телефонировал Маршалк еще в Петроград и за коими все эти дни был установлен надзор. К вечеру было арестовано еще трое участников, нарвавшихся на засаду, оставленную нами в квартире на Переяславльской. Таким образом, считая с чиновником Дзевалтовским, нами было задержано восемь человек из девяти. Девятый скрылся бесследно и до февральской революции не был обнаружен.

По ликвидации этого громкого дела на работавших в нем посыпались награды: Лапсину (харьковскому помощнику начальника сыского отделения) дана денежная награда, Линдер получил чин вне очереди, Куртановский украсился Владимиром 4 степени.

Так были отмечены наши заслуги царским правительством. Временное правительство отметило их несколько иначе. При нем двери тюрьмы широко раскрылись для выпуска из тюремных недр всякого мазурья и для помещения туда нашего брата. Бедный Куртановский, встретивший революцию в должности начальника Харьковского сыского отделения, на каковую был назначен через две недели после раскрытия вышеописанной кражи, был посажен в ту же харьковскую тюрьму, где и встретился и с Горошком, и с Квятковским, и прочими участниками банковской кражи. К чести последних, должен сказать, что ни мести, ни злорадыства они к Куртановскому не проявили и вообще поведением своим в этом отношении резко отличались от наших российских воров. По моему ходатайству перед князем Г. Е. Львовым Куртановский был освобожден и, промаяв с год в России, эмигрировал, наконец, в Польшу, где и поныне состоит не то начальником, не то помощником начальника Варшавского уголовного розыска. Маршалк и Линдер, тоже протомившись известное время в Совдепии, перебрались в Варшаву, где, насколько мне известно, занимаются ныне коммерцией. Что касается вашего покорного слуги, то осенью 1918 года

он чуть ли не в одном пиджаке пробрался к гетману, в Киев. С падением Скоропадского и при нашествии Петлюры я дважды пырвался выбраться из Киева, но оба раза меня высаживали петлюровцы из поезда, и, таким образом, я застрял и пережил в Киеве большевистское нашествие.

В эту мрачную пору я брел как-то по Крещатику. Вдруг слышу голос:

— Никак пан Кошко?

Поднимаю голову и вижу перед собою Квятковского и Горошка. Я так и обмер! Ну, думаю, пропал я: сейчас же выдадут большевикам! Но Квятковский, видя мое смущение, сказал:

— Успокойтесь, пане Кошко, зла против вас не имеем и одинаково с вами ненавидим большевиков.

Затем, взглянув на мое потертое платье, участливо предложили:

— Быть может, вы нуждаетесь в деньгах? Так, пожалуйста, я вам одолжу!..

На мой отрицательный ответ он, улыбнувшись, заметил:

— Вы, быть может, думаете, что деньги ворованные? Нет, мы теперь это бросили и занимаемся честной коммерцией!..

Я, разумеется, отказался и от «честных» денег, но не скрою, что от души был тронут этими людьми, что, впрочем, им и высказал. Из Киева я перебрался в Одессу, оттуда — в Крым, затем — в Константинополь и, наконец, в Париж. Но о периоде моей крымской деятельности, в роли заведующего уголовной полицией, равно как и о моем частном бюро уголовного розыска в Константинополе, я, может быть, расскажу вам во втором томе моих служебных воспоминаний.

КНИГА ВТОРАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Успех, выпавший на долю 1-го тома моих служебных воспоминаний, окрыляет меня и дает смелость предложить ныне моим читателям второй том уголовных очерков.

За истекшие 2 года я получил множество писем с весьма лестными отзывами о моей работе, но были среди них, правда очень редкие, и такие, авторы которых с горечью упрекали меня чуть ли не в безнравственности моих очерков. Их критика сводилась к следующему: «Давая описания изощренной преступной фантазии ваших горе-героев, — говорили они, — и описывая полицейские методы пресечения этого зла, методы не всегда этического свойства, вы наносили вред, особенно вашим юным читателям, преждевременно раскрывая им, быть может, и существующие, но глубоко отрицательные стороны жизни». Вот именно этого рода критикам мне и хочется ответить. Продолжая с логической последовательностью их мысль, можно договориться и до того, что уголовное право вообще и уголовное уложение в частности приводит к тем же результатам. Ведь лестница наказаний, например, распределяя кары, не только перечисляет разнородные преступления, но и предусматривает малейшие оттенки их. Не следует ли из этого, что изучение уголовных кодексов является делом вредным и безнравственным? В моих рассказах я, так сказать, иллюстрирую живыми примерами преступления, предусмотренные законом. Закон — это теория; хождения моих героев — это практика.

Конечно, мир, среда и нравы, мною описываемые, малопривлекательны, но не моя вина в том. Моя цель была и есть и будет давать по мере умения правдивые зарисовки этой стороны русской жизни, стороны, быть может, и аморальной, но занимающей далеко не последнее место во взаимоотношениях людей. В русской литературе, как и во всякой другой, имеется немало и классических трудов, посвященных подонкам общества, нравам героев дна, обиходу жителей трущоб и т. д. Существует целая литература по вопросу о проституции и горестном житье в разных ямах, однако никому не приходит в голову называть эту литературу тлетворной. Мне кажется, писать можно о чем угодно, лишь бы держаться художественной правды, а в этом отношении я упрека не заслужил. Моя первая книга имела хорошую прессу, и такой крупный литературный авторитет, как Александр Амфитеатров, в своем печат-

ном отзыве признал ее за точный отпечаток жизни. Издавая 2-й том, я держусь тех же приемов: рассказы, вошедшие в его состав, умышленно подобраны мною так, чтобы ни характер преступлений, ни способы их раскрытия не только не походили бы друг на друга, но и по возможности разнились бы с очерками моего первого тома. Если эта работа встретит со стороны моих читателей тот же радужный прием, то да простят мне критикующие меня «Маниловы» за обещание выпустить в недалеком будущем третий и четвертый том моих служебных воспоминаний! Что же касается житейских гримас, мною описываемых, то должен заметить, что жизнь редко дарит нас лучезарными улыбками, и читать о ней не однобокую правду — значит познавать ее!

УБИЙСТВО ТИМЕ

Убийство г-жи Тиме произвело в свое время сенсацию не только в Петербурге, но и во всей России. Причиной такого волнения послужило то обстоятельство, что убийцами оказались люди из привилегированного, чуть ли не аристократического, круга. В этой социальной среде убийцы встречаются редко и двигателями их являются, по большей части, ревность, оскорбленная честь и прочие побуждения более или менее высшего порядка. Если же ими движет корысть, то обычно это корысть масштаба широкого, удовлетворяющаяся лишь богатой добычей.

В описываемом же преступлении убийцы прельстились лишь парю серег и, не найдя их, ограничились скромным кольцом, проданным за 250 рублей. Эта ничтожная сумма и явилась их единственным «призом», сгубившим их честь, достоинство и доброе имя.

Это преступление обнаружилось и было раскрыто следующим образом.

Летом 1912 года один из участковых приставов столицы сообщил в петербургскую сыскную полицию, что на Кирочной улице, в доме № 12, в квартире первого этажа, занимаемой контролером спальных вагонов Тиме и его женой, обнаружено убийство. Чины сыскной полиции немедленно прибыли на место. Им представилась такая картина: в квартире, состоящей из 4-х комнат, царил полный хаос; в гостиной на полу лежал труп г-жи Тиме с довольно глубокой, но не смертельной, по заключению эксперта, раной на затылке. Смерть последовала, видимо, от внутренних кровоизлияний, вызванных многочисленными ударами, нанесенными убийцами по всему телу жертвы. Лицо покойной было в кровоподтеках, нос сломан, несколько зубов выбито. Тут же у тела валялись и орудия преступления: небольшой, не совсем обычного вида, никелированный топорик и стальной прут, обтянутый кожей, с увесистым свинцовым шариком на конце. С четвертого пальца левой руки местами была содрана кожа, что заставляло думать, что с него было сорвано кольцо. Туалет, шкаф, комод — все было перерыто убийцами, видимо, долго и упорно чего-то искавшими. Чиновник сыскной полиции К., весьма способный в своей области человек, чрезвычайно внимательно относившийся к поручаемым ему делам, произвел тщательный обыск и среди кипы разбросанного белья и обнаружил небольшую коробочку, неказистую на вид, и в ней пару серег с

крупными, каратов по 8 в каждой, бриллиантами. Прислуга, живущая у Тиме, была немедленно опрошена и, трясаясь от страха, показала:

— Покойная барыня жила вместе с бариним, но они не любили друг друга. Барин редко бывал дома, а все больше разъезжал по службе. У барыни же была своя любовь — маркиз П. Покойница жила довольно весело, часто бывали гости, пили, пели, танцевали.

На вопрос, кто за последнее время навещал барыню, прислуга заявила, что дня за четыре до смерти барыня вернулась домой с подругой и двумя молодыми людьми. Молодых людей она, прислуга, видела впервые, а подругу знала и раньше: она из француженок и проживает на Офицерской в доме № **. Один из молодых людей на следующий день приходил снова, но, не застав г-жу Тиме дома, оставил карточку.

— Молодые люди, — добавила прислуга, — были еще раз третьего дня, играли, смеялись, пели, и, видимо, им очень барыня понравилась.

— Вчера вечером был кто-нибудь у барыни?

— Да, какой-то господин был, а только кто — не знаю, так как барыня вернулась с ним поздно и своим ключом отперла дверь. Моя же комната и кухня в стороне, да и барыня мне раз навсегда приказала после 10 часов вечера не показываться из своей комнаты, так что слышать голоса — я слыхала, а кто был — определить не могу.

— А где та карточка, что оставил молодой человек?

— Должно быть, тут, некуда ей деваться! — сказала прислуга и подошла к подносу, стоявшему на столике в прихожей. Среди полдюжины карточек она сразу же нашла нужную и протянула ее. На карточке значилось: Павел Этьенович Жирар, а внизу, пети-том, — почетный гражданин города Цюриха.

Опрошенный швейцар дома показал, что утром, часов в десять, двое молодых людей выходили из квартиры убитой, но точных примет их дать не мог.

Чиновник К., получив эти сведения, тотчас же отправился на Офицерскую улицу и без труда разыскал подругу покойной.

Последняя была поражена, как громом, при вести о трагической смерти своей подруги и с неподдельными слезами поведала следующее:

— С неделю тому назад мы с убитой зашли в ресторан «Вену» позавтракать. Настроение было хорошее, и после нескольких рюмок вина захотелось пошалить. А тут, как нарочно, представился случай: против нас за столиком сидело двое молодых людей, весьма элегантных и жизнерадостных. Мы начали перемигиваться, улыбаться. Они издали пили за наше здоровье, но, приличия ради, дело этим и ограничилось. На следующий день мы с покойной опять завтракали в «Вене». Вскоре после нашего прихода появились те же молодые люди и уже, как старые знакомые, нам приветливо закивали. Затем они присоединились к нашему столику, предста-

вились, познакомились, а после завтрака все вместе мы отправились сначала на скетинг-ринг, потом же, по приглашению моей подруги, к ней пить чай. Молодые люди (свидетельница подробно описала их внешность) нам очень нравились. Держали они себя мило, непринужденно, весело. Говорили кучу комплиментов покойной, хвалили ее вкус, обстановку, любовались ее красивыми серьгами, — словом, день и вечер мы провели претолливо. Все последующие дни я была занята своими портнихами и лишь вчера мельком встретилась с покойной на улице. Она сказала, что новое знакомство крепнет и что вечером один из молодых людей хотел к ней заехать.

На следующий день вернулся из очередной поездки сам Тиме. Он настолько равнодушно отнесся к случившемуся, что одно время возбудил даже против себя подозрение. Кольцо, пропавшее с руки покойной, было им подробно описано, и в этот же день все ювелиры и скупщики драгоценностей были извещены полицией.

Один из них вскоре явился и принес кольцо, указав, что в день убийства оно было куплено им за 250 рублей у какого-то молодого человека. Описанная ювелиром внешность продавца соответствовала описанию, данному подругой убитой.

Чиновник К., знавший Петербург как свои пять пальцев, почему-то вдруг вспомнил, что рядом с рестораном «Вена», на Гоголевской, находится большой магазин металлических изделий — Пек и Прейсфренд. Сопоставив частые, видимо, посещения молодыми людьми «Вены», новенький вид топорика и, наконец, наличие под боком у ресторана магазина, торгующего соответствующими изделиями, он пришел к мысли прозондировать почву в последнем.

Конечно, он не возлагал больших надежд на успех, но шансы, по его мнению, все же имелись и пренебрегать ими не следовало. Ему повезло. В магазине Пек топорик был опознан и более того — приказчик, третьего дня его продавший, помнил покупателя. Запомнился он ему потому, что клиентами магазина являются больше женщины, покупающие всякую металлическую хозяйственную утварь, если же и заходят мужчины, то либо рабочего вида, либо патриархальной семейной складки. Топорик же, по словам приказчика, был куплен молодым человеком, шикарно одетым, не похожим ни на труженика, ни на семьянина.

Опять-таки описание внешности покупателя вполне совпадало с описанием подруги и прислуги убитой и ювелира. Несомненно, розыск стоял на правильном пути и след убийцы был нащупан. Но кто он? Где он — этот таинственный молодой человек? — вот что предстояло выяснить.

В руках полиции имелся один лишь кончик запутанного клубка, за который она и ухватилась: я говорю про визитную карточку, переданную прислугой. Не подлежало, конечно, ни малейшему сомнению, что карточка эта не носила имени убийцы. Возможно, что она была специально заказана преступником, но это представлялось маловероятным. Вернее, убийца просто использовал чужую

карточку, присвоенную им где-либо для данного дела. На всякий случай были запрошены все типографии и литографии столицы, ответившие, что за последний год подобных карточек они не печатали.

Параллельно с этим запросили и швейцарское консульство о почетном гражданине города Цюриха — Павле Этьеновиче Жираре. Консульство вскоре же ответило, что под этим званием и именем значится не кто иной, как владелец известного часового магазина на Невском «Павел Буре». Последний оказался почтенным пожилым человеком, чуть ли не упавшим в обморок при известии, в каком преступлении фигурировала его карточка. Его успокоили и попросили припомнить, не давал ли он кому-либо из молодых людей такой-то наружности своей визитной карточки.

— Нет, — отвечал он, — молодых людей среди знакомых у меня не имеется, да и вообще карточки свои я раздаю с большим разбором. Во всяком случае, разрешите мне хорошенько припомнить, и я завтра же представлю вам список лиц, которым оставлял свои карточки.

На следующий день он прислал адресов 15—20. По проверке все адресаты оказались солидными коммерческими людьми. Они были опрошены и, не внушив никаких подозрений, либо предъявили карточки Жирара, либо заявили об их потере. В присланном Жираром списке значилась и фамилия одного из крупных сановников Министерства иностранных дел г-на А. Не хотелось беспокоить, быть может, напрасно этого сановника, но делать было нечего — и начальник сыскной полиции В. Г. Филиппов лично к нему отправился. Объяснив причину своего посещения, Филиппов спросил, сохранилась ли у него карточка Жирара.

— Должно быть, — отвечал сановник. — Я как раз еще на днях ее видел, справляясь об имени этого господина. Впрочем, посмотрим.

Он порылся в кипе карточек, лежащих на красивом резном подносыке, затем стал нетерпеливо перебирать их поодиночке и, наконец, не без удивления промолвил:

— Странно — не нахожу!

Он безрезультатно поискал на письменном столе и недоуменно развел руками:

— Нету, а между тем я знаю наверное, что была!

Филиппов попросил разрешения поискать лично, но и он ничего не нашел.

— Ваше превосходительство, не был ли у вас на этой неделе кто-либо из молодежи? — спросил Филиппов.

— Нет, я вообще мало принимаю, а молодежь — тем более. Впрочем, стойте! Я, кажется, ошибся. Да, да! Это было дней 5—6 тому назад. Зашел ко мне на часок мой сослуживец, тайный советник Долматов, почтеннейший и милейший человек, и заходил он не один, а с сыном, молодым человеком, причисленным к нашему министерству. Вот видите, чуть не забыл!

— Вы хорошо знаете этих Долматовых, ваше превосходительство?

— Отца — да! Мы с ним старые приятели, ну, а о сыне вы можете получить все справки от заведующего личным составом министерства.

Филиппов откланялся и отправился непосредственно к этому превосходительному чиновнику. Не застав его в министерстве, он поехал к нему на квартиру. Чиновник жил как раз в одном доме с Долматовыми.

У начальника сыскной полиции произошел с ним довольно любопытный разговор.

— Честь имею представиться, — сказал Филиппов. — Я начальник петербургской сыскной полиции и пришел к вам по важному делу.

— Покорнейше прошу садиться. Чем могу служить?

— Не откажите, ваше превосходительство, дать мне справку и высказать свое личное мнение о двух служащих вашего министерства, о Долматовых.

— Справку? Мнение? Да какую и о чем? Долматовы действительно служат у нас, а мнение мое о них вряд ли важно... Впрочем, оно самое лучшее! — поспешил он поправиться.

— Ваше превосходительство, я прошу вас быть со мной совершенно откровенным, так как вы понимаете, конечно, что не праздное любопытство руководит мною. Я имею основание подозревать этих людей в тяжком преступлении!..

— Ого! — сказал чиновник, сделавшись вдруг серьезным. Подумав с минуту, он добавил: — Видите ли, о старике Долматове я самого лучшего мнения. Это высоко почтенный человек, прекрасный служака, отличный семьянин. К сожалению, не могу сказать того же об его сыне. Молодой человек пуст, небрежен и вообще внушает мне мало доверия. Конечно, из чисто корпоративных соображений мне не следовало бы, быть может, так отзываться о нем, у нас вообще это не принято, но я рассчитываю на вашу скромность и знаю, что вы не употребите во вред мою откровенность.

— Разумеется, вы можете быть покойны! — отвечал Филиппов. — Скажите, не замечали ли вы чего-либо бесчестного в его поведении?

— Конечно, нет, иначе он не служил бы у нас. Впрочем, его поведение в Париже, где он состоял атташе при нашем посольстве, было, говорят, безупречно. Он был уволен оттуда, а затем ради старика-отца, повторяю, высокоуважаемого человека, наш министр согласился оставить его причисленным к министерству. Но вы, в свою очередь, не сообщите ли мне, в чем вы заподозриваете Долматова?

— В убийстве, ваше превосходительство!

— Что-о-о? — и чиновник сначала разинул рот от удивления, а затем громко расхохотался. — Ну, слушайте, это уже чересчур!

Что за вздор! В убийстве?! Нет, вы шутите, конечно? Долматов может наделать неоплатных долгов, может пожить на чужой счет, наконец, еще кое-как допускаю, произвести растрату... но убить человека... — полноте, что за пустяки! Я никогда, понимаете ли, никогда этому не поверю! Просто ваша профессия заставляет вас быть излишне подозрительным: несколько случайно совпадавших обстоятельств, и у вас уже созрело подозрение. Но нельзя же столь скептически относиться к людям! Ведь что ни говори, а среда, воспитание, семейные традиции — все это не пустой звук! Словом, повторяю — Долматов не может быть убийцей!

Филиппов не нашел нужным возражать на эти красноречивые заверения и прямо перешел к делу.

— У меня большая к вам просьба, ваше превосходительство! Для пользы дела чрезвычайно важно раздобыть фотографию молодого Долматова. Возможности у нас к этому не представляется, не поможете ли вы нам?

— То есть чем это именно?

— Получите от него фотографию и передайте мне.

— Это невозможно! Чего это я, спрашивается, вдруг воспылаю дружкой к нему и пристану с карточкой? Я с ним вообще не близок, а после ваших подозрений он стал окончательно безразличен мне.

— Так как же быть?

— Не знаю, не знаю! Впрочем, вот что я вам посоветую. Старший дворник нашего дома, большой, кстати сказать, мошенник, но ловкий человек. Пошлите к нему агента и прикажите достать карточку — он наверное сумеет сделать это.

— Хорошо, попробую, — сказал Филиппов и стал прощаться. — Но я покорнейше прошу, ваше превосходительство, оставить весь этот разговор между нами. До поры до времени важно не спугнуть предполагаемого преступника.

На этом они расстались.

Из той же боязни спугнуть Долматова Филиппову не хотелось дать старшему дворнику никаких оснований заподозрить о вмешательстве полиции в какие-то дела его квартирантов. Не было уверенности в том, что дворник не проговорится, а то и просто известит Долматова, и последний скроется. Поэтому Филиппов прибегнул к хитрости: вызвав к себе толкового агента, он заставил его тщательно загримироваться старым камердинером из хорошего дома, подробно объяснил ему предстоящую роль, после чего «постаревший» агент в седоватом парике, с расчесанными седыми бакенбардами и чисто выбритым пятячком на подбородке направился к старшему дворнику дома Долматовых.

Позднее он рапортовал:

— Вошел я во двор, нашел квартиру старшего дворника и постучал: «Здесь живет Гаврила Никитич Пономарев?» — спросил я у встретившего меня мужчины. «Мы самые и будем». — «Очень приятно познакомиться, — сказал я приветливо, — а мы к вам

по важному делу, Гаврила Никитич!» — «Милости прошу, присаживайтесь и рассказывайте, кто вы будете и по какому делу пожаловали?» — «Зовут меня-с Иваном Максимовичем. Двадцать шестой год служу я камердинером у богатых хороших господ. Господа ко мне привыкли-с и, можно сказать, считают своим человеком в доме. Да и как не считать-то? Двадцать пять лет служу им верой и правдой, весь дом на моих руках. Молодые господа все при мне родились и выросли. Ну, одним словом — доверяют. А пожаловал я к вам, Гаврила Никитич, по секретному делу, и в деле этом женский пол замешан». — «Вот оно что!» — удивился дворник. «Да-с! дело, можно сказать, subtilное, Гаврила Никитич. Но ежели мне поможете, то в убытке не будете!» — «Что же, мы с превеликим удовольствием, Иван Максимович, за нами остановки не будет!» — «Так извольте слушать. Проживают в вашем доме господа Долматовы?» — «Как же, в третьем этаже квартиру занимают». — «Ну, так вот-с: как оно случилось, где наша барышня повстречала молодого барина Долматова, — того мы не ведаем. А только сказать могу одно, что влюбилась она в них без памяти. Долго крепилась, молчала, а тут как-то призывает меня и говорит: «Сослужи мне, Максимыч, верную службу, раздобудь ты мне ихнюю карточку». — «Да как же, милая барышня, я раздобуду-то ее? Я бы и рад, да где же найти-то?» — «А уж делай, как знаешь, хоть подговори, хоть подкупи кого, а только хоть из-под земли, да достань! Вот тебе, говорит, сто рублей на расходы, а понадобится еще — дам и еще!»

— Да-с, ваше дело серьезное, — сказал дворник, — а помочь я все-таки, пожалуй, смогу, только, конечно, не пожалею денег, расходы будут.

— Мы понимаем, как же без этого! Я вот 50 целковых вам дам вперед, а остальные 50 после, как только доставите мне карточку.

К следующему же дню карточка Долматова была получена и предъявлена для опознания. Подруга убитой тотчас же признала в ней одного из «веселых знакомых». На вопрос, этот ли господин оставил карточку, прислуга ответила: «Они-с!» Ювелир, не утверждая точно, усмотрел в ней большое сходство с продавцом кольца, и, наконец, приказчик от Пека сказал с уверенностью: «Они самые-с!»

Таким образом, Долматов оказался убийцей Тиме!

Но кто его приятель, участвовавший прямо или косвенно в этом убийстве? Ведь швейцар видел двух молодых людей, выходявших утром из квартиры убитой. Решено было сейчас же арестовать Долматова в надежде, что при аресте он назовет имя второго преступника.

Чиновнику К. предстояла весьма тягостная задача: явиться к старикам Долматовым, известить их о преступлении сына и арестовать последнего. Я и поныне не без волнения вспоминаю рассказ моего сослуживца об этих грустных минутах.

— Мне дверь открыла какая-то пожилая старушка, — говорил К., — не то старая нянюшка, не то экономка.

— Вам кого, батюшка? — спросила старушка.

— Мне барина вашего нужно видеть, вот передайте им мою карточку.

— Сейчас, сейчас доложу! Проходите, пожалуйста, в ихний кабинет! — и она открыла боковую дверь.

Я вошел в кабинет. Он был обычного вида; но что обратило мое внимание — это многочисленные фотографии убийцы, висевшие на стенах и стоявшие на письменном столе. За спиной моей послышались мягкие шаги. Передо мной стоял Долматов-отец, старик лет 65, и, ласково глядя, приветливо мне улыбался.

— Чем могу служить? — сказал он, любезно подвигая кресло.

— Я приехал к вам, ваше превосходительство, по весьма грустному делу!

Старик заметно побледнел и вопросительно на меня уставился.

— Я приехал арестовать вашего сына!

Долматов заволновался, стал что-то шарить на столе, надел и снял пенсне и, наконец, справившись с собой, заговорил:

— Да, конечно, разумеется! Очевидно, что-то случилось! Ведь он такой у нас шалый! Но, ради Бога, войдите в мое положение! Быть может, еще не поздно и, мобилизуя известную сумму, можно потушить дело? Наверное, какие-нибудь долги, растрата, а то по молодому делу — роман, насилие. Но кто же из нас не был молод? Господи, всего бывало! Не губите молодого человека да пожалейте и меня, старика. Маша-а-а! — крикнул он жене.

В кабинет вошла Долматова — женщина лет 50.

— Вот полюбуйся, послушай, что говорит г. чиновник сыскной полиции. Сколько раз я тебя предупреждал, что с этим баловством ты его до добра не доведешь. Вот и дотанцевались! — и он схватился за голову.

— Что такое? — тревожно спросила она меня. — В чем дело? Я ничего не понимаю!

— Я приехал арестовать вашего сына!

— За что? Почему?

— Он обвиняется в тяжком преступлении.

— В каком?

— В убийстве, сударыня!

При этих словах старик Долматов как-то подпрыгнул, хотел что-то сказать, но тотчас же осел и медленно сполз с кресла на пол.

— Борисовна! — громко крикнула хозяйка.

Вбежала старушка, открывшая мне дверь.

— Скорее, скорее, Борисовна, доктора! Барину худо, да помоги же поднять его!

Общими усилиями мы подняли Долматова с полу и перенесли на диван. У него отнялась левая сторона тела. Госпожа Долматова,

не потерявшая самообладания, оказав первую помощь мужу, спросила меня дрожащим голосом:

— Ведь не правда ли, у вас нет твердой уверенности, это лишь предположение, случайное стечение обстоятельств? — и в глазах этой матери засветилась такая страстная надежда, что у меня не хватило духу сказать ей правду.

— Уверенности нет, но многое складывается не в пользу вашего сына, он под сильным подозрением, и я должен его арестовать до выяснения дела.

— Ну, вот, я так и знала! — сказала она, облегченно вздохнув. — Разве мой мальчик может быть убийцей? Я прошу вас выяснить скорее это дело и избавить нас от незаслуженного позора! Сына сейчас нет в Петербурге. Он третьего дня уехал с кузеном своим к его матери, к моей сестре, баронессе Гейсмар, в Псков.

— Опишите, пожалуйста, сударыня, как выглядит кузен вашего сына, то есть ваш племянник?

Она подробно описала внешность барона Гейсмар, и это описание весьма походило на приметы товарища Долматова, данные подругой убитой Тиме. Видимо, мы напали на след и второго участника убийства.

Немедленно в Псков был командирован помощник начальника петербургской сыскной полиции Маршалк, который и предстал перед стариками Гейсмар. Здесь повторилась та же тягостная сцена, что и у Долматовых, с той лишь разницей, что старик Гейсмар, отставной генерал, проживавший в Пскове на пенсии, услышав о страшном обвинении, был до того потрясен, что через несколько дней умер. Баронесса, вообще, видимо, не любившая своего племянника, сказала:

— Я ни минуты не сомневаюсь, что сын мой здесь ни при чем. Если кто и виноват, то, конечно, это мой племянник. Я всегда считала его большой дрянью. Во всяком случае, ради сына хотя бы, я помогу вам в этом деле. Вчера молодой барон с Долматовым уехали в имение к своим друзьям, на станцию Преображенская. Я думаю немедленно их вызвать телеграммой обратно, и вы здесь можете их допросить.

Так и сделали. Баронесса послала телеграмму, а Маршалк с агентами отправился на Преображенскую. Двое суток продежурили они на ней напрасно и собирались уже отправиться в имение, когда, наконец, к станции подъехала лихая тройка и из коляски вышли Долматов и барон Гейсмар. Они были схвачены и арестованы, причем Гейсмар оказал вооруженное сопротивление, открыв огонь из браунинга, но, к счастью, никого не ранив. По предъявлении улик и вещественных доказательств, преступникам оставалось только сознаться. Однако барон Гейсмар говорить не пожелал. Долматов оказался разговорчивее.

— Вы хотите знать, что довело нас до преступления? Извольте! Я, пожалуй, расскажу, хотя это длинная история. Вкратце она сводится к следующему: мы с бароном жертвы современного соци-

ального уклада. Выросшие в холе, избалованные средой, отравленные дорогими привычками, мы не имели возможности хотя бы наполовину удовлетворять их. Началось с переучета векселей, дружеских бланков, затем наступил период краж и, наконец, вот докатились до убийства. Как произошло оно? Довольно просто. Познакомились мы с Тиме в «Вене», обратили внимание на ее серьги, а так как в эти дни деньги нужны были нам до зарезу — мы и зарезали. Несколько завтраков, несколько предварительных визитов — и знакомство закрепилось. Поздно вечером перед убийством я из театра заехал к ней поужинать. Засиделся, выпито было много, — в результате хозяйка разрешила мне остаться ночевать, и я прилег в гостиной. Но ни ночью, ни утром я не нашел в себе сил совершить задуманное и, распроставшись, вышел в десять часов на улицу, где меня, по предварительному стовору, поджидал барон. Узнав о моей слабости, он выбралил меня, и мы вернулись обратно. «Представьте, — сказал я Тиме, — вдруг у подъезда натыкаюсь на барона, продувшегося в клубе. Он голоден, сердит, пригрейте его, напоите кофе». Тиме рассмеялась и принялась хлопотать. Барон мне мигнул, и я, незаметно выхватив топорик, ударил свою жертву по затылку. Она упала, а барон принялся ее добивать свинцовым стеклом. Когда с ней было покончено, мы начали искать серьги, да, черт его знает, куда она девала их! В результате — грошовое кольцо!

Долматов говорил все это не торопясь, спокойно, как-то растягивая и скандируя слова. Ни раскаяния, ни угрызений совести, по-видимому, он не ощущал.

Судом оба преступника были приговорены к каторге, которую и отбывали до революции в Шлиссельбургской крепости. После большевистского же переворота их видели обоих в военной форме, раскатывавших по улицам Петрограда в экипажах придворного конюшенного ведомства.

ШАНТАЖ

Однажды ко мне на прием явился московский присяжный поверенный Шмаков, мой давнишний знакомый, в сопровождении неизвестной мне дамы и обратился со следующими словами:

— Я привез к вам, Аркадий Францевич, мою постоянную клиентку, госпожу Х. (и он назвал фамилию московских купцов-миллионеров). Госпожа Х. обратилась ко мне за юридической помощью в деле, где я лично, увы, бессилен что-либо сделать; но я предложил ей посоветоваться с вами: быть может, вы найдете способ вывести ее из неприятного, чтоб не сказать больше, положения. Все необходимые сведения г-жа Х. вам подробно изложит. Не откажите сделать все, что можно. А теперь позвольте мне вас оставить, — и он, распрощавшись, исчез.

Предо мной в кресле сидела довольно полная женщина, лет сорока с хвостиком, и, глядя на меня, приятно улыбалась.

— Я к вашим услугам, сударыня!

— Ох, г. Кошко! Дайте набраться духу, ведь дело-то уж больно необыкновенное.

И, передохнув, посетительница принялась рассказывать. Говорила она не торопясь, растягивая по-московски гласные, с тем едва уловимым оттенком известной уверенности в себе, что присуща обычно очень богатым людям.

— Семнадцати лет я вышла замуж, прожила с мужем больше двадцати и вот третий год вдовею. Женой я была честной и верной, родила пятерых детей, вырастила их и теперь от старшего сына имею уже внучат. По смерти мужа я дела не забросила, занялась и фабрикой и коммерцией и еще увеличила наши обороты. Семью свою держу в страхе Божиим и повиновении. Дети меня уважают и любят и с каждым моим малейшим желанием считаются, словом, могу сказать, — пользуюсь всеобщим уважением.

До прошлого года все шло как по маслу, всем я была довольна. Одно лишь стало тяготить меня, — хоть и совестно посвящать вас в мои бабьи дела, да что поделаешь, — в данном случае это совершенно необходимо. Ну, словом, коротко говоря, затосковала я по друге. По пословице хоть и говорится: «Сорок лет — бабий век», однако стукнуло мне и 40, а старости в себе я не чувствовала; впрочем, вся наша порода такая! Я сказала себе: что же? ты свободна, богата, детей подняла и пристроила, не грех подумать и о

себе! Я стала искать да выбирать. Связаться с каким-нибудь молодкососом — не хотелось. Я понимала, что в мои годы искренне не привяжешь к себе молодого человека, да и знаете, какая нынче молодежь! Начнет выуживать деньги да стращать скандалами, а для меня тайна в этом деле — прежде всего. Не дай Бог до детей дойдут слухи — это мне хуже смерти! Думала я, думала да и сошлась, наконец, со своим духовником, отцом Николаем В. Мой выбор может показаться странным, но о. Николай как раз был подходящим человеком: вдовый, тихий, скромный, не болтливый. Хоть красотой особой и не отличался, но мужчина был все же ничего себе. Опять-таки любви я и не искала, да и не верю в нее. Слава Богу, всю жизнь прожила, пятерых детей имею, а что такое любовь — и не знаю! Для наших встреч я сняла в Лоскутной гостинице постоянный номер в две комнаты. Хозяином гостиницы в то время состоял некий бразильский подданный; я знавала его и раньше. Все шло хорошо, и о. Николаем я была вполне довольна. Как вдруг случилось несчастье. Приехали мы с ним как-то в Лоскутную, прошли в наш номер. Я подошла к зеркалу и стала развязывать вуалетку и снимать шляпу. О. Николай прошел в следующую комнату. Сняв шляпу, я позвала его, он не ответил. Я позвала еще раз — опять молчание. «Да что это, о. Николай, оглохли вы, что ли?» — сказала я нетерпеливо. Но о. Николай упорно молчал. Тогда я прошла к нему в комнату и в ужасе остановилась на пороге: на полу, на ковре у кровати лежал он с раскинутыми руками и запрокинутой головой. «Отец Николай, отец Николай! Что с вами, голубчик! Очнитесь, придите в себя!» Я принялась его тормошить, подносила к носу английскую соль, смачивала виски одеколоном, вливала в рот валериановые капли, всегда имевшиеся при мне в сумке, кричала в ухо: «Отец Николай, высокопреосвященный вас требует!» Все было напрасно, и вскоре похолодевшие руки и посиневшие ногти убедили меня в его смерти. Знаете, я женщина неробкая, теряюсь нелегко, но, сознаюсь вам откровенно, на этот раз растерялась совершенно. Что делать? Как быть? Стала ломать себе голову: потихоньку удрать? — но это не спасет меня, так как хозяин гостиницы знает и посвящен в тайну наших свиданий, причем молчание его хорошо мною оплачивалось; как назло, он видел нас сегодня входящими в гостиницу. Если удрать, то, пожалуй, хуже будет: не только связь моя получит по городу огласку, но еще, чего доброго, заподозрят меня в убийстве и отравлении о. Николая. Долго я мучилась, не зная, как быть, и решила, наконец, позвать хозяина. «Это сам Господь покарал тебя, старая грешница!» — сказала я себе и вышла в коридор. Я разыскала хозяина и молча привела его в номер. Он ужаснулся, увидя распростертого о. Николая.

«Ради Бога, посоветуйте, что делать?! — сказала я ему. — Забудьте как-нибудь дело, подумайте только, какой позор ждет меня при огласке!» — «Как же я могу замять такое дело? — закричал он. — Да почему я знаю, быть может, вы сами его отравили. Вон,

видите, и пузырьки какие-то валяются». (Он указал на мою английскую соль и валериановые капли.) — «Да побойтесь вы Бога! Какой мне расчет его отравлять?» — «Мало ли там что! Приревновать могли, да и почему я знаю? Нет уж, вы как хотите, а я пошлю за приставом и полицейским врачом!» С этими словами он вышел из номера и запер меня на ключ. «Вот так история! — подумала я. — Что только будет теперь, сраму-то, сраму не оберешься!» Через полчаса примерно дверь снова открылась, и вошли пристав, доктор и хозяин. Врач осмотрел внимательно труп и констатировал смерть от разрыва сердца. Пристав составил подробный протокол осмотра и заставил всех нас подписаться. Хозяин пошептался с ними обоими, а затем и говорит мне: «Вот что, сударыня! Если вы желаете, чтобы дело это не получило огласки, то извольте передать г-ну приставу 5 тысяч рублей, г-ну доктору — 10 тысяч и мне — 20 тысяч». Я, конечно, с радостью согласилась и обещала через час-другой доставить деньги. И действительно, часа через два я вернулась и передала хозяину 35 тысяч рублей.

Сирот о. Николая я обеспечила, и они сразу же после похорон уехали к себе на родину в провинцию. Я стала успокаиваться и пришла было в себя, как вдруг звонит мне по телефону этот противный бразилец и просит явиться для переговоров в Александровский садик, что у Кремля. Я почуяла недоброе, но делать нечего — отправляюсь. Оказалось, что этот мошенник проигрался на скачках и просит настойчиво дать ему 50 тысяч рублей. Обозлило это меня страшно, да что было с ним делать? Дала. Прошло недели две, вдруг он опять звонит. Я было выругала его по телефону, а он заявляет, что на этот раз дело крайне серьезно и переговорить необходимо. Отправляюсь опять в Александровский садик. На сей раз он заявил, что смерть о. Николая грозит выплыть наружу, что люди, выносившие из гостиницы его труп, что-то пронюхали, грозят поднять дело и, чтобы купить их молчание, необходимо 100 тысяч. Я возмущенно торговалась, но он так запугал меня, что я, наконец, согласилась дать и эти деньги. Но представьте, каков мерзавец! Не прошло и месяца, как он опять звонит и заявляет прямо начистоту: «Вот что, сударыня, я ликовидирую свои дела в России и на днях уезжаю в Бразилию. На родине мне понадобятся деньги, а посему извольте в последний раз мне дать 200 тысяч, в противном случае, приехав в Америку, я извещу оттуда и русские власти, и ваших детей, и знакомых о случае с о. Николаем». В ярости я ему крикнула в трубку: «Да кто поверит рассказам всякого проходимца?» А он: «Однако вы очень наивны, сударыня! Не забывайте, что в моих руках находится ряд засвидетельствованных копий с протокола, а на них значится и ваша подпись. Этим документам, конечно, всякий поверит». Огорошенная этими словами, я замолчала. «Так как же, сударыня, угодно будет вам исполнить мое требование?» — «Но у меня нет этих денег!» — попробовала я отговориться. «Полноте, ваши средства Москве известны! Впрочем, не торопитесь, даю вам неделю сроку, но в будущий четверг,

в 3 часа дня, буду ждать вас в буфете Ярославского вокзала. Итак, сударыня, ваш ответ?» — «Хорошо, привезу!» — ответила я покорно. Однако, обдумав хорошенько свое положение, я пришла в отчаяние: получит он с меня и эти 200 тысяч, а какая уверенность может быть у меня, что на этом дело кончится? И помчалась я к моему постоянному адвокату г. Шмакову да и рассказала все, как вам. Он же мне говорит: «Здесь по суду ничего не поделаешь! Просто не знаю, что вам и посоветовать! Впрочем, вот что: едемте сейчас к начальнику сыскной полиции Кошко, посоветуйтесь с ним, может быть, он что-нибудь придумает». Я, конечно, согласилась, и вот мы к вам и пожаловали.

— Благодарю вас, сударыня, за доверие, но я затрудняюсь что-либо вам ответить. Ваш тяжелый случай осложняется очень тем, что мошенник — иностранный подданный, а потому с ним приходится особенно церемониться. Во всяком случае, я подумаю. Сегодня у нас понедельник? Ваше rendez-vous в четверг? Приезжайте ко мне в среду, послезавтра. К этому времени я надеюсь что-либо избобрести. Не обещаю вам наверное, но во всяком случае попробуем.

— Ах, ради Бога, г. Кошко, придумайте, помогите, а то, право, хоть руки на себя накладывай!

— Постараюсь, постараюсь, сударыня, не отчаивайтесь!

Дама крепко пожала мне руку и выплыла из кабинета.

Я призадумался. Но прежде чем принять то или иное решение, я захотел посоветоваться с прокурором Московского окружного суда Брюном де Сент-Ипполит, с которым был в приятельских отношениях. Выслушав меня, Брюн де Сент-Ипполит сказал приблизительно то же, что и Шмаков: что шантаж по закону русскому, как таковой, не наказуем, что для понятия о вымогательстве под угрозой требуются серьезные доказательства; но главное неудобство в том, что при ведении дела общим судебным порядком — огласка неизбежна, а это именно то, чего так боится пострадавшая. Тут может помочь только административное вмешательство. От прокурора я поехал к градоначальнику генералу Андреянову. Последний, ознакомившись с делом, заявил, что он не решается принять меры административного воздействия, так как в данном случае может вмешаться бразильский консул и, чего доброго, создаться целый дипломатический конфликт.

— Попробую все же, — сказал он мне, — позвонить министру внутренних дел.

И тут же он соединился по прямому проводу с министром Маклаковым. Я наблюдал за ним. Градоначальник подробно изложил дело, выразил свои опасения и просил распоряжения. Выслушав ответ Маклакова, он как-то конфузливо улыбнулся и раз даже вежливо перебил его: «Не Никарагуа, ваше высокопревосходительство, а Бразилия... Слушаю!.. Слушаю-с!..» Затем, отойдя от аппарата, заявил мне: «Удивительно легкомысленный человек. Знаете, что он мне сказал? Очень нужно великодержавной России

считаться с какой-то завалящейся Никарагуа! Уполномочиваю вас, генерал, применить к этому «парагвайцу» те меры, что применили бы вы к рядовому русскому шантажисту. Действуйте энергично и быстро!»

Получив эти указания, я принялся действовать. В среду, когда приехала ко мне г-жа Х., я сказал ей:

— Вот что мы сделаем. Завтра поезжайте на Ярославский вокзал и передайте этому типу 200 тысяч. Не беспокойтесь за деньги, он будет немедленно арестован, и эту сумму вам тотчас же возвратят. Но прежде, чем передать деньги, скажите ему следующее: «Вы несколько раз меня обманывали, и я вам больше не верю. Я привезла вам требуемые 200 тысяч, но передам их, только заручившись гарантией: застраховав себя от дальнейших ваших выпадов. Я хотела было потребовать от вас в замен копии протокола, но сообразила, что вы можете надуть меня — передадите мне три-четыре, а у вас, быть может, переснята их дюжина. Вот почему я требую следующего: вы должны будете подписать компрометирующую вас бумажку». И вы протянете ему вот этот составленный мною документ.

Я передал даме бумагу. В ней значилось: «Я, нижеподписавшийся, признаю себя виновным в том, что с помощью угроз, включительно до угрозы смертью, выманил мошенническим образом у госпожи Х. последовательно 20, 50, 100 и, наконец, 200 тысяч рублей, в общей сложности 370 тысяч рублей. Впредь обязуюсь прекратить свои преступные вымогательства. Год, число, подпись».

Дав даме прочесть эту записку, я продолжал:

— Конечно, мошенник начнет отказываться дать свою подпись, но вы подчеркните, что не в ваших, конечно, интересах предъявлять эту расписку, так как вы больше всего боитесь огласки; что вы прибегнете к этой мере лишь в самом крайнем случае, т. е. если и на этот раз он не исполнит своего обещания и вновь предъявит какие-либо требования. Наконец, повертите перед его носом пакетом с 200 тысячами, надо думать, что он не устоит перед соблазном. Получив от него расписку, передайте деньги и поезжайте спокойно домой. Мои люди его арестуют, отберут деньги и привезут сюда. В субботу к часу дня приезжайте сюда для окончательной ликвидации дела. Тогда вы передадите мне подписанную шантажистом расписку. Я не назначаю более раннего срока, так как считаю полезным продержат его двое суток под арестом.

В четверг я командировал на Ярославский вокзал своего помощника Андреева и несколько агентов. Андреев мне потом докладывал:

— Ровно в три часа появилась г-жа Х. и, подойдя в буфетном зале к столику бразильца, уселась. У них начался оживленный разговор. Затем г-жа Х. предъявила бумагу. Мошенник, прочтя ее, сердито замотал головой. Они принялись спорить, и г-жа Х. вытащила из сумки туго набитый пакет. Наконец, были потребованы

чернила. Бразилец расписался и получил деньги. Г-жа Х., спрятав расписку, немедленно удалилась. Я подошел к бразильцу и сказал: «Пожалуйста, вас начальник сыскной полиции требует к себе». Бразилец сначала был совершенно ошарашен, он быстро оправился и громко заявил: «Прошу оставить меня в покое! Я никакого вашего начальника знать не желаю». Я указал ему на двух жандармов, стоявших у дверей: «Если вы немедленно добровольно не последуете за мной, то жандармы поведут вас силой». Угроза подействовала, и бразилец, бормоча что-то о консуле, последовал за мной.

В субботу, ровно в час, ко мне в кабинет вошла г-жа Х.

— В четверг, — сказала она, — я исполнила все, как вы сказали. Вот вам расписка этого негодяя. Представьте, какой нахал: прочитав мою бумагу, он сначала не только отказался ее подписать, но принялся даже меня ругательски ругать. Какими только словами он не обозвал меня! И старой кикиморой, и старой потаскушкой — просто стыд и ужас! Однако ради дела я все стерпела и добились-таки своего. Передав деньги, я не уехала домой, а спряталась у выхода и видела, как ваши люди его арестовали. У меня рука чесалась, так хотелось подбежать и обломать об него зонтик; но я, однако, сдержалась. Домой вернулась злая-презлая: разорвала на себе перчатки, выгнала горничную, высекла внука! Да где же он, этот мошенник?

— Прежде всего успокойтесь, сударыня! А затем — вот ваши деньги.

— Деньги — что! А где сам мошенник-то?

— Я сейчас его вызову. Но помните, нам предстоит разыграть комедию: необходимо его жестоко запугать, а это не так просто! Помните, что если он примется просить у вас прощения, то не прощайте сразу, помучайте хорошенько и лишь затем простите. Не удивляйтесь ничему, что будет происходить сейчас. Итак, — вы готовы?

— Готова, готова!

Я позвонил.

— Приведите арестованного в смежную с кабинетом комнату.

Когда это было исполнено, то началась «игра». Сначала мимо бразильца провели в мой кабинет нескольких арестованных в кандалах и наручниках (их тотчас же вывели в противоположную дверь). Затем я во все горло принялся разносить мнимых преступников, наконец, несколько моих надзирателей стали громко стучать и бороться в соседней комнате, а затем по сигналу завывали, застонали, запросили пощады. Я вызвал агента, наблюдавшего за бразильцем.

— Ну, что?

— Сидит ни жив ни мертв, бледный, чуть не трясется.

— Ладно! Теперь зовите его.

Взъерошенный, не бритый, вошел он ко мне в кабинет.

— Так вот ты каков гусь! — обратился я грозно к нему. — Ты это что же, мерзавец, по большим дорогам грабить собрался?!

Или думаешь, что можно безнаказанно давать такие расписки?! — и я в воздухе потряс бумажонкой.

Но здесь моя дама визгливо вмешалась:

— Ах ты разбойник, ах ты негодяй! Что, брат, попался? Ты воображал, что на дуру наскочил? Что меня без конца грабить можно? Ах ты американская морда! Да я теперь тебя в Сибирь, в тундру, на Сахалин упеку!

Бразилец растерянно заметался и что-то залепетал.

— Проси сейчас же прощения! — крикнул я. — Да хорошенько! Не так, — на коленях, чучело гороховое!

Он упал на колени:

— Простите, простите, сударыня!

— Что-о-о? Простите! — взывала г-жа Х. — Не-е-ет! Ты не только пытался ограбить, но еще и облаял меня на вокзале, меня — вдову коммерции советника! Нет тебе, негодяй, прощения, и все тут!

Бразилец принялся снова умолять, но она казалась непреклонной. Войдя в свою роль, темпераментная дама, натерпевшаяся, очевидно, достаточно за это время, смаковала свою победу. Прошло минут двадцать, а дама все упорствовала. Мне, наконец, надоела эта комедия, и я стал подмигивать ей: дескать, пора, прощайте уже. Какое там!

— Я не только сотру тебя в порошок, я не только запрячу тебя в Сибирь, а сегодня же повидею еще твоего консула, и сама изложу ему дело.

Я принялся толкать ее ногой под стол. Мутным взором поглядела она на меня и, наконец, опомнилась.

— Ну, вот что, негодяй, — сказала она, наконец, своей жертве, — в душе я, конечно, не прощу тебя никогда! Но это дело до того мне претит, что я готова с ним покончить, а потому перед начальником я тебя прощаю. Но помни, что не для тебя, а для себя я это делаю!

Бразилец облегченно вздохнул.

— Рано вздыхаешь! — сказал я ему. — Твоя жертва тебя простила, но прощу ли я?

— Сжальтесь, г. начальник, ради Бога, не губите!

Я подошел к нему и сказал:

— Ну, черт с тобой! Ладно! Я бы не простил, да не хочу подымать шум, раскрывать тайну г-жи Х. Я прошу тебя, но ставлю два неперемненных условия: во-первых — немедленно верни все выманенные деньги, а во-вторых, — чтобы через 48 часов тебя не было в России. Я тебя сейчас выпущу, но поставлю за тобой наблюдение, и если к завтрашнему дню ты не принесешь 170 тысяч и железнодорожные билеты на выезд за границу, то будешь немедленно арестован и тогда уже пеняй на себя. Помни, что подписанный тобой документ у меня. Ну, а теперь можешь идти!

Бразилец в точности исполнил мое приказание и на следующий же день явился с деньгами и с билетом.

— Ради Бога, г. начальник, разрешите жене остаться на некоторое время, чтобы ликвидировать дела с гостиницей!

— Хорошо, но чтоб торопилась.

Через месяц и она выехала из Москвы.

В день отъезда бразильца явилась ко мне сияющая г-жа Х., и я ей передал деньги.

— Ах, я так вам благодарна, так благодарна, г. Кошко, что и сказать не могу. Наконец, я снова свет Божий увидела, а то, поверьте, все это время ходила как в чад. Очень прошу вас, передайте вашим людям вот эти 50 тысяч, я так им благодарна!

— Что вы, что вы, сударыня?! Нет, такой суммы я не позволю им принять. Они исполняли лишь свои служебные обязанности.

— Нет, г. Кошко, уж в этом вы мне не откажите! Я непременно желаю их отблагодарить!

— Если вы, сударыня, непременно этого хотите, то поезжайте к градоначальнику и, если он разрешит, оставьте для передачи моим служащим некоторую сумму, но никак не более 5 тысяч; эта сумма будет им щедрой наградой.

Дама так и сделала.

Полицейский пристав и доктор были в двадцать четыре часа уволены в отставку.

Так были спасены семейный авторитет и «добродетель» миллионерши Х.

РИЖСКИЕ АЛХИМИКИ

В самом начале девятисотых годов, в бытность мою начальником рижского сыскного отделения, в Риге произошло весьма замысловатое мошенничество, над раскрытием которого мне пришлось немало потрудиться.

По городу стали ходить упорные слухи о том, что образовалась шайка мошенников, ловко обманывающая доверчивых людей, продавая им медные опилки под видом рассыпного золота. Слухи эти были весьма упорны, причем молва называла даже инициаторов этой хитроумной комбинации. В числе их значились: домовладелец Лацкий, местный купец, обрусевший немец Вильям Шнейдерс, богатый латыш Ян Круминь и др.

Между тем никаких заявлений от потерпевших в полицию не поступало. Впрочем, это было неудивительно, так как все добываемое на приисках золото по закону обязательно должно было сдаваться в казну и оставление его в частных руках, а следовательно, и все торговые манипуляции с ним воспрещались и преследовались в уголовном порядке.

Но так как слухи не прекращались и назывались все те же лица, то я решил навести о них подробные справки. Выяснилось, что люди эти хорошо знакомы друг с другом, часто видятся, бывают нередко в местном клубе, где репутация их сильно «подмочена»: администрация клуба давно на них косится, подозревая в шулерстве.

Придравшись к этому подозрению, я произвел тщательный обыск у Лацкого, Шнейдерса и Круминя, отыскивая якобы крапленые карты, на самом же деле в надежде обнаружить запасы меди, служащей для мошенничества. Однако обыск оказался безрезультатным: ни меди, ни золота ни у кого из них обнаружить не удалось.

Через месяц примерно после этих неудачных обысков я получаю вдруг письменное приглашение от германского консула в Риге с просьбой пожаловать к нему по важному и совершенно конфиденциальному делу. Я отправился. Консул весьма любезно принял меня и сообщил, что на днях получил письмо от саксонского купца Альтенбурга, в котором последний рассказывает ему подробно, как он стал жертвой поразительно ловких мошенников, пригласивших его в Ригу и продавших ему, под видом рассыпного золота, медные

опилки на 170 тысяч рублей. Альтенбург подробнейшим образом описывал приметы мошенников и указал место совершения сделки — Северную гостиницу; в конце письма он заявил, что никаких материальных претензий не предъявляет и дела не поднимает, так как знает, что покупка добытого на приисках рассыпного золота в России воспрещена; пишет он об этом консулу лишь в силу альтруистических побуждений, желая оградить на будущее время других.

Подробнейшие приметы и прямо художественное описание внешности мошенников, сделанное Альтенбургом, не оставляли, несмотря на вымышленные фамилии, сомнений в том, что и он стал жертвой шайки, возглавляемой Лацким, Шнейдерсом и Круминем. Теперь в моих руках, помимо слухов, имелись уже конкретные данные, и я решил действовать смелее.

Но что было делать? Недавние обыски ничего не дали, а потому повторять их было бесцельно. Мне пришла в голову мысль о перлюстрации всей корреспонденции вышепоименованных лиц.

Чтобы получить разрешение на таковую, я отправился к местному губернатору М. А. Пашкову. Пашков был милейшим, честнейшим человеком. Однако он полагал, что даже и в борьбе с преступностью не следует забывать строгих велений морали и этики. Вот почему слово «перлюстрация» повергло его в смущение и он отказал мне в своем содействии перед надлежащими властями на получение разрешения применить перлюстрацию к заподозренным в вышеназванном мошенничестве лицам. Я же для пользы дела считал ее в данном случае решительно необходимой, а потому вошел частным образом в соглашение с местным начальником почтовой конторы, моим личным знакомым, который и согласился осматривать всю получаемую и отправляемую этими лицами корреспонденцию.

Результаты не замедлили сказаться.

Так, на имя Лацкого вскоре было получено письмо от кенигсбергского купца Амштетера для передачи представителю торгового дома «Синюхин и К°», где Амштетер изъявлял принципиальное согласие на покупку 5 пудов золота и просил сообщить ему детали предполагаемой сделки. Стали просматривать корреспонденцию, отправляемую из Риги на имя Амштетера, и вскоре прочли письмо некоего Фоминых на бланке торгового дома «Синюхин и К°». Фоминых уговаривал немца приехать в Ригу, гарантируя ему пропуск «товара» в таможене, где у торгового дома давно подкуплены чиновники и т. д.

По исследовании почерка Фоминых, этот последний оказался не кем иным, как Шнейдерсом.

Мы тщательно продолжали следить за разраставшейся перепиской, фотографируя все письма и аккуратно пересылая подлинники по месту их назначения. Наконец, было получено извещение от Амштетера о дне и часе приезда, с указанием названия парохода. Аккуратный немец приложил к письму даже

собственную фотографию. На ней красовался добродушный толстяк в широком дорожном пальто, в кепке и с сигарой во рту. По моему приказанию с фотографии немедленно была переснята дюжина карточек, и мы стали усиленно готовиться к встрече. В условленный день, часа за два до парохода, восемь из моих лучших и опытейших агентов заняли наблюдательные позиции. На пристани, на мостках, на берегу мои люди в виде носильщиков, извозчиков, городских и пассажиров вели наблюдение. Каждый из них хорошо знал в лицо главарей шайки и был снабжен фотографией Амштетера. Минут за пятнадцать до прихода парохода к пристани подъехал на извозчике Лацкий с каким-то типом в поддевке, в высоких лакированных сапогах, с предлинной седой бородой. В этом типе мои люди не без труда узнали загримированного и переодетого Шнейдерса.

С приходом парохода мошенники принялись зорко следить за высаживающейся публикой. Одним из последних вышел Амштетер. Он был все в том же дорожном пальто и кепке и для вящего, очевидно, сходства с фотографией покурил сигару. Мошенники тотчас же подошли к нему, радостно приветствуя его, а Лацкий схватил даже чемодан приезжего и любезно понес его. Усевшись на парного извозчика, они покатали в Северную гостиницу. Здесь Амштетер с ними распрощался и направился в отведенный ему номер.

Северную гостиницу содержал, уже много лет, некий Антонов, человек, чрезвычайно дороживший репутацией своей гостиницы, вполне надежный, не раз сообщавший полиции о постояльцах, казавшихся ему подозрительными. Я немедленно вызвал к себе этого Антонова.

— К вам сейчас с парохода приехал некий Амштетер?

— Да-с, г. начальник, вот их и документ-с.

— Вот что, Антонов, этот Амштетер вошел в соглашение с местными мошенниками и думает купить у них золото. Наверное, вы слышали уже, что в Риге завелись молодцы, которые продают медь за золото? Мне даже говорили, что сделки эти происходили и в вашей гостинице.

— Как не слышать — слышал! Опозорили мою гостиницу!

— Так вот! Нужно будет сменить вашу коридорную прислугу того этажа, где занял номер Амштетер, и заменить ее моими людьми, конечно, на время.

Антонов подумал и сказал:

— Нет, г. начальник, это зря! Поднимется шум, пойдут разговоры, вы только мошенников спугнете. А вот что я вам скажу: люди служат у меня подолгу, народ надежный — ручаюсь за них, как за самого себя! Если там что присмотреть аль последить, а то и полюбопытствовать в вещах примерно — это они в лучшем виде могут, только прикажите. Опять же и я лично присмотрю и пособлю вам. А то менять прислугу — нет, это не дело!

— Что же, Антонов, пожалуй, вы и правы! Ладно, так и сделаем. Я поставлю лишь наружное наблюдение, а вы настройте своих людей, да и сами смотрите в оба!

— Будьте спокойны, г. начальник, все в точности исполню!

Я так и сделал. Установить наружное наблюдение за Амштетером было тем более легко, что Северная гостиница помещалась как раз напротив полицейского управления, из окон которого виден был каждый человек, выходящий из ее подъезда.

Амштетер, приехав с пристани, помылся, переоделся, отправил телеграмму в Кенигсберг со своим рижским адресом и, позавтракав, потребовал себе гида, который мог бы показать ему так называемый клуб «Черноголовых». Клуб этот был рижской достопримечательностью. Он представлял собой объединение холостяков на корпоративных началах, с ярко выраженными монархическими тенденциями. Основан он был еще до присоединения Лифляндии к России. Помещение клуба отличалось большой роскошью, прекрасными картинами, художественным столовым серебром, и слава его гремела на всю Европу.

Учреждение это называлось клубом «Черноголовых» потому, что члены его носили особые черные шапочки. Клуб был особенно популярен в Германии, и потому неудивительно, что Амштетер пожелал побывать в нем. Антонов известил меня об этом намерении своего постояльца, и я сейчас же направил своего агента в качестве чичероне, вменив ему в обязанность занять Амштетера осмотром клуба в течение, по крайней мере, полутора часов. За это время в его номере был произведен обыск. В чемодане оказалось белье, пачка аккуратно перенумерованных писем, по содержанию своему давно нам известных, и довольно большие складные весы в изящном плоском ящике. Денег никаких не было. Очевидно, Амштетер носил их при себе.

В этот же вечер его посетили Лацкий и загримированный по-прежнему Шнейдерс. Просидели у него с час. На следующее утро, часов в одиннадцать, они опять зашли к Амштетеру, и на сей раз визит их был очень краток. Часа в три дня Амштетер направился пешком на Калькштрассе, улицу крупных местных ювелиров, и, зайдя в ювелирный магазин Идельзака, довольно долго беседовал с хозяином.

У меня сразу же мелькнула мысль: подыскивает эксперта.

Взяв с собою агента Иванова, когда-то работавшего по ювелирной части, я направился с ним к Идельзаку.

— К вам тут в магазин с полчаса тому назад заходил господин (я подробно описал наружность Амштетера). Скажите, кто он такой и что ему нужно от вас?

Идельзак, зная меня, любезно ответил:

— Да, действительно, такой господин заходил. Кто он — не знаю, а просил он меня прислать к нему в Северную гостиницу в комнату № 2, сегодня к 7 часам вечера, мастера для экспертизы каких-то золотых вещей. Я обещал, назначив цену в 10 рублей.

— Скажите, ваш разговор с ним слышал кто-либо?

— Нет, никто. Покупателей не было, мастер отсутствовал по поручению, а два приказчика пили чай в соседней комнате. Я был один, и мы говорили тихо.

— Он ничего больше вам не сказал?

— Нет. Разве что просил захватить и чувствительные ювелирные весы, и флакон с кислотой, — словом, все, что нужно для экспертизы. Да вот еще — почему-то велел не забыть мастеру захватить с собою двадцатифунтовую гирию точного веса. Зачем она ему — не знаю, но я обещал прислать с экспертом и гирию.

— Вот что, г. Идельзак, этот тип, к вам заходивший, мошенник, которого я давно отслеживаю. Мастера своего вы к нему не посылайте, вместо вашего эксперта пойдет мой агент — вот, г. Иванов. Он некогда работал в ювелирном деле, но вы, на всякий случай, освежите, пожалуйста, его познания по этой части, снабдите всем необходимым для экспертизы, не забудьте также и двадцатифунтовую гирию. Помните, г. Идельзак, что дело крайне серьезное, и я надеюсь, что вы не откажете исполнить мою просьбу. Помните, что в случае чего и вы можете отвечать перед законом.

Г. Идельзак, видимо в достаточной мере напуганный моим заявлением, нервно заговорил:

— Помилуйте, г. Кошко, да я всей душой рад вам помочь! Необходимо ловить и уничтожить этих злодеев! Да разве я не понимаю?! Я все объясню вашему агенту, снабжу всем необходимым и в 7 часов отправлю в Северную гостиницу.

К 7 часам наблюдение в Северной гостинице было усилено: бойкий разносчик обходил номера, предлагая вечерние газеты; трудолюбивый монтер, стоя на лесенке, исправлял в коридоре электрические провода, подвыпивший купец, покачиваясь перед стойкой в буфете, подробно рассказывал буфетчику о преимуществах рижской миноги над ревельской килькой. Я лично с пятью агентами наблюдал из полицейского управления за подъездом гостиницы. Ровно в 7 ч. появился мой эксперт и, шмыгнув в подъезд, поднялся к Амштетеру в номер. Минут через десять к гостинице подъехало два извозчика. На одном восседали Лацкий и Шнейдерс, на другом — латыш Круминь с неизвестным мне человеком. На каждом извозчике в ногах у седоков виднелся чемодан.

Их не без труда выволокли приехавшие и исчезли с ними в подъезде.

Вскоре из гостиницы прибежал мой «газетчик» и доложил, что из четырех приехавших трое прошли в номер Амштетера с чемоданами, а четвертый, неизвестный, остался почему-то ждать в коридоре. Меня роль этого четвертого несколько смутила. Ведь не мог же он охранять в одиночестве мошенников.

Выждав около часу, я с агентами быстро вошел в гостиницу и поднялся во второй этаж. На разгуливавшего по коридору сообщника был бесшумно накинут мешок. Затем с коридорной горничной

мы подошли к двери Амштетера. Она постучала. К дверям кто-то подошел и спросил: «Кто там?»

— Барин, вам заграничная телеграмма, — раздалось в ответ.

Замок щелкнул, протянулась рука, но в это время мои агенты сильно нажали на дверь и влетели шестером в номер к Амштетеру.

Нам представилась картина, сильно напоминавшая последнее явление заключительного действия гоголевского «Ревизора». Правда, мы застали всего пятерых действующих лиц, но изумленная поза каждого из них удовлетворила бы, пожалуй, требования самого Станиславского.

На столе у стены виднелись две пары весов, большие складные Амштетера и крохотные нашего «эксперта». Тут же рядом с ними были выстроены в одну линию десять туго набитых кульков из крепкой, прекрасной выделки кожи. Пять из них были раскрыты, на остальных красовались увесистые пломбы с оттиском торгового дома «Братья Синюхины и К°». На столе же виднелись какие-то комочки папиросной бумаги, и в одном из них, видимо случайно развернувшемся, что-то блестело.

— Что, мошенники, попались-таки, наконец! — воскликнул я.

— Боже мой, Боже! Что теперь только будет? — взмолился Шнейдерс. — Ведь тут все наше состояние! Жена, дети — все теперь по миру пойдут!

— Полно, Шнейдерс, валять дурака! Расскажите лучше, откуда раздобыли столько медных опилок?

— Каких опилок?

— Да тех самых, что запломбированы у вас в мешках.

— Да помилуйте, это чистое золото!

— Ну что я с вами буду тут разговаривать! Григорий Николаевич, расскажите, как было дело? — обратился я к Иванову.

Иванов, сильно смущенный, проговорил:

— К великому моему изумлению, г. начальник, я должен засвидетельствовать, что в мешках чистое золото, по крайней мере, вот в этих пяти, что распломбированы!

— Что за вздор, Григорий Николаевич! Вы или рехнулись, или не умеете отличить золота от меди!

— Господин эксперт говорит сущую правду, — вмешался Амштетер. — Я настолько уверен в том, что это золото, что готов хоть сейчас заплатить за него деньги. Да и вообще, я не понимаю, что вам здесь нужно и кто вы такой?

— Кто я такой — вам скажет каждый из них, а нужно мне изловить мошенников, да, кстати, и сохранить вам не один десяток тысяч рублей! Но если это золото, то почему же вы, Шнейдерс, загромированы и переодеты?

— Потому, г. начальник, что сделка эта противна закону, и я, на всякий случай, хотел скрыть свою наружность от покупателя.

— Расскажите-ка подробнейшим образом все, чему вы были свидетелем, — обратился я к Иванову.

— Ровно в 7 часов, г. начальник, я вошел сюда. Амштетер любезно меня встретил, усадил, предложил сигару. Минут через 10-15 постучали и вошли вот эти господа с двумя чемоданами. «Ну, слава Богу, все обошлось благополучно, — сказал Лацкий, обращаясь к Амштетеру, — товар довезен, никто ничего не подозревает, кругом тихо, и бояться нечего. Впрочем, мы нашего четвертого компаньона оставили здесь в коридоре на всякий случай. Чуть что подозрительное заметит — сейчас же нам постучит в дверь тремя громкими ударами. Так что, видите, г. Амштетер, мы все предвидели. Ну, что же, приступим к делу?» — «С Богом!» — сказал Амштетер. Чемоданы были раскрыты, и из них извлекли вот эти десять мешков, тщательно запломбированных. «Тут пять пудов золота, — сказал Шнейдерс, — по 20 фунтов в каждом мешке, как мы уже говорили». — «Прежде всего, проверим вес», — сказал Амштетер и, разложив привезенные им с собой весы, попросил у меня двадцатифунтовую гирю. «Не мог достать в Кенигсберге русской гири, у нас все на килограммы меряют».

Он собственноручно взвесил каждый мешок, и каждый из них показал двадцать с небольшим фунтов. «Излишек веса падает на кожу и пломбу, — заявил Шнейдерс. — Мы продаем товар нетто, и здесь 20 фунтов чистого веса». После этого Амштетеру было предложено взять пробы из любых мешков. Он вперемешку отобрал пять из них и просил их открыть. Пока Шнейдерс снимал пломбы, Лацкий достал книжечку папиросной бумаги, вырвал из нее пять листиков и разложил на столе. Амштетер, засучив рукав, лично запускал руку в каждый из пяти мешков и, взяв из каждого по небольшой щепотке золота, разложил его по бумажкам. Когда с этим было покончено, Лацкий любезно протянул ему небольшую ногтевую щеточку и сказал: «У вас, г. Амштетер, весьма длинные ногти, наверное немало крупинок попало под них, очистите их, а то, сами понимаете, что золото есть золото, что ему зря пропадать!» Амштетер утвердительно закивал головой и с помощью щеточки действительно достал из-под ногтей несколько крупинок. После чего он аккуратно каждую бумажку с золотом скрутил в шарик. Мы собрались приступить к химической экспертизе, как вдруг Круминь, все время жаловавшийся на простуду, сильно закашлялся. Приступ кашля был настолько упорный, что Амштетер предложил ему даже глоток воды, но он оправился, и мы было приступили уже к делу, как вдруг раздались три громкие удара в дверь. Я сразу же решил, что четвертый компаньон, завидя нас и наших людей, сигнализирует об опасности. Наступило страшное смятение: Амштетер схватил весы, Шнейдерс попрятал мешки с золотом под стол, Лацкий сгреб скрученные бумажки с пробами и запрятал их в жилетный карман, а Круминь пошел к двери за справками. Выйдя в коридор, он вскоре же вернулся сообщить, что товарищ их заметил двух подозрительных лиц в коридоре, а потому и стучал, но что, видимо, он ошибся, так как эта пара села на

извозчика и благополучно уехала. «Этакий болван! — сердито сказал Шнейдерс. — Только зря пугает!» Все снова было приведено в порядок, причем Лацкий, спрятавший пробы в жилетный карман, предложил Амштетеру собственноручно извлечь их оттуда, что последний и не преминул проделать. Я и Амштетер попробовали золото на кислоту, и окисления никакого не произошло, прикинули количество его на золотники, оно вполне соответствовало обычной для золота норме. Амштетер проделал с пробами еще несколько манипуляций, и, наконец, мы оба пришли к несомненному выводу, что перед нами настоящее, чистейшее золото.

— Что за черт! — сказал я. — Этого же не может быть?!

— Между тем — это факт, г. начальник, золото — самое настоящее!

Я пожал плечами.

— А ну-ка повторите ваш опыт при мне, — сказал я, взяв щепотку из ближайшего мешка.

По внешнему виду взятая мною проба действительно имела вид настоящего золота, тот же матовый цвет, то же строение крупинок, как будто бы совсем не похоже на медь.

Однако, к изумлению Иванова и Амштетера, проба эта, будучи смочена кислотой, тотчас же окислилась и позеленела.

— А ну-ка еще! — сказал я, взяв щепотку из другого мешка.

Результаты получились те же.

Взволнованный Амштетер высыпал все золото из пяти бумажек на одну из чашечек ювелирных весов, а на другую насыпал такую же кучку содержимого из мешков. Несмотря на приблизительно равное по объему количество металла в обеих чашечках, первая резко перевешивала. Амштетер принялся убавлять золото из первой чашечки, и когда объем его стал чуть ли не вдвое меньше кучки на второй чашечке, весы показали равновесие.

— So-o-o! — сказал Амштетер. — Благодарю вас, вы спасли мои деньги!

Игра была проиграна, записаться дальше было бесцельно, и мошенники чистосердечно признались.

Оказалось, что кашель Круминя являлся сигналом для стука в дверь и необходимого переполоха. У Лацкого в жилетном кармане заранее были приготовлены десять сверточков с настоящим золотом. Когда Амштетер пожелал взять пробу из пяти мешков, то Лацкий незаметно переложил пять сверточков из жилетного кармана в карман брюк, оставив в жилете остальные пять. Схватив во время переполоха со стола отобранные Амштетером пробы, он сунул их не в самый жилетный карман, а в широкий, нарочно сделанный незаметно с боку кармана прорез и спустил их под подкладку. Амштетер же извлек из его жилетного кармана настоящее золото, над которым и была произведена проба.

За эту хитроумную комбинацию мошенники получили по два года арестантских рот. Что же касается Амштетера, то германский консул кое-как выцарапал его из этой истории, и, надо думать,

предприимчивый немец рассказывал в своем Фатерланде, что город Рига славится не только клубом «Черноголовых», но и своими мошенниками.

Прошло несколько лет. Проживая летом на взморье, я с детьми попал как-то в густую толпу, любовавшуюся на фейерверк. Ничего не видя из-за толпы, мы решили уже уходить домой, как вдруг я слышу голос:

— Г. Кошко, не хотите ли поставить детей вот на этот стул? — Оглядываясь и узнаю в говорившем любезно улыбающегося Шнейдерса.

НЕВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

В 1910 или 11 году, точно не помню, на одном из переулков, выходящих на Арбат, произошло убийство, жертвой которого стал богатый еврей, тайный ростовщик по профессии. У убитого, помимо пропавшей довольно крупной суммы денег, было похищено все столовое серебро, золотые часы с цепочкой, золотой портсигар с надписью, кольцо с бриллиантом и ряд др. ценных вещей. Агенты мои тщетно бились над раскрытием этого дела, но работа их долго не увенчивалась успехом. Прошел год, и я с досадой склонен был отнести это дело к числу безнадежных, как вдруг, совершенно случайно, произошло следующее.

На одном из утренних докладов мой надзиратель, ведавший в ту пору Замоскворецким районом, мне докладывает:

— Сегодня ночью, близ «Болота» (один из Замоскворецких участков) постовой городской Кондратьев был привлечен шумом и криками, несшимися со двора одного из местных домовладельцев, некоего Егорова. Прибежавший Кондратьев с соседним дворником застали Егорова крайне взволнованным, окруженного домашними. Вся семья кричала, кому-то угрожала, беспомощно потрясая кулаками. На вопрос пришедших о причине шума Егоров не дал никаких разъяснений, стремясь, видимо, поскорее сплавить незваных пришельцев. Городовой с дворником собрались было уходить, но вдруг обратили внимание на то, что близ тут же находящегося колодца земля была сильно изрыта и что при свете яркой луны блестели разбросанные по земле разнообразные металлические предметы. Городовой нагнулся и подобрал несколько сначала серебряных ложек, затем серебряный чайник и, наконец, золотые часы. Так как Егоров опять решительно отказался объяснять что-либо, то городской Кондратьев дал свисток, вызвав им ближайшего городского. Вновь подошедший городской и сопровождавший Кондратьева дворник послужили понятыми, и был составлен протокол с подробным перечислением найденного.

И агент положил передо мной вышеназванный акт. В привезенных вещах оказалось имущество убитого ростовщика; это выяснилось не только по надписи на портсигаре, но также и по указаниям родственников убитого.

Немедленно арестованный Егоров упорно отрицал свою вину, отрекаясь от найденных предметов, совершенно непонятным обра-

зом, по его словам, очутившихся на его дворе. Он твердо стоял на своем. Поднятый же им шум он объяснял тем, что, выйдя на лай собаки на двор, он заметил тень человека, перемахнувшего через забор. Я оставил его временно под арестом и начал розыск с другого конца. Моими агентами были допрошены ближайшие с домом Егорова ночные сторожа, и тут выяснилась довольно неожиданная подробность: один из них заявил, что действительно видел издалика человека, перепрыгнувшего через егоровский забор, а другой рассказал, что мимо него опрометью пронесся отец дьякон из местного прихода.

— Очень они меня даже напугали, — заявил этот свидетель, — ряса на них раздувается, волосы трепыхаются, и мчится дьякон сажеными прыжками, словно оглашенный. Откуда это, думаю, эдак запузывает дьякон?

На вопрос, уверен ли свидетель в том, что видел именно дьякона своего прихода, последний отвечал:

— Да как же? Я личность отца Ионы распрекрасно знаю, а ночь была светлая, лунная. И бежали они прямехонько от егоровского дома.

Пришлось пригласить отца Иону в мой кабинет для «собеседования». Ко мне пожаловал мужчина дородного вида, с сочной октавой. Его шелковые кудри были старательно зачесаны.

— Садитесь, пожалуйста, отец дьякон.

— Премного благодарим, — пробасил он, сел, откашлялся и выжидательно на меня поглядел.

— Не будете ли вы любезны сообщить мне, где и как вы проводили минувшую ночь?

Дьякон бессмысленно улыбнулся и отвечал:

— Очень уж вы мне конфузные вопросы задасте, ваше превосходительство. Где же мне, духовному лицу, проводить ночи, как не у себя под кровлей, с законной супругой; а как — уж позвольте умолчать и про себя оставить.

Я едва сдержал улыбку:

— Вот вы говорите — у себя под кровлей, а между тем есть люди, которые видели вас бегущим сломя голову от дома Егорова.

Дьякон горячо протестовал:

— Врут, злодеи, врут, обознались и клеветают все.

— Послушайте, отец дьякон, тут дело не шуточное, говорите всю правду. Повторяю вам, что двое вас видели, один — как вы перелезали через забор Егорова, другой — как вы мчались по улице от его дома.

— Не виноват, повторяю, не виноват, это был не я.

— В таком случае мне придется вас арестовать, так как дело, по которому вы подозреваетесь, ни более ни менее как убийство. Тут отец Иона подпрыгнул и побагровел.

— Итак, быть может, вы надумали? — спросил я его.

Он не сразу ответил. Видимо, тяжелая борьба происходила в нем. Говорить ему что-либо не хотелось, но страх быть замешан-

ным в убийстве пересилил все прочие соображения, и, тяжело вздохнув, он во всем покаялся, умоляя пощадить его и не давать хода делу, тем более что с его стороны было лишь поползновение на грех, но оставшееся, к счастью, лишь поползновением. Отец дьякон начал так:

— Четвертый год состою я дьяконом нашего прихода. Несу свой сан с достоинством, и настоятель наш отец Василий одобряет мое боголепное служение и красоту голоса. Скажу по совести, что и сам себя упрекнуть ни в чем не могу, кроме одного пристрастия — уж очень я люблю земную красоту во всех отношениях. Ну а что может быть красивее молодости и свежести, особенно в образе женском? Не подумайте чего — я, конечно, в самых хороших смыслах говорю, однако к Лизавете Матвеевне Орловой, девице достойной, питаю восторженные чувства. Хоть я и лицо духовное, хоть и женатый человек, но позволяю себе, однако, иногда пройтись с ней и поговорить о природе и звездах. Очень люблю я, когда девица эта присутствует при Богослужении. Тогда, читая записки о здравии, я неизменно, скосив глаз в ее сторону, с особым чувством провозглашаю: «Рабы Божией Елизаветы». Опять же иной раз и просвирку ей со сторожем вышлю. А то после Богослужения, выходя из храма, двери перед ней предупредительно откроешь, дескать, антре, пожалуйста. Лизавета Матвеевна ко мне ничего, благосклонны и компанию мою не избегают. И текла бы моя жизнь без болезни, печали и воздыхания, если бы не Николай Евграфович Аметистов — регент нашего церковного хора. Конечно, я христианин, и врагов иметь мне не полагается, но грешен, воистину грешен, каюсь, не возлюбил я регента — светского ферта и безбожника. Между прочим, и он в чувствах своих не равнодушен к вышеозначенной девице. Ну что ж, это его дело, а только не люблю я его за то, что норевит в ее глазах меня утопить и опорочить. Как встретимся вместе, втроем, так этот богохульник сейчас же норевит подцепить меня. «Послушайте, отец дьякон, — говорит он мне, — посмотрите на себя хорошенько — ну какой вы кавалер, ваше дело мертвецов в могилы опускать, анафему Мазепе провозглашать да оглашенных из храма возгласами изгонять, а вы что выдумали: ухаживать». А то нагнется к самому уху моему (хорошо, что стыда хоть на столько хватает) да и шепнет: «И брюк-то у вас нет». Вот-с, какой фрукт! Да только напрасно он под меня подкапывался. Как он ни старался, а Лизавета Матвеевна мне отдавала явный преферанс. Так прошло с полгода. Наши взаимные чувства расцветали магнолией. И вот, наконец, третьява дня, вернее, в ночь, она назначила мне рандеву в палисаднике близ своего флигелечка. А проживает она во флигелечке Егорова в глубине ихнего двора. Ну, действительно, весь день накануне я провел в фантастическом смятении, даже за Сугубой Ектеньей возгласы перепутал. А Аметистов на клиросе зачихал, закашлял, завертелся во все стороны — смотрите, мол, православные, каков

дьякон. Дьяконица у меня ложится с петухами, и ночью ее орудиями не разбудить. Около 12-ти ночи покинул я тихонько супружеское ложе, осторожно оделся и даже попрыскал на себя одеколоном «Брокер и К°», схватил шляпу да и направился к дому Егорова. А ночь, можно сказать, самая подходящая: луна во все лопатки светит, только что распутившиеся почки обдают меня благовонным духом, и не будь я дьяконом, а трубадуром, право слово, ударил бы по гитаре и залился бы соловьем. Добравшись до места, я огляделся — никого! Схватился за забор, перекинул через него ногу и... обмер. На самом дворе при лунном свете я увидел Аметистова. Дрогнуло у меня сердце — неужто Лизочка и ему свиданье назначила? Не может этого быть! Да и у Аметистова неподходящий вид: с лопатой в руках, поспешно и трудолюбиво роется у колодца. Что, думаю, за притча? Уж не адовое ли наваждение. Однако смотрю, что будет далее? Вдруг лопата Аметистова заскребла, наткнувшись, очевидно, на что-то твердое. Аметистов стал еще рьянее рыть и вскоре, нагнувшись, извлек из земли вроде нечто железного сундучка. Поковырял его, раскрыл и будто замер. Запустил он в него руку, раз-другой и, вдруг вздрогнув, насторожился. Вдали послышались шаги. Регент швырнул сундучишко, и разные блестящие предметы из него рассыпались. Гляжу я со своего забора и вдруг вижу — Лизочка, сама Лизочка показалась в глубине двора и, завидя тень регента, испуганно остановилась. Аметистов, видимо, признал ее и, кинувшись к ней, стал что-то жарко говорить, бить себя в грудь и тыкать в разрытую землю. Лизавета Матвеевна покачивала сперва недоверчиво головкой, а затем как бы согласилась и уступила. Аметистов же обнял ее за воздушную талью, притянул к себе и вlepил в разверстые уста порочное бже. Конечно, ваше превосходительство, я лицо духовное и страсти земные должны скользить по мне, так сказать, не задевая. Но я человек грешный, многогрешный, при столь богомерзком зрелище вскипел. Помутилось в мозгах, в очах потемнело, и, подняв кулаки над головой, взревел я наподобие раненого льва мадагаскарского. Я и сам не узнал своего голоса, а только гляжу, Лизочка и регент зараз присели, засим отскочили друг от друга и кинулись в разные стороны. Егоровский же пес, выбежав из конуры, яростно загумкал и прямо ко мне. Забыл я тут все — и рандеву, и Лизочку, и луну, кубарем скатился с забора, шляпу даже потерял и что есть духу пустился наутек. Как добежал до дома, и не помню.

— Вы готовы, отец дьякон, присягнуть в том, что видели именно Аметистова и вообще рассказали всю правду? — спросил я его.

— Хотя сейчас, ваше превосходительство, а только, ради Бога, не выдавайте меня и мое непотребное поведение.

Подумав, я решил дьякона пощадить и пока что отпустить его с миром. Узнав от него адрес Аметистова, я немедленно отправил агентов для производства обыска и ареста последнего. Этот обыск

дал весьма ценные результаты: у Аметистова была найдена золотая солонка, числящаяся в описи вещей, украденных у убитого ростовщика.

Я допросил Аметистова. Это был высокий худощавый человек с близорукими глазами и огромным кадыком. Одет он был не без претензии, хотя его платье и носило следы давно минувшего великолепия. Я решил его сразу огоршить:

— Вы обвиняетесь в убийстве и в грабеже ростовщика Н. Что можете сказать в свое оправдание?

Он побледнел, проглотил слюну и надтреснутым тенором проговорил:

— Я? В убийстве? Господь с вами!

— Полноте валять дурака. У вас только что найдена золотая солонка, принадлежавшая убитому.

— Осмелюсь доложить, что это не доказательство. Солонку эту я приобрел на улице у прохожего, соблазняясь дешევкой.

— Полноте врать. Вас видели третьего дня ночью на дворе Егорова рюющим, вернее отрывающим закопанные у колодца ценные вещи, также принадлежащие хозяину солонки.

Тут регент окончательно растерялся; видя, что дело плохо оборачивается, и боясь быть обвиненным в убийстве, он также предпочел рассказать правду. По его словам, он также был увлечен Орловой, но, не в пример дьякону, питал к ней самые земные грешные чувства, впрочем, чувства настолько серьезные, что мечтал и о браке с ней. Однако, по его собственному признанию, он у Орловой особой взаимностью не пользовался, причем, по его мнению, виной тому был дьякон Иона. После больших колебаний регент прибег к помощи отца Василия, прося последнего повлиять на прихожанку Орлову, при ближайшей у него исповеди. О дальнейшем Аметистов рассказал так:

— Лизавета Матвеевна говела на 4-й неделе Вел. Поста. После всенощной, отпустив своих певчих, я остался в церкви и подошел к ней, ожидавшей с другими исповеди. Она холодно со мной поздоровалась и индифферентно заметила: «Жидко пропели сегодня вы всенощную, дисканты пищат, басы режут, а настоящей стройности никакой. (Это мне месть за отца Иону, спутавшего возгласы.) «Да и вообще, — говорит, — чего вы здесь торчите? Служба отошла, а вы не говеете». Я распрощался и будто хотел уйти, а сам обошел кругом храма и через южные двери прошел в алтарь, обошел крестом и, пробравшись к северным полуоткрытым вратам, спрятался за ними. Отец Василий исповедовал на левом клиросе, и аналой его помещался совсем близко от врат, так что не только каждое слово было мне слышно, но и в дверную щель видно лицо исповедующегося. Я думал, что сейчас настанет черед Лизаветы Матвеевны, однако за ширму прошел Иван Петрович Егоров, местный домовладелец и прихожанин. Иван Петровича я знал хорошо, бывал у него часто — то в стукалку поиграть, то чайку попить, а то и просто, побеседовать. Я удивился его приходу. Иван

Петрович был человеком маловерующим, в церкви редко бывал, а на исповеди и тем более. Я удивился еще более, когда он бухнулся перед отцом Василием на колени и тихо заговорил: «Я пришел к вам, отец Василий, покаяться в великом грехе. Больше года ношу его в сердце и скорблю душой. Годы мои немолодые, до Божьего суда, поди, и недалеко, так вот покаанием хочу облегчить себя и замолить свой грех». Отец Василий кротко заметил: «Что же, Господь милосерден, Он и разбойника кающегося простил на кресте. Говорите без утайки и помните, что вас слышит лишь Господь да я — Его верный раб и служитель!» Иван Петрович полупешотом, волнуясь, продолжал: «Да, батюшка, я великий грешник. — И еще тише скороговоркой добавил: — С год тому назад я убил и ограбил человека!» Отец Василий вздрогнул, и обильные слезы потекли по его доброму лицу: «Вы преступили величайшую заповедь Господню, и грех ваш трудно смыть. Молитесь, кайтесь, денно и нощно, раздайте не только похищенное добро, но и свое имущество, и, быть может, тогда Господь услышит и простит вас». — «Ох, отец Василий, слаб я духом да и семьей своей связан. Я давно хотел раздать награбленное, а как это сделаешь? Живо доищутся правды, и горе мне и деткам моим. Вот почему украденное добро я схоронил у себя на дворе, зарыв его у колодца, и по сей день держу его под спудом». Отец Василий опять заговорил: «Подумайте хорошенько, поразмыслите с годик, поступите по моему совету и будущим постом приходите на исповедь, я буду за вас усердно молиться. В этом же году, не гневайтесь, до причастия я допустить вас не могу». Иван Петрович опять поклонился в ноги отцу Василию и, обтерев глаза рукавом, поспешно удалился. Как громом пораженный, стоял я, дивясь страшной тайне, невольно мной подслушанной. Меня привел в себя голосок Лизаветы Матвеевны. «Грешна, грешна, грешна», — отвечала она на обычные вопросы батюшки. «Нет ли особых грехов?» — спросил отец Василий. «Нет, что-то не припомню», — бойко отвечала она. Отец Василий, прежде чем отпустить ее, сказал: «Ведомо мне, что взоры свои вы обращаете не по принадлежности. Лица духовные, женатые должны неуязвимы быть в глазах ваших. К брачному союзу они не пригодны, а незаконные интимные связи богопротивны суть. Поглядите вокруг себя: мало ли достойных юношей перед вами. Так-то!..» — и, наложив епитрахиль и дав поцеловать крест, отпустил ее с миром.

Дня через три, считая почву подготовленной, я решил открыться ей в своих чувствах. Она выслушала меня да и говорит: «Ну какой же вы жених, Николай Евграфович? Я девушка бедная, у вас тоже ни кола ни двора, на что ж это мы с вами жить станем?» — «Позвольте, — говорю, — у меня как-никак профессия есть. Я — регент!» — «Хорошее дело, — говорит, — машете руками, как огородное пугало, да фистулой подтягиваете. Этим сыты не будем. Вот ежели бы у вас капиталец был, хоть и небольшой, тогда другое дело!» Ну, словом, отказала наотрез. И впал я, как говорится, в черную меланхолию. Ее отказ еще пуще распалил

меня. Слоняюсь, места себе не нахожу. А сам стараюсь отогнать еще тогда в церкви мелькнувшую мысль. Но чем больше отгоняю ее, тем назойливее она меня преследует. После же Лизочкиного отказа я и совсем подпал под власть моих нехороших мечтаний. Проборолся я с собой день, другой, третий и... наконец, сдался. Решил ночью пробраться к егоровскому колодцу, откопать клад, жениться на Лизавете Матвеевне да и айда куда-нибудь на юг с нею. Дело мне казалось верным, так как Иван Петрович заявлять о пропаже, понятно, не станет. Сказано — сделано! Третьего дня ночью пробрался я на двор к Егорову, приласкал пса, хорошо меня знавшего, и принялся за работу. Вскоре откопал сундучишко, поспешно раскрыл его и так и ахнул: добра в нем было немало. Запустил я в него жадно руку и выхватил горсть червонцев, а среди них попалась и солонка. Сунул их в карман, как вдруг слышу шаги. От страха зашевелились волосы. Швырнул сундучок, хотел бежать, да пригляделся, вижу, сама Лизавета Матвеевна подходит. Кинулся к ней, стал клясться, заверять, что на общую с ней пользу работаю, вытащил из кармана червонцы. Долго убеждал ее, наконец, поверила, стала ласковее, позволила даже поцеловать себя. Только что я нагнулся и чмокнул ее в губки, как вдруг произошло нечто такое, чего я и поныне понять не могу: не то из колодца, не то с крыши дома раздался страшный оглушительный рев. Мы с Лизочкой так и присели, а егоровский пес Султан как выскочит из будки и, вертя по воздуху хвостом, кинется с яростным лаем к забору. Взглянул я туда, а с него словно оборотень свалился по ту сторону на улицу. Лизавета Матвеевна исчезла. Разбуженные лаем, проснулись Егоровы, в окна замелькал свет, и я, не дожидаясь дальнейшего, перемахнул через забор да и задал ходу».

Я снова вызвал из камеры Егорова, предполагая довести его до сознания с помощью новых неопровержимых улик, но Егоров, войдя в кабинет, заговорил тоном мало схожим с его первыми показаниями.

— Я, ваше превосходительство, зря отпирался. Виноват я во всем и буду покорно отбывать наказание за тяжкий грех, мной совершенный. Как говорит отец Василий, быть может, милосердный Господь сжалятся и простит мне.

И он принес полную повинную.

Суд присяжных приговорил его к 12-ти годам каторжных работ. Аметистов так жалобно и чистосердечно каялся в своей вине на суде, что присяжные нашли возможным оправдать его. Что же касается отца Ионы, то, из уважения к нашему духовенству, я счел возможным не привлекать его к судебному разбирательству. Впрочем, отец Василий, до которого не раз доходили слухи о похождениях легкомысленного дьякона, добился его перевода в одну из сельских церквей Московского уезда.

ГНУСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Как-то в конце пасхальной недели 1908 года явился ко мне на прием сильно напуганный человек, по виду мелкий купец и, чуть ли не заикаясь от волнения, рассказал следующее:

— Всю жисть, господин начальник, мы прожили, можно сказать, по-честному, мухи не обидели и немало добра людям сделали, а вот под старость эдакая напасть приключилась... И чем только Бога прогневили, сказать не умею!

— Да говорите толком, в чем дело?

— Да дело мое необыкновенное, не знаю просто, как и приступить. Начну с самого начала.

Сами мы теперь третий год живем на отдыхе, в своем домишке на Остоженке, — я, супруга моя Екатерина Ильинишна да сынок Михайла. А до того времени 20 лет свою торговлю мелочную имели и капиталце, слава Богу, приобрели. Квартера у нас порядочная, кухарку держим и вообще живем не хуже людей. С месяц тому назад сынок мой уехал в Пензу спроведать невесту — жених он у нас, — и остались мы с Ильинишной вдвоем. Ну-с, хорошо-с! И говорит вчерашний день супруга моя: «Хорошо бы, Лаврентьич, нам в баню сходить (это я Терентий Лаврентьевичем прозываюсь), а то за праздничные дни обкушались мы с тобою, невредно бы веничком попариться да поту повыпустить». Что ж, говорю, разлюбезное дело. Отправились. Помылись мы на славу и с кумачовыми лицами вернулись домой. А дома, конечно, самоварчик ждет, разные булочки сдобные да разноразное варенье. Распоясались мы, жена освежила личико студеной водицей, и, благословясь, сели мы за чай. Выпили мы с ней стаканчика по четыре и в такое благорасположение пришли, что просто и не рассказать: на душе покойно, телеса приятно разогреты, в утробе одно удовольствие, а в комнате так светло и уютно, в уголке лампада перед иконой горит. Сидим, молчим и молча радуемся. Вошла в комнату кухарка и, обращаясь ко мне, говорит: «Вот давеча, пока вы были в бане, пришло вам письмецо», — и протягивает мне его. Я поглядел на конверт, письмо иногороднее. «Уж не от сына ли?» — подумали мы.

— А вы разве почерка сына не узнали?

— Да где его там разобрать? Сами мы не больно грамотны, да и сын не гораздо хорошо пишет. Ну, однако, распечатали. Оказалось от сына. Вот оно, я захватил с собой.

Я пробежал письмо глазами. В нем довольно корявым почерком было написано: «Дорогой наш родитель, Терентий Лаврентьевич, и дорогая мамаша, Катерина Ильинишна, шлю вам с любовью низкий сыновний поклон и прошу вашего благословения навеки не нарушимого. Четвертую неделю пребываю в Пензе и невестой моей и сйними родителями премного доволен. С ними встретил светлые праздники и взгрустнул между прочим, что вас со мной не было. Хоть Пасху провожу и без вас, однако вас не забыл и посылаю вам посылку на три пуда весом, а что в ней находится, не сообщая — это вам сюрприз будет, а только Пенза славится платками, перчатками и разными фруктами, но это я говорю только так, для обману, в посылке совсем другой товар находится. Затем пожелаю я вам всего хорошего, ждите меня домой недельки через две-три. Остаюсь вашим любящим и покорным сыном Михаилом Терентьевичем Плошкиным».

Мой посетитель продолжал:

— К этому письмецу была приложена и багажная квитанция на посылку. Время было позднее, и с получкой пришлось обождать до сегодняшнего дня. Как прочитали мы это Мишенькино письмо, нас ажно слеза прошибла. Ильинишна мне говорит: «Вот, отец, какого сына мы с тобой вырастили. Где бы парню с невестой все на свете забыть, а он, глядь, своих стариков вспомнил, да еще как вспомнил — трехпудовой посылкой. А только очень мне любопытно знать, что в этом сюрпризе находится. Я так думаю — хоть он и сбивает с толку, а должно быть, все платки пуховые — знает, мать тепло любит». Эвона, говорю, куда махнула, на три пуда пуховых платков. Эдакую уйму и в вагон, пожалуй, не уложишь.

— Ну, значит, яблоки, — говорит супруга.

— И опять зря говоришь, — отвечаю, — подумаешь, яблоки, невидаль какая, нашел чем родителей порадовать.

Всю ночь мы плохо спали с женой: то толкнет она меня в бок и полусонного огоршит вопросом: «А может быть, Лаврентьич, пуховые перчатки?» Отстань, говорю, а у самого в голове разные фантазии: может быть, пряники медовые, а может быть, и стерляди сурские. Страсть люблю стерляжью уху. Меня ажно в тревогу бросало, не дойтить рыбине такую даль; как пить дать протухнет! Под утро я разбудил даже супругу и спрашиваю: «Ежели, к примеру сказать, стерлядь залежалая, то по глазам сйним можно это распознать?»

— Какая стерлядь? — говорит супруга.

— А ну тебя к лешему, дрыхни! — отвечаю сердито.

Так мы и промаялись всю ночь. Утром наскоро напились чаю и вместех на извозчике помчались на Рязанский вокзал. Предъявляю квитанцию, и мне носильщик выволакивает тяжелый ящик, обшитый рогожей, натугу перевязанный веревками. Сволокли мы его на извозчика да и айда домой. Едем, а любопытство так и разбирает. А как повеет ветерочком, так от ящика легкий странный

дух идет. «Ой, — говорю, — выходит по-моему — не иначе как стерлядь. Принюхайся, как рыбиной отдаст». Приехали домой, внесли ящик в столовую, разъяли веревки, взял я топор да и начал отковыривать крышку. Сверху соломой заложено. А супруга моя так и егозит, так и егозит! Пошупали сверху — что-то твердое. «Скорей, — говорит, — Лаврентьич, чего копаешься».

Запустил я сбоку руку вглубь, нашупал какой-то предмет и вытаскиваю. Мать честная! Святые Угодники! Я даже икнул, а супруга грохнулась на пол. Я держал за пятку кусок человеческой ноги, обрубленной по колено!.. Сердце колотится, а я, как дурак, застыл с протянутой рукой. Прошло немало времени. Наконец, слышу, Ильинишна кричит: «Чего стоишь истуканом? Брось эту погань». Ну, действительно, отшвырнул я ногу. «Что ж это такое, — говорю, — творится? Разуважил, можно сказать, сынок, поздравил с праздничком».

— Полно тебе брехать, в своем ли ты уме. Разве Мишенька позволит себе эдакие шутки? Осмотрим скорее весь ящик — да и в полицию.

Осмотрели мы, господин начальник, посылочку вдоль и поперек. Ничего, можно сказать, сюрприз! Человечье тело, разрубленное на четыре части и промеж ног голова всунута. По всем видимостям, труп молодой девицы, можно сказать, девочки. Заметно это по телосложению трупа, опять же на голове длинная коса и в нее вплетена лента. Вот извольте получить.

И он положил мне на стол длинную шелковую пеструю ленточку.

Помолчав, я спросил:

— Что же вы обо всем этом думаете?

— Да что тут думать? Ничего не думаю, одно, конечно, что сын мой ни при чем.

— А другой посылки от сына вы не получали?

— Нет, не получали.

Я кратко записал сообщенные мне данные и отпустил купца, взяв его адрес.

Конечно, убийство, видимо, было произведено далеко за пределами Москвы и вряд ли подлежало моему ведению, но дерзость и цинизм преступления возмутили и заинтересовали меня. К тому же имелось еще одно привходящее обстоятельство, побудившее меня лично взяться за это дело: я только что получил от брата из Пензы, где он в это время был губернатором, письмо с приглашением приехать погостить, а так как, судя по багажной квитанции, следы вышеназванного злодеяния надлежало отыскивать именно в Пензе, то я и решил соединить приятное с полезным и тотчас же принялся за работу. Взяв с собой полицейского врача и двух понятых, я поехал на Остоженку к Плошкину. Экспертиза врача установила, после исследования разрубленного трупа в ближайшем медицинском пункте, что он принадлежит девочке 14-ти примерно лет, убитой ударом колющего оружия в сердце, приблизительно

двое суток тому назад. Допросив еще раз Плошкина, я ничего нового от него не узнал. На мой вопрос, не было ли у него каких-либо врагов, сводящих с ним счеты, он ответил: «Нет, всю жизнь я прожил в миру и ладу со всеми, и мстить, кажись, некому». Но, подумав, добавил: «Разве что один человек мог остаться мной недовольным. Это мой бывший старший приказчик Сивухин. Уж больно он воровать стал, и года за два до закрытия моей торговли я выгнал его от себя вон и, помню, обозвал даже вором. А он, уходя, пригрозил мне: «Погоди, старый черт, отольются тебе мои слезы!» — да только тому уже пять лет прошло, и ничего, покуражился, видимо, человек».

— Не сохранился ли у вас почерк этого Сивухина?

— Да как не быть, — вон старые торговые книги валяются.

— А ну-ка покажите.

Плошкин отобрал одну из книг, перелистал несколько страниц и раскрытую поднес мне:

— Вот евонная рука.

Я взглядел. Довольно неровным почерком было написано наименование и цена нескольких товаров. Сравнив эти записи с почерком письма, полученным Плошкиным, я убедился, что почерки разные.

На следующий день, собрав подробные справки о сыне Плошкина, оказавшиеся для него вполне благоприятными, и снабженный фотографиями с обезображенного трупа, я выехал в Пензу с экспрессом. Повидавшись с родными, я приступил к делу. Пригласив к себе местного начальника сыскного отделения и полицеймейстера города Пензы В. Е. Андреева, я спросил их, не поступало ли от кого-либо заявлений о пропаже девочки лет 14-ти. И тот и другой заявили, что три дня тому назад некая Ефимова, продавщица в казенной винной лавке, обратилась за помощью в полицию, прося разыскать исчезнувшую дочь, девочку 14 лет, Марию, причем подозрений решительно ни на кого не имела. Местная полиция уже производила розыск, но пока результатов благоприятных не получено. Я пожелал лично допросить как Ефимову, так и молодого Плошкина и приказал вызвать их обоих. Крайне тяжелое воспоминание осталось у меня от встречи с Ефимовой. Подавленная горем, в слезах, явилась она и рассказала, как было дело. Ее дочь с год как служит, в качестве ученицы, у портнихи, некоей Знаменской, проживающей в конце Пешей улицы. Сначала Маше жилось у хозяйки нелегко, но последние два месяца Знаменская резко изменила свое отношение к ней, стала ласкова, добра и снисходительна. В день исчезновения Маши было Светлое Воскресенье, и девочка была у матери. В два часа дня отпросилась погулять в Лермонтовский сквер на часочек, но не вернулась ни через час, ни через три, ни к вечеру. Встревоженная мать кинулась на поиски, побывала и у портнихи, но Маша как в воду канула. Поволновавшись всю ночь, она наутро сделала заявление полиции о пропаже дочери.

В большом волнении протянул я ей шелковую, пеструю ленточку и спросил, знакома ли она ей? Мать судорожно схватила ее и с надеждой во взоре радостно проговорила:

— Она, она самая! Это любимая ленточка моей Машеньки.

Щадя нервы моих читателей, я не буду описывать той тягостной сцены, что последовала вслед за раскрытием страшной правды. Как ни был я осторожен, но печальный факт оставался фактом, и горе несчастной матери было безбрежно.

Это тягостное впечатление несколько рассеял Михаил Плошкин. Завитой барашком, с галстуком одного цвета со щеками, в крахмальной манишке и с огромным аметистом на указательном пальце предстал передо мной счастливый жених. Держал и вел себя по собственному выражению «высоко культурно».

— Намеревались ли вы послать вашим родителям посылку в Москву? — спросил я его.

— Конечно, оно следовало бы, так как сами понимаете — родители, ничто другое, но любовный дым, в коем я пребываю, помешал мне в исполнении этой заветной мечты-с.

— Так что и письма вы никакого им на Пасху не посылали?

— Нет-с, не удосужился поздравить с высокаторжественным праздником.

— А между тем они посылочку от вас получили, и на три пуда.

— Шутить изволите.

— А вот прочтите.

И я протянул ему письмо. Он внимательно прочел его, раскрыл рот от удивления и уставился на меня.

Так как я еще в Москве сверил его почерк с почерком письма и убедился в их различии, то я не нашел нужным его дольше задерживать и отпустил его, не разъяснив ему странной загадки. По его словам, кроме невесты и ее стариков родителей, никто не знал московского адреса Плошкиных.

До поры до времени я решил оставить в покое этих людей и пожелал инкогнито навестить портниху Знаменскую. Мне хотелось лично вынести о ней впечатление не только как о лице, игравшем значительную роль в жизни погибшей девочки, но также и потому, что сведения, собранные о ней местной полицией, были неблагоприятны: темное прошлое, обширные знакомства с людьми, ничего общего не имеющих с ее ремеслом и средой и т. д.

С этой целью, переодевшись в местном сыскном отделении в отрепья босняка, подкрасив слегка нос в красный цвет и взъерошив волосы, я забрал под мышку узелок, туго набитый крючками, пуговицами, лентами, аграмантами и пр. прикладом, и вскоре был в конце Пешей и входил на кухню квартиры, занимаемой портнихой Знаменской.

Я довольно нерешительно открыл дверь. В кухне за большим столом сидели две девочки лет по 14 и девушка постарше, лет 17. Они с аппетитом уплетали кашу, черпая ее деревянными ложками

из общей кастрюли. Все три обернулись, но, увидя мое рубище, ничего не ответили и продолжали есть. Наконец, старшая спросила:

— Что тебе нужно?

— Мне бы хозяйшку вашу повидать.

— А на что? — удивилась она.

— Да тут кое-какое дельце к ней будет.

— Ладно, обожди, — ужю позову.

Я прислонился к косяку двери и стал наблюдать.

Обедавшие ничем не отличались от обычного типа портнишек: смазливенькие, в черных коленкорových передниках, с привешенными на шнурках ножницами к поясу и чуть ли не с наперстками на пальцах. Вид их был довольно усталый, несколько болезненный, а у старшей заметно были накрашены губы. Продолжая есть, они совершенно забыли о моем существовании и перекидывались ничего не значащими фразами. Но вот я насторожился. Одна из девочек сказала:

— Эх, Маня, где же ты теперь?

На что другая ответила:

— Да, лови ветра в поле, и след ее, поди, простыл.

— Ну и красавица была, — продолжали разговор девочки, — второй такой не сыщешь.

Старшая сказала:

— А все-таки, как хотите, тут дело без «жабы» не обошлось. Что-то уж больно скоро она утешилась, а ведь как ухаживали за Маней, лучше ее никого не было.

Они замолчали. Я покашлял. Старшая, востепенувшись, сказала:

— Ну-ка, Настя, сходи за жабой, скажи, что тут человек дожидается.

Одна из девочек отправилась в комнаты и вскоре вернулась с лукавой улыбкой и, подмигнув подругам, заявила:

— Я жабе сказала, что какой-то господин ее дожидается, и она принялась пудриться, румяниться и душиться. — Девочки звонко расхохотались.

Минут через десять послышались шаги и в кухню вплыла с видимо заранее заготовленной очаровательной улыбкой довольно полная, нестарая еще женщина, по виду не то молодящаяся купеческая вдова, не то сводня. Завидя меня, она сурово сдвинула брови и сердито спросила:

— Кто ты такой и что тебе от меня надо?

Я, бойко усмехнувшись, ответил:

— Кто я таков, знает лишь матушка-Волга, а дельце у меня к вам действительно есть. Скажу напрямки, — выпить страсть хочется, а презренного металла нема. Вот, думаю, зайду к портнике, предложу ей подходящего товарцу за полцены. Извольте поглядеть, мадам.

Я быстро развязал свой узелок и рассыпал по столу его содержимое. Хозяйка пододвинулась, и ее обступили было любопытные девочки, но, топнув ногой, она на них прикрикнула:

— Налопались досыта и марш за работу.

Оставшись со мной с глазу на глаз, она принялась внимательно рассматривать товар. Началась отчаянная торговля. За все я спрашивал полцены, ссылаясь на стоимость в лавках. Она же не давала и четверти, прозрачно намекая, что товар, несомненно, краденый. С полчаса длилась эта долгая процедура. Мы оба охрипли, и портниха приобрела за 4 рубля то, за что было уплачено 18. Спрятав поспешно деньги в карман, я, подпрыгивая, выбежал на двор, хрипло затаив:

— «Вставай, подымайся, рабочий народ, вставай на борьбу, люд голодный...» и т. д.

Теперь сомнений у меня не оставалось, что все силы розыска следует направить на портниху Знаменскую.

Хотя мать убитой девочки была мной предупреждена и ради пользы дела обещала хранить до поры до времени молчание, но, видимо, она не нашла в себе сил исполнить обещанное, и от нее, надо думать, появились в городе слухи об убийстве Марии. Впрочем, слухи были самые разноречивые: говорилось о самоубийстве, и о похищении цыганами, и о каком-то романе. Желая сделать убийц менее сдержанными и осторожными, я, на всякий случай, поместил в «Пензенских ведомостях» заметку в отделе происшествий, придерживаясь по возможности стиля провинциальных хроникеров. Она была озаглавлена: «Наши дети». Дальше следовало: «Наш город взволнован разнообразными циркулирующими слухами об исчезновении 14-летней Марии Е. Из весьма достоверных источников нам сообщают, что полиции удалось напасть на след беглянки, — да, мы говорим беглянки, так как этому юному, еще не распутившемуся бутону пришла в голову мысль бежать с ним! О tempoга, о mores! Куда мы идем? Quo vadis?!»

Так как целью моего приезда в Пензу был отдых, а не работа, то я и решил в дальнейшем поручить это дело моим двум опытным агентам, тем более что розыск, как мне казалось, был уже поставлен на надлежащие рельсы. Ввиду этого я телеграфировал моему помощнику в Москву, предлагая ему командировать в Пензу агентов Сергеева и Тихомирову. Эти агенты были не только весьма способными людьми, но и обладали особыми качествами, пригодными для данного случая: Сергеев был мужчина лет 50, с несколько помятым лицом, монтеристого вида из прокутившихся кавалеристов. Я пользовался услугами Тихомировой в тех случаях, когда по ходу дела мне требовался тип барыни. Она обладала красивыми манерами, недурно говорила по-французски и английски, со вкусом одевалась. У своих сослуживцев она известна была под прозвищем «аристократки».

Примерно через полтора суток эти оба агента, по паспорту «супруги Сергеевы», приехали в Пензу и заняли два лучших общающихся номера в местной гостинице «Трейдман». Я тотчас же побывал у них и, посвятив обоих во все подробности дела, пред-

ложил им самостоятельно выработать план действий, причем, конечно, просил их все время держать меня в курсе дела.

Параллельно со мной пензенская полиция также работала, причем все внимание местных агентов было сосредоточено на здешнем главном вокзале. Наводились справки о дне и часе отправки посылки под известным номером, пробовали установить личность отправителя и т. д., но результатов сколько-нибудь интересных от этого не получилось.

Итак, поручив это дело моим опытным людям, я временно пошел на лаврах и стал ждать дальнейших событий. Прошло дней пять. Наконец, является Сергеев и сообщает, что за это время ему удалось кое-чего достигнуть. Рассказал он следующее:

— После вашего ухода мы обсудили дело с Тихомировой, выработали план и с места в карьер принялись действовать. Сев на лихача, мы покатили к Знаменской. Входим. Портниха нас встречает с обворожительной улыбкой и предупредительно спрашивается, что нам угодно. Я отвечаю: «Нам говорили о вашей хорошей работе, и вот жена хотела заказать у вас несколько туалетов».

— Да, — говорит, — моей работой довольны. Сама вице-губернаторша заказывали мне платье и остались довольны.

— Вот именно вице-губернаторша нам вас рекомендовала. Поговорите с женой, снимите мерку, а я здесь посижу, подожду.

Портниха с «женой» удалились в соседнюю комнату а я, оставшись один, принялся перемигиваться с молоденькой мастерицей и двумя подростками-ученицами, тут же что-то кроившими. Вскоре мы непринужденно разговорились, посыпались шутки и смех. Минут через 15 «жена» с портнихой вернулись, и Тихомирова раздраженным тоном мне сделала замечание: «*Nicolas, votre conduite est ridicule!*» Хотя эта фраза и была сказана по-французски, но тон и сопутствующие ей обстоятельства не оставляли никаких сомнений, что, конечно, и поняла Знаменская.

— Мы с вашей супругой для весеннего костюма выбрали вот это синее сукно. Не угодно ли взглянуть?

Я отмахнулся:

— Выбирайте хоть красное, хоть зеленое, мне все равно.

— *Nicolas*, я для летнего платья выбрала этот розовый батист. Не правда ли премиленький?

— Послушай, матушка, — говорю я, — ведь тебе не 16 лет. Взяла бы что-нибудь лиловое.

— Да ты с ума сошел! Старушечий цвет! Вот выдумал.

— Ну, делай что хочешь, только скорей.

«Жена» еще долго обсуждала вопрос о костюмах со Знаменской, сообщила ей, что мы новые помещики Нижне-Ломовского уезда, приехали на короткое время в Пензу, что на днях она возвращается к себе в имение налаживать хозяйство, а муж останется по ряду земельных дел в Пензе. Наконец, мы распрощались. Жена пошла вперед, провожаемая портнихой, я за нею. Проходя мимо мастерицы, я потрепал ее по щеке. Знаменская

это увидела, улыбнулась и игриво погрозила мне пальцем. Мы уехали. Через два дня была назначена срочная примерка, и мы опять вместе побывали у Знаменской. Примерно повторилось то же: я всем своим поведением давал ясно понять, что супружеская жизнь мне до черта надоела, что я далеко не прочь пожуировать, словом, держал себя мышиним жеребчиком. Знаменская ни слова не говорила, но ясно давала чувствовать, что весьма благосклонно относится к принятой мною линии поведения. Сегодня Знаменская должна была сдать заказ, и я за ним явился один, сказав, что жене нездоровится. На этот раз портниха меня встретила непринужденно весело, но из приличия справилась, чем больна моя жена. «Чем? — отвечал я. — Старостью!» — «Помилуйте, ваша супруга еще молодая женщина! Поди, лет 30 с небольшим?» — «Да, — отвечаю, — всем говорит, что 36, а в этом году серебряную свадьбу справляли. Вот и считайте!»

Портниха поставила аховые цены за исполненный заказ, и я, вынужденный туго набитый бумажник, не выражая ни малейшего неудовольствия, тотчас заплатил.

— Марья Ивановна, прикажете завернуть? — спросила ее одна из девочек.

— Да, Настя, заворачивай. А вы долго еще погостите у нас в Пензе? — спросила меня портниха.

— Да не знаю, как дела. Вот завтра должен получить от Крестьянского банка 25 000 рублей за проданный хуторок. Жена-то уедет завтрашний день, если поправится, ну а я на недельку, пожалуй, застряну и с ужасом об этом думаю, так как в Пензе скучища смертная.

— Что так? Разве знакомых у вас мало?

— Эх, Марья Ивановна, что знакомые, какой в них толк? А кутнуть и повеселиться хорошенько и негде.

— Как негде? А хоть бы у Шевского в ресторане?

— Ну нет-с! Вышел я из того возраста, когда кабаки да шантаны тешили: затасканные шансонетки, грязный зал, наполненный неопрятными людьми — фи, какая тоска и гадость! Мне скоротать бы вечерок эдак в семейной обстановке, окруженному молоденькими помпонами — вот это дело! Хотя бы с такими бутончиками, как ваши.

И я ткнул пальцем на мастериц.

Марья Ивановна непринужденно расхохоталась и полушутя заметила:

— Зачем же дело стало? Отправляйте жену, получайте деньги в банке и милости прошу ко мне, постараемся угодить.

— А что же, Марья Ивановна, вы мне идею даете. Давайте условимся на послезавтра вечером. Жена к тому времени, конечно, уедет, и я вольной птицей прилечу к вам. Пожалуйста, ничего не готовьте, я говорю о харче, конечно (подчеркнул я), так как вина, закуски, конфеты и фрукты я привезу сам.

— Очень, очень рада буду, прошу покорнейше, жду!

И мы распрошались.

Девочке, вынесшей пакет к извозчику, я дал пятирублевку на чай, чем и поверг ее в радостное изумление.

Таким образом, господин начальник, кое-что, как видите, сделано, но надеюсь послезавтра добиться больших результатов. Что же касается Тихомировой, то вряд ли ее услуги понадобятся, и она может, думается мне, вернуться в Москву.

— Нет, осторожнее ее задержать здесь. Почем знать, мало ли что может быть, но, разумеется, пусть завтра же вместо Нижне-Ломовского имения переезжает от вас в какие-либо мебелирашки, подальше на окраину города. Жду с нетерпением вашего следующего доклада.

Через два дня Сергеев мне докладывал:

— Есть кое-что новое в нашем деле.

— Отлично, и прошу вас, как всегда, говорить возможно подробнее, чтобы точно поставить меня в курс дела.

— Слушаю. Итак, вчера, как было условлено, я в 9-м часу вечера подъезжал к Знаменской с большой корзиной, набитой вкусными вещами. Встретила она меня как старого знакомого. Кроме 3-х ее всегдашних учениц на этот раз присутствовали еще две хорошенькие гимназистки, лет по 15 каждая. Знаменская, отбросив свой обычный строгий тон, впала в какую-то сладкую сентиментальность и приняла на себя роль нежной мамы:

— Детки, встречайте гостя дорогого, да смотрите скорее, какие подарки привез нам добрый дядюшка!

Девочки не заставили себя долго просить, выхватили у меня из рук корзину и со смехом поволокли ее в столовую, быстро разрезали веревку, развернули бумаги и принялись извлекать из нее содержимое. Признаюсь, господин начальник, не пожалел я казенных денег. Коробки сардинок, килек, омаров, анчоусов встречались с восторгом. Апельсины, груши, яблоки и вина радовали не меньше, но что доставило, видимо, особое удовольствие, — это пятифунтовая коробка шоколадных конфет московского Альбера. Быстро были расставлены тарелки, стаканы, вилки и ножи, и мы веселой гурьбой засели за пир. Меня посадили на председательское место, справа Знаменская, слева одна из гимназисток, остальные расселись как попало. Не буду передавать вам, господин начальник, подробно наших разговоров, говорилось много вздору, портниха сыпала скабресными шутками, подталкивала меня ногой под столом, подмигивала на мою соседку. Все присутствующие пили изрядно, но сама Знаменская повергала меня в тревогу: она хлопала стакан за стаканом, не мигая и заметно хмелела. Из Николая Александровича я превратился для нее в Колю, ее рискованные вначале остроты скоро превратились в площадные циничные шутки. Меня брал страх: насвищется эта скотина — и тогда ничего от нее не выудишь. К счастью, вскоре она заявила: «Коленька, может быть, ты желаешь посекретничать с кем-нибудь из них, так сделай одолжение, — вся моя квартира, как ни на есть, к твоим услугам. Я

ответил: «Нет, секретов у меня к ним нет, а вот с тобой поговорить бы следовало, да только с глазу на глаз».

— Зачем же дело стало? Поговорим в лучшем виде!

И, обратясь к своему «пансиону», она весело крикнула:

— Эй, детки, забирайте коробку конфет, да и марш подальше, а ежели какая из вас понадобится — позову!

Девочки, забрав конфеты, гурьбой высыпали из комнаты. Знаменская, пытаясь придать некоторую серьезность своему пьяному лицу, встала, нетвердой походкой прошла к дверям, плотно закрыла их и, вернувшись к столу, села:

— Я слушаю вас. Что скажете, Николай Александрович? — деловито заговорила она.

— А вот что я вам скажу, любезная Марья Ивановна: я, конечно, не без приятности провел время с вашим выводком, но только все это не то: и водку-то они хлещут, и подмазаны изрядно, а я, знаете ли, человек избалованный, всяких видов в жизни навиделся, вкус у меня тонкий и первой попавшейся юбкой меня не прельстишь.

— Так, — сказала портниха, — понимаю. Вас, стало быть, на «ландыш» потянуло.

— Вот именно! Вот именно!

— Ну что ж, опишите ваш вкус, может, и найдем.

Покачав головой, я ответил:

— Просто не знаю, как и описать, дело нелегкое. — Подумав, я продолжал: — Найдите вы мне, Марья Ивановна, этакую блондиночку лет 15, с фарфоровым личиком, льняными волосами, точеными ручками и ножками, с эдакими большими синими глазами и чтобы в глазах этих была постоянная жемчужная слеза. Покажешь ей палец — она плачет, покажешь ей два — рыдает, а главное, чтобы по внешнему виду была бы ангелом чистоты и непорочности, — продолжал я, все более увлекаясь, — но, вы понимаете, дорогая моя, что ангелом небесным она должна быть лишь по виду, на самом же деле в ней должен дремать никем не разбуженный еще темперамент гетеры, Мессалины, ну, словом, посмотришь на нее, и дух захватывает.

И, закатив глаза, я, симулируя экстаз, судорожно скомкал левой рукой скатерть, правой ущипнул Знаменскую выше локтя, одновременно лягнув ее пребольно под столом.

— Ой, да что вы! Никак, меня за ангела принимаете? — взвизгнула она, но, быстро успокоившись, заявила: — Хоть заказ ваш не из легких, но понятный. А то иной раз среди вашего брата такие привередники попадают, что не дай ты, Господи! — И, опрокинув еще один стакан залпом, она продолжала: — Вот месяца два тому назад пристал ко мне эдакий ядовитый слюнявый старикашка: достань да достань ему хроменькую, да еще со стоном...

— То есть как это так? — удивился я.

— Да так, говорит, пусть себе хромает и стонет, хромает и стонет. Ну что ж, думаю, мне наплевать — пусть стонет. По-

дыскала я ему нужную — у ней от природы одна нога покорооче другой, — ну, конечно, предупредила ее насчет стелания: устроили смотрины, оглядел ее со всех сторон мой старик да и забраковал: хоть она и хроменькая, а хромает не по-настоящему, как-то, говорит, ногу волочит, а настоящего приседания в ней нет, опять же турнюром не вышла.

Я перебил ее и спросил:

— Ну так как же, Марья Ивановна, состряпаете вы мне это дело?

— Отчего же, — говорит, — можно, ежели на расходы не покусипитесь.

— А сколько вы с меня возьмете?

Она с минуту подумала:

— Хлопот тут немало предстоит. Опять же и риску много. Ведь в случае чего тут и каторгой пахнет. Одним словом, возьму с вас 500 целковых, меньше ни гроша. Это, так сказать, моя часть. Окромя этих денег, конечно, придется уплатить и «ангелу». Ну, да там ваше дело, сговоритесь с ним сами. А главный расход пойдет на Петра Ивановича, он живоглот и меньше как за тысчонку беспокоиться не станет.

Я, насторожившись, спросил:

— А кто такой этот Петр Иванович?

— Да есть у меня тут знакомый человек, — специалист по этой части, ловкач первосортный, весь город он знает. Если у какой-либо бедной вдовы хорошенькая дочка подрастает, Петр Иванович тут как тут, коршуном вьется да поджидает добычу. То многосемейных родителей в нужде подкупает, то саму девчонку апельсином соблазнит...

Я, почесав затылок, как бы поколебался, а затем решительно сказал:

— Ладно! Торговаться не буду. Деньги из банка получены, куда ни шло, ассигную на все про все 2 тысячи. Черт с ними!

И, вынув из бумажника 100-рублевую бумажку, я разложил ее перед портнихой:

— Вот вам пока задаточек, — действуйте.

Знаменская жадно схватила бумажку, засунула ее за корсаж и проговорила:

— Что ж, не будем откладывать дело надолго. Желаете, так мы сейчас же махнем на извозчике в заведение Петра Ивановича.

Я поглядел на часы, было 11.

— Что ж, время не позднее, делать мне нечего, спать мне не хочется — едем!

Портниха крикнула деткам:

— Доедайте и допивайте здесь все без нас, а потом только приберите хорошенько, а я уже вернусь.

Мы сели с ней на извозчика и покатили по Пешей, спустились по Московской, пересекли рынок и свернули в какую-то малень-

кую улицу направо, позднее оказавшуюся Рыночной. Всю дорогу полупьяная портниха томно прижималась ко мне, икала, мледа, словом, невольно вспоминал я, господин начальник, данное ей прозвище — жаба. Мы подъехали к 4-му дому от угла Московской. Одноэтажная деревянная постройка с красным фонарем в окне. Портниха позвонила и принялась стучать каким-то, видимо, условным стуком. Дверь нам распахнул широкоплечий детина саженого роста. Мы прошли через сени и вошли в прихожую. Здесь нас встретили, по-видимому, хозяин с хозяйкой. Знаменская сейчас же затрещала:

— А я вам, Петр Иванович, гостя дорогого привезла, — причем на прилагательном сделала усиленное ударение.

Петр Иванович засуетился, стал расшаркиваться и не без виетеватости промолвил:

— Милости прошу к нашему шалашу!

Знаменская заметила:

— В салон они пройдут опосля, а теперь дело к вам важное есть, поговорить бы надо.

— В таком разе, пожалуйста сюды, — и он небольшим коридорчиком, выходящим из прихожей, напротив «салона», провел нас в какую-то комнату довольно своеобразного вида: тут была и мягкая мебель, и письменный стол с альбомами, и двуспальная кровать, и множество зеркал на всех стенах.

Петра Ивановича сопровождала толстая, разряженная женщина, чрезвычайно антипатичного вида, оказавшаяся действительно хозяйкой. Запирая двери, он что-то шепнул Знаменской, на что портниха успокоительно промолвила:

— Не беспокойтесь, — человек надежный, я ихней жене туалеты шила.

Она вкратце рассказала суть дела, я со своей стороны сделал несколько «гастрономических» добавлений, после чего началась торговля. Наконец, мы сговорились и хлопнули по рукам, причем я добавил, что буду крайне разборчив и требователен, быть может, забракую дюжину кандидатов, прежде чем остановлю свой выбор.

— Известное дело! — сказал он мне. — За такие деньги можно и покуражиться!

В ближайшие дни он обещал показать мне первый номер, а пока усиленно просил ознакомиться с его «салонном». Я, зевнув, сказал:

— Ну так и быть! Приготовьте там несколько бутылок вина и, что ли, каких-нибудь фруктов.

Петр Иванович, почуяв наживу, мгновенно кинулся распоряжаться. Ознакомиться с «салонном» я считал необходимым, надеясь почерпнуть какие-либо сведения по делу. Выкурив папироску, другую и наслушавшись от хозяйки разных похвал своему «питомнику», я вышел из комнаты, пересек прихожую и вошел в гостиную. Просторная комната со стульями и диванами, по стенам скверные

олеографии обнаженных женщин, поцарапанным пианино в углу и с полусохшими фикусами у окон. Тут же на столе были уже расставлены Петром Ивановичем четыре бутылки скверного шампанского и синяя стеклянная тарелка на никелированной подставке с несколькими апельсинами, яблоками и полугнилыми грушами, — гордо именуемая вазой с фруктами. С полдюжины понурых девиц в несвежих платьях сидело вдоль стен. Едва я вошел, как какой-то тип в потертом сюртучке проскользнул бочком мимо меня, плюхнулся у пианино, мотнул головой и с деланным *brío* забарабанил крейц-польку. Девицы, как по команде, взялись за ручки и начали то, что принято именовать весельем, разгулом, «наслаждением», а в сущности, жалкая, пошлая и никому не нужная мерзость.

Прослушав в этой обстановке часа два и не узнав ничего по интересующему меня вопросу, я вернулся к себе в гостиницу.

— Послушайте, — сказал я с досадой Сергееву, — денег казенных, как я вижу, вы ухлопали немало, провели время, по видимому, не без приятности, но, в сущности, ничего не сделали. Вы установили, что Знаменская патентованная сводня, но это было уже известно и по данным местной полиции, и по моим личным наблюдениям. Вы побывали у какого-то Петра Ивановича, но таких типов и заведений в городе немало. Спрашивается, что же вы сделали?

Сергеев тонко улыбнулся и сказал:

— Вы, господин начальник, перебили меня, не дослушав моего доклада.

— Говорите!

— Рано утром я навел справку в полицейском управлении о Петре Ивановиче, и мне сообщили, что он крестьянин Тверской губ., Бежецкого уезда, значится по паспорту из подрядчиков, а по фамилии... Си-вухин!.. — многозначительно протянул мой докладчик и, выразительно подняв брови, уставился на меня.

Наступило долгое молчание.

Наконец я прервал его:

— Да, извините меня, я несколько поспешил со своим замечанием. Вам удалось установить факт чрезвычайной важности. Можно почти с уверенностью сказать, что ваш Сивухин не является однофамильцем бывшего приказчика купца Плошкина. Хотя он и значится по паспорту из подрядчиков, но, разумеется, за эти 5 лет мог испробовать и эту профессию. Впрочем, точно удостовериться в этом будет нетрудно, так как молодой Плошкин, жених, надо думать, еще здесь. Не смогли бы вы раздобыть незаметно фотографию Сивухина?

— Отчего же? Думаю, что да. Дело в том, что та комната, в которой меня приняли хозяева заведения, является их личным помещением и, по словам девиц, предоставляется в распоряжение редко, и то лишь особо избранным посетителям. Так как к числу последних отныне, конечно, принадлежу и я, то в этом отношении препятствий не встретится. В комнате же этой я вчера еще видел

на письменном столе ряд фотографий и самого Сивухина и его сожительницы Прониной. Поеду сегодня же к ночи, попытаюсь еще раз что-либо выведать и к завтрашнему дню доставлю нужный снимок.

На этом мы с ним пока расстались.

Я распорядился допросить всех извозчиков, обычно стоящих у рынка и на ближайших от сивухинского дома углах, не отвозили кто-нибудь из них в позапрошлый понедельник большой, трехпудовый ящик на вокзал, к утреннему поезду в Москву.

На следующий день Сергеев доставил мне фотографию Сивухина и сообщил следующую важную подробность: ему, после трехчасового уговаривания, выпытывания и уверений в защите и покровительстве, удалось выудить признание от одной из сильно напуганных девиц в следующем. По ее рассказу недели две тому назад в воскресный день, днем явились хозяин с какой-то незнакомой женщиной и девочкой-подростком. Хозяйка нас всех прогнала по комнатам и не велела уходить оттуда. Сама же прошла в хозяйскую комнату, где уже находились приехавшие. Вскоре из нее вышел хозяин, куда-то уехал, а через полчаса вернулся с каким-то господином, хорошо и богато одетым. Господин прошел в хозяйскую, а хозяйка вышла из нее вместе с женщиной и заперла дверь на ключ. Вышедшая женщина сейчас же уехала. Мы, конечно, не смели выходить из комнат, однако все это в шелку примечали. Эх, вздыхали мы грустно, пропала девчонка! До нас глухо доносились крики и плач и кипело у нас на душе, да что поделаешь? Часа через два господин ушел, а хозяева поспешили в комнату. Что там было — не знаю, однако разговор шел, видимо, серьезный. Целый час доносились до нас и голос девочки, и хозяйина, и хозяйки. Хозяева то уговаривали будто, то словно грозились. Наконец, послышался какой-то стук, грохот, затем страшный крик девочки, и все смолкло. Мы были ни живы ни мертвы. Затем опять послышались какие-то стуки, но голосов больше не слышали. Минут через 20 быстро вышел хозяин, спустился в подвал и вскоре вернулся с большим ящиком. Повозившись в комнате с полчаса, они оба выволокли ящик и потащили его вниз, надо думать, опять в подвал. Тут одна наша девушка — Шурка — страсть любопытная, не утерпела и сбегала поглядеть в хозяйскую: комната была пуста, девочка как сквозь землю провалилась. Вернувшийся хозяин позвал нас в гостиную, сердито на нас посмотрел, погрозил кулаком и сказал: «Держите язык за зубами; коли что слышали, так помалкивайте. Ежели которая взболтнет лишнее, не сойтить мне с этого места — кишки выпущу!»

Получив эти данные, я приказал немедленно арестовать Сивухина, Пронину и Знаменскую. В этот же день карточка Сивухина была предъявлена Плошкину с вопросом, кто это. Тот «грациозно» поднес ее к лицу и воскликнул:

— Никак, Петр Иванович? Он! Ей-Богу, он! Только немного разжиревши в своей комплекции.

К этим убийственным для обвиняемых показаниям присоединилась еще новая подавляющая улика. К вечеру явился старик-извозчик и показал:

— Действительно, недельки две с лишним тому назад, как раз в понедельник утром я отвозил человека с тяжелым ящиком на вокзал.

— А почему ты так точно запомнил, что дело было в понедельник.

— Да уж это точно, ваше высокородие, в понедельник. Накануне в то воскресенье, в день Пасхи, со мной такая неприятность произошла. Я сам, можно сказать, человек непьющий, разве когда приятели шкалик-другой поднесут, а в тот день, в воскресенье, стало быть, повстречался я с земляками, заташили они меня в трактир, ну пошли там, конечно, разговоры разные про деревню. Рюмка за рюмкой, сороковка за сороковкой, одним словом, к ночи едва на извозничий двор добрался. Утром вместо головы котел на плечах. Как мерина запряг и не помню, однако выехал на Московскую к рынку, где уже 4-й год стою. Сел в пролетку, а голова так и трещит. Нет, думаю, пропадай день, поеду домой да высплюсь. А тут как раз подходит ко мне мужчина, сколько, дескать, возьмешь на вокзал свезть. Полтинничек, говорю, положите? А сам, думаю, выругает он меня, ведь красная цена за такой конец двугривенный. Но ничего. Ладно, говорит, ты обожди меня здесь, а я уже вернусь с вещами. И действительно, — не прошло и десяти минут, как вижу, мой седок возвращается и на спине тяжелый ящик тащит. Погрузил он его в пролетку, сам сел, и мы тронулись. Он честь честью расплатился со мной, и я поехал отсыпаться.

— А ты не знаешь, кто он таков?

— Нет, фамилии евонной не знаю, а только живет он недалеко от моей стоянки.

— Почему ты так думаешь?

— Да за ящиком больно быстро слетал. Опять же чуть ли не кажинный день, а то и по несколько раз на день мимо меня проходит.

— Так что в лицо бы ты его узнал?

— Известное дело, узнал.

Я разложил перед извозчиком 6 фотографических карточек, из которых одна изображала Сивухина. Извозчик тотчас же ткнул на нее пальцем:

— Вот он!

Я приступил к допросу, тайно надеясь выяснить еще одну подробность. Я начал ее с Прониной:

— Что можете сказать вы мне по делу об убийстве Марии Ефимовой?

Она скорчила изумленную физиономию:

— Никогда про такое убийство и не слыживала.

— И Ефимовой никогда в глаза не видели?

— Никогда не видала!

- Так, может быть, Сивухин все дело обделал?
- Петр Иванович такими делами не занимается.
- Следовательно, вам так-таки ничего и не известно?
- Ничего ровно, господин чиновник.
- Ну что ж, так и запишем, а там суд разберет. Вы — грамотная?

— Маленько умею.

Я, зевая, протянул ей лист бумаги и перо: «Так запишите ваше показание».

— Да что писать-то?

— Ну, хорошо, я вам продиктую. Пишите: «Сим удостоверяю, что по делу об убийстве 14-летней Марии Ефимовой показаний сделать никаких не могу и о самом убийстве слышу впервые». Распишитесь!

Она расписалась и передала мне бумагу.

Я вынул из дела письмо, полученное Плошкиным якобы от сына, и сличил почерк. Сомнений не было — та же рука. «Ну и дрянь же ты сверхъестественная. Оказывается, и письмо-то Плошкину писала ты, а еще так глупо отпираешься. Ну да что с тобой, дурой, разговаривать. Обожди здесь. Я допрошу сейчас же твоего сообщника», — и я приказал привести Сивухина, не считая нужным допрашивать его отдельно, ввиду стольких неопровержимых улик.

Когда он был приведен, я обратился к обоим:

— Вот что, друзья любезные! Вы арестованы за убийство Марии Ефимовой, и вызвал я вас сейчас не для того, чтобы допрашивать, ловить и уличать. Мне известны все подробности дела. Я начальник Московской сыскной полиции, нахожусь в Пензе уже 2 недели и работаю по вашему делу. Мною поднята на ноги вся местная полиция и выписаны свои люди из Москвы. Эти две недели не пропали даром, и, повторяю, преступление ваше мною полностью открыто. Таким образом, каторга вам обоим обеспечена. Не отвертится от ответственности и ваша соучастница — портниха Знаменская. Но вы можете быть приговорены к каторге бессрочной, можете быть осуждены на 20 и на 12 лет. Многое будет зависеть от вашего дальнейшего поведения. Если вы чистосердечно покаетесь, а главное, поможете полиции разыскать того прохвоста, которому вы продали несчастную девочку, то, возможно, что суд и не наложит на вас высшей кары. Конечно, мы и без вас разыщем субъекта, купившего честь покойной, но вы можете ускорить и облегчить эту работу. Итак, я вас слушаю.

Сивухин и Пронина изобразили удивление и чуть ли не в один голос заговорили: «Да что вы, господин начальник? Помилуйте! Мы такими делами не занимаемся и не то что не убивали или там продавали, а и в глаза никакой Ефимовой не видели».

Я злобно на них взглянул: «Ну и рвань же вы коричневая, как я погляжу. Слушайте вы оба: портниха Знаменская во всем созналась; девицы вашего заведения, которым ты, кстати говоря, обещал

за болтливость выпустить кишки, рассказали и о приезде Знаменской с девочкой и тобой в Пасхальное воскресенье в ваш вертеп, и о том, как ты ездил и вернулся с каким-то субъектом. Последний пробыл часа полтора в вашей хозяйской комнате с Ефимовой, причем оттуда доносились крики и плач, после его отъезда вы оба прошли в эту комнату и долго уговаривали и угрожали вашей жертве, после чего послышались удары, ее крик, и все смолкло; ты сбежал вниз в подвал, приволок ящик, и вы оба протащили его обратно вниз, причем в хозяйской девочки уже не оказалось. Вот твоя карточка (я показал фотографию), по ней тебя узнал и молодой Плошкин, сейчас находящийся в Пензе, и извозчик, которого ты нанимал у рынка в понедельник утром за полтинник на вокзал, и весовщик, взвешивавший твою посылку в Москву старику Плошкину — твоему бывшему хозяину (эту выдуманную улику я приплел для большего веса), наконец, если этого вам мало, то вот сегодняшнее показание твоей сожительницы, а вот письмо к старикам Плошкиным, якобы от сына; не только опытный человек, но и младенец скажет тебе, что оба документа написаны одной рукой, т. е. ею (и я ткнул пальцем на Пронину). Что же, и теперь еще будете запирайтесь?»

Убийцы переглянулись, помялись, вздохнули, и затем Сивухин быстро заговорил: «Нет, господин начальник, что тут запирайтесь, пропало наше дело по всем статьям: и люди выдали, и дура баба подвела (он сердито взглянул на Пронину). Наш грех — нечего скрывать. Расскажу все, как было, а вы, явите милость, похлопочите за нас, если можете».

— Говори!..

— Да что тут говорить, вы и так все знаете. Ну, действительно, в воскресенье повстречал я в Лермонтовском сквере портниху, чтоб ей пусто было! — говорю ей, что вот, дескать, есть у меня человек, тысячу рублей дает — найди, мол, ему красавицу писаную, да такой привередливый, что пятерых уже забраковал. Есть, говорю, у вас ученица — сушая краля, вот бы ее подцепить, так и дело бы сделали. «Это вы, наверно, про Маньку Ефимову говорите?» — отвечает. «Да, про нее». А тут, как на грех, на ловца — зверь бежит: смотрим, а ейная девчонка по аллейке идет. Портниха сейчас же подозвала ее, приласкала, то да се, пятое-десятое, а затем и говорит ей: «Хочу тебе, Маня, удовольствие сделать, поедem сейчас к тете и этому дяде кофейку с гостинцами попить». Девчонка подумала, поколебалась, но, между прочим, отвечает: «Что же, Марья Ивановна, ежели с вами, то пожалуй». Уселись мы втроем на извозчика и поехали к нам. Дальше все было, господин начальник, как вы сказывали. Одно только скажу — видит Бог, не хотели убивать девчонки. Когда уехал господин, мы с нею (он кивнул на сожительницу), нагруженные разными пряниками, фруктами, с куском шелковой материи и сторублевкой в руках, вошли к Ефимовой в комнату. Сердешная сидела за столом, уронив голову на руки и ревмя редела. «Эх, Манечка! — весело сказал я ей. — Есть

о чем печалиться. Вот поешь лучше конфект разных да погляди, какое платье скроишь себе из этого шелка. К тому же вот тебе и целый капитал — сто рублевиков копейка в копейку...» И куда тут! Девчонка оказалась с норовом: сгребла конфекты на пол и, разорвав эдакие деньги, швырнула мне их в морду. «Вы, — говорит, — подлые люди, заманили меня сюда, обесчестили, а теперь откупаетесь. Нет, — говорит, — отпустите меня, я все матери расскажу, и вас по головке за то не погладят».

«Ну и дура ты, — говорю, — желаешь срамиться. Расскажешь матери, а мы от всего отопремся, тебе же хуже будет. Годика через два-три захочешь замуж, а никто и не возьмет — порченная, скажут. Ну, словом, господин начальник, я уж и так, я уж и сяк, и лаской, и угрозой — не помогает: стоит на своем, расскажу да расскажу все как есть. Тут взяла меня злоба да и страх: эка подлая, а что, ежели и впрямь пожалуется?! Подошел я к ней, схватил крепко за плечо и говорю: «Остатний раз тебя спрашиваю — хочешь дело по-хорошему кончить?» А она как плюнет мне в харю! Тут я не стерпел, выхватил из кармана нож да как шарахну ее в грудь, ажно косточки захрустели. Крикнула она, повалилась на пол и не шевельнулась, губы побелели, от личика кровь отлила, ну, словом — преставилась! Обтер, не торопясь, я нож об подкладку пинжака, перевел дух, поглядел на Авдотью (он опять кивнул на Пронину). Что же таперича делать будем, — сказал я, — ведь эдакое дело среди бела дня, опять же девицы могли подслушать аль подсмотреть. Авдотья мне говорит: «Завяжем ее в куль, спрячем под кровать, а на ночь глядя отнеси ты ее куда-нибудь в чужой сад или огород». — «Ну и дура, — говорю, — завтра же полиция найдет и обознает девчонку, схватят портниху, она нас выдаст, и не пройдет месяца, как будем мы с тобой шагать по «сибирке». Прочел я, господин начальник, как-то в газетах, что нынче в моде трупы в корзинках рассылать, и подумал: «Самое разлюбезное дело». Действительно — приволок ящик снизу, припас клеенку, веревки и солому, схватил топор да и разрубил тело на 4 части. Ну, конечно, для неузнаваемости поцарапал ей личико. Пока я укладывал куски да закупоривал ящик, Авдотья схватила тряпки (платье и бельишко покойной) и, вылив всю воду из умывальника и графина, старательно замыла кровь на полу и спрятала тряпки под кровать. Дальше было все как вы сказывали».

С волнением выслушал я повествования Сивухина — эту странную смесь какой-то жестокости и чуть ли не мягкосердечия, нередко свойственных русским преступникам.

— Кому же ты продал ее? — продолжал я вопрос.

— Да Бог его знает — назвался Абрамбековым, говорит, из Тифлиса, а в Пензе будто проездом.

— А ты почем знаешь? Может, он все наврал?

— Не должно этого быть. Когда я за ним ездил в гостиницу «Россия», то он там значился в 3-м номере.

— Почему ты послал труп старику Плошкину?

— Да как вам сказать, ваше высокородие. Тут дня за три до этого я на Московской улице встретил евонного сынка. Он-то меня не видел, а я сразу обознал, да и слышал уже ранее, что одну из наших богачих за себя берет, стало быть, сватается. Отец же евонный сушая собака, я у него долго в приказчиках служил, а затем он меня выгнал. Вот и подумалось мне: подшучу над стариком, пошлю ему суприз к Светлому праздничку. Сам, конечно, писать письма не стал, а приказал Авдотье.

Отослав их обоих по камерам, я вызвал портниху. Допрос Знаменской мне представлялся более сложным: ведь в сущности, кроме показаний Сивухина, никаких других улик по делу именно Ефимовой против нее не имелось. Девуцы заведения лица ее не разглядели, убитая встретила с нею в Лермонтовском сквере случайно, таким образом, при отсутствии сознания, показания Сивухина могли бы быть признаны судом присяжных спорными. Я решил огоршить ее совокупностью неожиданностей, сбить с толку и вырвать признание, не дав ей времени трезво взвесить серьезность имеющихся у меня против нее данных.

Вошла она в кабинет не без жеманства и с деланным любопытством спросила:

— Скажите, мосье, за что я арестована?

— За участие в убийстве Марии Ефимовой, мадам.

— Ой, да что вы! Я Манечку любила как родную дочь и до сих пор по ней плачу, — и, вытащив платок, она приложила его к глазам.

— Оттого-то вы продали ее Сивухину?

— Помилуйте! Я такими делами не занимаюсь да и Сивухина никакого не знаю.

Я резко сказал:

— Мне тут некогда терять с тобой время. Я начальник Московской сыскной полиции и работаю по этому делу две недели. Мои люди за тобой следили денно и ночно, и мне известен каждый твой шаг. Ты там у себя на Пешей чихнешь, а мои люди это видят и слышат.

— Ну уж это извините. У меня в квартире, окромя своих, никого нет.

— Напрасно так думаешь. Вот тебе для примера: видишь эти 4 пуговицы, зеленые с белыми полосками, что нашиты у тебя спереди на блузке? Мне и то известно, что в лавке их не покупала, а приобрела у оборванца заведомо краденый товар за четверть цены.

Портниха опешила, но, оправившись, заявила:

— Не знаю, про какого оборванца вы говорите и кто он таков.

Я быстро напялил на голову заранее заготовленную рваную кепку, уже раз служившую мне, придал лицу обрюзгшее выражение и, посмотрев ословевшим взглядом на Знаменскую, хрипло произнес:

— Кто я таков — об этом знает Волга-матушка.

Портниха чуть не упала навзничь:

— Ой, да! Что ж это? Матушки мои! Он, ей-Богу, он!..

Я снова принял прежний вид:

— Поняла теперь?

Несколько успокоившись, она проговорила:

— Ну, уж извините меня, господин начальник, сознаюсь, действительно соблазнилась тогда, уж больно подходящий товар вы предлагали. В этом виновата — каюсь. Ну, а что насчет Манечки или там вообще какого-нибудь сводничества — это уж извините, я честная женщина.

— В последний раз предупреждаю тебя, что если ты будешь и дальше врать и отпираться, то дело твое дрянь, на снисхождение суда не рассчитывай, помни — мне все известно!

— Я не отпираюсь, сущую правду говорю.

— Николай Александрович, пожалуйста сюда, — позвал я громко. В кабинет вошел Сергеев и, «любезно» расшаркнувшись перед портнихой, спросил:

— Ну, как наши дела с ангелом?

Трудно передать словами выражение, изобразившееся на лице Знаменской: множество оттенков сменилось на нем, но доминирующим оказалась полная обалделость, тут же разрешившаяся обильными слезами и полным покаянием.

В этот же день были наведены справки в гостинице «Россия» об Абрамбекове. По прописке он оказался тифлисским коммерсантом, армянином, выехавшим из Пензы с неделю назад. Я тотчас же срочно телеграфировал в Тифлис, и арестованный Абрамбеков был вскоре перевезен в Пензу и заключен в местную тюрьму.

Вся эта компания месяца через два предстала перед судом и понесла возмездие: Сивухина и Пронину приговорили по совокупности преступлений к 20-ти годам каторжных работ; Абрамбеков был обвинен в насилии и получил 8 лет каторги; по отношению к Знаменской суд признал наличие лишь сводничества и отверг ее причастность к убийству. Таким образом, она отделалась всего 3-мя годами тюремного заключения.

Через год с лишним пензенский полицеймейстер В. Е. Андреев был переведен на службу в Московскую сыскную полицию по моему ходатайству. Вспомнив про пензенское дело, я как-то спросил его о матери убитой девочки. «Судьба к ней безжалостна, — сказал Андреев. — Она не оправилась от постигшего ее тяжкого удара и принялась пить, благо вино было всегда под рукой. Акцизное ведомство, зная ее трагедию, долго щадило ее, но она перешла всякие границы, и местному управляющему акцизными сборами в конце концов пришлось приказать ее уволить. Тут она быстро покатила по наклонной плоскости, распродала и пропила все свое скудное имущество и превратилась в оборванную, вечно пьяную нищенку: слоняется по улицам, собирает копейки и тут же их пропивает. Как помните, по ее настоянию останки дочери были перевезены за казенный счет в Пензу и похоронены на местном кладбище. И

представьте себе, как странно — эта женщина, потерявшая облик человеческий, сохранила в душе своей несокрушимую трогательную любовь к погибшей дочери. Чуть ли не ежедневно можно было ее видеть у заветной могилы, проливающей горькие слезы, что не мешало, впрочем, ей иногда тут же и напиваться. А как-то прошлой осенью эта несчастная женщина была найдена распростертой на могиле с перерезанным горлом, причем факт самоубийства был, конечно, установлен. Могила убитой девочки неведомо кем содержится в порядке: всегда обложена свежим дерном, деревянный крест и решетка время от времени кем-то подкрашивается, с ранней весны до поздней осени на могильном холмике виднеются незатейливые букетики ландышей, фиалок, незабудок и васильков. Любая гимназистка, епархиалка и простолюдинка укажет вам сразу могилу Ефимовой. И крепко держится поверие, что молитва, творимая на этой могиле, особенно угодна Богу. Слывет же эта могила под именем «Маниной могилки».

РЫЖИЙ ГРОБОВЩИК

В одно летнее утро 1910 года, едва я начал свой утренний служебный прием, как мне доложили, что уже более часа меня ожидают две старых женщины.

— Зовите.

В кабинет вошла старуха, лет 60, полная, довольно хорошо одетая; за ней следовала другая женщина, примерно тех же лет, с наколкой на голове и шалью на плечах.

— Пожалуйста, садитесь! — сказал я им. — Чем могу служить?

Первая, казавшаяся госпожой, села в кресло; вторая, по виду экономка, нерешительно опустилась на стул.

Сидящая в кресле заговорила:

— Я к вам, г. Кошков, по делу. Я жена, т. е. не жена, а с позавчерашнего дня вдова (тут она приложила платок к глазам и всхлипнула) купца 1-й гильдии Ивана Ивановича Баранова, Агриппина Семеновна Баранова, проживаю в собственном доме на Мясницкой близ Главного почтамта, квартира наша в 3-м этаже на улицу. Третьего дня к вечеру супруг мой, давно страдавший сердцем, скоропостижно скончался. Дома была я, Егоровна, — и она указала на свою соседку, — это, так сказать, моя экономка и компаньонка, живет у нас более тридцати лет в доме. Кухарка же, как нарочно, отпросилась на три дня, около Коломны, в деревню. Поднялся переполох, суматоха. Вызвали мы по телефону и сына, живущего на Кузнецком мосту, и ближайшего доктора. Да что доктор? Известное дело — помер человек. Погоревали, плакали, обмыли покойника да положили в гостиную на стол. К ночи сын уехал к себе, а я с Егоровной улеглись в спальне по соседству с гостиной. Спали мы плохо и мало — какой уж тут сон! — а с раннего утра начались заботы и хлопоты. Здесь, сударь, я начну вам рассказывать такое, чего вам, наверное, и в жисть слышать не приходилось! Однако говорить я буду сущую правду и в свидетельницы захватила вот ее, Егоровну, она вам подтвердит.

Так вот: вчерась, чуть встали мы с Егоровной, эдак часиков в 8, вдруг слышим звонок на кухне. Подошла Егоровна к двери и спрашивает: «Кто там?» А ей в ответ женский голос: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, откройте!» Егоровна открыла, и в кухню вошла, низко поклонившись, монашенка, эдакая красивая, худень-

кая, бледненькая, с большими печальными глазами. В руках она держала какую-то священную книжку и, обратясь к нам, промолвила: «Люди говорят, что у вас в доме покойник, так позвольте мне помолиться за его душу и почитать над ним. Я монахиня из Новодевичьего монастыря». Подумав немного, я ответила: «Что же, голубушка, рады будем. А сколько вы за свой труд возьмете». Она улыбнулась и ответила: «Я это для спасения души своей делаю. Коль угодно вам будет пожертвовать что-либо на монастырь — дадите, а коль достаток не позволяет — я и так спасибо скажу». Тронула она мою душу такими словами. «Проходите, — говорю, — к покойнику, Бог вас за это благословит!»

Только что устроилась она в гостиной у усопшего, опять звонок, и входит высокий, ярко-рыжий мужчина, эдакий краснощекий, с симпатичным лицом и говорит со вздохом: «Слыхали мы, что Иван Иванович скончаться изволили, Царство им Небесное! Хороший был человек! Я буду гробовщиком с Лубянской площади. Покойничек в свое время поддержал меня и много добра причинил. Так вот-с и я хочу ему хоть чем-нибудь отслужить. Сколочу ему гробик дубовый да обтяну первосортным глазетом и возьму с вас всего лишь за один материал по своей цене, а работу в счет не поставлю. Разрешите с покойного снять «мерку». На всякий случай я спросила: «А сколько вы возьмете с меня?» А он: «Десять рублей». Вижу, действительно цена очень низкая. «Что ж, — говорю, — пожалуйста, проходите, снимайте мерку». Подошел он к Ивану Ивановичу, перекрестился, поцеловал в лобик и даже рукавом глаза вытер. Снявши мерку, он сказал: «Беспрерывно сегодня же вечером доставлю вам товар на дом, будьте покойны и не сумлевайтесь!» — и, простившись, ушел.

Потянулся грустный день. Утром и вечером отслужили панихиды, весь день заезжала родня, и, наконец, к часам 10 вечера мы остались в столовой с Егоровной одни, и лишь тонкий голосок читающей монахини глухо доносился из гостиной. В одиннадцатом часу гробовщик со своим помощником тяжело внесли большой дубовый закрытый гроб и, поставив его в гостиной на полу рядом с покойником, сказали: «Весь день работали и вот-вот только сейчас закончили. Нынче уж время позднее, а завтра рано утром мы придем и, если угодно, поможем вам переложить со стола покойника, так что к дневной панихиде все будет в порядке». Поблагодарив их, я заплатила 10 руб., и они ушли.

Допили мы чай с Егоровной, обошли, как всегда, всю квартиру, посмотрели под диванами и за сундуками, удостоверившись, что кухонная и парадная двери заперты на крюки, цепочки и ключи, пришли в спальную и начали приготовляться ко сну. Помянули мы и прошлое. «Помните, Агриппина Семеновна, — говорит мне Егоровна, — как покойничек осерчали на меня, когда мы еще жили у Никитских ворот? А по совести скажу, ни в чем я тогда не была виновата». — «Да что говорить про это, мало ли чего бывало», — отвечаю я. Помолчали. А затем я продолжаю: «Вот отец

Николай говорит, что душа умершего сорок дней не отлетает, а пребывает на прежнем местожительстве человека. Опять-таки слышала я от ученых людей, что духи человеческие могут приходить к людям и что хотя мы их не видим, но они незримо присутствуют, слышат нас и все понимают. Мы с тобой разговариваем, Егоровна, а дух покойничка, быть может, стоит за тобой али за мной да и прислушивается». — «Господи, Твоя воля! Какие ужасы вы говорите, Агриппина Семеновна!» — сказала Егоровна и спешно перекрестилась, косясь во все стороны. В гостинной что-то громко хрустнуло. Мы обе так и присели и впились глазами в полутемную, настежь открытую гостиную. Вдруг наша монахиня дико взвизгнула и влетела как помешанная к нам с бессвязным криком: «Аминь, аллилуйя, покойник встает, просит души своей!» В это время свечи, стоявшие у гроба, потухли, комната озарилась, и мимо нас пролетела по воздуху крышка гроба, брошенная невидимой рукой, и с шумом пала на пол, глаzetовым крестом вверх. Мы все трое в ужасе свалились на пол. Шум и свист в гостинной продолжались, слышались шаркающие шаги, и в дверях появилась белая фигура с протянутыми руками. Головой не поручусь, что то был усопший, так как лицо было прикрыто как бы кисеей, однако пушистые седые усы выбивались из-под кисеи, и из-под савана торчал такой же лысый череп. Тут со страха все мы потеряли сознание. Сколько часов мы пролежали так — не знаю; однако когда я очнулась, светало. Я принялась расталкивать и приводить в чувство Егоровну и монахиню. Все кругом нас было тихо и даже крышка гроба куда-то исчезла. Все еще шелкая зубами от страха и крестя воздух, мы, прижимаясь друг к другу, подошли к дверям и заглянули в гостиную. Там все было по-прежнему в порядке. Супруг мой, как и вчера, лежал на столе, рядом с ним стоял на полу гроб, плотно закрытый крышкой. Хоть до ужасти было боязно нам, мы все же, читая молитвы, подошли к гробу и с трудом приподняли крышку. Гроб был пуст. Так же, держась друг за друга, пробрались мы в мужнин кабинет. Войдя в него, я ахнула — все ящики письменного стола были выдернуты и валялись по полу; крепкий дубовый шкаф, стоящий в углу, где муж хранил деньги и мои бриллианты, был взломан. Хоть жалко мне стало пропавшего, но страх отлег от сердца: стало быть, то были просто воры. Но монахиня, глядя мне прямо в глаза, залепетала: «Какие воры, какие воры?! Ведь я собственными глазами видела, как покойник встал со стола и направился на меня с протянутыми руками. Тогда-то я и вскрикнула и кинулась к вам. Нет, свят, свят, свят! Здесь нечистая сила!» Мы прошли в прихожую и кухню и осмотрели двери. Замки, цепочки и засовы были в порядке, как мы их оставили с вечера. Осмотрели и окна — все заперто и цело. «Вот видите, — сказала монахиня, — выходит по-моему. Будь то воры, куда бы им деваться? Ведь не сквозь стены же они прошли! Нет, уж вы как хотите, а отпустите меня, я читать больше не буду. Надо думать, покойник ваш имел на душе своей грех смертный, вот он и не знает покою».

От осмотра квартиры и от слов монахини ужас меня снова охватил. Как мы с Егоровной ни уговаривали монахиню остаться, она настояла на своем и ушла, отказавшись от трех рублей, мною ей за труды предложенных, сказав: «Нет, ваши деньги нечистые, и нам их не надобно».

Накинули мы с Егоровной пальтишки да и махнули к сыну на Кузнецкий. Рассказала я ему все, что случилось с нами за ночь, а он и говорит: «Удивительное, — говорит, — мамаша, дело. У вас все не как у всех людей! Видано ли, чтобы покойники вставали да ходили?! А вот захотите к тетеньке пойти в гости, пожелаете надеть кольцо или там кулон какой, ан бриллиантов ваших и нет! — и он даже в сердцах показал мне кукиш. — А это вы, между прочим, мамаша, глупость сделали, что отпустили монашку. Я понимаю так, что она воровка-то и есть». — «Что ты, — говорю, — Сашенька, какая она там воровка, испугалась она не меньше нашего, да и личность у нее эдакая богобоязненная! Окромя того, была же она с нами в спальне, когда родитель твой свирепствовал. Ежели бы то был вор, то откуда ему взяться? С вечера двери мы с Егоровной заперли, прошли через гостиную в спальню и в гостиной никого чужих не было, а из спальни до самого крика монахини без перерыва слышали ее чтение, стало быть, не могла она отлучиться и впустить кого-нибудь». — «Эх, мамаша, — сказал мне сын, — поезжайте-ка вы скорее в сыскную полицию к г. Кошкову, он специалист по эдаким заковыристым делам, расскажите ему все в точности, как было, и попросите помощи. А на сегодняшнюю панихиду я, между прочим, не приеду, а то вы мне такого наговорили, что даже в нерасположение привели. Ах, мамаша, сваяли вы дурака с монашкой!»

Я послушалась Сашеньки и приехала к вам. Помогите! В точности ли я все рассказала, Егоровна? — обратилась она к своей спутнице.

— Аккурат все, как было. Готова хоть сей минуту под присягу! — отвечала Егоровна.

— Скажите, пожалуйста, знает ли кто-нибудь о том, что с вами случилось, а также о том, что вы обратились ко мне? — спросил я.

— Ни единая душа, кроме сына. Да и тот до поры до времени приказал мне строго держать язык за зубами.

— Прекрасно, и придерживайтесь этого, никому ни одного слова, иначе вы можете испортить все дело. Вам не известны, конечно, имена монахини и гробовщика?

— Нет, знаю только, что она из Новодевичьего монастыря, а он имеет где-то мастерскую на Лубянской площади.

— Когда у вас назначена дневная панихида сегодня?

— В два часа.

Я посмотрел на часы, было около 12.

— Вот что мы сделаем. Я в качестве знакомого вашего мужа приеду к вам лично на панихиду, видоизменив несколько свой

внешний облик. Я сам хочу осмотреть всю вашу квартиру. Быть может, я смогу вам помочь и верну вам ваши бриллианты и деньги. Кстати, вернувшись домой, сейчас же закройте кабинет на ключ, никого туда не впускайте и не входите туда сами.

Баранова в точности обещала выполнить мое требование и действительно его выполнила, судя по тому, что ни единой газетной строчки об этом сенсационном происшествии не появилось в течение довольно долгого времени.

Заинтересовавшись оригинальностью дела, я энергично принялся за розыск. Загримированным присутствовал я на панихиде и задержался в квартире, дав уйти всем посторонним. Я лично произвел самый тщательный осмотр как всего помещения вообще, так и гроба и кабинета в частности, но ровно ничего сколько-нибудь наводящего на след мне обнаружить не удалось: ни одного принадлежащего вора́м предмета, ни одного отпечатка пальцев на чем бы то ни было. Очевидно, наглые и опытные преступники работали в перчатках.

Единственное обстоятельство, остановившее на себе мое внимание, была очевидная осведомленность воров о месте нахождения ценностей: не только ни одна комната, кроме кабинета, не была тронута, но и в самом обширном кабинете целый ряд хранилищ остался неприкосновенным, и пострадали лишь стол и дубовый шкаф в углу, о коих упоминалось выше. Было сильно похоже на то, что кто-то осведомил воров о подробностях домашнего порядка.

Покончив с осмотром, я обратился к Барановой:

— Скажите, у вас не может быть подозрений о причастности Егоровны к этому делу?

— Что вы, что вы! Господь с вами! — замахала она на меня руками. — Егоровна — мой верный друг, душой за меня всегда болеет, при мне неотлучна и не то что родных или друзей, а и знакомых, кроме меня, никого не имеет.

Подумав, я спросил:

— А что скажете вы насчет вашей кухарки, уехавшей в Коломну?

— Да что? Матрена — баба хорошая, живет у меня десятый год, ни в чем не замечена, дело свое справляет хорошо. Одно только — болтлива, как сорока, да со двора любит отпрашиваться.

— Куда же она ходит?

— Господь ее ведает; говорит, что к родне, а я не интересуюсь.

— Вот что мы с вами сделаем, — сказал я Барановой, — продолжайте держать с Егоровной и сыном вашим в секрете не только вмешательство полиции в это дело, но и самый факт случившейся по кражи. Боже упаси, не сообщайте ничего и вашей Матрене. Кстати, когда она приезжает?

— Да жду ее завтра утром.

— Прекрасно. Ваше дело до того заинтересовало меня, что я желаю лично допросить вашу Матрену, но хочу при этом сделать так, чтобы она не подозревала ни о допросе, ни о моей служебной

роли. Для этого мы сделаем так: послезавтра вечером я являюсь к вам в качестве страхового агента, у коего в свое время была якобы застрахована жизнь вашего покойного мужа. Вы расскажите поярче вашей кухарке о том, как много зависит от меня ускорить выдачу вам страховой премии, о том, какой нужный я для вас человек, и т. д. Приготовьте хотя бы и самый скромный ужин, но непременно в несколько блюд, словом — с частой переменной тарелок, чтобы по возможности дольше и чаще видеть прислуживающую Матрену.

Баранова обещала исполнить все в точности.

В этот же день заезжал к ней мой полицейский фотограф и, привезя в круглой коробке, под видом венка, фотографический аппарат, сделал несколько снимков с гроба. Эти снимки были разосланы по всем гробовщикам Москвы, вместе с требованием сообщить, не у них ли изготовлялся за последние два дня означенный гроб, и если да, то кем из заказчиков был он взят из мастерской.

Подробное описание украденных драгоценностей, а их имелось, по словам Барановой, на тридцать тысяч, было дано всем ювелирным магазинам Москвы, равно как и номера похищенных процентных бумаг, найденных в записной книжке покойного, посланы во все кредитные учреждения Империи.

Для очистки совести я послал даже местного надзирателя в Новодевичий монастырь, но, как и следовало ожидать, результатов никаких не получилось: искомой по приметам монашки там не оказалось.

Все эти меры, казавшиеся вполне необходимыми, однако негодились мне. Дело раскрылось довольно неожиданно и просто.

Пропустив день похорон, я, как это было условлено, вечером явился к Барановой в не очень элегантном пиджаке и розовом галстуке. Матрена, получившая, очевидно, соответствующие указания, крайне приветливо меня встретила и, снимая с меня пальто, заботливо справилась:

— Что, сударь, поди, промокли? Дождь-то, дождь-то какой!

Просидев с хозяйкой и Егоровной с часок в гостинной, я был приглашен в столовую поужинать чем Бог послал. Послано было Господом немало, и стол Барановой ломился от расставленных яств и напитков. Матрена, подперев голову рукой, умильно взирала на стол и хозяев. Первую рюмку я выпил за упокой души усопшего, сказав:

— Вот жизнь человеческая! Сегодня жив, здоров, полон сил, а завтра и всему конец.

Матрена тихо всхлинула.

— Да, — сказала Баранова, — все покойничка жалеют, как родного. Да вот хоть бы Матрену взять в пример: что он ей? не родственник какой, а как вчера убивалась на похоронах!

— Да, — сказал я, — хорошо еще, кто при своем капитале живет, тому хоть жизнь в удовольствие, а помрет — так опять-

таки честь честью похоронят. Не то что наш брат: бегаешь, работаешь, страхуешь других, а самого себя — не то чтоб застраховать, а и гроба, поди, не на что будет купить. Вот нынче все так дорого стало.

— Это вы справедливо изволите говорить, сударь! — сказала Матрена. — Ни к чему доступа нет. Вот хотя бы и гробы, за сосновый неказистый 15 целковых требуют, а ежели дубовый, да попредставительней, то и полсотни, а то и более отваливай.

— Ишь, кухарочка-то ваша — на все руки молодец, — обратился я к Барановой. — Не только цены на продовольствие в точности знает, но и по части гробов специалистка.

— Да как же не знать-то мне, барин, коль племянник мой весь прошлый год у гробовщика работал?

— Ну, что ж, Матреша? Коль помру — протекцию окажете и от племянника гроб подешевле достанете?

— И рада бы услужить, — отвечала она простодушно, — да не смогу: племянник мой давно уже ушел от гробовщика, опосля служил на заводе, потом приказчиком, а ныне второй месяц без работы ходит.

— Что же он у вас такой неуживчивый?

— Да не ндравится ему сидячая служба. Мне бы, говорит, ходить по городу да видеть людей.

— Это он верно говорит, — сказал я поощрительно, — что может быть скучнее сидячего дела?

Выпив еще стакан вина, я, симулируя легкое опьянение, откинулся непринужденно на спинку стула и проговорил:

— Вот что я вам скажу, Матреша: я хоть человек и не богатый, а, однако, вкусно поесть люблю. Вы, честное слово, разуважили меня своей стряпней, и я хочу отблагодарить вас, как могу. Устрою-ка я вашего племянника к нам в страховые агенты, нынче у нас и вакансии имеется. Дело как раз по нем, — не сидячее. На первых порах жалованья 40 руб. положат да процентные отчисления за застрахованных. Одним словом, — работать будет, до сотни выгонит в месяц. Пять лет тому назад и я с этого начал, а нынче, слава Тебе Господи, больше 200 зарабатываю.

Обрадованная Матрена поставила передо мной тарелку с чудовищной порцией индейки:

— Заставьте, сударь, за себя век Бога молить, похлопочите за моего племянничка, а то сегодня утром я забежала к нему, поклонны передала да гостинцы из деревни, он мне говорит: «Ежели я, тетенька, за эти три дня не подыщу места, то и махну в деревню, там прокормиться легче».

Пригубив еще рюмку, я задумчиво сказал:

— Одно только в нашем деле нужно: чтобы человек был толковый, хорошо грамотный и чтобы физиономию имел эдакую приветливую, обходительную; чтобы умел к клиенту подойти и уговорить его.

— За этим дело не станет: мой Николай — разбитной малый, кончил городское училище и сам мужчина хоть куда: высокий, статный, красивый.

Я спросил как бы невзначай:

— Блондин или брюнет?

Матрена слегка помялась и конфузливо ответила:

— Нет, извините, он у нас рыжий.

— Егоровна, принеси-ка мне валерьянки с моей полочки, — сказала Баранова, — а то что-то сердце все колотится.

Я, как ни в чем не бывало, продолжал:

— Что ж, и рыжий цвет волос недурен, а к тому же у рыжих и цвет лица всегда хороший.

— Сушую правду изволите говорить, барин, и племянник мой румян, как красная девица.

— Ну, так ладно, Матреша! — сказал я. — Завтра же напишу вашему племяннику, а то, пожалуй, лучше и сам заеду, если по пути будет. Ведь не на краю же города он у вас живет?

— Какой там! Здесь близехонько, на Юшковом переулке, дому номер 4. Как войдете со двора, направо стоит деревянный флигель, а на нем вывеска «Столярная мастерская». В этом флигельке живет столяр да брат его с женой, племянник же снимает у них комнатушку.

— А звать-то как? Как спросить вашего племянника?

— Николай Семенов Буров.

— Ладно, не забуду и часика в 2—3 заеду.

Докончив ужин и посидев еще с полчаса, я распрощался с Барановой и Егоровной. Матреша, помогавшая мне надевать пальто, еще раз рассыпалась в благодарностях и заявила, что рано утром сбегаet предупредить племянника о моем посещении.

Я вернулся к себе на Гнездиковский. Часов до 2 ночи я разбирался в срочных поданных мне рапортах, а затем, усадив 4-х агентов в свой автомобиль, я помчался на Юшков переулок. Без труда нашли мы флигель столяра, стуком разбудили его обитателей и врасплох предстали перед ними.

— Мы к вам с кладбища, — сказал я, — прямо от купца Баранова, прислал он поклоны и тебе, рыжий гробовщик, и тебе, читавшей над ним монахине, и тебе, лысоголовому покойнику, — обратился я к столяру.

Они растерянно переглянулись.

— Ну, где тут у вас запрятаны бриллианты и процентные бумаги покойного?

Как по команде, все четверо скорчили удивленные лица и в одно слово спросили: «Какие?»

— Какие? Не знаете? Ну, ладно, поищем.

Мои люди принялись за обыск. Часа три возились они в квартире и, наконец, обнаружили небольшой кожаный мешочек, висевший на длинной проволоке в трубе от печки. В нем оказались похищенные бриллианты. В соломенном тюфяке рыжего племян-

ника были обнаружены и процентные бумаги. В углу, в соре, были найдены куски белого глазета. Запираться являлось бесцельным, и мошенники покаялись. Гроб, оказывается, они сколотили сами, лег в него лысый столяр, рыжий же с братом столяра отнесли его к Барановой. Роль монахини выполняла жена брата.

Когда в 7-м часу утра мы выводили арестованных из дому во двор, то натолкнулись на Матрену. Завидя это печальное зрелище, она сильно удивилась и напугалась, но узрев меня и услышав распоряжения, мной отдаваемые, она прямо окаменела.

Выходя на улицу, я обернулся на Матрену: она все не шевелилась, разинутый рот, широко раскрытые глаза провожали меня. Иногда и теперь мне кажется, что Матрена все продолжает стоять на том же месте и поныне.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Случай, о котором я хочу здесь рассказать, произошел в самом начале девятисотых годов.

Я в качестве помощника заменял начальника Петербургской сыскной полиции В. Г. Филиппова, находившегося в то время в отпуску. Однажды докладывают мне, что какой-то господин желает меня видеть по срочному делу.

— Просите!

В кабинет вошел молодой человек, благообразного вида, хорошо одетый. Скорбное выражение его лица меня сразу поразило; какая-то неподвижность в воспаленных глазах, морщинка печали между бровей, потрескавшиеся сухие губы — словом, такие лица мне приходилось наблюдать либо у глубоко потрясенных горем, либо у людей несколько суток подряд не спавших. Он тяжело опустился в предложенное кресло и тотчас же заговорил:

— Я приехал к вам по весьма грустному и совершенно интимному делу. У меня пропала жена. Я именно настаиваю на выражении «пропала», так как она не сбежала и не уехала от меня с кем-либо, а просто-таки исчезла в одно печальное утро.

Я удивленно поднял брови; он продолжал:

— Не удивляйтесь, я сейчас вам все объясню. Конечно, о самом факте исчезновения жены не может быть секрета, об этом уже знает вся родня и немалая часть наших друзей и знакомых; но тут имеются подробности, о каковых я буду вынужден вам упомянуть, усиленно прося вас о сохранении их в тайне.

— Об этом вы можете не беспокоиться. Расскажите, пожалуйста, возможно подробнее, как произошло это грустное событие, не упуская ничего, так как иной раз и несущественная на первый взгляд деталь дает ключ к искомой разгадке.

Мой посетитель, по врученной им мне карточке оказавшийся Александром Ивановичем Рыкошиным, принялся рассказывать.

— Пять лет тому назад я окончил училище правоведения и начал службу в Министерстве юстиции. Разделавшись со школьной скамьей и начав свободную самостоятельную жизнь, я со свойственным молодости пылом жадно набросился на всевозможные столичные удовольствия и, строго говоря, в течение добрых трех лет, что называется, прожигал жизнь. Чуть ли не все вечера я проводил

в излюбленном мною «Аквариуме», где положительно каждая собака меня знала. Однако в конце третьего года со мной случилось то, что обычно случается с людьми. Я встретил девушку моего круга, полюбил ее и вскоре женился. Тут для пользы дела я попытаюсь вам изобразить возможно точнее тип моей жены, отбрасывая, поскольку сумею, всякую к ней пристрастность. Мимочка (мою жену зовут Мария Александровна) принадлежит к тому сравнительно редкому сорту женщин, который наиболее близко подходит к моему идеалу. Воспитывалась она в Смольном институте, обожает цветы, танцы, шоколад миньон; духовной пищею ее являются по преимуществу французские романы. Она беззаботна, легкомысленна и о жизни, разумеется, не имеет ни малейшего представления. Огорчения не оставляют в ней глубокого следа. Всегда она свежа и весела, как майское утро, и, конечно, так называемые проклятые вопросы не смущают ее покоя. Выходя замуж, она была увлечена мною со всем свойственным ей обожанием и пылом. Первые месяцы нашего супружества протекли, как и полагается, вне времени и пространства. Прошлым летом я брал отпуск, и мы совершили с ней очаровательную поездку в Крым, прожили мы там два месяца, обзавелись кое-какими новыми знакомствами, затем вернулись в Петербург, где и провели всю зиму. В этом году я не смог взять отпуска; но, не желая оставлять Мимочку в душном раскаленном городе, я нанял ей дачу в Новом Петергофе, куда она и переехала еще в мае месяце. Аккуратно, каждую субботу, я приезжал к ней и оставался в Петергофе до понедельника. Однако должен вам покаяться, что поведение мое по отношению жены было безупречно. Оставшись на летнее время в Петербурге один и зажив снова, так сказать, на холостую ногу, мне захотелось тряхнуть стариной, и я снова зачастил в «Аквариум». Все шло гладко весь июнь. Как вдруг в начале июля, точнее говоря, три дня тому назад, довольно неожиданно приезжает Мимочка в город для какой-то примерки нового летнего платья и говорит мне:

— Знаешь, Шура, я решила остаться до завтрашнего утра, а сегодня вечером ты свези меня в «Аквариум». Я бы хотела посмотреть, что это такое. Я так много слышала и от Фифи, и от Зизи (ее подруги по институту), что меня положительно разбирает любопытство.

Я так и подпрыгнул. Напрасно принялся я уговаривать ее, выставляя ей всякие существенные и несущественные доводы, но нужно знать мою Мимочку: чем больше противоречишь ей, тем страстнее настаивает она на своем. В результате Мимочка расплакалась, растопалась на меня ножками и поклялась отравиться, если я не исполню ее требования. Сами понимаете, что оставалось делать! — и он широко развел руками. — В результате в двенадцатом часу ночи с сжатым сердцем и Мимочкой подъезжал я к «Аквариуму». Едва мы вошли в ворота сада, как со всех сторон меня почтительно приветствовали швейцары и лакеи. Я старатель-

но делал удивленное лицо, отвечая на их поклоны. Мимочка на меня подозрительно покосилась и сухо сказала: «Ты, Шура, здесь словно у себя в департаменте! Все тебя знают, все тебе кланяются». Я пробормотал нечто невнятное, что-то со ссылкой на прежние холостые времена. Мимочка промолчала. Но судьба меня решительно преследовала. На повороте какой-то аллеи, словно из-под земли, вдруг вынырнула Шурка Зверек, одна из петербургских див, и принялась меня радостно приветствовать ручкой. Мимочкины пальчики впились в мою руку. «Черт знает что такое! — сказал я громко. — Пьяна как стелька и принимает меня, очевидно, за другого». И на этот раз Мимочка удовлетворилась.

Проходя мимо открытой веранды ресторана, Мимочка непременно пожелала поужинать. Я было попытался отговорить ее, но Мимочка категорически мне заявила, что, в случае отказа, немедленно и публично разрыдается. Я, разумеется, уступил, но чтобы выиграть время, предложил ей поужинать после дивертисмента и повлек ее в так называемый «железный» театр. Тут я преследовал две цели: мне казалось, что в театре я буду более защищен от случайных встреч, а кроме того, успею в антракте сбежать в ресторан и оставить за собой столик в углу за колонной, подальше от нескромных и любопытных взоров.

Мимочка потащила меня в первый ряд, в середине которого мы и заняли места. Прижимаясь к Мимочке, я боязливо покосился направо и налево и с тоскою заметил несколько размалеванных, увы, чересчур знакомых лиц. Я, разумеется, не помню программы, не до нее мне было! Но Мимочка, впервые в жизни присутствуя в шантане, была в восторге и чуть не хлопала в ладоши. «Смотри, Шура, какая душка эта в «бебе». «Ну и бесстыжая!» — сказала она про какую-то шансонетку, пропевшую, задравши ноги, какой-то куплет, вроде:

Люблю мужчин я рыжих,
Коварных и бесстыжих...

Едва дождавшись антракта, я полетел заказывать столик, рекомендовав Мимочке сидеть на месте и отнюдь одной никуда не выходить. Пробыл я недолго и вернулся к Мимочке с несколько облегченным сердцем. На мое радостное заявление, что столик оставлен, Мимочка реагировала довольно неожиданно и своеобразно: «Вези меня сию же минуту домой, негодяй!» Не пытаясь получить объяснение и изобразив на своем лице приветливую улыбку, я кренделем подставил руку Мимочке и вышел с ней из зала. Но в этот вечер, повторяю, мне решительно не везло, словно все сговорилось против меня. При выходе из сада дурак швейцар, любезно приподняв фуражку, осведомился: «Прикажете, Александр Иванович, крикнуть Михайлу?» И, не дождавшись моего ответа, завопил во всю глотку: «Михайло, подавай для Александра Ивановича!» Обычно возивший меня лихач осадил серого в яблоках, и мы с Мимочкой тронулись. Слезам, упрекам, крикам не было конца!

Оказалось, что, едва я оставил Мимочку в театре, как справа к ней подлетела девица и сказала: «Ты, я вижу, здесь новенькая, так вот тебе мой совет: не марьяж ты этого Шурку, все равно ничего у тебя с ним не выйдет. Он тут чуть ли не каждый вечер хороводится с Шуркой Зверьком». Когда я стал оправдываться и нести какую-то ерунду, Мимочка окончательно потеряла самообладание, истерично взвизгнула и закатила мне пощечину. А тут, как на грех, вздумалось этому болвану Михайле, слышавшему одним ухом нашу ссору, выразить мне вдруг свои дурацкие соболезнования. Повернувшись вполоборота и покачав головой, он выпалил: «Эх, Ляксандра Иванович, много мы с вами за это время бабья разного поперевозили, а эдакой ядовитой еще ни разу не попадались!»

Трудно передать то состояние, в котором я довез Мимочку до дому. Дома истерики, крики, слезы продолжались до позднего утра; наконец, Мимочка, обессилев, как показалось мне, уснула. Я, чуть дыша, вышел из комнаты, прошел к себе, разделся и, с наслаждением опустившись в ванну, принялся обдумывать свое пиковое положение. Но сколько я ни думал, ничего утешительного не приходило на ум. «Черт знает что такое! — бормотал я. — Ведь осенила же Архимеда гениальная мысль в ванне, неужели же я не разрешу удовлетворительно столь обычного житейского казуса?!» Увы, кроме банального приема, практиковавшегося еще нашими дедами в подобных случаях, я ничего изобрести не мог. Короче говоря, я решил отправиться к Фаберже и купить Мимочке давно нравившееся ей кольцо. Одевшись, не торопясь, я на цыпочках прошел в прихожую и вышел на лестницу. Но каково было мое удивление, когда швейцар Иван, здороваясь со мной, сказал: «А барыня минут десять тому назад как вышли-с!» — «Куда вышли?» — «Не могу знать, сели на извозчика с чемоданчиком в руках и уехали-с».

Как сумасшедший, вбежал я обратно в квартиру и убедился в Мимочкином отсутствии. Прислуге она ничего не сказала и распоряжений никаких не оставила.

Первой моей мыслью было, что Мимочка отправилась в Петергоф, и я полетел на Балтийский вокзал. Но, продежуриив на нем больше часу и пропустив три поезда, я Мимочки не заметил. Тут же с вокзала я позвонил по телефону и на Петергофскую дачу, и к себе на квартиру, но результаты были те же. Я кинулся ко всем знакомым, но никто не видал Мимочки. Побывал я в Царском, Павловске, Гатчине и Ораниенбауме, словом, у всех тех, куда, по моему мнению, могла скрыться Мимочка, но нигде ее не было. Наконец, я послал телеграмму в Новгородскую губернию, в имение ее родителей, и вместо ответа, сегодня утром, ко мне пожаловали приехавшие оттуда мои тесть и теща. Им пришлось вкратце и по секрету рассказать о нашей эскападе в «Аквариум». Горе стариков не поддается описанию, а так как характер моей тещи оставляет желать многого, то в результате, назвав меня мальчишкой, ослом

и убийцей, она немедленно направила меня к вам. Впрочем, по всей вероятности, вы увидите их обоих сегодня же, и я заранее прошу вас меня извинить за те неприятные минуты, что, конечно, доставит вам эта потрясенная и невыдержанная женщина...

Начались поиски Мимочки, был обшарен весь Петроград, запрошен Московский адресный стол, но следов никаких. Конечно, Мимочка не рисовалась мне натурой героической, и я не предполагал самоубийства, но тем не менее все трупы молодых женщин, извлеченных за это время из Невы, Фонтанки и прочих водных бассейнов, все трупы повесившихся, застрелившихся и отравившихся аккуратно сличались с Мимочкиной фотографией, переданной мне ее мужем. Прошла неделя, другая, третья, но Мимочка как в воду канула. Я близко принял к сердцу это дело, так как образ Мимочки мне рисовался почему-то в необыкновенно привлекательных тонах. Мне было жаль этой почти девочки, столь грубо познавшей житейскую грязь.

Рыкошин говорил правду: Мимочкина мать оказалась не только «динамитной тещей» (выражение нашего талантливого публициста А. Яблоновского), но и вообще «динамитной» женщиной. Чуть ли не ежедневно, пока шел розыск, она бомбой влетала ко мне в кабинет и либо потрясала воздух громкими рыданиями, ломая руки и рвя на себе волосы, либо с саркастическим смехом принималась мне доказывать, что петербургская сыскная полиция ломаного гроша не стоит, праздно коптит небо и состоит сплошь из чудовищно холодных и бессердечных людей.

За это время бедный Рыкошин заметно осунулся и даже легкая седина подернула его волосы.

Но вся эта история, казавшаяся трагедией, вдруг разрешилась самым неожиданным и благополучным образом.

Однажды, как-то утром, примерно месяц спустя после исчезновения Мимочки, влетает ко мне в кабинет радостный, ликующий Рыкошин и, потрясая над головой каким-то конвертом, с криком «нашлась, нашлась беглянка» падает в кресло. У меня радостно екнуло сердце.

— Представьте себе, какой номер она выкинула! — заговорил он поспешно. — Взяла да и махнула в Екатеринославскую губернию, к некоей Вере Ивановне Кременчуговой. Это та самая дама, с которой мы познакомились в прошлом году летом в Крыму. Она тогда еще звала нас к себе на хутор и этой зимой как-то мельком повторила приглашение в одном из своих писем. Мимочка не удосужилась даже ей ответить и, конечно, сознательно избрала это убежище, зная, что мне и в голову не придет мысль разыскивать ее там, тем более что и точного адреса Кременчуговой я не знал до сегодняшнего дня. Но все хорошо, что хорошо кончается, и я, возблагодарив небо, с первым же поездом мчусь за Мимочкой. Я просто не знаю, как и благодарить вас за оказанное мне содействие; ведь немало хлопот, говоря по совести, я вам доставил своим делом.

— Помилуйте, это мой долг, и благодарить меня не за что, тем более что я ничем не смог быть вам полезным.

— Во всяком случае, рассчитывайте, пожалуйста, на меня, и в свою очередь, если в чем-либо понадобится моя помощь, я с благодарностью предоставляю себя в ваше распоряжение.

— Прекрасно! Ловлю вас на слове. Не откажите мне, пожалуйста, в следующей просьбе: разрешите прочитать только что полученное вами письмо, если это не будет вам слишком неприятно?

— Сделайте одолжение, пожалуйста, для вас тут никакой тайны нет!

Как я и предполагал, Мимочкино письмо оказалось своего рода *chef-d'œuvre* женского стиля, логики и последовательности. Я с глубоким интересом его прочел и взмолился:

— Ради Бога, подарите мне это письмо!

Он несколько удивился:

— А, собственно говоря, зачем вам оно?

— Скажу вам совершенно откровенно: лет через 15—20, выйдя в отставку, я предполагаю написать и издать мои мемуары. Ваш случай кажется мне настолько оригинальным, что о нем я непременно упомяну в них, не называя, конечно, настоящих имен. У меня есть мой личный архив, где я собираю заранее материалы. Вот почему я прошу вашего разрешения воспользоваться письмом.

Рыкошин немного подумал и сказал.

— Ну, что ж? Пожалуйста. Я ничего не имею против. Я рад хоть чем-нибудь быть вам полезным.

Затем он пожал мне руку, еще раз поблагодарил и веселым, счастливым вышел из кабинета.

Я откинулся на спинку кресла, взял Мимочкино письмо и снова внимательно перечел его. Привожу его почти дословно.

«Шура!

Я не хотела писать тебе до самой своей смерти, но затем изменила свое решение, главным образом, под влиянием милой Веры Ивановны Кременчуговой, у которой я живу вот уже месяц. Ты всем ей обязан, а потому и должен ее соответственно отблагодарить: зайди к Scipion и купи ей две пары перчаток *gris-perle* № 37 с четвертью, о которых она давно мечтает, а также любимых ее духов *Syclamen* и моих всегдашних *Sœur de Jeanette*, которые у меня совсем-совсем на исходе.

С той кошмарной ночи я пережила страшную драму. Сначала я хотела покончить с собой, а затем сказала себе: вот тоже! С какой стати? Ты изменяешь мне, а я буду лишать себя жизни? Я отбросила это решение и приняла другое: я решила убить тебя, а потом сообразила, что раз ты будешь мертвецом, то ни мучаться, ни чувствовать не станешь. Это меня не устраивало, так как я жаждала и жажду мести. Обдумав все хорошенько, я выбрала другой способ и возымела намерение отплатить тебе тем же. С подобными мыслями я приехала к мало, в сущности, мне знакомой

Вере Ивановне, где, конечно, ты не смог бы разыскать меня. Но, представь себе, на мое несчастье, здесь не оказалось ни одного сколько-нибудь стоящего внимания мужчины: один батюшка да сельский учитель, — я же всегда имею en haut long длинноволосых мужчин, причем от батюшки нестерпимо пахнет ладаном, а от учителя — чем-то совсем отвратительным, вовсе не напоминающим Шург'а нашего Сержа.

Вера Ивановна оказалась милейшей, образованнейшей и умнейшей женщиной. Я во всех подробностях рассказала ей о случившейся со мной беде, и она, опираясь на науку, доказала мне, что если с твоей стороны и имеется вина, то все же ты заслуживаешь некоторого снисхождения. Указав на поле, она сказала: «Мимочка, сосчитайте, сколько коров в этом стаде». Я сосчитала и говорю: «Двадцать один, Вера Ивановна», — а она говорит: «Нет, Мимочка, здесь 20 коров и один бык, вот видите — тот черный, без вымени? Это бык». Ты понимаешь, что при моей близорукости я не могла рассмотреть этой сельскохозяйственной детали. «Так вот, Мимочка, двадцать коров и один бык. Вот что говорит нам природа. Или вот, Мимочка, взгляните на двор. На нем бродит десять кур и один петух». Я посмотрела и увидела прелестного Шантеклера, совсем наш душка Глаголин. Он то останавливался, гордо задрав голову, то выпячивал грудь и принимался как-то странно лягаться, царапая землю, после чего поспешно заглядывал в разрытую ямку, что Бог ему послал, и подзывал к себе кур. «А вот видите пруд? Там на берег вылезают пять уток и зеленоголовый селезень?» В это время селезень, как нарочно, стал на дыбы, присел на хвостик и усиленно хлопал крыльями, стряхивая воду. «Вот видите, Мимочка, — продолжала она, — двадцать коров, десять кур, пять уток, но один бык, один петух, один селезень. Таковы веления природы, и вы не должны сердиться на вашего Шуру». Я несколько обиделась. «Позвольте, — говорю, — Вера Ивановна, но ведь Шура и бык — это разные вещи!» — «Полноте! — отвечает она. — Такое же млекопитающее существо, с теми же инстинктами». Поколебленная авторитетным тоном Веры Ивановны и приведенными ею примерами, я призадумалась: ведь не находят же странным сельские хозяева эту интимную связь одного быка с целым стадом коров, и не только не находят, а даже как бы поощряют ее, прокармливая и содержа быка. Словом, — много-много над этим я думала и в результате нашла возможным написать тебе. Не подумай, что я тебя простила — о, нет! Но в этой глуши так скучно, что я разрешаю тебе приехать за мной возможно скорее, для чего и прилагаю тебе подробный адрес.

Глубоко оскорбленная тобою

Мимочка.

P. S. Не забудь захватить с собой духи, перчатки и конфеты».

Перечитав это письмо, я впал в задумчивость. Со дна души вставали давно забытые образы, вспоминалась канувшая в вечность

юность, когда мозг, не отравленный скептицизмом, позволял смотреть на жизнь сквозь розовые очки; вспоминалось невозвратное время, когда так хотелось верить, что юные красивые девушки питаются лишь незабудками да утренней росой. В кабинете моем было тихо, и лишь с Мимочкиной фотографии, стоявшей на письменном столе, глядели на меня большие доверчивые глаза, прелестно очерченный ротик мне ласково улыбался, а от разложенных листков письма чуть доносился нежный, слегка пьянящий аромат Cœur de Janette'a.

СОВРЕМЕННЫЙ ХЛЕСТАКОВ

Как-то на одном из очередных докладов чиновник Михайлов заявил:

— Сегодня мной получены от агентуры довольно странные сведения. Дело в том, что в темных кругах всевозможных аферистов царит какое-то ликование: передаются слухи, будто бы какому-то предпринимчивому мошеннику удалось околпачить одного из приставов, разыграв перед ним роль великого князя Иоанна Константиновича.

— Что за чепуха! Какого великого князя? Да, наконец, Иоанн Константинович и не великий князь, а князь просто!

— Точного ничего не могу вам доложить, г. начальник. Однако слухи упорны, и я уже приказал разузнать все подробно.

— Да, пожалуйста! Выясните это и немедленно мне доложите.

— Слушаю!

Дня через три Михайлов мне докладывал:

— Мошенник, проделавший эту дерзкую штуку, задержан и оказался известным уже полиции аферистом Александровым, давно лишенным права въезда в столицы. По имеющимся сведениям прошлое его таково: из вольноопределяющихся, со средним образованием, ловкий, элегантный, с безукоризненными манерами.

— Позовите его ко мне.

К этому времени в Москве действовало обязательное постановление градоначальника, в силу которого прибывающие в нее, но не имеющие на то права подлежат трехмесячному тюремному заключению с заменой в некоторых случаях ареста штрафом в размере 3000 рублей.

В кабинет вошел высокий стройный малый, худощавый блондин, несколько напоминающий продолговатым овалом лица князя Иоанна Константиновича.

— Каким образом, Александров, вы опять в Москве?

— Ах, г. начальник, простите меня, ради Бога, совершенно случайно, проездом; но я, честное слово, сегодня же намеревался уехать!

— Ну, о трех месяцах мы поговорим позже. А что это за мошенничество с приставом? Что это за дерзкое превращение в великого князя.

— Да тут никакого мошенничества не было! Это просто глупая с моей стороны шутка.

— Что и говорить, шутка не из умных! Но извольте подробнейшим образом рассказать, как было дело.

Александров, несмотря на охватившую его тревогу, широко улыбнулся своим воспоминаниям и принялся рассказывать.

— Сижу я как-то на днях кое с кем из приятелей в ресторанчике. Едим, пьем да жалуемся на судьбу: насчет денег — слабо, впереди никаких перспектив. И принялись мы вспоминать доброе старое время, чуть ли не детство. Вспомнил и я мою службу в конном полку, ученья, парады и пр. Заговорили и о высочайших особах, в нем служивших, об их простоте, обходительности и приветливости. Слово за слово, то да се, и не знаю, как это произошло, но вдруг меня пронзила шальная мысль: «Эх, хорошо бы побывать в положении великого князя хоть день, хоть час!» Я на решения вообще прыток, так было и тут. Живо созрел план в голове, и я принялся приводить его в исполнение. Мне говорили, что пристав Петровско-Разумовской части К. — человек доверчивый, честолобивый, трепещущий перед начальством. Остановив свой выбор на нем, я позвонил в часть.

— Это говорит начальник дворцового управления, генерал Маслов, — сказал я, — позовите к телефону пристава К.

Вскоре подошел и пристав.

— Вот что, г. пристав. С вами говорит начальник дворцового управления. Я получил сведения, что великий князь Иоанн Константинович, приехав в Москву, намеревается завтра в 2 часа дня посетить парк и музей в Петровско-Разумовском. Имейте это в виду и организуйте охрану его высочества, но заметьте, что великий князь соблюдает строжайшее инкогнито, а потому никаких встреч, приветствий и т. д. Одет он будет в статском платье, в синем пиджаке, на голове канотье, тросточка с серебряной ручкой. Его высочество высок, худ, строен. Для большей простоты и неузнаваемости он приедет на паровой конке и выйдет у Соломенной Сторожки, после чего изволит направиться пешком в парк. Для лучшего соблюдения тайны не сообщайте ничего вашему ближайшему начальству, а градоначальника я предупрежу лично.

— Слушаю, ваше превосходительство, все будет исполнено! — послышался ответ пристава, и я отошел от телефона. После этого разговора меня охватила робость: уж не плюнуть ли на это дело? Но любопытство и озорство взяли верх, и на следующий день ровно в два часа я подъезжал в конке к Соломенной Сторожке. Окинув местность беглым взглядом, я заметил в стороне застывшего на месте пристава в мундире и белых перчатках. Придав себе равнодушно-фривольный вид, я, посвистывая и покручивая тросточкой, направился к парку. На каждом перекрестке, чуть ли не на каждом шагу торчали околоточные и городовые. Они пожирали меня глазами, но, получив, видимо, соответствующий приказ, не козыряли. Впрочем, был случай, что один из городских козырнул было, но, спохватившись, быстро отдернул руку и глупо затоптался на месте. Пристав, словно тень Гамлета, преследовал меня по пятам: я слы-

шал за своей спиной почтительное сопение, я останавливался — и шаги за мной замирали, когда же я оборачивался, то пара бессмысленных глаз в меня впивалась, и пристав, замерев на месте, вытягивался в струнку. Таким образом, мы прошествовали до парка. Здесь, подойдя к пруду и увидя несколько привязанных лодок, мне страшно захотелось покататься. Денег же у меня, г. начальник, ровно на конку. Поколебавшись, я обернулся и поманил к себе пальчиком пристава. Сажеными шагами подбежал он ко мне и вытянулся.

— Ах, Бога ради, г. пристав, опустите руку, не надо парадов, — сказал я. — Сегодня я для вас частный человек. Скажите, как быть? Я хотел бы покататься в лодке?

— Господи, ваше императорское высочество! Да только прикажите, — я сочту за величайшую честь лично покатасть вас! — засуетился он.

— Ну, что же, пожалуйста! Благодарю вас.

И вот мой пристав, сдернув перчатки, уселся за весла. Ну, тут уж я над ним поизмывался, господин начальник! Солнце печет, весла тяжелые, пристав в мундире. Эдак я промANEжил его часа два и прекратил катание, серьезно опасаясь апоплексического для него удара. В конце прогулки я выразил свою «высочайшую» волю:

— Скажите, г. пристав, не имеется ли здесь поблизости порядочного ресторана? Я проголодался и хотелось бы поесть?

— Нет, ваше императорское высочество, ресторанов приличных здесь нет, но... но... Нет, впрочем, я не смею! Это была бы для меня чересчур большая честь!..

— Ничего, ничего, не стесняйтесь, говорите, в чем дело? — поощрял я его.

— Ваше императорское высочество! Если бы вы соблагородили осчастливить меня и мою семью своим высоким посещением и не побрезговали бы у меня откусать — это было бы для меня таким, таким счастьем!!

— Ну, что же, вы очень любезны, благодарю вас, я охотно принимаю ваше предложение.

Лицо пристава расплылось в счастливую улыбку.

— Премного-премного благодарен вашему императорскому высочеству! — и, причалив к берегу, он почтительно высадил меня из лодки. Он как-то свистнул, и из-под земли, вернее, — из-за ближайших деревьев, высыпало несколько полицейских чинов. Он шепнул им что-то на ухо, и городовые и околоточные пустились как ошалелые в разные стороны.

— Ваше императорское высочество, — сказал мне пристав, — извольте осмотреть местный музей, а через полчаса завтрак будет готов.

И действительно, когда я, побродив по музею, явился к нему минут через сорок, то застал стол, уставленный яствами. Ну, и закатил же мне пристав пир! Давно я, г. начальник, так не едал и не пивал! Встречу мне закатили просто фу-ты ну-ты: приставша

в бальном декольтированном платье, он в мундире при орденах, детишки вымыты и расчесаны. Не успел я перешагнуть порог прихожей, как граммофон заиграл «Боже, царя храни». Я шел по комнатам и милостиво кивал наспех набранной прислуге. Наконец, мы уселись за стол. Пристав долго не соглашался сесть, но в конце концов подчинился моим настояниям. Сначала я чувствовал себя преглупо: мне смотрели в рот, стремясь предугадать мое малейшее желание, но несколько рюмок водки сделали свое дело, и атмосфера стала менее напряженной.

Приставша, кстати сказать, — препикантная брюнетка, вначале робевшая, выпив несколько бокалов шампанского, вспомнила, видимо, о своих женских чарах и не без жеманства принялась беседовать. Темой своего разговора она выбрала стихи августейшего поэта К. Р. — моего «царственного родителя», по ее выражению. Я почувствовал себя отвратительно, так как в поэзии вообще ничего не смыслю, а стихов К. Р. не знаю вовсе. К счастью, выручил пристав. Ему пришла в голову мысль провозгласить тост. Ну, и загнул же он, г. начальник, нечто исторически витиеватое! Начал с призвания Романовых, скользнул по Петру Великому, вспомнил и Отечественную войну, и крамольное восстание декабристов в царствование моего «державного венценосного прадеда», и о заслугах на Кавказе «моего деда, блаженной памяти великого князя Константина Николаевича» и пр., и пр., и пр. Я поразился было глубине его познаний, впрочем, университетский значок на его мундире объяснял несколько обширность этих исторических сведений. По мере того как опустошались бутылки, я все более и более входил в свою роль и к концу завтрака я и на самом деле чуть не вообразил себя императорской особой. Изредка я ронял фразы вроде: «Мой прадед император Николай Павлович придавал большое значение полиции» или «императрица-мать с большим вниманием следит за деятельностью учреждений ее ведомства». Благодаря хозяев за отличный завтрак, я сказал: «Мне бы хотелось оставить вам память о своем сегодняшнем пребывании, а посему я прикажу заведующему моим двором прислать вам, сударыня, бриллиантовую брошь, ну, а вам, г. пристав, золотые часы с гербом и соответствующей надписью».

Услышав это, приставша просияла и сделала мне, как ей казалось, придворный реверанс; а пристав, обалдев от душившего его восторга, кинулся вдруг и прильнул губами к моей «ручке». Ну тут, г. начальник, и я даже растерялся. Однако, оправившись, я стал соображать: «Все это прекрасно, завтрак был, конечно, на славу, но хорошо бы перехватить и деньжат». Вынув новенький бумажник и раскрыв его, я деланно изумился: «Ах, какая досада! Эта вечная привычка платить за все не лично, а через контору, — в результате когда требуются деньги, то под рукой их не оказывается».

— Помилуйте, ваше императорское высочество, не извольте беспокоиться! — воскликнул пристав, хватаясь за бумажник. — Сколько прикажете?

— Ну, что же! Буду вашим должником, — сказал я, снисходительно улыбнувшись. — Я беру у вас 100 руб. и прикажу прислать их с часами.

И свалил же я дурака, г. начальник! Мог бы и тысячу выудить, да как-то язык сболтнул не ту цифру.

— Эти деньги я хочу, уходя, раздать вашей прислуге, — сказал я пристава и спрятал сторублевку в карман.

Между тем слух о моем пребывании распространился, и когда я выходил от пристава, то застал у подъезда целый наряд полиции; тут же был приготовлен и автомобиль.

Вдруг откуда-то вынырнула женщина с ребенком на руках, и не успели городовые опомниться, как она бросилась к моим ногам.

— Тебе что, голубушка? — сказал я ей ласково.

— Ваше величество, явите Божескую милость, не оставьте сирот, — взмолилась она, — не дайте погибнуть!

— Да что тебе нужно? Кто ты такая?

— Да я жена стражника Михайлы Ворошилова. Он, изверг, бросил и меня и ребенка. Деваться некуда, хоть помирай с голоду. Заставьте век за вас Бога молить!

— Послушайте, г. пристав, запишите ее имя. Я по приезде в Петербург поговорю с его высочеством принцем Александром Петровичем и, надо думать, устрою ее ребенка в один из приютов. Да, кстати, составьте, пожалуйста, список полицейских чинов сегодняшнего наряда! Я желаю пожаловать околоточным надзирателям серебряные часы, ну, а городовым — хотя бы медали «за усердие».

Желая соблюдать инкогнито, я отказался от автомобиля и, благословляемый всеми, пешком направился к Соломенной Сторожке, где, усевшись в конку, отбыл в город.

Вот и все, г. начальник, какое же тут мошенничество?

— Самое настоящее, и я даже сказал бы, квалифицированное, так как для выполнения вашей преступной проделки вы воспользовались именем высочайшей особы. Ну, вот что. Суд разберется в этом деле; что же касается вашего незаконного пребывания в Москве, то обещаю вам сократить трехмесячный срок заключения до одного месяца, но при условии, что вы в точности повторите ваш рассказ в присутствии пристава К.

— Ох, г. начальник, избавьте меня от этой тягостной сцены!

— Как вам угодно, я сказал вам мои условия, а там ваше дело.

Александров поколебался немного, но заявил:

— Что ж, раз это необходимо, — я согласен.

На следующий день я вызвал к себе пристава К. Явился он в мундире и, не без некоторой тревоги, вошел ко мне в кабинет.

— Садитесь, пожалуйста. Скажите, правда ли, что князь Иоанн Константинович на днях посетил Петровско-Разумовское?

— Как же-с, г. начальник, я был удостоен высочайшего посещения, — сказал не без самодовольной улыбки пристав.

— Ах, вот как?! Какая, право, досада, что я вовремя не узнал о приезде его высочества.

— Да, конечно, но великий князь соблюдал строжайшее инкогнито.

— Скажите, всем ли он остался доволен, не было ли замечаний.

— О, нет! Все прекрасно обошлось, и даже его высочество изволил у меня откусать.

— Да что вы говорите?!

— Так точно, г. начальник, и более того: великий князь обещал пожаловать мне золотые часы, а жене бриллиантовую брошь.

— Вот как?! А не обещал ли великий князь пожаловать вас гофмейстером?

— То есть как это — гофмейстером?

— Эх вы, доверчивый человек! — и я, позвонив, приказал ввести Александра.

При его появлении К. сначала подпрыгнул, а затем, упав в кресло и раскрыв рот, бессмысленно на него уставился.

— Расскажите, Александров, как было дело.

И Александров подробно принялся за рассказ. Пристав, то краснея, то бледнея, внимательно слушал его, не шевелясь, точно в столбняке. Но когда рассказчик добрался до «ручки», то он не выдержал:

— Ну, уж нет! Вот это он врет! Ничего подобного не было, не верьте ему, г. начальник!..

Александров в административном порядке был выслан в Пермскую губернию.

Но коварная судьба решительно преследовала несчастного К. Надо же было случиться, что вскоре после истории с «великим князем» главноуправляющий земледелия А. В. Кривошеин пожелал посетить Петровско-Разумовское. И каково было удивление градоначальника Андрианова, когда на его телефонное распоряжение приставу он услышал от последнего в ответ:

— Иди ты к черту со своим главноуправляющим! Раз поймали — и будет! Стара шутка!

Конечно, история разъяснилась, и К. отделался лишь понижением по службе.

Много позднее, уже в Крыму, во времена Врангеля, я встретил бедствующего К. и устроил его помощником начальника охраны одного из крымских городов. Я спросил его:

— Скажите по совести, теперь — дело прошлое, — целовали вы «ручку» или нет.

К. и тут принялся отнекиваться, но я, грешный человек, склонен думать, что не обошлось тогда без «лобзания длани».

КАК БЫЛО НАЙДЕНО ТЕЛО РАСПУТИНА

После больших колебаний приступаю я к этому очерку. Мне не хотелось касаться в моих воспоминаниях пресловутой фигуры Распутина, этого злого гения России, послужившего обильной пищей для мировых насмешек над нею. Мне не хотелось говорить о нем еще и потому, что мрачная тень этого проходимца отбрасывалась и на моего покойного Императора и на тот политический строй, верным служителем которого я был всю мою жизнь.

Но я изменил свое решение. Упомяная, в связи с Распутиным, о темных страницах ушедшего режима, я не умаю его престижа: Россия царей — не боится истины!

В одно декабрьское утро 16-го года Петроград проснулся и был потрясен известием: Григорий Распутин, эта живая притча во языцех, бесследно исчез! Известие казалось невероятным, так как все знали, какой бдительной охраной был окружен тюменский конокрад. Между тем известие подтвердилось и исчезновение Распутина стало фактом.

Я не берусь описывать того ликования, которым был охвачен Петроград! Не только люди, принимавшие хотя бы и самое отдаленное участие в политической жизни страны, трубили победу, но и рядовые обыватели ликовали, радуясь происшедшему. Я, как частный человек, разделял общее настроение, но не считал своей служебной обязанностью труд по розыску исчезнувшего. Я ведал уголовным розыском империи, исчезновение же Распутина было, несомненно, явлением политическим. К тому же охрана Григория была поручена особому отряду чинов охранного отделения, во главе с известным жандармским полковником Комиссаровым, впоследствии генерал-майором артиллерии, одно время ростовским градоначальником и, наконец, большевистским провокатором на Балканах.

Между тем последовало срочное распоряжение министра внутренних дел Протопопова, которым мне предлагалось напрячь все силы сыскальной полиции для розыска Распутина.

Подчиняясь этому приказанию, я вызвал к себе в департамент начальника Петроградской сыскальной полиции Кирпичникова и предложил ему начать поиски.

Личность Распутина была до того всем отвратительна, что даже строго дисциплинированные чины сыскальной полиции возроптали.

Это был первый случай небеспрекословного подчинения, наблюдаемый мною за двадцать лет моей службы в полиции. Кирпичников сообщил по телефону, что среди пятидесяти человек, выбранных им для этого дела, слышались протесты. Агенты кричали: «Очень нам нужно разыскивать всякую дрянь! Исчез — ну и слава Богу!» и т. п.

Я лично поехал на «усмирение» этого своеобразного «бунта». Обратясь к агентам, я заявил им, что требую немедленно приступить к делу, что долг их повелевает исполнять беспрекословно распоряжения начальства, что присяга, ими принятая, — дело священное и т. д. Из толпы послышались голоса: «Раз охранники его упустили, пусть теперь сами и разыскивают!»

Наконец, «бунт» был прекращен, и отобранные люди принялись за розыски.

В дальнейшем, рассказывая о перипетиях, связанных с нахождением тела Распутина, я изложу все то, чему я был свидетелем, равно как и все то, что стало мне известно со слов прокурора Петроградского окружного суда Ф. Ф. Нандельштедт.

Городовой, дежуривший близ дворца князя Юсупова, ночью услышал выстрелы, произведенные, как ему показалось, во дворце. Вскоре за этим городовой был позван во дворец, где его встретил какой-то господин, не вполне в трезвом виде, назвавшийся депутатом Пуришкевичем, и заявил: «Ты Россию любишь?» — «Так точно, — люблю». — «И желаешь ей добра и счастья?» — «Так точно — желаю». — «Так знай, что сегодня убит Гришка Распутин!»

Городовой донес обо всем этом дежурному приставу, тот далее по начальству, после чего утром было приступлено к дознанию в присутствии прокурора Ф. Ф. Нандельштедт. При осмотре дворца были обнаружены следы крови на ступеньке небольшой боковой двери и сгустки ее по снегу, от этой двери до решетки ворот. Присутствие этой крови прислуга объяснила тем, что молодой князь застрелил на дворе собаку, труп которой на следующий день был представлен в полицию.

В тот же день прокурор Петроградской судебной палаты С. В. Завадский и Ф. Ф. Нандельштедт были вызваны к министру юстиции А. А. Макарову для представления сведений о данных, добытых дознанием. В прихожей у Макарова они заметили на вешалке серую походную шинель с погонами пажецкого корпуса и тут же порешили, что у министра находится князь Юсупов, имя которого стоустая молва связывала с исчезновением Распутина. Они не ошиблись: Юсупов действительно находился в приемной, куда вошли прокуроры. Он казался взволнованным и мрачно настроенным. Вскоре князя пригласили в кабинет министра. Это обстоятельство несколько удивило представителей прокурорского надзора: правда, Юсупов приехал раньше их, но польза дела, во-первых, его годы, во-вторых (он выглядел лет 22—23-х), должны были подсказать Макарову принять прокуроров

палаты и суда ранее его. Беседа министра юстиции с кн. Юсуповым продолжалась недолго, минут десять примерно, после чего князь вышел из кабинета уже совершенно спокойным, без всяких признаков своего прежнего угнетенного настроения и, обращаясь к ним, сказал: «Позвольте представиться, я князь Юсупов и приезжал к Александру Александровичу, очевидно, по тому же делу, по которому вызваны и вы. Мы переговорили с ним, и он даст вам соответствующие указания». Юсупов уехал, а прокуроры прошли к министру.

Ф. Ф. Нандельштедт не помнит точных слов министра, но смысл разговора был таков, что до тех пор, пока полиции не удастся обнаружить местонахождение Распутина, следственным властям не следует вмешиваться в это дело. Тут же Макаров по телефону справлялся у директора департамента полиции Васильева, не найден ли Распутин, и, получив отрицательный ответ, министр совместно с прокурорами окончательно решили держаться такой именно линии поведения. Министр заявил, что верит словам князя Юсупова, отрицавшего свою прикосновенность к этому делу.

Дня через два полиция, как известно, нашла сначала галошу Распутина на одном из мостов Малой Невки, а затем и его тело, примерзшее подо льдом шагах в 20—30-ти от этого места. Прокурорский надзор был об этом извещен. Ф. Ф. Нандельштедт со следователем по важнейшим делам Середой поехали к месту находки трупа, где я уже находился. У Ф. Ф. Нандельштедта осталось об этой поездке странное воспоминание как о чем-то весьма сумбурном, мало похожем на обычное следствие, а скорее не то на какой-то скандал, не то на увеселительную прогулку. У меня осталось такое же впечатление.

Приехав на Малую Невку, мы застали уже там чуть ли не все власти Петрограда. Кого-кого тут только не было! И градоначальник, и его помощники, и полицеймейстеры, и жандармские генералы, и даже представители совершенно посторонних ведомств, словом — чуть ли не весь правительственный синклит вкупе. Некоторые из присутствующих сочли почему-то нужным явиться в полной парадной форме.

Тело Распутина лежало на льдине, примерзнув к ней в позе лицом вверх, с высоко поднятой правой рукой, точно не то кому-то угрожающей, не то благословляющей кого-то. Григорий был в шелковой синей рубашке, вышитой по воротничку желтым шелком (вышивка, как утверждали, весьма высокопоставленных рук). На теле его было обнаружено три огнестрельных раны, из которых одна была смертельной.

Тело временно отправили в Выборгский приемный покой, где фотограф сыскной полиции сделал с него много снимков. Целый альбом, относящийся к этому делу, хранился у меня и был мною уничтожен, когда в Петербурге пошли повальные обыски.

Ввиду сильного мороза, собравшимся властям пришлось для составления надлежащих актов воспользоваться гостеприимством

некоего г. Дамм, переименовавшего свою фамилию во время войны на Атаманова. Его дом находился тут же на берегу Петровского острова. Г. Атаманов был, видимо, польщен таким неожиданным наплывом высокопоставленных лиц и пожелал принять их на славу.

Когда, осмотрев труп Распутина, мы вошли к нему в дом, то застали здесь приготовленный стол для завтрака. Среди общего говора и шума все время раздавались звонки по телефону. Это поочередно звонили то министр юстиции Макаров, то министр внутренних дел Протопопов. Оказывается, что и эти высшие сановники бурно переживали факт находки тела Распутина.

Они вступили друг с другом в спор, куда перевозить труп Григория. В случаях обыкновенных этот простой вопрос разрешался следователем, выезжающим на место осмотра. Но в данном случае дело шло о сказочном Распутине, а потому все происходило необыкновенно. Макаров по телефону говорил спокойно, предлагая перевезти тело в анатомический театр Военно-медицинской академии. Но Протопопов, впад чуть ли не в истерику, визгливо покрикивал на полицеймейстера генерала Галле, требуя от последнего особой изобретательности. Дело в том, что, по мнению Протопопова, оставлять тело Распутина в городе было опасно, ибо это могло будто бы вызвать рабочие волнения и беспорядки, и потому следует перевезти его куда-либо за город, по дороге в Царское Село. Генерал Галле долго терялся в поисках, удовлетворяющих задание министра внутренних дел, и, наконец, остановился на часовне Чесменской богадельни, отстоявшей в восьми верстах от города, как раз по дороге в Царское Село.

К вечеру перевоз тела туда и состоялся.

Поклониться телу Распутина приезжали на автомобиле какие-то дамы из Царского Села, лица которых были скрыты густыми вуалями.

Когда тело было найдено, возбудили производство предварительного следствия.

Вскоре, по высочайшему повелению, князь Юсупов был выслан из Петрограда в свое курское имение, а великий князь Димитрий Павлович, принимавший якобы участие в убийстве Распутина, был отправлен на Кавказский фронт. Пуришкевич тотчас же уехал в действующую армию, где, работая в созданных им питательных пунктах, заслужил себе добрую славу.

В правительственной чехарде сенатор Добровольский успел перепрыгнуть через Макарова и занял пост министра юстиции. По вступлении в должность он вызвал к себе Ф. Нандельштедта для доклада по делу убийства Распутина.

Следствие по этому делу осложнялось тем обстоятельством, что тут замешан был великий князь, по действующим основным законам не подсудный суду общему, а лишь суду самого императора. С другой стороны, в нашем судопроизводстве существовал незыб-

лемый принцип, что при подсудности одного из обвиняемых суду высшему остальные обвиняемые по тому же делу подлежат также этому суду. Эти положения новый министр высказал прокурору, желая выслушать его мнение о дальнейшем направлении следствия, добавив, однако, при этом, что Государь ему лично сказал, что великий князь заверяет, что руки его не запачканы кровью Распутина.

Ф. Ф. Нандельштедт, основываясь на уже добытом материале следствия, находил заявление великого князя просто казуистичным, ибо Распутин был застрелен, а не убит кинжалом, следовательно, действительно ничьи руки не были обагрены его кровью, но убийство все-таки было совершено. Мало того: если следствие даже установит, что великий князь Димитрий Павлович лично и не стрелял, все же он был, видимо, в сговоре с убийцами и во всяком случае знал об их намерении, что не освобождает его от ответственности.

Ввиду всех этих соображений, на этом совещании у министра было решено направить все производство на высочайшее усмотрение, что, однако, не было выполнено до февральского переворота.

С момента нахождения тела Распутина Нандельштедт принимал уже мало участия в следствии. Хотя ему и было предложено отправиться в курское имение Юсупова для присутствия при снятии допроса с князя, но неожиданная болезнь помешала этой поездке, и его заменил товарищ прокурора. Однако Нандельштедт присутствовал при допросе следователем по особо важным делам Ставровским некоторых свидетелей, в том числе и депутата Пуришкевича. Последний допрос сопровождался таким инцидентом. Пуришкевич отрицал все и даже установленный следствием факт своего нахождения в доме Юсупова в вечер убийства. Очевидно, он был связан обещанием молчать. Когдаследователь прочел ему записанное показание и добрался до пункта «по делу об убийстве Распутина ничего сообщить не могу и о самом убийстве узнал лишь из газет», то Пуришкевич перебил чтение, прося несколько изменить редакцию, добавив к словам «и о самом убийстве узнал из газет» — слова «с удовольствием». Следователь растерянно посмотрел на прокурора, и последний счел необходимым вмешаться:

— Для следствия безразлично, испытывали ли вы удовольствие или нет, ему нужен лишь фактический материал.

— Но я испытывал удовольствие, ведь это факт! — возразил Пуришкевич.

— Удовольствие — это ваше субъективное переживание, и только. А потому эти слова в протокол занесены не будут.

Спустя несколько дней после февральского переворота Нандельштедт заехал в Министерство юстиции, где в приемной у Керенского застал немало публики. Каково было его удивление, когда среди присутствующих он заметил и Пуришкевича. Последний,

одетый в походную форму, галифе и френч, с Владимиром с мечами на шее, расхаживал по приемной, дожидаясь своей очереди.

У прокурора мелькнула мысль, уж не думает ли Пуришкевич занять какой-нибудь пост в Министерстве юстиции? Но, наведя справку у начальника отделения, узнал, что Пуришкевич приезжал к Керенскому все по тому же делу Распутина. В каких тонах велась беседа этих двух политических полюсов — неизвестно, но следствием ее было распоряжение Временного правительства о полном прекращении дела...

НЕЧТО НОВОГОДНЕЕ

Передо мной в кресле сидела женщина лет 60, полная, по-старомодному одетая, с какой-то затаенной боязнью на лице и, мигая влажными глазами, умильно глядела на меня.

— Чем могу быть полезен? — спросил я ее.

— Я приехала к вам, сударь, по нужному делу: объегорил меня мошенник эдакий, знаете, современный вертопрах. Не успела я, как говорится, косы заплести, как ау! трех тысяч рублей и бриллиантовых серег — не бывало!

— Рассказывайте, рассказывайте, сударыня, я вас слушаю.

Вздохнув, моя просительница начала:

— Я купеческая вдова, живу в собственном доме на Николаевской улице. Зовут меня Олимпиада Петровна, по фамилии Воронова. Живу я тихо, смирно, безбедно. Квартира у меня в 7 комнат, обстановка в стиле: там трюмо, граммофон, рояль и прочие безделушки. Я довольно одинока, родни мало, а знакомых, — где их взять? Однако людей я люблю, и поговорить мне с хорошим человеком всегда приятно. Моя компаньонка, Ивановна, женщина ворчливая, да и все с ней переговорено, одна от нее польза, что на фортепьянах играет чувствительно. Давно мы с ней собирались позвать настройщика и вот года полтора тому назад — позвали.

А рекомендовал его мой старший дворник. Откуда его откопал — не знаю. Одним словом, явился к нам на квартиру молодой человек, чисто одетый, с очень симпатичным выражением в лице. Дело свое он знал, видимо, мастерски. Сел к роялю, ударил по клавишам, и такое приятное туше — просто прелесть!

Возился он долго, работал старательно, а так как нельзя было чужого человека оставлять одного в гостиной (мало ли до греха: сопрет еще что-нибудь!), то мы с Ивановной по очереди присутствовали. Молодой человек оказался разговорчивым и между делом все беседовал. «Да-с! — говорил он. — Вот это ми-бемоль у вас фальшиво звучит-с. Давно вдоветь изволите?» Или: «Страсть люблю минорные тона. Они мне, так сказать, по характеру. А как у вас уютно в квартире!» и т. д., и т. д.

Словом, за 3 часа времени он и обо мне расспросил, и об Ивановне, и нам рассказал всю свою жизнь. Пожалели мы молодого человека. Жизнь его действительно не баловала: мать умерла в чахотке, отец застрелился, сестра повесилась, а он, сиротой, был

отдан чужим людям, претерпел от них немало, но все же выбился на дорогу и теперь хорошо зарабатывает, получая по 5 рублей за настройку; однако и теперь горе его не оставляет, так как он страстно влюблен в барышню высшего круга и аристократического происхождения. Она тоже к нему равнодушна, и он даже однажды, настраивая у ее родителей инструмент, в сумерках изъяснился ей в любви и под звуки, как говорит, нокturna господина Шопена поцеловал ее (тут моя собеседница даже несколько зарумянилась). Одним словом, растрогал и заворожил нас с Ивановной так своими рассказами, что Ивановна прослезилась, а я пригласила молодого человека остаться откушать чаю и велела выставить на столе разных вареньев да печеньев не жалеючи. Просидел он у нас до самого вечера, поужинал и так расположил меня к себе, что, отпуская его, я в конвертике передала ему 10 руб., вместо 5-ти — ведь как-никак целый день от него отняли. Я звала его заходить без стеснения, и он, поблагодарив за угощение и ласку, обещался не забывать. И действительно, зачастил. Сначала по табельным дням, а затем и в будни стал забегать, и месяца через два Михал Михалыч сделался для нас с Ивановной чуть ли не своим человеком. И обязательным же он был! Билетик ли у барышника достать в театр, купон ли с ренты разменять, номера ли выигрышных билетов проверить по табличке, — на то Михал Михалыч был первым слугой и помощником.

И вот третьего дня, т. е. в 1-й день Нового года, приезжает с поздравлениями расфранченный Михал Михалыч. «С Новым годом, — говорит, — вас, с новым счастьем!» А сам такой веселый, радостный, оживленный, смеется, как-то потирает руки. «Что это сегодня с вами такое, Михал Михалыч? — спрашиваю. — Вы на себя не похожи нынче, что такое случилось радостное?» А он: «Со мной ничего не случилось, Олимпиада Петровна, а радуюсь я не за себя, а за вас, моих добрых друзей». — «Чему же вы радуетесь?» — «А тому, что я имею сегодня возможность щедро отблагодарить вас и за приют, и за ласку, и за все то, что я видел хорошего у вас. Да, кстати, и сам смогу тысячек 5 заработать». — «Что вы такое говорите, и в толк не возьму». А про себя думаю: «Нализался где-нибудь с новогодними визитами, не иначе!» «Я сейчас вам все объясню, — говорит, — все по порядку. Сегодня утром я рано проснулся и сейчас же болезненно вспомнил о письме, полученном накануне из Ниццы от моей желанной Наташеньки, — вы ведь помните, я вам говорил уже, что она с родителями на Рождество уехала туда и предполагает пробыть там весь январь и февраль. Охота ей цветами пошвыряться. Письмо она написала мне хорошее, теплое, и в нем даже говорится: «Ах, Мишель, если бы вы только были здесь!» Ну, а мне куда же, как туда поедешь без денег. Вы знаете, Олимпиада Петровна, я человек глубоко набожный, а и то сегодня утром возроптал на Бога. Посидел в раздумии часок-другой да и направился на Неву к Спасителю. Горячо я там молился, прося чуда. И на душе стало как-то легче, и,

представьте, чудо как будто бы и совершилось. Но прежде чем продолжать свой рассказ, я должен спросить вас, — и тут Михал Михалыч торжественно встал, — я ничего не прошу у вас, Олимпиада Петровна, но делаю вам деловое, серьезное предложение: согласитесь ли вы дать мне 5 тысяч рублей, при условии, если я укажу вам возможность получить не позднее завтрашнего дня несколько сот тысяч рублей». И он пристально на меня посмотрел. Я даже растерялась. «Неужели, — думаю, — спятил с ума? И с чего бы это, казалось? Молодой человек был всегда такой рассудительный, скромный, а эдакое несет!» Гляжу на Ивановну, а старушка Божья даже в лице изменилась.

— Итак, Олимпиада Петровна, я жду вашего ответа.

Помолчав, я сказала:

— Сегодня у нас 1 января, а не 1 апреля, Михал Михалыч, и ваши обманные шутки не по святцам пришились.

— Я не думаю шутить, говорю самым серьезным образом. Сегодня мне 5 тысяч — и завтра у вас чуть ли не четверть миллиона в кармане.

Я растерянно продолжала:

— Вы знаете, что по смерти моего супруга я никакими делами и аферами не занимаюсь, а потому и приобрести таких денег никак завтра не могу.

— Повторяю вам, Олимпиада Петровна, что никаких афер я вам не предлагаю, вам придется лишь завтра сесть на извозчика, отправиться в банк, немедленно получить деньги и положить их на свое имя.

Поколебленная, я снова взглянула на Ивановну. Она робко вымолвила: «Пускай расскажут, в чем дело, выслушать нетрудно, а там сами увидите, как поступить». — «Ну что ж, Ивановна права, — сказала я, — говорите толком, в чем дело».

«Хорошо, — отвечает, — рассказать я готов, но поклянитесь мне вот на эту икону жизнью своей, что если вы убедитесь в правильности моих слов, то немедленно же дадите мне просимые 5 тысяч и не обманете меня, словом, не пойдете на попятный». Я заколебалась и хотела обуздать свое любопытство, но смутила меня Ивановна: «Что же, Олимпиада Петровна, — сказала она мне, — хоть 5 тысяч деньги и немалые, но ежели вы завтра, как говорит Михал Михалыч, можете без всяких трудов приобрести целый капитал, то почему же и не пожертвовать их, раз дело верное». Тут я не вытерпела и сдалась, встала и торжественно поклялась на икону Божьей Матери Казанской, оговорив, однако, что имею при себе в доме всего лишь 3 тысячи, но недостающие могу доплатить серьями, но, конечно, только в том случае, если слова Михал Михалыча окажутся чистейшей правдой. Он удовлетворился и, сделав мне торжественный поклон, заявил: «Имею честь поздравить вас, Олимпиада Петровна, на вашу долю выпало великое счастье — ваш билет первого займа серия № 13771, номер же билета 22-й выиграл сегодня 200 тысяч», — и с этими словами он вытащил из

кармана новенькую печатную табличку с номерами выигрышей, свежеспавшую типографской краской, и протянул ее мне. Наступила мертвая тишина. Я сидела с открытым ртом, а Ивановна спешно крестилась. Наконец, опомнившись, я заговорила: «Не может этого быть, тут какая-нибудь ошибка вышла».

— Помилюйте, Олимпиада Петровна, какая ошибка. Я собственными ушами слышал, как был объявлен ваш номер, да, наконец, там же в банке обождал и получил печатную таблицу только окончившегося тиража. Я от Спасителя прямо прошел в Государственный банк, в зал, где производился розыгрыш, уж очень это я люблю следить за этой операцией: вертят колеса, малые сироты выбирают из них билетки, а там и начинается провозглашение выигрышных номеров. А суммы-то каковы! 200, 75, 40, 25 тысяч руб. Целые капиталы! Не успели назвать сегодня номер главного выигрыша, как меня точно по голове треснуло. Говорю, да ведь это, никак, номер Олимпиады Петровны, быть не может. Однако справился по записной книжке, куда по вашей просьбе я еще в прошлом году записал номера ваших 5-ти билетов. Гляжу — точно! И номер серии и номер вашего 4-го билета те же. Думаю, вот счастье привалило. Полечу сообщить на Николаевскую, и Олимпиада Петровна наверно не откажет мне в 5-ти тысячах. Если вас берут какие-нибудь сомнения, то позвоните по телефону в Государственный банк, справьтесь о номере, выигравшем 200 тысяч. Господи Ты Боже мой! Такие деньги с неба свалились. И хочу-то я верить Михал Михалычу, и не верю. А Ивановна эдаким сладким голоском запела: «Поздравляю вас, Олимпиада Петровна, с эдаким громадным счастьем. Надеюсь, благодетельница, не оставите впредь и меня своими милостями». — «Да ты подожди еще, Ивановна, радоваться, может, что и не так, проверку сделать надо». И я, взяв таблицу, ушла к себе в спальню, заперлась, достала билеты. Руки дрожат, в глазах помутнение, едва совлала с собой. Смотрю — точно! Цифра в цифру. И серия моя, и номер билета мой, а я все поверить не могу. Вышла опять в гостиную и говорю: «Действительно, как будто подходяще, а все-таки для верности позвоню в банк». Попросила Михал Михалыча из прихожей принести «Весь Петербург» и отыскать номер Государственного банка. Порылся он в книге и говорит: «Тут несколько номеров значится за Государственным банком. Я думаю, что вам лучше бы позвонить вот по этому к швейцару банка, а он, может быть, и вызовет дежурного служащего». Подхожу к телефону сама не своя. Дайте, говорю, барышня, номер такой-то. Готово, говорит. Подождала, и чей-то женский голос спрашивает, что угодно. «Это Государственный банк?» — спрашиваю. «Да, это жена швейцара банка у телефона». — «Нельзя ли мне, голубушка, попросить к телефону чиновника?» — «Какие сегодня чиновники? Новый год, день не-присутственный». Затем: «Вам на что чиновника?» — «По очень важному делу, насчет выигрышей справиться». — «Ну, ежели насчет выигрышей, то я, может быть, какую-нибудь барышню-маши-

нистку отыщу. Хоть розыгрыш и кончился, но, кажись, кой-кто из служащих остался». — «Будьте любезны, — говорю, — голубушка, позовите!» — «Ладно. Подождите у телефона». Прошло минут пять, и подошла какая-то женщина. Я из осторожности говорю ей неправильно номер серии своего билета, называя 13774, и спрашиваю, он ли выиграл 200 тысяч сегодня. Она, взяв, видимо, таблицу и справившись по ней, ответила, что вовсе нет, что этот выигрыш пал на серию номер 13771. Таким образом, сомнений у меня не оставалось — я выиграла 200 тысяч. На радостях я даже расцеловалась с Михаилом Михалычем.

Он еще раз поздравил меня и напомнил о клятве. «Что же, — говорю, — клятва — дело святое. Я от нее не отступлюсь, а только вам все едино — подождите до завтра. Получу деньги, с вами и рассчитаюсь». А он: «Конечно, ваше слово, Олимпиада Петровна, дороже всяких расписок и векселей, но деньги мне необходимо получить с вас сейчас же, и вот почему — скажу вам откровенно: Натальи Павловны моей рождение 4 января, и я горю желанием сделать ей сюрприз и пожаловать к этому дню в Ниццу. Есть тут у меня в градоначальстве знакомый чиновник, он мне мигом иностранный паспорт выправит, и я сегодня же в ночь выеду». — «Ну что ж, будь по-вашему. Раз такая спешка, выполняю все условия, т. е. дам вам имеющиеся у меня 3 тысячи и бриллиантовые серьги. Хоть серьги и подороже 2-х тысяч заплачены, да уговор дороже денег, к тому же и случай подходящий: ко дню рождения можете поднести их вашему идолу. Мне, знаете, даже как-то приятно будет». Я по-честному рассчиталась с Михал Михалычем, передав деньги и серьги. Хоть он меня и обманом взял, и платить ему по-настоящему не за что, ну да Бог с ним, хороший молодой человек, да и о любви своей он так часто и много убивался. Посидев с полчаса, он распрощался и исчез. Ночь мы с Ивановной спали плохо. Я все размышляла, как распределю деньги, думала — учрежу 3 стипендии в Купеческой богадельне, съезжу в Тихвин на богомолье, на новую церковь пожертвую и разное другое. Утром, напившись наспех чаю, мы с Ивановной усаживались в пролетку знакомого извозчика, лошадь у него смиренная, сам он непьющий и трамвайные рельсы с оглядкой переезжает. Приехали в банк. Спрашиваю, где здесь по выигрышам получают. Указали окошечко. Подхожу. Протягиваю билет и говорю: «Мне по этому билету следует получить 200 тысяч». Господин почтительно взял билет, развернул его, справился по какой-то книге и затем так сухо отвечает: «Цена вашему билету 950 руб. Если угодно, эту сумму я вам выдам». — «Позвольте, сударь, вы что-то не то говорите. Конечно, я, как женщина одинокая, в ваших делах понимаю мало, но, однако, специалисты заверяли меня, что банк ваш выдаст мне 200 тысяч». А он: «Так вы и обращайтесь к вашим специалистам, а я здесь ни при чем». Я отошла в сторонку к Ивановне. «Не выдают», — говорю. «Почему же-с», — спрашивает. «Не знаю. Пойдем, Ивановна, вместе». Подойдя к тому же господину, я переспросила:

«Вы, быть может, господин, надумали? Конечно, меня, беззащитную женщину, обидеть нетрудно, а только имейте в виду, что в случае чего я и к главному директору пройти могу».

— Послушайте, сударыня, скажите ради Бога, что вам от меня угодно?

— Мне? Двести тысяч!

— Вот как! Отчего же не миллион?

— Оттого, что у вас таких выигрышей нет. Я выиграла 200 тысяч и желаю их получить.

— Да кто же вам сказал, что вы выиграли?

— Михал Михалыч!

— Какой Михал Михалыч?

Я от волнения тут совсем растерялась да и сказала действительно глупость. «Настройщик», — говорю.

Наконец, недоразумение выяснилось и оказалось, что не только 200 тысяч, но и 500 руб. я не выиграла, а Михал Михалыч подло обжулил меня, подсунув мне фальшивую табличку. Одного понять не могу, как это я сама по телефону из своей квартиры с банком разговаривала. Помогите, сударь, ради Бога, распознать эту тайну и, если можно, верните мне деньги и сережки.

— Да, сударыня, вы стали несомненной жертвой весьма ловкого мошенника. Но как вы могли довериться ему?

— Право, и сама не понимаю! Подлинно говорится: и на старуху бывает проруха.

— Вы захватили с собой злополучную табличку?

— Как же, вот она — извольте.

Как и следовало ожидать, на табличке адрес типографии не значился.

— Скажите, вам не известно, откуда ваш дворник откопал этого настройщика?

— Господь его ведает. Покойный говорил...

— Как, дворник разве умер?

— Да, от простуды, с полгода тому назад.

Я задумался...

— Вот что, сударыня, обещать не обещаю, но что смогу, сделаю. Оставьте адрес и номер телефона. В случае чего — извещу.

Не подлежало сомнению, что изобретательный мошенник имел сообщника, вернее, сообщницу на Центральной телефонной станции, а потому и розыск я направил в этом направлении. Было установлено, что 1 января от 3 ч. до 9 ч. вечера за регистром, в который входил номер телефона Вороновой, дежурила барышня, некая Варвара Николаевна Шведова, и вот за ней-то я установил строжайшую слежку. Мои агенты денно и ночно не выпускали ее из виду, и каждый шаг ее заносился в дневники наблюдавших за ней. Жизнь Шведовой казалась безупречной. Телефонная станция, комнатуха в небогатой семье и редкие дешевые удовольствия в виде кинематографа. Мужских знакомств никаких, словом, обычная будничная жизнь честной и бедной барышни. Наблюдение за

ней продолжалось около месяца, и я готов был уже его снять, как вдруг от старшей телефонистки моим людям стало известно, что Шведова, ссылаясь на нездоровье, неожиданно подала прошение об увольнении. Я насторожился и приказал усилить надзор и ни на минуту не упускать ее из вида. И хорошо сделал, так как Шведова быстро собралась, купила билет до Москвы и выехала туда. Двое из моих людей за ней последовали. Приехав в Москву, эта скромная и добродетельная на вид барышня прямо с Николаевского вокзала приехала в меблированные комнаты близ Трубной площади и поселилась в номере, уже занятом неким Иваном Николаевичем Солнцевым. Вскоре же московскому полицейскому фотографу удалось снять их обоих на Страстном бульваре. Фотография была мне прислана в Петербург, предъявлена Вороновой, и Солнцев оказался все тем же Михал Михалычем. Он и Шведова были арестованы, и последняя поведала в слезах, что всему виной ее сожитель, выгнанный ученик консерватории, Илья Яковлевич Шейнман (он же Михал Михалыч и Солнцев). Шведова, якобы терроризированная им, вынуждена была разыграть по телефону роль жены швейцара и банковской служащей. Шейнман заранее сообщил ей и номер телефона Вороновой, и номер серии, будто бы выигравшей 200 тысяч. Ежедневно в течение недели он репетировал с ней сцену будущего разговора с Вороновой. Фальшивую табличку ему набрал какой-то знакомый типографщик. При обыске у них было найдено 2000 руб., причем серьги Вороновой оказались уже в обладании Шведовой.

Суд приговорил обоих к году тюрьмы.

СВЕТЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Дежурный чиновник особых поручений однажды доложил мне:

— Сегодня агент Сокольнического района, Урусов, мне рассказал о довольно подозрительном случае. В одной из чайных его участка вот уже два дня как происходит странный торг между каким-то мастеровым и неизвестным чиновником, судя по форменной тужурке, выглядывающей из-под его статского пальто. Мастеровой продает какую-то бумажку и просит за нее пятьдесят рублей, а чиновник дает двадцать пять. Завтра они сговорились быть опять в чайной для дальнейших переговоров. Как прикажете быть?

— Да, случай довольно подозрительный! Вы арестуйте их завтра обоих и самым вежливым образом препроводите сюда, я их лично допрошу.

— Слушаю, г. начальник.

На следующий день я допрашивал мастерового. Это был малый лет тридцати пяти с открытым приятным лицом, с голубовато-серыми глазами. Одет он был бедно, но чисто. Ногти и пальцы его мозолистых рук были вымазаны позолотой и краской. От него сильно пахло лаком.

— Кто ты такой и чем занимаешься?

— Я Александр Иванов Богданов, по ремеслу мы будем киотчики.

— Судился?

— Нет, этого не бывало, Господь миловал.

— А какую это бумажку ты продавал чиновнику в чайной?

— Ах, вот вы насчет чего?! Да, действительно продавал.

— Она при тебе?

— А где же ей быть? При мне — вот извольте получить, — и, вынув аккуратно сложенный лист, он протянул мне его.

Я развернул сильно пожелтевший документ. Он оказался сохранный распиской Московской судной казны от 1811 года. Расписка была на несколько тысяч рублей и значилась на предъявителя. Я с любопытством рассматривал старинные александровские орлы, на ней напечатанные, внимательно вглядывался в подписи с невероятными выкрутасами, принадлежавшие давно умершим людям.

— Откуда у тебя эта бумага?

— Да попала она ко мне, г. начальник, можно сказать, совсем зря.

— Ну, а все же Расскажи — как?

— Дело было так: заказал мне Иван Парамонович Пронин — это наш именитый купец в Сокольниках, поди, знаете его, большой киот для иконы Казанской Божьей Матери. «За ценою я не постою, — говорит, — а чтобы киот вышел отменный, из сухого дерева, ну, словом, — первый сорт». Я обещался и принялся за работу. Сухого, выдержанного дерева под рукой у меня не оказалось, и вот отправился я на Сухаревку, где часто и прежде подыскивал материал. Походил, поискал да и купил в лавчонке старую, поломанную божницу. Принес ее домой. Вынув из нее досочки, сколько было нужно для киота, я остальное поставил в угол. Понадобилось как-то супруге моей прикрыть котел с бельем, она возьми из угла одну из дощечек, оставшихся от божницы. А тут сынишка мой, вертевшийся на кухне, вдруг мне и говорит: «Тятя, смотри, из дощечки какая-то бумажка торчит».

Я подошел, поглядел — действительно, от горячего пара на досочке отстала фанера, а под ней бумага. Вытащил я эту бумагу, развернул, поглядел, да только — что я в ней понимаю? Вижу, старинная, а что в ней прописано — в толк не возьму. Пошел это я после обеда к соседу посоветоваться, а он и говорит: «Документ старинный! Быть может, и найдешь любителя да за рубль целковый продашь. Ты вот что: сходи-ка, вон наискосок живет какой-то чиновник, говорят, служит по денежному делу, предложи, может, он и купит». Пошел я к чиновнику, показал бумагу. Он поглядел-поглядел да и сказал: «Что же? Бумага старинная, старину я люблю, рубля три я за нее дам, да, пожалуй, дам и пятерку. Хотите?» Эге, подумал я, коли так быстро пятерку дает — значит, вещь денег стоит. «Нет, — говорю, — разве можно за такой документ пять рублей взять? Вы давайте настоящую цену». А он мне: «Мы вот что сделаем. Я завтра у одного любителя старины порасспрошу. Если он скажет, что стоит, то я прибавлю. Приходите завтрашний день в чайную «Якорь», и мы сторгуемся». — «Ладно, — говорю, — приду!» Пошел я от чиновника опять к соседу, рассказал, как было дело, а сосед мне говорит: «Ну, если так, так меньше как за полсотни не отдавай». Пошел на следующий день в «Якорь», прошу полсотни, а чиновник все торгуется; однако догнал он цену до 25 рублей. Я не уступаю. Наконец, он говорит: «У меня при себе пятидесяти рублей нет, приходите завтра, я еще кой с кем посоветуюсь, может, и сговоримся». Когда же мы сегодня явились в «Якорь», то нас господин Урусов арестовали и привезли сюда.

Допросил я и чиновника, оказавшегося служащим в губернском казначействе. Он заявил, что интересуется старинными документами вообще, не прочь был приобрести и эту расписку, но цены ей не знает.

Записав адреса того и другого, я отпустил их с миром, но приказал моей агентуре подробно проверить все рассказанное Богдановым. Были допрошены и его жена, и сосед, и даже лавочник на

толкучке, где была приобретена божница. Все подтвердило точность показаний Богданова. Вместе с тем я отправил одного из чиновников в Сохранную казну, дабы справиться о ценности и значении документа александровских времен.

Как я был поражен, услышав через несколько часов по телефону от моего агента из банка:

— По проверке в архиве документ оказался записанным под таким-то номером, за истекшее столетие сумма, на нем обозначенная, считая со всеми сложными процентами, превратилась в 65 000 рублей, которые можно получить в любую минуту.

Направив дело, за отсутствием состава преступления, на прекращение, я вместе с тем запросил мнение прокурора Брюна де Сент-Ипполит о том, кому по смыслу закона должны принадлежать эти деньги.

Он мне тотчас же ответил, что деньги принадлежат собственнику сохранного свидетельства, каковым в данном случае является Богданов, как лицо законно приобретшее божницу.

Оформив все это дело, я вызвал последнего.

— Ну, и привалило же тебе, братец, счастье!

— А что такое, г. начальник?

— Да бумажка-то твоя оказалась кладом!

— Неужто, ваше высокородие?

— Вот тебе и неужто! А ты за полсотни хотел отдать.

— А много ли дают-то за нее?

— Шестьдесят пять тысяч рублей.

— Шутить изволите, г. начальник?! — сказал Богданов, недоверчиво и грустно улынувшись.

— Ну, брат, мне шутить некогда. Говорю тебе — 65 000, и деньги можешь получить хоть сегодня.

— Господи! Да как же это так? Да с чего же это? Не может этого быть... Ваше высокородие! Жена, дети...

Тут на радостях Богданов залепетал какой-то бессвязный вздор, вспотел, засморкался, затоптался на месте. Наконец, несколько успокоившись, он воскликнул:

— Господи Ты Боже мой! Ведь счастье-то какое привалило! Вот недаром люди говорят, что незаконнорожденным удача. Ведь я, ваше высокородие, и есть незаконнорожденный, ведь я из воспитательного дома! Уж вы позвольте мне тысчонкой отблагодарить господина Урусова.

— За что же ты будешь благодарить Урусова?

— Да как же?! Ведь он меня арестовал!.. Если бы не он — так я бы бумагу продал за полсотни, а то, пожалуй, еще пятерку, другую скинул!

— Ну, это твое дело. Пиши прошение градоначальнику, и если он разрешит, то валяй!

На этом мы расстались. Через неделю я услышал, что Богданов, получив деньги, открыл в Сокольниках большую мастерскую, переехал на новую квартиру и зажил честно, хорошо и счастливо.

Через месяц примерно как-то ранним воскресным майским утром я очутился в Сокольниках для осмотра на месте жертв какого-то дерзкого убийства. Исполнив эту грустную обязанность и подавленный виденным тяжелым зрелищем, мне захотелось отдохнуть душой. Дай-ка зайду к Богданову, решил я, полюбуюсь его новой и, как говорят, счастливой жизнью. Мне указали адрес, и я в одиночестве пешком побрел его разыскивать. Под указанным номером я нашел небольшой каменный домик, белый, приветливый, окруженный садом. Я вошел в калитку, постучался на крыльце. Сам Богданов открыл мне дверь и, завидя меня, радостно воскликнул:

— Ваше высокородие, да вы ли это?! Вот не ждал не гадал!

— Здравствуй, голубчик! Я, я самый и есть! Вот очутился в Сокольниках да и зашел взглянуть на твое новое житье-бытье.

— Пожалуйста, пожалуйста! — засуетился он. — Настя, поды сюда, смотри, какого гостя нам Бог послал! — крикнул он жене.

В дверях показалась высокая стройная женщина, в ярком пестром платье, в козовых полусапожках. Завидя меня, она улыбнулась широкой, приветливой улыбкой.

— Вот, Настенька, наш благодетель, господин Кошкин. Я про них тебе рассказывал. Принимай и потчуй дорогого гостя!

Затем он обратился ко мне:

— Может, закусите? Водочки или сладкого винца откушаете.

— Нет, спасибо, ничего я не хочу. Разве вот стаканчик чаю дадите. Пить хочется.

— Сию минуту! Настя, согрей самоварчик, живо!

Он повел меня в большую угловую комнату. Я огляделся. Кругом было опрятно и уютно. В углу под образами стоял стол, у стола стеклянная горка с позолоченной посудой, тут же виднелся мягкий диван, несколько стульев, вдоль окна висели белые кисейные занавески, на окнах зеленела герань, под потолком в клетке трещала канарейка. Из открытых настежь окон лился бодрящий запах черемухи.

Не успел я хорошенько осмотреться, как Настя уже накрыла стол скатертью, поставила на него огромный черный поднос с ярко нарисованными на нем букетами, расставила чашки, а вскоре приволокла ведерный, ярко вычищенный, кипящий самовар. Откуда-то появился и воскресный сдобный пирог с малиновым вареньем.

Меня усадили в почетный угол — под образа, рядом присел хозяин, а Настя, не садясь, принялась потчевать.

— Ну, что, — спросил я их, — довольны вы своей новой жизнью?

Они словно ждали этого вопроса и, радостно волнуясь, перебивая друг друга, заговорили:

— Да уж так довольны, так довольны, что не знаем, как и Бога благодарить! Ведь прежде часто тяжеленько приходилось — того не хватает, этого... Теперь же ни в чем недостатка нет. Опять-таки и обращение людей стало другим. Прежде, бывало, зайдешь в лавку к нашему Степану Ивановичу Вахрамееву и стоишь, и

ждешь, никто-то на тебя внимания не обращает. А теперь — и стул-то тебе подадут, и Настасьей Филипповной величают. Или иной раз в праздник соберемся с мужем в церковь, я в шелковом платье, муж в крахмале, при золотых часах, идем степенно, все нам шапки ломают, в церкви — расступаются, место дают. Словом — от всех одно уважение видим!

С удовольствием слушал я эту бесхитростную исповедь счастливых людей. Доносившийся издали церковный звон как-то успокаивал душу. Сладкий запах черемухи клонил к дремоте, и невольно думалось: почем знать, быть может, эти люди и правы? Быть может, счастье человеческое, эта неуловимая «Синяя птица» не вьет своих гнезд ни в борьбе страстей, ни в достижениях ума, культуры и прогресса, а именно гнездится вот в этих скромных кисейных занавесках, в этой бесхитростной герани, в этом умиротворяющем колокольном звоне да в почтительных поклонах лавочника Степана Вахрамеева?!

СЫСКНОЙ АППАРАТ

Быть может, читателю будет небезынтересно ознакомиться со структурой розыскного дела в прежней России.

Изошренность преступного мышления, корыстные вождения людей представляют из себя обширнейшее засоренное поле, и немало труда и терпения требуется для выкорчевывания этой человеческой лебеды, часто готовой буйным ростом своим заглушить любые полезные всходы. На сыскной полиции лежит обязанность не только раскрывать уже совершенные преступления, но, по возможности, и предупреждать их. Эта сложная программа требует, конечно, и соответствующей организации, каковую и попытаюсь описать, беря за образец Москву. Та же организация, помимо столиц, существовала и в провинции, являясь осколком первой и отличаясь от нее лишь масштабом.

Вступив в должность начальника Московской сыскной полиции, я застал там дела в большом хаосе. Не было стройной системы в розыском аппарате, количество неоткрытых преступлений было чрезвычайно велико, процент преступности несоразмерно высок. Я деятельно принялся за реорганизацию дела и, не хвалясь, улучшил его.

При каждом Московском полицейском участке состоял надзиратель сыскной полиции, имевший под своим началом 3—4 постоянных агентов и целую сеть агентов-осведомителей, вербовавшихся по преимуществу из разнообразных слоев населения данного полицейского района. Несколько надзирателей объединялись в группу, возглавляемую чиновником особых поручений сыскной полиции. Эти чиновники ведали не только участковыми надзирателями и их агентами и осведомителями, но имели и свой особый секретный кадр агентов, с помощью которого и контролировали деятельность подчиненных им надзирателей. Чиновники и надзиратели состояли на государственной службе. Агенты и осведомители служили по вольному найму и по своему общественному положению представляли весьма пеструю картину: извозчики, дворники, горничные, приказчики, чиновники, телефонистки, актеры, журналисты, кокотки и др. Некоторые из них получали определенное жалование, большинство же вознаграждалось хлопотами полиции по подысканию им какой-нибудь казенной или частной службы. К этому прибавлялись даровые билеты в театры, по железным доро-

гам и т. п. Такого способа вознаграждения приходилось волей-неволей держаться в целях экономии — применение его давало возможность значительно увеличивать кадры агентов.

Над деятельностью чиновников особых поручений я наблюдал лично, имея для их контроля около двадцати секретных агентов. Имена и адреса последних были известны только мне. Им вменялась в обязанность строжайшая конспирация; с ними я виделся только на конспиративных квартирах, которых у меня в Москве имелось три. С помощью этих секретных агентов я мог наблюдать за действиями и поведением любого моего подчиненного, не возбуждая в нем подозрений. Эти двадцать человек были выбраны мною с большим разбором. Кадры моих секретных агентов я старался пополнять людьми, принадлежащими к различнейшим слоям московского населения. В числе их, помнится, была и старшая барышня с телефонной станции — весьма ценный агент — довольствовавшаяся театральными и железнодорожными билетами, коробками конфет и духами; был и небезызвестный исполнитель цыганских романсов, вечно вращавшийся в театральном мире; было и два метрдотеля из ресторанов, наблюдавших за кутящей публикой, и агент из бюро похоронных процессий, и служащие из Казенной палаты, Главного почтамта и пр.

Эти агенты не столько вели общее наблюдение, сколько употреблялись мною в отдельных нужных случаях. Обычно им давалось определенное задание: проследить такого-то, проверить того-то и т. д.

Но для чего, спросят, быть может, было создавать целую иерархическую лестницу в розыском деле, где один агент, проверяя другого, в то же время подвергался и сам тайной проверке и наблюдению? Жизнь показала всю необходимость подобного метода. Например, бывали такие случаи: мне становилось известным, что в таком-то месте организовался притон-клуб, где всякие шулера жестоко обыгрывают в «железку» доверчивых посетителей. Я отдавал приказ надзирателю соответствующего района пройти с ночным обходом в этот клуб и в случае обнаружения азартной игры — его закрыть. Надзиратель делал обход, но запрещенной игры не оказывалось. Повторные обходы имели тот же результат. Между тем жалобы продолжали ко мне поступать. Обходы надзирателя становились подозрительными, и я приказывал чиновнику особых поручений соответствующей группы проверить действия надзирателя. Иногда этот чиновник и обнаруживал злоупотребления, но случалось, что сведения чиновника совпадали с рапортом надзирателя, между тем жалобы на притон продолжались. Тогда я прибегал к своим секретным агентам, не заинтересованным (хотя бы в силу своей конспиративности) в делах надзирателя и чиновника, и с их помощью обнаруживалась преступная корысть того и другого. Оказывалось, что надзиратель заблаговременно извещал хозяина притона о предстоящем обходе и, получая за это соответствующую мзду, делился с чиновником.

Иногда случалось, что надзиратели по лености и нерадению относились спустя рукава к порученному делу или, чтобы отделаться, принимались сообщать всякие небылицы, свидетельствующие об их энергии и старании. С помощью тех же секретных агентов истина и здесь выяснялась очень скоро, и пристыженный надзиратель быстро терял вкус к самовосхвалению и выдумкам. Словом, благодаря этому контролю над контролем мне вскоре же удалось внедрить в сознание моих подчиненных, что начальник следит сам за всем и в курсе всего происходящего, что, конечно, сильно подтянуло моих людей.

Для довершения описания агентурной сети следует упомянуть еще о так называемых агентах-любителях. Часто воры, не поделившие добычи, присылали кляузные письма, жалуясь друг на друга; бывало, что какой-нибудь скупщик краденого, обуреваемый завистью к «коллеге», перекупившему у него под носом выгодную партию «товара», являлся в полицию и со смаком выдавал «конкурентов». А то случалось, что люди, чающие заработать пятерку, десятку, а то и четвертную (сообразно ценности сведений), приходили ко мне и предлагали сообщить данные по интересующему меня делу. Эта разновидность агентов приносила тоже свою пользу.

Итак, каждый участковый надзиратель, прослужив несколько лет в своем участке, с помощью своих постоянных агентов и многочисленных агентов-осведомителей имел возможность самым подробным образом изучить и территорию, и состав ее населения. Обычно всякий переулок, всякий дом, чуть ли не всякая квартира были ему известны, что, конечно, значительно облегчало дело розыска.

Каждый надзиратель по моему требованию обязан был составлять ежемесячные ведомости, где по подробным рубрикам разносились им количество и род происшедших за месяц в его участке преступлений. Шестого числа каждого месяца эти ведомости со всех районов присылались ко мне, и, просматривая их, я знал точное количество убийств, грабежей, краж, мошенничеств и насилий, происшедших в том или ином московском участке, равно как и число открытых и не раскрытых еще преступлений. На основании этих ведомостей специальный чиновник-чертежник вычерчивал кривые по родам преступлений и по каждому району отдельно и составлял общую картограмму, каковая и вывешивалась в моем служебном кабинете. Таким образом, я мог постоянно следить за состоянием преступности в любой части городской территории, и если кривая краж в таком-то участке несообразно повышалась, по сравнению с той же кривой другого района, то я обращался к градоначальнику, прося его подтянуть соответствующего участкового пристава, со своей же стороны я нажимал на участкового надзирателя. В результате — усиление наблюдения за неблагополучными районами, и как следствие — резкое понижение соответствующей кривой к следующему же месяцу.

В ряде предыдущих очерков я указывал на те приемы, которые практиковались сыскной полицией для раскрытия преступлений и задержания виновных. Теперь я опишу способы, употребляемые ею для предотвращения или, вернее, уменьшения их числа.

Конечно, в таком крупном центре, как Москва, ежедневные правонарушения неизбежны, но эпидемия преступлений, несмотря на свою хроническую форму, не всегда одинаково сильна, она то ярко вспыхивает, то сильно понижается в зависимости от более или менее успешной борьбы с нею. Эта эпидемия, как и всякая другая, имеет свои очаги, на кои обычно и направляла свои усилия сыскная полиция.

Кривая преступлений всегда резко повышается в праздничное время, т. е. во время двухдневного закрытия магазинов, лавок и всяких торговых предприятий. Праздничным отдыхом преступники пользуются для производства самых дерзких и крупных краж и преступлений. К Рождеству, Пасхе, Троице и Духову дню вся окрестная «шпана» стягивается в столицу в надежде на «легкий заработок».

Помню, что в первый год моего пребывания в Москве я на Рождестве чуть не сошел с ума от огорчения. 27 декабря было зарегистрировано до шестидесяти крупных краж с поджогами, взломами, выплавливанием несгораемых шкафов и т. п., а о мелких кражах и говорить нечего: их оказалось в этот день более тысячи. Из этих цифр явствовало, что город наводнен мазурьем и мне надлежит вымести из него этих паразитов. С этой целью я решил произвести облавы. Частичные, мелкие облавы стали производиться чуть ли не ежедневно, но вскоре же опыт показал, что средство это недостаточно; действительно, преступные элементы при приближении незначительного наряда полиции частью благополучно скрывались, а если и попадались люди, не имеющие права жительства в столицах, то, будучи отправлены на родину этапным порядком, вскоре бежали оттуда и вновь появлялись в Москве («Спиридоны Повороты»), где и пребывали до следующей поимки. Этот своеобразный «перпетуум мобиле» приводил меня в отчаяние. Но, не имея возможности осилить его, я прибег к паллиативному средству: если не в моих силах было устранить этих мошенников раз и навсегда из Москвы, то я мог все же на горячее праздничное время их обезвредить. Для этого нужно было, чтобы в праздничные дни эти нежелательные элементы находились бы либо на пути следования к своему местожительству, либо в самом местожительстве, наконец, в крайнем случае, на обратном пути в Москву, словом — только не в самой Москве. Этого мне удалось достигнуть с помощью грандиозных облав, о каковых я и хочу рассказать.

Три-четыре раза в год я давал генеральные сражения российским мошенникам.

Технически организовать облаву было нетрудно, так как силы сыскной и наружной полиции Москвы были для этого достаточны.

Сложность этого способа борьбы заключалась в том, что приходилось соблюдать строжайшую тайну о дне и часе облавы, не только от своих служащих, но и от чинов наружной полиции, между тем как в «экспедиции» принимало участие более тысячи человек. Дней за десять, иногда за восемь, а то и за пять до больших праздников я приказывал моим надзирателям, чиновникам и агентам собраться в полиции часам к 7-ми вечера якобы для ознакомления с каким-либо новым циркуляром или для получения от меня общих указаний по очередному сложному делу. Когда люди были собраны, им объявлялось, что сегодня ночью облава. После этого никто из них уже не только не выпускался из помещения, но им строжайше запрещалось даже разговаривать по телефону. В состоянии «арестованных» они пребывали до ночи, т. е. до самого начала действий. Вместе с тем я просил градоначальника нарядить мне в помощь тысячу городских, человек пятьдесят околоточных и десятка два приставов и их помощников. К ночи городовые стягивались в один общий исходный пункт (часто во дворе при жандармском управлении), к ним присоединялись мои люди. Руководители получали подробные инструкции, и глухой ночью начиналась облава.

Для большего успеха отрядам предписывалось следовать шагом до определенного места, а оттуда пускаться бегом и возможно быстрее оцепить намеченный район, квартал или группу домов, подлежащих осмотру.

Внезапность атаки играла огромную роль, сильно уменьшая шансы скрыться для преследуемых преступных элементов. По просьбе некоторых московских газет редакции их извещались за час до начала облавы, и уведомленные сотрудники их тотчас приезжали ко мне.

Когда подлежавшие осмотру районы были уже окружены полицией, в назначенный час мне подавался автомобиль, и я в сопровождении трех-четырех хроникеров выезжал на место действия, а на следующее же утро в газетах появлялись подробные, мелодраматические отчеты, не лишенные жути, образности и фантазии, сообразно индивидуальным особенностям их авторов. Помнятся мне несколько таких моих выездов к Хитрову рынку, в так называемые Кулаковские дома. Эти вертепы, эти клоаки, эти очаги физической и моральной заразы достойны описания.

Огромные, каменные сараи, сдаваемые сплошь под ночлежные квартиры. Эти многочисленные квартиры содержались и эксплуатировались относительно разбогатевшими, но всегда крайне темными личностями (часто скупщиками краденого, тайными винокурами и просто мошенниками). Городские и частные ночлежные дома, при всем своем убожестве, имели все же некоторую организацию, кой-какой служебный персонал, а посему являлись как бы комфортабельными гостиницами по сравнению с этими ночлежными углами, решительно предоставленными собственной участи и «культурным» потребностям их хозяев и обитателей.

В каждом этаже находился длинный общий коридор, куда выходили двери всех квартир. Двери эти, по требованию полиции, никогда не запирались на замок. Толкнув такую дверь, я быстро входил с отрядом, и если помещение было в первом этаже, то люди мои кидались к окнам, предупреждая побег.

Квартиры состояли обычно из 2—3 комнат, из которых одна была «дворянской». Носила она это пышное наименование вследствие того, что вместо нар в ней находились кровати с некоторым подобием тюфяков и ночевка в ней стоила целый пятак; на нарах же люди устраивались копейки за три; для кого же и эта цифра была велика, те приобретали за копейку право спать на полу, под нарами, за печкой и т. п. менее привилегированных местах.

Угол первой комнаты всегда был огорожен грязным пологом, за которым находилась «квартира» хозяина или хозяйки этой ночлежки.

Прежде всего агенты кидались за этот полог, и при обыске почти всегда обнаруживалось краденое.

Если бы произвести химический анализ воздуха этих помещений, то надо думать, что, наперекор законам природы, кислорода в нем не оказалось бы совсем.

Что представляли из себя обитатели этого логовища? Мне кажется, что, суммируя героев горьковского «Дна» с героями купринской «Ямы» и возведя эту компанию в куб, можно было бы получить лишь приблизительное представление об обитателях Кулаковских ночлежных квартир.

Быть может, чувствительные, но мало вдумчивые люди спросят: как могло правительство терпеть подобные очаги всевозможной заразы? Но что же было делать. Эти ночлежки, как и дома терпимости, вызывались самой жизнью, и волей-неволей приходилось их терпеть. Без них куда девались бы непереступные, хотя бы опустившиеся люди? Ведь плата в ночлежных домах не всем была доступна; организовать же бесплатные, сколько-нибудь благоустроенные, помещения не представлялось возможным, так как, при крайней нетребовательности простого русского человека, это значило бы взять на себя заботу о квартирах чуть ли не для половины России. Да, наконец, помимо гуманитарных соображений, уничтожение Кулаковских и им подобных квартир не повело бы ни к чему. Они выпирались жизнью в силу сложных социальных условий, и уничтожение этих скученных центров имело бы непосредственным последствием лишь распыление их по всей территории города, что только бы затруднило общий надзор за ними.

Наше появление вызывало сильное смятение. Впрочем, опытный взор и в этом смятении мог бы усмотреть известную последовательность и закономерность. Хорошая половина жильцов оставалась сравнительно спокойной, лениво потягивалась на нарах и встречала нас возгласами вроде: «Ишь, сволочи, опять притащились! Не дают покоя честным людям!» У этих «флегматиков» можно было бы и не спрашивать документов — они были, конечно, в исправности.

Не то делалось с другой половиной ночлежников! Они в ужасе рассыпались по помещению, забивались за печки, прятались под нары, лезли чуть ли не в щели.

За хозяйской перегородкой очищали место, и мы приступали к опросу и проверке каждого. Жутью веяло от этих людей, давно потерявших образ и подобие Божие: в лохмотьях, опухшие от пьянства, в синяках и ранах от недавних драк, все эти бывшие, а иногда даже и титулованные люди внушали ужас, жалость и отвращение. Впрочем, бывали случаи, когда среди этих бывших чиновников, офицеров, актеров, докторов и публицистов вдруг проявлялись проблески давно замерших переживаний человеческих, и больно и смешно было подмечать эти переживания, столь не гармонирующие со звериным обликом их носителей. Эта группа бывших интеллигентов производила наиболее тягостное впечатление.

— Где постоянно живешь? — спрашиваешь босняка.

И вдруг эта карикатурная личность, став в позу, тоном провинциального трагика заявляет с пафосом:

— Уж пятый год, как отчий дом я променял на это пышное палаццо! — при этом соответствующий жест в сторону нары.

— Твой паспорт? — спрашиваешь старую полупьяную проститутку.

— А вот мой паспорт! — и женщина делает невероятно циничный жест.

— Как звать? — говорит пристав какому-то типу с чрезвычайно гордой осанкой, но без штанов.

— А вы кто такой?

— Ну, ладно, кто такой! Не видишь? Пристав!

Фигура без штанов презрительно шипит:

— Пф-ф-ф! Пристав?! Я иначе как с начальником и разговаривать не стану.

Вдруг из-за занавески высовывается голова, затем протягивается рука, и заплетающийся язык произносит:

— Аркадий Францевич, будьте великодушны, одолжите двугривенный, до завтра, *regarde d'honneur*! Ну что вам стоит?! А выпить — во-о как хочется!

Иногда порешишь в кармане и протянешь рублевку. Словно не рука, а обезьянья лапа вырвет у тебя бумажку или монету, а за пологом уже слышится лирический восторг:

— Господи Ты Боже мой!!! Какое, какое благородство!..

Там, в глубине комнаты, какая-то пьяная-распьяная женщина, очевидно, из бывших шансонеток, пытается кокетливо шевелить лохмотьями, заменяющими ей юбку, и, игриво подмигивая, испытанным сильным голосом поет: «Смотрите здесь, смотрите там!» При этом оголяет уродливые, отекающие ноги. А перед тобой в это время мелькают и «коты», и «хипесники», и шулера, и просто жулики.

Дышать нечем, в висках стучит, а на душе тошно, и плохо отдаешь себе отчет в том, где ты и что с тобой. Где сон — где явь?!

Разбив это людское стадо на чистых и нечистых, т. е. на людей с неопределенными документами и на тех, у кого документы либо не в порядке, либо отсутствуют вовсе, я первых оставлял в покое, вторых отправлял в полицейские участки, причем для разбивки по участкам приходилось руководствоваться довольно своеобразным признаком: чем меньше следов одежды имелось на человеке, тем в более близкий участок он направлялся, так как сострадание и чувство стыдливости не позволяли подвергать людей без штанов прогулке через весь город, да еще при двадцатиградусном иногда морозе.

Приведенные в участки поились в 6 часов утра горячим чаем, каждому выдавался фунт хлеба и кусок сахара. На следующий же день им распределялось тюремное белье, обувь и одежда, и, согретье, одетые и накормленные, люди препровождались в сыскную полицию, где мы и приступали к выяснению личности каждого. Для этого у нас имелись и антропометрические приспособления, и дактилоскопические регистраторы, и целый фотографический кабинет с архивом.

Но о том, как производилась эта операция опознания — я расскажу как-нибудь в другой раз.

Если прибавить к этому, что при сыскной полиции имелись и собственный парикмахер, и собственный гример, и обширнейший гардероб всевозможнейшего форменного, штатского и дамского платья, то читатель получит, быть может, хотя бы некоторое понятие и представление о серьезном техническом оборудовании розыскного аппарата времен Империи.

Предпраздничные облавы дали прекрасные результаты, и помнится мне, что на четвертый год моего пребывания в Москве была Пасха, не ознаменовавшаяся ни одной крупной кражей. Рекорд был побит, и я был доволен!..

«СПИРИТЫ»

— Что это за порядки, г. начальник? В столице, так сказать, в центре Империи и образованности, — и вдруг бьют морду за собственные деньги, да еще говорят: ты гордишься, пострадал, мол, за науку!

— Что такое? — спросил я раздраженно. — Кто это вам в центре образованности бьет морду?

— Положим, можно сказать, — лицо высокопоставленное, сам фельдмаршал Суворов, но — а все-таки?!

«Какая тоска! — подумал я. — Сумасшедший...» И, ласково обратясь к нему, промолвил: — Вы не волнуйтесь, голубчик, успокойтесь и расскажите толком, в чем дело.

Мой проситель вовсе не походил на сумасшедшего. Передо мной сидел человек лет сорока, в коричневом пиджаке, в пестром галстуке. Сильно нафиксатуаренный пробор делил его голову на две равные части; краснощекое, маловыразительное лицо было покрыто ссадинами и кровоподтеками; на груди красовалась толстенная золотая цепь; мизинец правой руки заканчивался длиннейшим ногтем. По общему виду — не то приказчик, не то подрядчик. Вынув шелковый платок, он почтительно высморкался, оттопырив пальчик, старательно вытер рыжеватые усы и, спрятав платок обратно, начал не спеша свое повествование:

— Более 20 лет служу я в Охотном ряду у купца Прохорова. Начал, как и водится, с мальчишек, а вот уже десятый год состою старшим у него приказчиком. Зовусь я Иваном Ивановичем Синюхиным. Дело свое справляю аккуратно, а в свободное время читаю книжки и стараюсь проводить время с умными людьми. Я холост, дома сидеть скучно, а потому коротаю я часы нередко в ресторане «Мавритания», что недалече от Охотного. То на бильярде поиграешь, то чайку попьешь, а иной раз в праздничный день и профрыштыкаешь. С месяц тому назад познакомился я в этой самой «Мавритании» с неким Федором Ивановичем, фамилию же его — один Бог знает. Для всех он Федор Иванович, — и только. Из отставных чиновников. Умный и ученый человек и на все руки мастер: нет сильнее его игрока на бильярде, всех обыгрывает и меня подцепил на 10 целковых. Очень люблю я с ним разговоры разговаривать. Сядем с ним эдак за столик да за бутылкой пива говорим об умном: там о Боге, о звездах, о покойниках. Вот треть-

его дня, в воскресенье, проиграл я ему рублишко да и сел с ним пить чай.

— Что это вы, Иван Иванович, точно не веселы сегодня?

— Да так, — говорю, — разные неприятности с хозяином. Думаю от него уходить и свое дело открывать, так вот, говорю, всякие заботы грызут.

— Э, полноте, — говорит, — охота печалиться! Все равно сами ничего не придумаете, все заранее за вас решено.

— Т. е. в каких это смыслах? — спрашиваю я.

— Да в тех смыслах, — отвечает, — что духи умерших незримо нас окружают и творят с нами что хотят. Вот, к примеру сказать, нацелюсь я пятнадцатого уложить в середину, а если Орлеанская Девица или Катюша Медичи того не захотят, так я не то что шара не сыграю, а просто кием сукно прорву.

— Странные вы вещи говорите, Федор Иванович! Я и в толк даже не возьму.

Федор Иванович откинулся на спинку стула, прищурил глаза и спросил:

— Слыхали ли вы, Иван Иванович, что такое спиризм?

— Нет, — говорю, — не слыхивал.

— Ну, может быть, знаете, что люди столы вертят и вызывают духов.

— Да, действительно! Про это хозяин как-то рассказывал.

— Так вот, дорогой мой Иван Иванович, я такой человек и есть! И силища во мне сидит огромная. Я состою председателем общества и часто устраиваю у себя на дому сеансы. Да что сеансы? Иногда вечером сидишь в одиночестве, закусываешь или чай пьешь, и станет тебе скучно без компании, — сейчас же хватаешь маленький столик, блюдечко, гитару — и пошла писать губерния! Духи так и прут к тебе! Но я, знаете, больше по женской части. Призовешь этак к себе двух-трех покойниц, тысячи по две лет каждой, ну и начинаешь с ними беседовать. То да се, пятое-десятое, иногда даже рюмочку вина поднесешь.

— Ну, Федор Иванович, это вы, кажется, того! Духи бесплотные, без живота и, так сказать, нутра, а вы вдруг рюмки вина преподнесите!

Федор Иванович на минуту призадумался, но затем смело заявил:

— Это ничего не значит, что без нутра. Пьют в лучшем виде. Одно только: как исчезнут, так на полу мокро остается.

— Конечно, — говорю, — вы, Федор Иванович, человек ученый, и мне спорить с вами трудно. Но по совести скажу, что поверю всему этому, увидевши разве собственными своими глазами.

— Отчего же? Если захотите, так и увидите. Вот в будущее воскресенье у меня сеанс, приходите, буду рад. Может быть, и в члены нашего общества вступите?

— Премного вами благодарен, — отвечаю, — всенепременно воспользуюсь и пожалуйю.

— Отлично, буду ждать часиков эдак в девять. Адрес мой вам известен.

На этом мы с ним расстались. Всю неделю ходил я как очумелый, нетерпеливо дожидаясь воскресенья. На неделе в «Мавритании» Федор Иванович мне еще раз напомнил о сроке. Третьего дня я ровно в 9 ч. звонился к нему. Сердце во мне тревожно стучало. Ведь шутка ли подумать, через какой-нибудь час, а то и меньше, стану разговаривать с покойным родителем, а может быть, и с Киrom, царем персидским! Вхожу. Встречает хозяин. «Очень, — говорит, — рад. А у нас тут уже пять членов собралось, и сейчас можем начинать сеанс. Предупреждаю вас, Иван Иванович, не удивляйтесь ничему, строго исполняйте, что я прикажу, а главное, Боже упаси, не рвите цепь, т. е. не отрывайте рук от столика и крепко мизинцами держитесь за руки ваших соседей». Из прихожей он провел меня через какую-то полутемную комнату в соседнюю, тоже полуосвещенную. Здесь находилось четверо каких-то мужчин. Федор Иванович представил меня: «Вот, господа, кандидат в члены нашего общества». Посреди комнаты стоял небольшой круглый столик, вокруг него шесть стульев. Мы сели. Федор Иванович потушил электричество, наступила крошечная тьма. «Итак, господа, кладите руки, и мы приступим», — сказал он. Мы положили руки. «Касайтесь слегка, не нажимайте на стол», — скомандовал Федор Иванович. Меня охватила жуть. Мысленно я прочитал молитву. Все было тихо. Вдруг, мать честная! Чувствую, столик под руками ерзнул раз-другой, потом стал подпрыгивать, и что-то застучало в крышку. У меня сперло дыхание. А Федор Иванович вдруг эдаким замогильным голосом спрашивает: «Светлейший, это вы?» Не успел он спросить, как где-то в углу раздался оглушающий петушиный крик. Трясаясь, как в лихорадке, я пролепетал: «Федор Иванович, голубчик! Отпустите, мочи моей нету!» Он же сердито на меня прикрикнул: «Сидите смирно, не порывайте цепи, не то плохо вам будет! Фельдмаршал шутить не любит». В это время кто-то как свиснет меня по морде, раз, другой да третий! Забыл я про цепь да и поднял руки, чтоб закрыть лицо. Тут и настала моя погибель! Кто-то схватил меня за шиворот, опрокинул со стула на пол, и невидимые кулаки принялись меня колошматить. Сколько это длилось — не знаю, но слышу голос Федора Ивановича: «Сгиньте, духи ада! Я зажигаю огонь!» Духи от меня отлетели, и когда Федор Иванович повернул кнопку, то я увидел всех сидящими за тем же столом, с ужасом глядящих на меня. Я же оказался лежащим на полу, неподалеку от столика. Дрожа всем телом, встал я на ноги, погрозил им кулаком, плюнул и, не говоря ни слова, повернулся и вышел.

Как в тумане добрался я до дому, вошел к себе в комнату и медленно стал раздеваться. Глядь, — а бумажника-то в боковом кармане и нет! А в нем-то более ста рублей денег было. Не спал я целую ночь: и денег-то мне жалко, да и понять-то хорошенько не могу. Выходит — точно жулики, а как же стол вертелся, петух

кричал, да и Федора Ивановича я ни в чем таком не замечал? Словом, такая неразбериха поднялась в моей голове, что и сказать не могу. На следующий день не вышел я даже и на службу. Днем, однако, зашел в «Мавританию» и тут же столкнулся с Федором Ивановичем.

— Очень даже, — говорю, — странно с вашей стороны: приглашали на научный сеанс, а сами избили да и сто рублей с лишним сцапали!

— Эх вы, — говорит, — темный человек! С духами шутить нельзя! Я предупредил вас, не рвите цепь. Вы не послушались, — вот и случилось! Впрочем, вы это еще легко отделались. Видели вы того господина, который сидел рядом со мной, эдакий высокий? Тот тоже в первый раз по неопытности порвал цепь, так, знаете ли, духи его прямо похитили с сеанса и по воздуху перенесли на дом, и при этом золотых часов его — как не бывало!

Тут, г. начальник, меня осенила, признаюсь, нехорошая мысль:

— Что, — говорю, — со всяким ли новичком в вашем деле происходят такие неприятности.

— Да, — говорит, — со всяким, ежели порвет цепь.

— Послушайте, — говорю, — Федор Иванович, у меня к вам просьба: не буду скрывать от вас, что хозяин мой сущая собака. Мальчишкой он меня колотил да голодом морил, а как вырос да приказчиком стал, с той самой поры и по сегодня, — ни одного ласкового слова не слыхивал от него. Пройдоха он, выжига и нахальник! Теперь я собираюсь от него уходить на свое дело, так мне наплевать, а очень бы хотелось мне отплатить ему. Не могут ли ваши духи набить ему морду хорошенько и там насчет всего прочего?..

— Что ж, — отвечает Федор Иванович, — оно можно, ежели цепь порвет. Ну, а не порвет сам, — так вы за него порвете. Приведите его в четверг, у нас опять заседание.

— Ладно! — отвечаю. — Приведу. А только, между прочим, ни денег, ни часов с собой не захвачу...

На следующий день я отправился на службу, лицо все в синяках, смотреть в глаза людям стыдно. Меня, конечно, расспрашивают, что-де, мол, с вашей физиономией? А я служащим и хозяину рассказал, что нечаянно, по собственной вине пострадал за науку, крутил, мол, столы, вызывал духов. Заинтересовался хозяин да и зовет меня к себе в комнату, расскажи, дескать, подробно, что и как. Я правды, конечно, сначала не сказал, описал лишь приход Суворова, петушинный крик, ну, да и прибавил там разного и говорю:

— Если хотите, Дмитрий Дмитриевич, то в четверг можете отправиться со мной на сеанс, очень, — говорю, — интересно!

А он покачал головой да и молвил:

— Что и говорить? Вижу, что интересно. Недаром вся морда у тебя в синяках! Эх, Иван, повторял я тебе сто раз, что вместо головы у тебя на плечах кочан капусты. — А затем как гаркнет во всю глотку:

— Признавайся, болван, сколько денег они с тебя выудили?

— Ну, г. начальник, — тут по старой привычке охватила меня робость и сам не знаю, как ответил:

— Более ста целковых, Дмитрий Дмитриевич!

И рассказал, конечно, все как было.

Выругал он меня хорошенько да и посоветовал обратиться в сыскную.

Вслушав этот рассказ, я нажал кнопку и вызвал к себе чиновника Силантьева.

— Вот он расскажет вам все дело, Силантьев, а вы в четверг ликвидируйте эту шайку мошенников.

Силантьев успешно справился с этим делом.

Теперь я не помню в точности, как принялся он за него. Но, кажется, что один из его агентов постучал в кухню и, вызвав кухарку на лестницу, отвлек ее внимание. В это время Силантьев под видом купца Прохорова со своим старшим приказчиком восседал на сеансе. Трое его товарищей отмычкой открыли парадную и бесшумно прокрались в соседнюю со «спиритами» комнату. Силантьев, не порывая цепи, дал духам похитить его бумажник, затем подал условленный сигнал и, явив мошенникам массовую материализацию в образе своих товарищей, напугал их до полусмерти, после чего и арестовал всех. Они оказались теплыми ребятами: Федор Иванович — небезызвестным клубным шулером, двое из его сообщников — ворами-рецидивистами, а два остальных — административно высланными, проживающими нелегально в Москве. При их аресте приказчик позлорадствовал и сказал: «Я-то сумел порвать цепь, ну а вам, пожалуй, своих цепей не порвать будет!»

ДЕБОШИРЫ

Я не раз уже говорил о том разнообразии типов и образов, промелькнувших предо мною в течение моей долгой службы. Вот в памяти встают еще две тени, про которые я и намереваюсь рассказать.

Однажды утром мне докладывают, что истекшей ночью доставлены в сыскную полицию два молодца, произведшие в кафешантане «Эльдорадо» дебош и обвиняемые хозяином ресторана в похищении у него 300 рублей.

Срочных дел в ту пору у меня не имелось, а потому я пожелал допросить их лично. Вместе с тем я приказал вызвать по телефону и хозяина шантана. Я велел позвать к себе арестованных.

Раскрылась дверь, и в кабинет вошел высокий субъект военной выправки с гордо поднятой головой. Одет он был в помятый смокинг, запонки его жеваной рубашки, видимо, отлетели, и выглядывала волосатая грудь. Его черный галстук съехал набок, волосы растрепаны. За ним, как-то петушком, вошел в кабинет совсем молодой человек, лет 18—20, с серым, удивительно глупым и сильно расцарапанным лицом, яйцевидным черепом и густыми, ниспадающими до плеч волосами. Одет он был в бархатную темно-зеленую тужурку, какие часто носят художники.

Я начал допрос с него.

— Кто вы такой? Чем занимаетесь? Где живете?

Молодой человек, скрестив руки на груди и закатив глаза к небу, певучим тенорком и с бессмысленной улыбкой мне ответил:

— Я, Божией милостью, поэт и музыкант, сын замоскворецкого 1-й гильдии купца и кавалера Святой Анны третьей степени Дмитрий Кульков. Проживаю же я при родителях.

— Стало быть, тоже занимаетесь коммерцией?

— О, нет! Я с детства полюбил муз и самоучкой просветил свой разум. Так в автобиографии у меня и значится:

Я с малолетства льнул к наукам,
К стихам и прочим разным штукам,
За что родитель нас ругал
И в морду нам не раз давал.

— И хорошо делал! — буркнул его компаньон.
Поэт продолжал:

— Дома я бываю редко, меня не удовлетворяет серость нашей семьи. Я брожу по Москве-матушке, ища настроений, вдохновений и благородного общества.

— Очевидно, и в «Эльдорадо» вчера вы попали в поисках настроений?

Поэт не ответил.

— Давно ли вы знакомы с вашим компаньоном и что вас связывает?

— Знаком я с ним уже с год. Что связывает? Да нравится он мне своим весельем и отвагой. Я же часто бываю нужен ему. К примеру сказать, часто ему бывает есть нечего, ну и придет к обеду, нам что же? — не жалко, а то и просто перехватить у меня четвертную.

Его сотоварищ поморщился.

— Вы обвиняетесь в похищении 300 р. у хозяина шантана. Что вы скажете по этому поводу?

— Сущая нелепость! При наших капиталах стал бы я мараться?! Вот, может быть, они? — и он ткнул пальцем на своего попутчика. — Я же был так оглушен всем происшедшим, что ровно ничего не помню. Спросите его. К тому же у него и великосветское красноречие.

Я исполнил его желание:

— Кто вы, чем занимаетесь, где живете?

Тип приосанился, выпятил грудь, покрутил ус и, щелкнув каблуками, ответил:

— Я Петр Петрович Оплеухин, поручик в запасе и дворянин. Живу на Мясницкой в меблированных комнатах Иванова, существую родительской поддержкой и кой-каким собственным заработком.

— Например?

— Да знаете ли, генерал, разное бывает: то в картишки выиграешь, то на скачках, а то и просто у приятеля перехватишь. Сами понимаете, у всякого порядочного человека могут быть долги.

— Что скажете по поводу предъявляемого вам обвинения?

— Фи, помилуйте, сущий вздор! Я порядочный человек, а не вор. Да, наконец, *poblesse oblige*, честь мундира... Не стану скрывать от вас, что вчера мы пошумели с пиитом немного, но и только!

— Расскажите подробно, как было дело.

— Чрезвычайно просто: сижу я эдак в «Эльдорадо», глотаю мои любимые остендские устрицы, запиваю их шабли, как вижу, — входит в зал сей рифмач и прямо к моему столику, да и плюхается на стул.

— Что вы врете, Петр Петрович, не я к вам подошел, а вы ко мне прилезли!

— Ну, это не важно. Факт тот, что мы очутились за одним столиком. Я, он и его фея, местная шансонетка, мамзель Жизель. Я пью свое шабли, а он, словно старая... — Тут поручик чуть не сказал скверного слова, но удержался и произнес: — Кокотка, сосет

себе сладчайшую марку шампанского. Ну-с, хорошо-с! Выпил я вторую бутылку под устрицы, съел рябчика в сметане, полил его бутылкой мадеры, затем грушу в хересе да с кофе рюмок пять бенедиктину, и дошел я до того психологического момента, хорошо знакомого всем порядочным и пьющим в компании людям, когда начинаешь ощущать в себе эдакий прилив здоровых сил и сам не знаешь хорошенько, чего тебе хочется: не то сдернуть скатерть с сервированного стола, не то треснуть своего соседа виолончелью по голове. А тут, вообразите еще, это суконное рыло, — он ткнул на Кулькова, — принялся обвораживать Жизель своими виршами. В сотый раз услышал я и про науки, и штуки, и про то, как тятенька бил ему морду... Ну, знаете, тут я и не выдержал: одной рукой сгреб я скатерть со стола и быстро скрутил из нее здоровенный жгут, другой выхватил виолончель из оркестра и хлоп питы по черепу! Да так, что пробил он своей репой инструмент, и мне представилась довольно забавная картина: не то глава жертвы Иродиады на блюде, не то человек, окунувшийся до подбородка в воду. Он было запротестовал, но я сильно дернул за гриф, хлестнул его по ногам своим импровизированным стеком, и мы галопом пронеслись по залу, выскочили в коридор и влетели в какой-то занятый отдельный кабинет. Там мы застали одну из местных шансонеток в обществе невероятно богомерзкой хари, — вообразите себе эдакий конусообразный лысый череп с китайскими очками на носу и с философским налетом на морде. Девушка, давно отвыкшая удивляться чему бы то ни было, довольно спокойно спрятала губную помаду, шелкнула сумочкой и, пробравшись вдоль стенки, выскользнула в дверь. «Спиноза» же, подняв очки на шишковатый лоб, угрюмо побоедал воздух и заплетающимся, пьяным языком проговорил: «Черт знает что, до чего нализался, и разобрать хорошенько не могу: не то Лознгрин плывет на лебеде, не то ведьма на бурсаке верхом скачет!» Конечно, в этих словах не было ничего обидного, но под пьяную руку честь мундира мне показалась замаранной, и, недолго думая, хватил я своим жгутом «Спинозу» по черепу, да так, что вдребезги разлетелись его очки, а сам он бесшумно скатился под стол и не издал ни одного звука. Я же, обскакав на своем Пегасе кабинет, вылетел обратно в коридор, где и был схвачен сбежавшимися лакеями и откуда-то появившимися двумя городовыми. Не без труда сняли с пиита ожерелье, после чего хозяин, чувствуя себя в безопасности, очевидно, мести ради, обвинил нас в какой-то краже, и мы были доставлены сюда в сыскную полицию.

Явившийся хозяин «Эльдорадо», допрошенный мною, пояснил, что вчера его не так поняли и что не о покраже 300 р. говорил он, а об убытке, нанесенном ему на эту сумму в виде поломанной виолончели, разбитой посуды и т. д.

Так как сыскной полиции здесь было делать нечего, то я предложил потерпевшему либо обратиться к мировому судье, либо покончить тут же дело миром.

Стороны пришли быстро к соглашению, и Кульков, вытащив бумажник, здесь же заплатил 300 руб. Поручик, подойдя к нему, сказал:

— Разумеется, половину расходов я принимаю на себя, а для округления цифры дай мне 50 руб., и, таким образом, за мной будет 200.

Но пиит, судорожно от него отвернувшись и спрятав поспешно бумажник, промолвил:

— Апосля! Здесь — не время и не место.

Поручик презрительно пожал плечами и сквозь зубы процедил:

— Сволочь!

Отпуская их, я задержал на несколько минут пиита:

— Послушайте, г. Кульков, неужели вы спустите этому прощелыге и скандалисту? Ведь мне вчуже за вас обидно: исцарапал вам голову, вовлек вас в убытки, а вы — хоть бы что! Ведь этот он нанижет вам сегодня турецкий барабан на голову, завтра примется вас бить медными тарелками по затылку, а там и просто вас угробит в какой-нибудь рояль.

Но поэт снисходительно улыбнулся:

— Видите ли, я и сам сначала думал обидеться и даже в камере сказал ему, что не оставлю этого дела безнаказанным, но он сначала поколебал меня, а потом и убедил этого не делать. «Послушай, Дмитрий, — сказал он мне, — на что ты сердишься? Раскинь умом: много ли ты найдешь в Москве поэтов и музыкантов с подобной судьбой? Чем виноват я, что музыка, женщины, а главное, — твои стихи довели меня до подобного экстаза? Не зная, как выразить тебе мое восхищение, я тебя, служителя муз, решил слить с нежным инструментом. Ну,хвати я тебя стулом или бутылкой — и я бы понял твою обиду. А ты только вообрази: сидел себе какой-нибудь эдакий Страдивариус, кропотливо клеил себе инструмент, накладывал на него ему одному известный лак, словом — трудился над ним годами. А ты в одно мгновение ока пронзил его своей рифмованной и музыкальной головой! Нет, воля твоя, подобная честь выпадает лишь избранныкам богов». Я, разумеется, не мог не согласиться с этим.

Затем, сделав паузу, он, неожиданно и глупо хихикнув, сказал:

— Вы знаете, я, сидя в камере, сочинил стихи, подходящие к случаю. — И снова, подняв глаза к небу, он томно продекламировал:

Вчера в присутствии Жизель
Пронзил главой я виолончель,
Но коль наступит нужный час,
Пробью башкой и контрабас.

Видя, что я имею дело с неисправимым идиотом, я перестал удивляться и выводил его из кабинета.

БРАК ПО ПУБЛИКАЦИИ

— Известное дело, одинокую беззащитную женщину всякий мазурик может обидеть. Заступитесь, господин начальник, не дайте погибнуть, так сказать, в расцвете лет.

С подобными словами обратилась ко мне как-то на прием женщина лет сорока, довольно миловидной наружности мещанского типа.

— Кто вы и что с вами случилось?

— Я Агриппина Яковлевна Чудинская, вдовею пятый год. Муж мой содержал извозничий двор и оставил мне после себя 8 тысяч рублей наследства. Хлеб я себе зарабатываю шитьем. Истосковалась я за эти годы, живя одинокой вдовой без мужской поддержки; однако соблюдаю себя строго и знакомств с мужчинами никаких не вожу. Вот и надумала я, чувствуя себя не старой и имея капиталец, отчего бы мне снова не обзавестись мужем? Поговорила я с моей подругой, так, мол, и так, думаю к свахе обратиться насчет законного брака. А подруга моя, этакая шустрая, разбитная, и говорит: «Кто же это нынче к свахам обращается! На то, — говорит, — есть «Брачная газета». Погляди объявления и выбирай мужа любой масти по вкусу». Я послушалась, купила газету и принялась читать. Много там разных объявлений, всякий там себя восхваляет и норовит товар лицом показать. Один пишет, что он симпатичный бржунет, непьющий и играет на гитаре; другому, очевидно, похвастать нечем, так он просто и пишет — «совершенно свободный от мобилизации». Однако я облюбовала вот это объявление, — и она протянула мне газету, где чернилами было обведено: «Солидный человек желает вступить в брак с честной девушкой или вдовой. Требуется пять тысяч приданого для расширения торгового дела. Писать в Главный почтамт, до востребования, предъявителю квитанции № 4321».

Я по этому адресу написала, рассказала все про себя и между прочим сказала, что если вы окажетесь мужчиной подходящим, то готова буду вступить в брак и доставить приданое.

Я просила назначить мне свидание для знакомства и для ответа приложила свой адрес. Дней через пять получаю письмо очень почтительно и ловко написанное. Он называет меня «таинственной незнакомкой», «родной душой» и разными прочими чувствительными именами. Желая себя показать и увидеть мою личность, он

назначает мне свидание на Тверском бульваре, у памятника Пушкину, в такой-то день, в 11 часов утра, и пишет, что для приметности будет сидеть на скамейке с правой стороны и читать газету.

С нетерпением ждала я срока, и в назначенный день, одевшись почище, в новых серьгах и золотом браслете я за полчаса до одиннадцати подходила к Пушкинскому памятнику. А сердце так и стучит. Кого-то, думаю, Господь мне пошлет. Смотрю, а справа сидит с газетой в руках какой-то просто красавец мужчина: этакие черные усищи и сам брюнет, в пальте с каракулевым воротником и каракулевой шапке. Я села на ту же скамейку и осторожно покосилась на него. Он тоже взглянул на меня и продолжал чтение. Посидела я минут с пять, покашляла, высморкалась в батистовый платок и думаю, что будет дальше. А он сидит, точно аршин проглотил, и хоть бы что. Посидела я еще немного, и разобрала меня злость.

— Очень даже странно, — говорю, — с вашей стороны, сами публикуетесь в «Брачной газете», ищите невесту с приданым, а, между прочим, молчите, как колода.

Мужчина, как показалось мне, растерянно посмотрел на меня, подумал с минуту, огляделся по сторонам, скомкал газету, спрятал ее в карман и, улыбнувшись, ко мне пододвинулся.

— Вы, — говорит, — извините, я такой рассеянный, зачитался газетой и все забыл. Только здесь нам толковать будет очень неудобно. Перейдем через улицу в Филипповское кафе, позвольте вас попотчевать чашкой шоколада.

— Мерси, очень приятно, — отвечаю.

И мы отправились. Станным спервоначалу он мне показался: отвечает все как-то невпопад, чего-то хихикает. Я даже заметила ему:

— Что это вы такие странные?

А он отвечает:

— Это я от конфуза, по первому знакомству. Потом обойдется.

И действительно: он стал разговорчивее, заплатил по счету 1 рубль 25 коп, и пошел даже провожать меня до дому. О себе он говорил немного, сказал, что имеет какое-то дело, какое — не знаю, и назвал Петром Николаевичем Ивановым. Прощаясь, я просила его заходить в гости почаще. Он обещался и вправду зачастил. Зашел он ко мне два раза попить чайку, говорил о нашей будущей жизни и даже свадьбу хотел сыграть через месяц. Зашел он ко мне и в третий раз; побеседовали мы с ним все о том же, а потом он и говорит:

— Вот что, Агриппина Яковлевна, вы бы отпустили мне целковых двести наперед из приданого. А то тут всякие расходы и хлопоты предстоят относительно свадьбы.

Подумала я, подумала да и отвалила ему, дурища, двести рублей. Он спрятал деньги, и в первый раз поцеловал меня, г. начальник (тут моя посетительница конфузливо потупилась). Обещал он зайти на следующий день, но не зашел. Прошло еще два, три

дня, неделя, а его все нет. Вспокоилась я. Что, думаю, тут делать? Села да и написала до востребования ему письмецо. На третий день получаю ответ. Вот он, г. начальник.

Я прочел:

«Божественная! Что вы, в самом деле, смеетесь надо мной. Неделю тому назад, как было уловлено, я явился к памятнику Пушкину, правда, с опозданием на десять минут, но, увы, идола моего сердца не застал. Прождав до двенадцати, я с неизъяснимой тоской в душе отправился обратно домой. Верь после этого женщинам. Все они легкомысленны и ненадежны, — сказал я себе, — и не ошибся, так как из вашего письма вижу, что какой-то Ромео успел уже пленить вас и даже сорвать двести рублей. Впрочем — всегда подлецам в жизни везет, а истинно честные люди, как я, вынуждены одиноко страдать, борясь с пламенной любовью в сердце».

— Прочтя это письмо, я так и ахнула. Тьфу, пропасть! Ведь не девчонка я, а так опростоволосилась. То-то казался он мне сначала странным и непонятным. Это я всему, дурища, виной, пришла на полчаса ранее и по ошибке соблазнила ни в чем не повинного человека. Плакали, можно сказать, мои денежки!

Успокоившись немножко, я ответила на вновь полученное письмо, снова прося там же свидания для знакомства и объяснения. Вскоре ответ был получен, и мы познакомились. Мой жених оказался мужчиной ничего себе. Назвался он Гаврилой Никитичем Сониным, тверским купцом, приехавшим в Москву на месяц по делам. Показался он мне человеком степенным и аккуратным. Сказал, что остановился в меблированных комнатах Соколова на Песковском переулке. Я, как обстрелянная птица, тайком сходила в эти меблирашки и за рубль целковый навела у швейцара справочку. Все оказалось в точности, сама видела паспорт.

— Нам, конечно, свадьбу следовало бы сыграть в Твери, — сказал мне Гаврила Никитич, — да только, пожалуй, накладно будет: поднапрет родня да знакомые, на всех не оберешься. А мы с вами, Агриппина Яковлевна, здесь в Москве скромненько обвенчаемся да и махнем супругами в Тверь.

— Что ж, мне все едино, — отвечаю, — только приданое получить в самой церкви, иначе я не согласна.

— Мерси, — говорит, — с удовольствием. Что в церкви, что до церкви, — мое дело без обману.

И вот третьего дня состоялась наша свадьба. У него был шафером какой-то приятель, эдакий красивый курчавый мужчина, у меня же мой двоюродный брат. Больше никого и не было. Прямо из церкви захали ко мне, забрали пожитки и махнули на Николаевский вокзал. Заняли мы места, как господа, во втором классе, в купе. Я на одной скамейке, а напротив меня уселся муж, крепко держа карман с деньгами, переданными ему мною в церкви. Едем — беседуем. Истопники напустили такой жар, что я взопре-ла. Захотелось мне пить, я и говорю:

— Гаврила Никитич, испить бы. Жарища такая!

А он отвечает:

— Вот приедем в Клин, я мигом слетаю в буфет за лимонадом.

И действительно, в Клину он выскочил из вагона и побежал в буфет. Жду пять минут, жду десять — нет моего Гаврилы Никитича. Позвонили звонки, просвистел паровоз, и мы тронулись. Я, чуть не плача, кинулась туда-сюда, кричу проводнику: человек, мол, остался. А проводник этак спокойно отвечает: что же, это бывает. Не извольте беспокоиться, нагонит нас следующим поездом. Как доехали до Твери, — я и не помню. Однако вылезла, села на скамейку на платформе, расставила около себя вещи и принялась ждать. Часа через полтора пришел поезд из Москвы. Гляжу по сторонам, оглядываюсь, а мужа нет как нет. Пропустила еще один поезд и думаю, что же мне делать теперь. Подумала я, подумала да и сдала вещи на хранение на вокзале, а сама на извозчике прямо в полицейское управление, в адресный стол. Навожу справку, где тут, мол, у вас проживает купец Гаврила Никитич Сонин? Барышня записала и пошла справляться. Возвращается минут через двадцать и заявляет: «Такого купца в Твери не имеется». Тут сердце у меня так и упало. Этакая напасть, прости, Господи. Неужто на второго мошенника налетела. Справляюсь на всякий случай в полиции, но и там о купце Сонине ничего не слышали. Села я в поезд и вернулась в Москву. Это было вчера к ночи, т. е. во вторник, а сегодня я и явилась к вашей милости. Не оставьте без внимания, помогите.

Я записал ее адрес и просил явиться через недельку за ответом. Я приказал навести справку и в Московском адресном столе. По ней оказалось двое Гаврилов Никитичей Сониных, но последние, как было выяснено, ни по годам, ни по приметам не подходили. Тогда я отправил специального агента в Клин, приказав ему выяснить по возможности, не был ли кем-либо замечен вчерашний пассажир, прозевавший поезд.

Агент, вернувшись из командировки, доложил:

— Обратился я сначала к начальнику станции и жандармскому унтер-офицеру, встречавшим поезда во вторник, но ни тот ни другой ничего не знали. Однако в буфете, куда я обратился, старый официант-татарин мне заявил:

— Как же-с, именно во вторник, с дневным поездом прибыл какой-то господин, я видел, как он выходил из вагона. Прошли они в буфет и заказали обед. Господин, видимо, богатый, заказывали все дорогие вина и кушанья. Поезд ушел, а они ничего: сидят и пьют и, можно сказать, подвыпили сильно. Подал я им счет на 22 рубля. Они уплатили и говорят: «Вот тебе десятка, пойди в кассу и купи мне четыре билета 1 класса до Москвы, желаю один в купе путешествовать, со всеми удобствами». Что, думаю, за притча. Приехал человек из Москвы не для того же, чтобы поесть у нас на вокзале. Это он, думаю, с пьяных глаз спутал, и я этак осторожно ему говорю: «Вы, может быть, господин, оговориться, изволили? Вам, может, билетки на Тверь или до другой какой-

нибудь станции надобно?» А они как стукнут кулаком по столу да заорут: «Ты, холуйская морда, делай то, что тебе велено. Я, может, на луну желаю отправиться, не твоего ума дело». Что же, мне все равно, — в Москву так в Москву. Принес я им билетики, а они трешку мне на чай отвалили. Хаароший господин.

Теперь у меня не оставалось сомнений, что мошенник не удрал из Москвы. Но как было найти его? Документ у него, несомненно, «липовый», да и со вторника, надо думать, он обзавелся новым паспортом.

Я остановился на следующем, правда, далеко не верном способе. Вызвав к себе агентшу Ольгу Дмитриевну Н., одну из моих способных сотрудниц, я рассказал ей кратко, в чем дело, и предложил ей дать соблазнительное объявление в той же «Брачной газете», смутно надеясь, что мошенники, окрыленные недавним успехом, пойдут на удочку и пожелают пробиссировать номер. Моя агентша поместила следующую публикацию: «Молодая, благородная девица с десяти тысячным приданым желает выйти замуж за красивого честного труженика. Обращаться письменно, с приложением фотографической карточки, в Главный почтамт, до востребования, по пятирублевой кредитке № 126372».

В ближайшие два дня моя агентша получила свыше 40 писем и фотографий. По мере получения они предъявлялись незадачливой вдове, но среди них фотографии Сонины не было. На третий день, увидя одну из вновь полученных фотографий, вдова дико взвизгнула:

— Шафер, шафер, евовный шафер.

К этой карточке было приложено письмо: «Цена высокоблагородное происхождение, спешу немедленно откликнуться на ваш зов. Я писатель и газетный литератор. Откликнись, отзовись! Быть может, ты та, которой суждено мне дать изведать или блаженство рая, или муки преисподней».

Моя агентша назначила свидание и познакомилась. «Литератор» стал к ней ездить каждый день, витиевато клянясь ей в любви. Поломавшись дней пять, она дала, наконец, согласие на брак. Вот как описывала мне она этот торжественный момент и дальнейший ход дела:

— На пятый, примерно, день я, после долгих колебаний, дала свое согласие, но заявила: «Я желаю, чтобы свадьба наша была широко отпразднована в Москве». Он было заупрямился, ссылаясь на расходы, но я сказала, что девять тысяч пятьсот рублей передаст ему в церкви перед самым венчанием мой дядюшка опекун, остальные же пятьсот рублей пойдут на духовенство, певчих и обед в гостинице. Он поторговался, говоря, что и трехсот рублей довольно, но затем уступил. Кстати, я забыла сказать, что он назвался Сергеем Николаевичем Омеговым.

— Вот что, Сергей Николаевич, — сказала я ему, — так как я хочу отпраздновать свою свадьбу по-дворянски и шафером у меня будет один кавказский князь, то мне интересно было бы знать,

кого пригласите вы к себе в шафера? Нет ли у вас там какого-нибудь графа или барона?

«Газетный литератор» важно откинулся на спинку стула и не без достоинства произнес: «Конечно, у меня есть знакомые и бароны и графья, да только все они сейчас разобраны, а позову я к себе шафером ученого философа. Он состоит профессором в университете и на механическом факультете читает лекции по международной философии. Я ответила: «Отлично. Привозите ко мне завтра вашего приятеля и приезжайте сами, — вы этак к часу дня, а его пришлите на полчаса раньше, я хочу с ним поговорить».

— Это вы насчет меня справиться желаете?

Я ничего не ответила.

— Ну, ну, — хорошо. Все исполню, как велите.

На следующий день в половине первого ввалился ко мне высокий мужчина в огромных очках. Желая, по-видимому, сыграть роль ученого и понимая ее довольно своеобразно, он говорил неграмотно, напыщенным языком, полагаясь, очевидно, на свое искусство и мое невежество.

Его высокий рост, краснинка на носу, а главное — бородавки — одна на правой щеке, а другая у левого уха, совпадали с приметами, данными мне обманутой вдовой.

Словом, я была почти уверена, что предо мной не Иван Иванович Аристидов, как он себя назвал, а все тот же Сонин.

Я весьма вкрадчиво и задушевно расспросила его о моем женихе, и он, как и следовало ожидать, расхвалил его в пух и прах. Сравнил с Пушкиным и почему-то с «Господином Боборыкиным».

Следуя вашему распоряжению, мне удалось за завтраком получить оттиски их пальцев.

— Позвольте ваши тарелки, — сказала я им, — я вам дам чистые.

Они протянули свои тарелки, и я отставила их в сторонку на буфет, бережно охраняя оттиски больших пальцев на их краях.

— Боже, какая рассеянность! Сахару-то я в чай не положила! Возьмите, пожалуйста, сами.

И я пододвинула гладко полированную серебряную сахарницу без ручек. Пятерня того и другого на ней отпечатались, после чего я отставила сахарницу к тарелкам. На прощанье я сказала им:

— Будьте завтра непременно ровно в два часа у моего опекуна и тетки. Они давно желают познакомиться с моим женихом и с вами. И я, с разрешения моих друзей, дала точный адрес квартиры моей «тетушки».

Выпроводив моих посетителей, я немедленно доставила обе тарелки и сахарницу в наш дактилоскопический кабинет. Там отпечатки были проявлены, сфотографированы, подведены под формулу и оказались принадлежащими давно зарегистрированным и хорошо известным нам вора и мошенникам.

Назвавшийся Сониным оказался московским мещанином Гавриловым с тремя судимостями, его же приятель, выгнанный семи-

нарист новгородской духовной семинарии, Антоновым, дважды отбывавшим наказание за кражи и мошенничества. У нас при полиции давно имеются их фотографии, таким образом, сомнений быть не может.

Вооруженная этими данными, явилась я к 12 часам дня на квартиру, так сказать, моего дядюшки и тетушки. К этому же времени были приглашены туда и о. Иоаким с дьяконом, венчавшие обманутую вдову и утверждавшие, что записи в церковных метрических книгах были сделаны на основании паспортов бракосочетавшихся, не внушавших сомнений в их подлинности. Причем батюшка, узнав о мошенничестве, возмущенно заявил: «Сочту своим священным долгом изобличить охальников».

В ту же квартиру приглашены были и пострадавшая вдова со своим двоюродным братом — шафером. Четверо наших агентов дополняли эту компанию.

Около двух часов дня я заняла место в гостиной на диване, с книжкой в руках. В одной из соседних комнат уселись батюшка с вдовой и двумя агентами, в другой — дьякон с шафером и двумя нашими служащими. Мы принялись ждать. Ровно в два часа пожаловали и «газетный литератор» и «профессор международной философии».

Поздоровавшись, я предложила им сесть.

— Тетушка с дядей сейчас к нам выйдут, господа. Слыхали ли вы, что произошло сегодня утром на Трубной площади?

— Нет, — отвечают, — не слышали.

— Как же! У трамвая, поднимавшегося в гору, вдруг что-то испортилось, он сначала остановился, а затем покатился под гору назад. Люди на ходу принялись выскакивать, а трамвай все скорей и скорей. Наконец, со всего размаху наскочил на другой вагон. Конечно, стекла вдребезги, площадка помята, но, что удивительнее всего — нет не только ни одного убитого, но и раненого. Люди отделались синяками да испугом. Ведь бывают же удивительные вещи на свете.

— Ничего тут удивительного нет, — отвечает мне «профессор», — отсырело электричество, вот и все! Впрочем, когда имеешь постоянно дело с такими микроорганизмами, как электричество, радий, космополитизм или трансатлантика, то ничему не удивляешься. Не родился еще тот человек, кто мог бы удивить меня чем-нибудь.

— Так ли, профессор, — сказала я. — Мне кажется, что этот человек уже родился, и довольно давно, целых двадцать восемь лет назад.

— То есть в каких это смыслах? — спросил он.

— А в тех смыслах, что этот человек перед вами.

Я ткнула себя пальцем в грудь.

— Извольте шутить, — сказал он, покровительственно улыбувшись. — Да если бы вы сейчас прошлись колесом по комнате, так я бы и то не удивился, а просто сказал бы: у барыньки в голове миокардит сделался.

— Ладно, не будем спорить, я вам это сейчас докажу. — И, согласно уговору, я подала сигнал, крикнув:

— Дядюшка, тетушка, пожалуйста сюда!

Двери обеих комнат распахнулись, и люди ввалились в гостиную. Впереди всех батюшка со вдовой. О. Иоаким, взглянув на моих собеседников и ткнув в них указательным перстом, торжественно и громко заявил:

— Они, воистину они.

Затем тихо добавил:

— Анафемствуйте, вдовица!

Вдова не заставила себя просить и с поднятыми кулаками кинулась на «газетного литератора»:

— Ах ты мошенник! Ах ты душегуб! Выкладывай сейчас же мои денежки или признавайся, мерзавец, куда их запрятал!

Агенты вмиг окружили мошенников, и оба они очутились в наручниках. Не дав им времени опомниться и желая довести их изумление до предела, я громко сказала:

— Позвольте, господа, вам представить этих людей. Вот этот — Антонов, вор с двумя судимостями, а этот мошенник — Гаврилов, — с тремя.

Так они с раскрытыми ртами и выпученными глазами и были выведены на улицу, посажены в автомобиль и доставлены сюда. Здесь их обыскали, и на каждом из них были найдены по две с небольшим тысячи рублей, которые ими были признаны принадлежавшими все той же обманутой вдове.

Я поблагодарил мою агентшу за блестяще исполненное поручение и приказал выдать ей сто рублей наградных.

Когда возвращали вдове отобранные у мошенников деньги, то последняя, спрятав их, принялась горько жаловаться:

— Экая я, прости, Господи, дурища. Послушалась чужого ума. Обратилась бы я по старинке к свахе, так она бы мне за шелковое платье да за четвертную все бы честь честью обделала. А то нате — сунулась в газеты по-модному — вот и обчекрыжили на тысячу целковых. Чтобы я теперь сунулась бы в какой-нибудь брачный журнал, — да будь ему неладно, пропади он пропадом. Тыфу!..

КНИГА ТРЕТЬЯ

УБИЙСТВО БУТУРЛИНА

Убийство поручика Бутурлина — преступление незаурядное. Оно явилось своего рода знамением времени, так как крайне редко до того было видано в России, чтобы люди высокой культуры, ума и образования отягощали свою совесть убийством, имеющим целью сравнительно ничтожную материальную выгоду. Я не говорю об инициаторе убийства, Обриене де Ласси: у него алчность питалась крупными суммами. Но Панченко, этот жалкий и гнусный доктор Панченко, использовавший свои медицинские познания для умерщвления пациента, за всю «операцию» должен был получить лишь 5 тысяч рублей. За эти деньги он согласился нарушить докторскую присягу и хладнокровно втыкать им же умышленно загрязненный шприц в тело больного, нетерпеливо ожидая заражения крови и смерти последнего. Какой жутью веет от этого старика, похоронившего в себе всякие проблески человечности.

Дело было так. Весной 1910 года через агентуру до петербургской сыскной полиции дошли слухи о том, что скончавшийся недавно поручик Преображенского полка Бутурлин умер не естественной, а насильственной смертью, что подкладкой всего дела являются какие-то денежные домогательства наследников и т. д. Так как к этим слухам присоединяли еще и имя доктора Панченко, давно известного полиции по ряду темных делишек, им обстрипанных, то решено было обратить особое внимание на эти сведения, чтобы проверить их основательность. С этой целью приступлено было прежде всего к выяснению семейной жизни предполагаемой жертвы преступления. Она представилась в следующем виде.

Покойный поручик был сыном небезызвестного генерала Бутурлина и его жены, рожденной графини. Б. Бутурлины были богаты, обладали несколькими домами в Петербурге, из которых дом у Мойки на Прачечном переулке был особенно красив (сооружение строителя Исаакиевского собора — Монферрана). В этом доме позднее помещалось итальянское посольство. Кроме того, Бутурлиным принадлежало прекрасное, огромное имение под Вильно, знаменитый «Зверинец». Старик Бутурлин, тратя немалые деньги на себя и свои «петербургские прихоти», был довольно скуп по отношению к семье, состоявшей из жены и двоих детей, покойного поручика и дочери. Дочь была замужем за неким Обриен де Ласси, челове-

ком не бедным, но несколько запутавшимся в многочисленных делах и предприятиях, душой которых он являлся.

По собранным сведениям выяснилось, что у детей Бутурлиных с отцом отношения «кисло-сладкие» и что они сильно интересуются будущим наследством.

Так как большая часть имущества Бутурлина представляла собой майорат, то главным наследником в будущем должен был явиться именно умерший поручик, в случае же его смерти — старший в роде, т. е. сын дочери, маленький Обриен де Ласси. Это обстоятельство сразу же заставило петербургскую сыскную полицию насторожиться. Принялись за тщательное обследование деятельности доктора Панченко вообще и за последнее время в частности. Тут развернулась весьма странная и подозрительная картина.

Еще раз подтвердились те темные данные о нем, что уже имелись у полиции. Его медицинская практика заключалась, главным образом, в выдаче фиктивных свидетельств, в рекламировании «универсальных» лекарств и в широком применении аборт. Панченко обладал довольно серьезными медицинскими познаниями, но их он применял предосудительнейшим образом: выяснилось, что за последние годы им было написано за вознаграждение несколько десятков диссертаций для врачей, чающих степени доктора медицины. Весь свой заработок Панченко отдавал некоей Муравьевой, перед которой он буквально благоговел. Муравьева всячески эксплуатировала доктора, обращалась с ним жестоко, и нередко, при уменьшении заработка, Панченко подвергался с ее стороны побоям и временно выбрасывался на улицу.

Как Обриен де Ласси познакомился с Панченко — неизвестно; но выяснилось, что именно он, де Ласси, привозил и усиленно рекомендовал Панченко покойному Бутурлину. Из дальнейших справок оказалось, что в период болезни Бутурлина, незадолго до знакомства с ним Панченко, последний ездил в чумный форт для каких-то лабораторных работ, причем в это же время из лаборатории пропала колба с чумными бациллами.

Принимая во внимание все эти данные и неожиданную заботливость, проявленную Обриеном де Ласси к больному бо-фреру, с которым до сих пор он был весьма холоден, начальник петербургской сыскной полиции В. Г. Филиппов решил арестовать и Обриена, и доктора Панченко.

Одновременно было получено разрешение вынуть из склепа труп Бутурлина для исследования его внутренностей. От этого вскрытия ждали важных результатов, но оно почти ничего не дало: не было обнаружено ни малейших следов какого бы то ни было яда, и, по заключению экспертов, смерть последовала от заражения крови.

Я крайне бегло описываю это трагическое происшествие, так как в свое время вся русская пресса подробно о нем писала и русской публике оно хорошо известно. Я принялся за этот очерк

лишь потому, что признания Панченко, сделанные им в форме частного письма Филиппову и переданные мне последним, поразили меня. Десятки раз перечитывал я это письмо и знал его когда-то чуть ли не наизусть. Несколько ниже я привожу почти текстуально этот «человеческий документ». Как сильны страсти человеческие, когда по неведомым нам душевным комбинациям, под влиянием известных роковых двигателей, по роковому стечению обстоятельств, человек теряет власть над собой и делается игрушкой собственных инстинктов, иллюзий и похотей.

Сидя в тюрьме, Обриен решительно отрицал всякую за собой вину.

Панченко первое время держался такого же метода, но вскоре стал сдавать и обнаруживать признаки душевного волнения. В минуту слабости он даже как-то неожиданно, хотя и глухо, признал свою вину, затем взял это признание обратно; через неделю опять сознался и указал на то, что дня за три до смерти Бутурлина посылал Обриену телеграмму: «Все кончено, когда расчет». По проверке на телеграфе заявление это подтвердилось.

На каждом допросе Панченко с волнением расспрашивал о здоровье и о житье-бытье своей сожительницы Муравьевой, удивляясь отсутствию прямых от нее известий и т. д. Вскоре, однако, он понял, что не существует больше для нее и, видимо, окончательно пал духом.

Прождав еще с месяц, он неожиданно принес полную повинную.

Как и следовало ожидать, Обриен де Ласси, желая устранить поручика Бутурлина, наследника майората, прибег к помощи д-ра Панченко, уговорив последнего за пять тысяч рублей совершить убийство.

Пользуясь хронической болезнью молодого Бутурлина, Обриен усиленно рекомендовал ему «чудодейственного» доктора Панченко и привез последнего к больному. Панченко сначала намеревался ввести шприцем в организм чумные бациллы, для чего и украл трубочку с чумными культурами, но затем нашел более осторожным отказаться от этой затеи и остановился на менее сложной, но одинаково смертоносной инфекции: он просто умышленно загрязнял шприц. Долго сильный организм убитого не поддавался заразе, но Панченко все более и более загрязнял иглу, нетерпеливо ожидая преступных результатов. И, наконец, когда заражение крови стало очевидным фактом, Панченко и послал телеграмму Обриену де Ласси, о которой упомянуто выше.

Каким-то зловещим ужасом веяло от признания Панченко. В письме к Филиппову он говорил так:

«Да. Я убил его. Мой грех. Но сможете ли вы понять все те душевные переживания, весь тот тернистый скорбный путь, которым я дошел до этого. Мне думается, что нет. Вы не поймете меня хотя бы потому, что редкому человеку выпадает несчастье быть обуреваемым тем страшным чувством, что люди банально называют любовью, не имея, в сущности, о ней никакого понятия. Да, я

любил, любил каким-то демоническим чувством. Все мною приносилось ей в жертву: я работал, как вол, я сокращал до минимума часы отдыха и сна, я втапывал в грязь мое имя и честь и, наконец, совершил убийство, смертельно ранил свою совесть — и все для того, чтобы на приобретенные этим тяжелым путем деньги хоть несколько скрасить ей жизнь. На себя я мало тратил: ходил обтрепанным, в истоптанной обуви. Но зато за все лишения получал, как высшую награду, ее ласку. Вы, обыкновенный, здоровый человек, не поймете того трепета, той жадности, с какими я ожидал этих ярких минут. Впрочем, минуты эти редко мне выпадали на долю. Обычно меня держали в черном теле: кормили остатками с «господского стола», ночевал я часто на полу, у постели, вместе с ее любимой собачкой. Но не все ли равно. Лишь бы быть вблизи от нее, лишь бы дышать одним воздухом с нею. Я любил ее и ласковой и гневной; сладостно было ощущать, как ее розовые ногти впиваются тебе в лицо и безжалостно рвут твою старую кожу. Да, я любил ее так, как нынче уж не любят. Что значит блажь прожигателей жизни, бросающих легко добытые миллионы на женщин. Что значат ревнивые убийцы и самоубийцы, действующие обычно под влиянием аффекта. Как малокровно их чувство по сравнению с моим. Да знаете ли вы, что приди моей святыне мысль об измене на моих глазах, я благословлял бы имя того избранника, сумевшего доставить ей хотя бы минутную утеху, ибо, повторяю, любовь моя не знала жертвенных границ. Я долго ждал и мучился в тюрьме; не страх перед наказанием, не строгости тюремного режима, ни даже тень моей несчастной жертвы отравляли мне покой, — нет, а мысли лишь о ней. Мне думалось: неужели же она меня оставит в столь грозную минуту моей жизни. Ведь знает же она, что пара теплых строк или призрак хотя бы и отдаленной заботы и участия были бы достаточны, чтобы поддержать мои слабеющие силы. Но дни текли: ни весточки, ни слуха... И пал я духом. Теперь мне все равно. Тюрьма, петля и каторга страшны для тех, кто уязвим в своих переживаниях; при наступлении же душевного паралича нет более ощущений, нет прошлого, нет будущего, как нет и настоящего... Пока еще я жив, но, будучи живым, я ведаю уже глушины небытия...»

Громкий процесс об убийстве Бутурлина закончился обвинительным приговором. Обриена де Ласси приговорили к бессрочной каторге, Панченко — к пятнадцати годам каторжных работ. Надо думать, что психопатологические отношения Панченко к Муравевой несколько смягчили в глазах его судей его тяжкий грех и позволили применить к нему не самую высшую меру наказания, которая предусмотрена нашим уложением за убийство путем отравления.

КРАЖА У ГОРДОНА

Чуть ли не каждый петербуржец знал ювелирный магазин Владимира Гордона, который помещался в Гостином дворе, примерно против здания Пажеского корпуса. Хотя этот магазин не отличался особым вкусом и изяществом своих изделий, его зеркальные витрины останавливали на себе внимание прохожих богатством и разнообразием выставленных драгоценностей: серебро, золото и целые россыпи бриллиантов, переливающихся в лучах сотен электрических лампочек всеми цветами радуги, невольно пробуждали зависть и восторги толпы.

Фирма Гордона пользовалась солидной репутацией, большим кредитом и доверием, а потому люди охотно поручали ей ценности для продажи на комиссионных началах.

Рядом с этим пышным магазином помещалась крохотная писчебумажная лавочка.

И вот как-то в июле 1908 г. хозяин этой лавчонки в испуге заявил полиции, что сегодня утром, открывая свою лавку, он сразу заметил что-то неладное: тугой замок его двери как-то слишком легко открылся, и, войдя в помещение, он к изумлению своему очутился в темноте. Отдернув откуда-то взявшийся и закрывавший окно зеленый плотный коленкор, он в ужасе обнаружил у прилавка целую кучу ломаного кирпича и огромную дыру, выломанную в стене, смежной с магазином Гордона.

Сыскная полиция немедленно прибыла на место и убедилась в точности описанной лавочником картины. Проникнув в магазин Гордона, она обнаружила полный разгром: все было перерыто, разбросано и перевернуто. На полу, там и сям, валялись серебряные портсигары, ложки, солонки и прочие серебряные изделия, которыми воры, очевидно, пренебрегли. В глубине магазина была дверь, ведущая в небольшой кабинет Гордона, где помещался его письменный стол и несгораемый шкаф. Ящики стола оказались взломанными, а на боковой стенке шкафа зияла выплавленная дыра, примерно в четверть квадратного аршина.

Вызванный по телефону Гордон, увидя разгром, схватился за голову и чуть не рухнул от отчаяния. Его по возможности успокоили и просили указать точно, что именно было похищено. После беглого осмотра он назвал дюжины две золотых часов, десятков золотых портсигаров, немалое количество колец, браслетов

и брошек. Но главной потерей являлся ювелирный бумажник, в котором было рассортировано по отделениям множество бриллиантов всевозможных размеров, начиная от одного и до восьми каратов. Бумажник и наиболее ценные вещи были похищены из шкафа, куда их запирали на ночь; менее ценные — захвачены из витрины. Серебро оказалось все в целости. Общая сумма похищенного была заявлена Гордоном в 500 тысяч рублей.

По просьбе полиции ограбленный ювелир вскоре представил подробнейшую спецификацию пропавших вещей. В ней не только были перечислены все пропавшие ценности, не только был указан точный вес металла и камней каждого из них, но весьма искусно были воспроизведены и соответствующие рисунки. На большинстве вещей имелись отметки «З. Г.». Это клеймо принадлежало мастеру Гутману, обычно работавшему на Гордона и имевшему крупное ювелирное дело в Голландии.

С представленной описи были сняты во множестве копии и фотографические снимки, которые полиция немедленно разослала по всем банкам, ломбардам и крупным ювелирным магазинам не только обеих столиц, но и всей России.

Подробный осмотр разграбленного магазина не дал почти ничего. Единственно, что можно было с некоторой вероятностью предположить — это что кража была делом рук воров либо варшавских, либо южных. Дерзость преступления, быстрота исполнения и качество оставленных на месте преступления дорогих инструментов наводили на эту мысль. Варшавские воры и южные, часто армяне и греки, схожи по своей работе, по степени предприимчивости, масштабу и дорогостоящему оборудованию их воровского арсенала, но в то же время различны по психологии: варшавский вор при наличии веских улик перестает отпираться, южный же — особенно грек — будучи приперт к стенке уликами, все же продолжает упорно отрицать свою вину, возводя это бесцельное заpiresательство в своеобразную систему.

Полиция принялась рьяно за дело. Десятки агентов были разбросаны по Петербургу, ведя наблюдение как за Александровским рынком, так и за прочими обычными местами сбыта краденного. Немало людей дежурило по трактирам, по греческим кухмистерским и польским столовым. Но воры с вещами как в воду канули. Единственно, что удалось установить этими наблюдениями — это отрывочные слухи о том, что «греки хорошо заработали у Гордона». Проходили недели, но ни банки, ни ломбарды, несмотря на крупную награду, обещанную Гордоном за указания, не давали никаких сведений.

Чиновнику К., о котором я упоминал уже в деле об убийстве Тиме, было поручено и дело Гордона. Промучившись тщетно с месяц, он расстроенный явился ко мне за советом.

— Попробуйте, — сказал я ему, — позондировать почву в Южной России. Раз ходят слухи, что тут орудовали греки, то попытайтесь поискать в Ростове-на-Дону, в Кишиневе, в Одессе — в этих излюбленных центрах преступного мира юга России.

К. так и сделал, и позднее, раскрыв эту кражу, он мне подробно рассказал о своих южных похождениях и преследованиях «преступных сынов прекрасной Эллады».

Начал он с Ростова. Обследовав местных ювелиров и ломбарды и не найдя ничего, он принялся за банки, которые давали ссуды под обеспечение драгоценностей. Но и эти поиски не увенчались успехом.

После Ростова К. принялся за Кишинев, но и тут счастье не улыбнулось ему. Наконец он перенес свою деятельность в Одессу. И тут, при осмотре залогов в городском ломбарде, К. наткнулся на ряд вещей, несомненно принадлежащих Гордону. Кем-то были заложены два кольца с бриллиантами, золотой портсигар и толстая золотая цепь. Эти вещи, заложенные под одну квитанцию, носили на себе отметку «З. Г.» и числились в представленной Гордоном описи, копией которой был, конечно, снабжен и К. При этом открытии администрация ломбарда, своевременно уведомленная, пришла в замешательство и принялась отговариваться случайным недосмотром. Во время этих препирательств К. заметил, что местный оценщик все как-то вертится вокруг него, словно хочет что-то сказать. К. соорил ему обнадеживающую, поощрительную улыбку, и, ободренный ею, оценщик уловил минуту и шепнул:

— Вы в какой гостинице стоите?

К. так же тихо назвал свою гостиницу.

— Ужо я к вам вечером наведаюсь! — и с этими словами оценщик деловито принялся пощелкивать на счетах.

К. был сильно заинтригован и с нетерпением принялся ждать визита. Поздно вечером, в одиннадцатом часу, послышался робкий стук в дверь и в номер вошел оценщик. Держал он себя сначала неуверенно и даже робко, но К. быстро обворожил его своей простотой и приветливостью.

— Ну и жарища же! — сказал оценщик, усаживаясь в кресло. — Одиннадцатый час вечера, а душно, словно в полдень!

— И не говорите! — отвечал К. — Особенно мне, петербуржцу, не привыкшему к югу, — просто не могу!

— А вы постоянно изволите жить в Питере?

— Постоянно, я ведь служу там.

— При сыскной полиции состоите?

— Да, я чиновник сыскной полиции.

— Так, так! Хорошее, интересное дело.

— Да, ничего. Пожаловаться не могу.

— А много ли изволите получать жалованья?

— Какое там. Всего три тысячи в год. Впрочем, вы ведь человек посторонний, скрываться от вас не буду: кой-какие доходишки имею.

— Ну, известное дело! Без этого нельзя, — поощрительно сказал повеселевший оценщик.

— А по какому делу, позвольте вас спросить, вы ко мне пожаловали?

— У меня к вам дело немалое и серьезное. Да только, знаете ли, как-то всухую плохо беседовать. Позвольте вас попотчевать ужином и винцом, за стаканом ловчее нам будет разговаривать.

— Что же? Я и в самом деле проголодался, давайте поедим и выпьем! Только угощения мне не надо: закажем, что каждый хочет, и заплатим всякий за себя.

— Да что там говорить, велик расход, подумаешь! Впрочем, как хотите.

После нескольких рюмок водки оценщик заговорил:

— Сегодня мне в ломбарде неловко было с вами говорить, уж больно много было народу, тут и члены правления, и директора. А все же по вашему делу я мог бы помочь. Конечно, ломбард случайно промигал и принял ворованные вещи. Ведь в каждом деле бывают ошибки. Но ежели бы он и известил полицию, то какая бы от этого выгода была вам и мне? А награда обещана большая! Так и в бумаге сказано.

— Да, двадцать тысяч рублей! — сказал со вздохом К.

— Вот видите, какие деньжищи! — и оценщик залпом выпил стакан мадеры. — Стало быть, ежели мы с вами откроем вора, то и награда будет не ломбарду, а нам. Я вам все это прямо говорю, так как худого здесь ничего нет; я в этом деле не причастен, конечно, но раз помогу вам в вашей работе, стало быть, половина награды по совести мне?

— Все это так, конечно! Но заклад-то на предъявителя, как при таких условиях найти вора? — сказал К.

— А это уж мое дело, не беспокойтесь! Обещайте поделиться честно, и я вам говорю — найдем!

— Ну что же? Если действительно поможете, то половина ваша!

— Так по рукам? — спросил повеселевший оценщик.

— По рукам! — отвечал К.

Допив бутылку и начав другую, оценщик приблизил свое кресло и таинственно заговорил:

— Я знаю человека, заложившего у нас вещи! — и, просмаковав произведенное этими словами впечатление, продолжал: — Есть тут в Одессе некая Любка — Звезда, ее чуть не весь город знает, «шьется» она все больше с «гречьем» (водится с греками). Так вот эта самая Любка недели две назад явилась в ломбард с каким-то хромым греком, последний и заложил вещи. Да уж что ж тут скрывать, раз вместе дело сделаем, — сказал охмелевший оценщик, — я тут же у этого грека приобрел по сходной цене пару колечек. Как обделаем дело, так одно будет ваше, а другое мое. Делиться — так делиться! Я человек справедливый и честный!

Они уехали на извозчика и помчались на Малый Фонтан. Оценщик указал дом и даже квартиру Любки. Видимо, он прекрасно был с нею знаком и, может быть, не раз даже обдeldывал с ее помощью темные делишки.

К. записал номер дома, а затем заявил:

— Ночь такая чудная! Не пройти ли нам пешком?

— С удовольствием! — согласился оценщик.

И онипустили извозчика.

К. стал раздумывать: «Пожалуй, из этого мошенника ничего больше не выудишь. Он, несомненно, косвенный участник в этом деле, а потому осторожнее будет его немедленно арестовать». Придя к такому заключению, К., завидя недалеко городского, схватил оценщика за шиворот и принялся кричать:

— Караул, грабят!

Подбежавший городской дал свисток, из-под земли вырос другой, и К. с оценщиком повели в ближайший участок. Тут дело разъяснилось. Оценщик был арестован, а К. с двумя агентами ночью же произвел на его квартире обыск. Кроме двух колец, о которых говорил задержанный, ничего другого не нашли. Отправились с обыском к Любке, но и у нее ценностей обнаружено не было, но зато нашлось письмо, присланное ей из Севастополя неким греком Геропулос, в котором последний писал:

— Известите хромого, что в четверг, в два часа дня, я выезжаю в Смирну на пароходе «Амфитрида».

До отправления парохода у К. оставалось каких-нибудь десять часов времени, а посему он немедленно же ночью дал срочную служебную телеграмму севастопольскому сыскному отделению об аресте при посадке на «Амфитриду» грека Геропулоса. К четырем часам дня был получен ответ об исполнении предписания, и К. выехал в Севастополь. Здесь, явившись в сыскное отделение, он прежде всего спросил о том, что было найдено при арестованном. Оказалось, что ничего, кроме письма (впрочем, весьма конспиративного содержания) в Константинополь с кратким и еще, видимо, недоконченным адресом на имя какого-то Сереедоса в Галату.

— Да вы его хорошо обыскивали? — спросил К.

— Нет, довольно поверхностно.

— Необходимо сейчас же самым тщательным образом снова обыскать его, — сказал К.

Принялись за обыск и к великому смущению начальника севастопольского отделения вскоре были обнаружены на греке целые «залежи» бриллиантов во швах его платья, в каблуках сапог, пуговицы жилета оказались крупными бриллиантами, обтянутыми материей и т. д.

Геропулос глупейшим образом отрицал свою вину и еще глупее пытался объяснить происхождение найденных камней. Относительно письма заявил, что не отправил его, так как забыл адрес.

Вещи, найденные в Одессе, и камни, отобранные у Геропулоса, составляли незначительную сравнительно часть похищенного у Гордона, а потому надлежало продолжать розыски, и К., после некоторого колебания, решил отправиться в Константинополь.

— Что за экзотическая, что за своеобразная страна, эта Турция! — рассказывал мне впоследствии К. — Сознаюсь вам откровенно, что мои исторические познания вообще не особенно глубоки,

а в отношении Турции — и тем более. Где-то в закоулках памяти мерещились мне щит Олега, Ая-София, пара вселенских соборов, и если прибавить еще гаремы, фески и халву, то этим исчерпывалось мое представление о Царьграде.

По приезде в Константинополь прежде всего я направился в русское посольство, рассказал о цели моего приезда и просил помощи и указаний. Ко мне был прикомандирован грек, служащий драгоманом при нашем посольстве. Я объяснил ему, что мне необходимо разыскать некоего грека Сереодиса. Драгоман оказался весьма ловким и услужливым малым. Он посоветовал отправиться к губернатору Галаты и Перы (европейская часть), который являлся в то же время и начальником полиции. Я был принят изысканно-любезно, так как престиж России в то время был в Турции неизмеримо высок. Если к обаянию престижа прибавить чисто восточную церемонную манеру обходиться с людьми, то вас не должен удивлять тот прием, что был мне оказан. Губернатор, окруженный целой толпой подчиненных, при входе моем торжественно встал и, коснувшись сначала лба, груди и, наконец, земли, отвесил мне низкий поклон. Окружающие его чиновники сделали то же с тою лишь разницей, что принялись еще слегка пятиться, проделывая этот жест по нескольку раз. Едва успел я сесть на предложенный мне диван, как откуда-то появилась крошечная чашечка черного густого кофе, и губернатор жестом предложил ее выпить. Лишь после того как кофе был выпит, он принялся говорить со мной через переводчика. Его витиеватая речь сводилась к следующему:

— Я не знаю, как благодарить Бога за ту высокую честь, которую вы изволили мне оказать своим посещением. Турция бесконечно дорожит дружбой великой России и ежедневно возносит горячие молитвы Аллаху за драгоценную жизнь Белого Царя. Сегодняшние минуты останутся лучшим воспоминанием моей жизни, так как я, скромный и ничтожный раб моего Повелителя, удостоился счастья, ничем мною не заслуженного, принимать вас у себя!

Выслушав эту тираду, я постарался попасть губернатору в тон и с помощью переводчика отвечал:

— Всемиловистейший Паша, и для меня минуты, проведенные в вашем очаровательном обществе, являются лучшими в моей жизни! И я благодарю Бога, что важное дело дало мне возможность обратиться к вам.

Затем я изложил свою просьбу. Мне было отвечено, что отныне вся цель жизни губернатора будет состоять в розыске лукавого грека Сереодиса, что он, разумеется, будет найден и что я тотчас же буду извещен. После этого последовали опять поклоны, и я, наконец, очутился на свободе.

Прошло дня три, но от губернатора известий не поступало. Я стал было отчаиваться в успехе своих розысков, как вдруг помощь явилась неожиданно от моего расторопного драгомана. Эти дни он со своей стороны наводил всюду справки и сообщил мне, что с

неделю тому назад приехал из Севастополя весьма подозрительный грек по имени Иосиф. Он, драгоман, думает, что Иосиф — не кто другой, как Сереодис. В гостинице Иосиф значится под фамилией Ковардополо, но, очевидно, фамилия эта вымышленная, так как драгоман сделал по собственному почину опыт над Иосифом: стоя как-то в толпе за спиной грека, он произнес негромко — «Сереодис!», и Иосиф быстро обернулся, но затем, спохватившись, поспешил скрыть свое удивление.

Мы немедленно отправились на Пера в гостиницу, где остановился предполагаемый Сереодис, но его дома не оказалось, и мы принялись бродить по городу, решив зайти еще раз позднее. Как вдруг, проходя мимо одного из ресторанов, драгоман толкнул меня в бок и прошептал:

— Вот он сидит на веранде!

Я осторожно поглядел в ту сторону и увидел самодовольную греческую физиономию. Одет был Иосиф подчеркнуто по моде, на пальцах его виднелась целая коллекция колец. Он, видимо, благодушествовал и с аппетитом уписывал жирные маслины.

— Нам необходимо его арестовать сейчас же. Но как это сделать?

— Ничего не может быть проще, — отвечал драгоман. — Тут же, наискосок, живет полицейский. Вы подежурьте здесь, а я мигом его приведу. Да, вот он, кстати, перед своим домом метет улицу.

Я поглядел и заметил какого-то босняка с метлой. Драгоман к нему подошел, что-то сказал, после чего полицейский, бросив мети, исчез в дверях своего дома и минут через пять появился в полной форме. С мошенниками в Турции, видимо, не церемонятся, к тому же греки не в большом фаворе у турок. Полицейский, не говоря ни слова, подошел к греку и неожиданно закатил ему пощечину, после чего схватил его за шиворот и, несмотря на крики и протесты, поволок его к моему старому знакомцу — губернатору. Мы последовали за ними. Здесь меня ждал новый сюрприз: часовые, дежурившие у дверей его дома, едва только мы произнесли имя губернатора, чуть не подняли нас на штыки. Оказалось, что в эту ночь произошел младотурецкий переворот, и все видные чины старого правительства, в том числе и мой губернатор, были арестованы и посажены в тюрьму. Меня принял новый начальник полиции, совсем не походивший на прежнего: очень молодой, в пиджачке, без поклонов и кофе, с явно подчеркнутой тенденцией на европеизм. Узнав от меня о причине нашего прихода, он приказал обыскать грека, и среди многочисленных колец последнего оказались два с именниками «З. Г.»; кроме того, его золотые часы носили номер одних из украденных. Осматривая его бумажник, извлекли оттуда какую-то серую бумажку. Но в этот миг Иосиф вырвал ее из рук губернатора и судорожно стал запихивать в рот. Схваченный за горло и не успев проглотить, он выплюнул ее. Это оказалась таможенная квитанция о принятии на хранение двух пакетов. Я попросил губернатора разрешить сейчас же получить

пакеты на таможне, но он заявил, что для этого необходимо ходатайство русских судебных властей перед турецким министром внутренних дел.

— Впрочем, вам везет, — продолжал он. — Я вижу в окно прокурора вашего суда, вон он идет по улице, догоняйте его скорее с вашим драгоманом, объяснитесь, и он вам, наверное, не откажет в рекомендательной записке к нашему министру.

Подивился я такому упрощенному делопроизводству, но пустился с драгоманом вприпрыжку за прокурором. Прокурор оказался милым и обязательным человеком, хорошо знающим нашего драгомана. Он тут же вырвал листок из записной книжки и написал министру, что со стороны русского суда не встречается препятствий к выдаче ценных пакетов из таможни под номером такой-то квитанции. Турецкий министр распорядился тотчас же выдать мне немедленно просимые вещи.

В двух свертках находились почти все бриллианты Гордона.

Иосиф, как и следовало ожидать, оказался Сереодисом. Я собирался было его везти для суда в Россию, но греческое консульство в Константинополе не выдало его, заявив, что по греческому суду он понесет более тяжелое наказание.

Геропулос русским судом был приговорен к трем годам тюремного заключения, а оценщик за покупку заведомо краденного — к 6 месяцам. Любка была оправдана, а хромой грек остался неразысканным.

За более чем подозрительное поведение администрация одесского ломбарда заплатилась потерей заложенных вещей и выданных под них денег.

Так была ликвидирована кража у Гордона.

ПОДДЕЛКА СТОРУБЛЕВОК

В 1912 году кредитная канцелярия известила Московскую сыскную полицию о том, что в обращении появилось значительное количество фальшивых сторублевок идеальной выделки, и для примера прислала мне несколько образцов таковых. Местами усиленного обращения фальшивых билетов являлись поволжские районы и Читинский округ в Сибири.

Присланные канцелярией образцы действительно представляли собой верх совершенства: канцелярия указывала на едва приметную разницу в рисунке сетки, но этот признак был столь незначителен, что легко мог ввести в заблуждение не только рядового ничего не подозревавшего обывателя, но и предупрежденного человека. Это вскоре и подтвердилось на ярком для меня примере.

Зайдя в Московский Купеческий банк, я попросил кассира разменять 100 рублей и протянул ему фальшивый билет. Кассир растянул бумажку, поглядел на свет, и затем, спрятав в ящик, принялся отсчитывать мне разменную мелочь.

— А сторублевка-то фальшивая! — сказал я ему.

Он удивленно на меня взглянул и, вынув спрятанный было билет, снова принялся его разглядывать.

— Извольте шутить! — сказал он улынувшись.

— И не думаю, я говорю совершенно серьезно.

Кассир схватил бумажку и помчался к главному кассиру. Вскоре он вернулся и иронически мне заявил:

— Приносите хоть на миллион таких фальшивых бумажек, примем в лучшем виде!

— И плохо сделаете, так как, повторяю вам, что билет подделан. Я начальник Московской сыскной полиции и хотел лишь произвести опыт. Во всяком случае будьте осторожны на будущее время и вот вам отличительный признак: взгляните на текст, где говорится о наказании, налагаемом за подделку билетов: на фальшивых он заканчивается аккуратной точкой, на подлинных же точка отсутствует.

Наличность точки на фальшивых билетах обнаружил один из моих агентов, о чем я и известил немедленно кредитную канцелярию, пропустившую эту примету.

Обнаруженная точка имела своим последствием лишь усиление заявлений о подделке, посылавшихся из разных банков чуть ли не со всех концов России.

На Москву, как на центр, более близко отстоящий от Поволжья и Читинского округа, было возложено это дело, и я принялся за работу.

Всем сыскным отделениям Империи было предложено мною особенно внимательно следить за появлением в их районах фальшивых сторублевок и стараться открыть их первоисточник. Вместе с тем мною были запрошены все каторжные тюрьмы и места заключений с целью узнать, не находятся ли в бегах кто-либо из преступников, отбывающих наказание за прежние подделки денег.

Прошел месяц-другой, но сыскные отделения не давали утешительных сведений. Из рапортов их начальников выяснялось примерно одно и то же, а именно: появлялись поддельные билеты, предъявители их опрашивались, указывались вторые, третьи, иногда пятые источники их получения, но по проверке это были все люди, не внушающие ни малейшего подозрения. Впрочем, это было и неудивительно, так как, благодаря идеальной подделке, сторублевки успевали пройти через десятки, а иногда и сотни рук, прежде чем попасть в какой-либо банк или к какому-либо осведомленному о точке спекулянту. Известить же при помощи газет всех и каждого о злополучной точке — не представлялось возможным, так как не подлежало сомнению, что мошенники тотчас же внесут корректив в свою работу, а это, конечно, лишь осложнит розыск.

По сведениям, полученным из мест заключения, выяснилось, что все фальшивомонетчики либо благополучно находятся на месте, либо, отбыв наказание, ведут более или менее «добродетельный» образ жизни на поселении, под надзором полиции.

Исключение составляло лишь два человека — Левендаль и Сив, отбывавшие наказание за подделку пяти и десятирублевых бумажек и бежавшие с полгода тому назад из Читинской каторжной тюрьмы. Оба в прошлом были искусными граверами по камню. Все попытки розыска отыскать их — не привели ни к чему. Надо думать, что с хорошо подделанными паспортами они укрылись либо где-либо в глуши, либо бежали за границу.

Прошло еще несколько месяцев, но дело не разъяснялось. «Эпидемия» фальшивых билетов то как будто угасала, то вдруг вспыхивала с новой силой. Я стал уже приходить в отчаяние.

В это тревожное время я получил от начальника Читинского сыскного отделения рапорт, несколько отличавшийся от его предыдущих донесений. В начале этого рапорта он докладывал, что все поиски по-прежнему безуспешны, но в конце добавлял следующее: «Живут у нас в Чите три брата С., местные золотопромышленники, богатые староверы, пользующиеся всеобщим уважением. Живут они замкнуто, дел их точно никто не знает. Я, разумеется, никаких улик против них не имею, но считаю своим долгом рассказать о подмеченном мною странном явлении. Младший из этих братьев часто ездит в Париж, и всякий раз после его возвращения поддельные кредитки вновь наводняют край. В Чите они не по-

являются, но распространяются усиленно по округу. Я было хотел произвести у братьев С. обыск, но, боясь испортить дело, решил дожидаться вашего распоряжения».

Я сейчас же телеграфировал ему, прося не производить пока обыска и предупреждая о командировании мною в Читу агента Московской сысской полиции, Орлова.

На следующий же день Орлов выехал на место. Месяца три провел он в Чите и ее окрестностях, старательно собирая как сведения о братьях С., так и малейшие детали по делу о сторублевках.

Относительно братьев С. ничего одиозного он не установил, но, прожив некоторое время на золотоносных приисках, он от случайных «старателей», так называемых «чалданов» (промыкателей золота вручную), слышал, что бежавшие каторжане, все те же Левендаль и Сиив, похвалялись находкой какого-то капиталиста, согласившегося дать им деньги на оборудование предприятия фальшивых сторублевок. Имени этого капиталиста они не называли. Что же касается самих беглых, то след их давно простыл.

В одном из своих донесений Орлов предупредил меня, что на днях С. едет в Париж. Я приказал Орлову следовать за С. до Москвы и здесь передать «товар» мне.

Было решено, что чиновник особых поручений К., не раз талантливо выполнявший сложные заграничные поручения, отправится за ним во Францию, где и понаблюдает за его деятельностью, чрезвычайно странно совпадающей, как я уже упоминал, с увеличением количества фальшивых денег в Читинском округе. С чиновником К. захотел отправиться и товарищ прокурора Московского окружного суда Г. Чернявский.

Орлов благополучно «доставил» С. в Москву, а из Москвы читинский старовер выехал в Париж в сопровождении чиновника К. и Г. Чернявского.

Позднее чиновник К. рассказывал о своей поездке следующее:

«До границы наш читинец ехал тихо и скромно, но перевалив ее, заметно оживился и стал проявлять в своем поведении нечто, плохо гармонирующее с понятиями о старовере-пуританине, каковым его привыкли считать в Чите». Я думал, что в вагон-ресторан он явится чуть ли не со своей посудой, и был удивлен, застав его там с сигарой в зубах и с бутылкой лафита на столике. Он ел со вкусом, много пил и, наконец, познакомившись с какой-то накрашенной дивой, исчез вместе с ней в своем купе. В Париже он остановился в приличной, но не фешенебельной гостинице «Normandy», близ avenue de l'Opéra.

Я обратился к французской полиции, и мне откомандировали в помощь двух агентов, после чего я установил непрерывное наблюдение за С. Первые три дня упорной слежки ничего не дали: С. забегал в магазины, питался по ресторанам, раз был в опере. Но на четвертый день он нанес весьма странный визит одному из парижских лавочников. Выйдя из гостиницы и как-то тревожно озираясь, С. пешком пересек чуть ли не весь город и, добравшись

до улицы Marcadet, завернул в небольшую лавчонку, на окнах которой виднелись чемоданы, несессеры и пр. дорожные принадлежности. Пробыл он в лавке довольно долго, после чего нанял фиакр и вернулся в гостиницу. Визит, разумеется, был высоко подозрителен, так как для чего, спрашивается, было С. бежать за сундуком или несессером чуть ли не на край света, когда магазины с соответствующим товаром имелись и вблизи гостиницы Normandy? Записав адрес лавки, я решил выждать событий и не допрашивал пока лавочника. На следующий день рано утром я был крайне огорчен моими французскими коллегами, прибывшими ко мне в номер и заявившими, что этой ночью «русский» скрылся, заявив в гостинице, что уезжает на неделю в Лион. Хотя он и указал место своей поездки и даже оставил за собой номер и вещи в нем, но все это могло быть маневром для отвода глаз, если только С. заметил за собой слежку. Я немедленно выехал в Лион. Мне думалось, что если С. и там проживает, как и в Париже, под своим настоящим именем, то мне нетрудно будет его настигнуть. Но, увы! С. в Лионе не оказалось, и я вернулся ни с чем. С величайшей тревогой я стал поджидать его возвращения в Париж, плохо, признаться сказать, в это веря. Но ровно на седьмой день, к величайшей моей радости, С. подъехал к гостинице с каким-то свертком в руках. В этот же день он опять побывал у лавочника на улице Marcadet, причем на этот раз лавочник выволок ему новенький чемодан порядочных размеров и помог ему погрузить его на извозчика, после чего С. увез покупку в гостиницу.

Поручив на время слежку за С. французским агентам, я лично направился к лавочнику и, без лишних слов предъявив ему мой полицейский мандат, потребовал объяснений. Лавочник сначала растерялся, но не желая, видимо, впутываться в чужое темное дело, чистосердечно заявил:

— Да, я знаю этого русского, он хороший клиент, платит аккуратно и за этот год уже в четвертый раз заказывает у меня дорожный сундук особой конструкции. Особенность ее заключается в том, что у сундука двойное, хорошо замаскированное дно. Для чего нужен ему этот тайник, мне неизвестно. Я как трудолюбивый и честный ремесленник исполняю заказ, а остальное меня не касается.

Оставив у лавочника дежурного ажана, дабы не дать ему возможности оповестить покупателя о моих расспросах, я полетел в «Normandy». Здесь оказалось, что С. потребовал уже счет и вечером же намеревается выехать в Россию. Я хотел было немедленно его арестовать, так как не сомневался, что в сундуке обнаружу пачки фальшивых сторублевых, но затем решил дать добраться С. до русской территории и арестовать его уже там, дабы избежать многих лишних хлопот, связанных с выдачей иностранному государству уголовного преступника. В тот же вечер мы выехали в Россию, и по приходе поезда на пограничную станцию Александ-

рово я арестовал С. и лично осмотрел его багаж. Взломав двойное дно злополучного сундука, мы извлекли оттуда на 300 000 рублей фальшивых сторублевых билетов.

С. держал себя преглупо: отрицал всякую за собой вину, ссылаясь на полное неведение двойного дна в сундуке и т. д. Он был отправлен в Варшаву и посажен там в тюрьму.

Одновременно с этим я дал телеграмму в Читу, прося произвести обыск в доме у остальных братьев С. Обыск этот, однако, не дал ничего.

Теперь предстояло выяснить местонахождение самой «фабрики». Это оказалось далеко не легким. С. продолжал от всего отпираться. Пришлось прибегнуть к «подсадке». Целых два месяца просидел с ним в камере посаженный агент, но, хотя и подружился с ним, тем не менее не добился тайны. Наконец, на третьем месяце, при получении агентом печатного постановления прокурорского надзора об его якобы «освобождении от ареста и суда», С. в него уверовал и попросил об услуге: осторожно пронести и опустить в кружку письмо. Агент долго отказывался, но наконец согласился. Крохотный конвертик был адресован в Париж, 25, rue du Moine, m-lle Grinier. В нем оказалась просьба повидать Левендаля и передать ему, что в Ницце все уничтожено, что он сидит в тюрьме и что расчетов не будет.

Это письмо, по прочтении, вновь бережно было запечатано и отправлено по адресу. Одновременно чиновник К. опять выехал в Париж и принялся наблюдать за m-lle Grenier.

Последняя оказалась рядовой мидинеткой, служащей в парфюмерном магазине, добродетельной по расчету, бережливой по инстинкту, веселой по природе, словом — дитя Парижа, каких много. Утром она отправлялась на работу, в двенадцать часов проглатывала кусок сыру и чашку кофе, в восемь возвращалась домой, оттуда уже не выходила до следующего утра. К. целых трое суток потерял, созерцая это «платоническое» поведение m-lle Гренье. Он диву давался: ведь должна же она выполнить поручение и повидать Левендаля! Вдруг его осенила счастливая мысль: продежурить у ее дома целую ночь, вместо того чтобы прекращать наблюдение к полуночи, как он это делал до сих пор. Результаты получились хорошие: часа в три утра из подъезда показалась m-lle Гренье; посмотрела по сторонам и, быстро перебежав улицу, скрылась в доме наискось. Пробыла она там минут двадцать и вновь появилась на улице с каким-то рослым и неряшливо одетым типом. Распростившись с ним, она перешла улицу и снова скрылась в свой подъезд. К. взглянул для верности на имеющуюся при нем фотографию и убедился, что собеседник Гренье не кто иной, как Левендаль. Он незаметно последовал за ним. Левендаль пересек несколько улиц и, завернув в rue de la Jonquièrre, вошел в какой-то дом. Вскоре он появился с человеком небольшого роста, в котором К. без труда узнал Сиива.

Подозвав нескольких полицейских, К. арестовал обоих.

Они не запирались. Обозленные на старовера С. за его скупость и недобросовестные с ними расчеты, они выложили все начистоту. По их словам, С. помог им бежать с каторги, снабдив деньгами и платьем. Они уговорились широко организовать производство сторублевок. С. по частям перевез в Ниццу необходимые станки, бумагу, краску и пр. материалы, и дело пошло. Сначала С. платил аккуратно, но затем стал сильно затягивать платежи, в результате чего оба они давно бедствуют и голодают. Перед последним приездом С. писал, что едет во Францию в последний раз, после чего уничтожит в Ницце фабрику и, прекратив дело, рассчитается с ними по-царски.

— Узнав сегодня через Гренье, — рассказывал Левендаль, — что все пропало и что расчета не будет, — я побежал предупредить товарища, и мы оба намеревались скрыться, как вдруг вы нас арестовали.

По указанному адресу К. проехал в Ниццу и, обыскав тщательно скромную виллу, бывшее место выделки бумажек, нашел в ней случайно неуничтоженные мелкие части станков. Сомнений не было — С. ликвидировал «дело».

Все три фальшивомонетчика были приговорены к долгосрочной каторге.

Что случилось с ними после революции — не знаю.

АФЕРИСТ

Как-то в приемные часы ко мне в кабинет явился неизвестный чиновник. Вошел он в форменном сюртуке, при шпаге и в белых нитяных перчатках. Это был малый лет тридцати, некрасивый, с удивительно глупым выражением лица.

— Честь имею представиться вашему превосходительству — губернский секретарь Панов, — отрекомендовался он.

— Присаживайтесь. Что вам угодно?

— Я явился к вашему превосходительству по личному делу. Я стал жертвой мошенничества и пришел просить вашей защиты.

— Расскажите, в чем дело?

Панов скромно откашлялся в перчатку и сказал:

— Конечно, я сам виноват в том, что произошло со мною, я проявил излишнюю доверчивость, но все же обидно ни за что ни про что потерять восемьсот рублей.

— Нельзя ли ближе к делу, мне время дорого!

— Да, конечно! — сконфузился Панов. — Но не легко мне приступить к объяснению, так как, в сущности, это целая исповедь.

— Ну, что ж, исповедывайтесь, не стесняйтесь!

Панов оттянул пальцем туго накрахмаленный воротник, мотнул головой и принялся рассказывать:

— Видите ли, ваше превосходительство, по природе своей я человек крайне честолобивый и должен сознаться, что всякому чину, ордену и классу должности придаю большое значение. Сам я из простой семьи, но окончил гимназию и с помощью добрых людей пристроился чиновником в департаменте Герольдии. Служу я там шестой год, получаю сто рублей в месяц. Первое время был доволен, а затем затосковал. Вижу, что ходу мне не дают, так как и протекции у меня нет, да и сослуживцы универсанты обгоняют. Хоть жалованье и небольшое, но родительское наследство помогает мне существовать безбедно. И вот, видя, что карьеры мне в Сенате не сделать, я стал громко сетовать на судьбу. Тут один из моих приятелей мне и посоветовал: «Дай, говорит, объявление в газетах, что ты готов, дескать, уплатить тысячу рублей тому, кто предоставит место на 200 р. в месяц чиновнику с пятилетним служебным стажем и неопороченным формуляром». Идея мне показалась хорошей. «И правда, подумал я, дай-ка попробую». И попробовал. Вскоре получаю приглашение явиться в Европейскую гостиницу, в

№ 27, для переговоров по делу об объявлении. Обрадовался я и полетел на Михайловскую, захватив тысячу рублей. Вхожу в эту шикарную гостиницу, поднимаюсь в третий этаж и робко стучу в 27-й номер. «Войдите!» — ответил мне зычный, важный голос. Я вошел в небольшую прихожую, а затем в богато обставленную комнату вроде кабинета. За письменным столом сидел господин лет пятидесяти, на вид — совершенный сановник. Он любезно встал, протянул мне руку и промолвил: «Князь Одоевский. Я пригласил вас согласно вашему газетному объявлению. Скажите, что заставляет вас искать места на двести рублей, материальная зависимость или иные, быть может, побуждения?»

— Нет, ваше сиятельство, — пролепетал я, — материально я независим, но сознаюсь вам откровенно, что червь честолюбия меня усиленно точит.

— Я так и думал, — сказал он мне. — Ну что же, честолюбие в меру — черта скорее симпатичная и во всяком случае — естественная в молодом человеке. Я могу помочь вам, у меня большие связи. Но должен вам заметить, что вы несколько наивны. Помилуйте, вы предлагаете тысячу рублей за двухсотрублевое место! Что же, вы хотите не только широко шагнуть по иерархической лестнице, но желаете менее чем в год окупить и все понесенные расходы? Нет, молодой человек, так дела не делаются! Не менее двух тысяч рублей — иначе нам и говорить не о чем!

— Что же, я заплачу и две, если место хорошее.

— А вы, собственно, чего бы хотели? — спросил он более мягким тоном.

— Я, право, не знаю, ваше сиятельство, может быть, вы посоветуете?

— Да кто вы такой и где служите?

Я подробно рассказал ему о себе. Внимательно слушая мой рассказ, он потянул к себе ящик с сигарами и предложил мне.

— Благодарю вас, ваше сиятельство, я не курю.

Не торопясь, князь обрезал сигару и медленно ее раскурил, после чего откинулся на спинку кресла и, пуская тонкие струйки дыма, глубоко задумался. Наше молчание длилось несколько минут. Наконец, как бы очнувшись, он сказал:

— Вот что. Конечно, достать вам место на двести рублей я могу хоть завтра. Но мне кажется, вряд ли это вас устроит. У вас имеется существенный недостаток — отсутствие высшего образования. Положим, я вас устрою каким-нибудь столоначальником, но не говоря уже о том, что ваши сослуживцы будут коситься на вас, вы попадете в тупик. Вам не дадут дальнейшего продвижения, и вы карьеры не сделаете.

— Так как же быть, ваше сиятельство?

— Скажите, вы не отказались бы от службы в провинции?

— Нет, душа моя не льнет к провинции. Разве что-нибудь блестящее?

— Хотите, я вас устрою вице-губернатором? Конечно, не в Центральной России, а где-нибудь на окраинах, например в Сибири, и, разумеется, не за две тысячи рублей?

От неожиданности и восторга у меня закружилась голова.

— Конечно, — пробормотал я, — это было бы чудесно! Но где же, мне, пожалуй, и не справиться с такой должностью?!

— Э, полноте! Не боги горшки лепят, справитесь, привыкнете! Да в Сибири вы и не будете бельмом на глазу — это ведь не Петербург!

Придя несколько в себя, я спросил:

— А каков бы был ваш гонорар?

— Ну, да что об этом говорить, — сказал князь, морщась брезгливо, — каких-нибудь пять-шесть тысяч! Обычно за такие дела я беру примерно годовой оклад своих протеже. Вас не должно коробить это торжище, так как вы понимаете, конечно, что жизнь — борьба, и за последнее время особенно обострившаяся, все так дорого, за все так дерут!

— Помилуйте! — поспешил я сказать. — С какой же стати вы стали бы хлопотать за постороннего человека? Я прекрасно понимаю и всегда держусь правила, что всякий труд должен быть оплачен.

— Вот именно! Итак, вы согласны?

— Согласен, ваше сиятельство!

— Отлично! Я завтра же повидаю кой-кого из министров и поговорю относительно вас. Вот вам листок бумаги: напишите на нем ваше имя, отчество, фамилию, учреждение, должность и т. д. А то вы у меня не один, как бы не перепутать.

Я повиновался. Затем он сказал:

— Я вам ставлю некоторые предварительные условия. Во-первых, вы должны быть немые как рыба, иначе вы можете напортить, конечно, не мне — вам никто не поверит, а себе. При первом вашем нескромном слове я напрягу все свои связи, и тогда вы очутитесь в Сибири, но на положении мало схожем с вице-губернаторским. Во-вторых, авансируйте мне рублей триста, так как в данную минуту я испытываю некоторую заминку в деньгах, а хлопоты по вашему делу могут быть сопряжены с непредвиденными расходами.

Я молча поклонился и поспешно передал князю триста рублей.

— Заезжайте ко мне послезавтра в это же время, — сказал он мне на прощанье.

Я раскланялся и вышел, не чувствуя под собою ног от радости. Одеваясь внизу у швейцара, я взглянул на вывешенные визитные карточки постояльцев и с удовольствием узрел против 27-го номера имя князя Одоевского. Я поймал себя на этой мысли и подумал: ишь Фома неверный! Да разве и так не видишь, с кем имеешь дело? Какие же могут быть сомнения! Эх ты! Вице-губернатор тоже!

Следующий день я провел как бы в горячечном бреду. Я не отрывал глаз от карты Сибири, стараясь предугадать мою будущую губернию. В назначенный день и час я снова явился к князю. На сей раз он был облачен во фрак с синей лентой Белого Орла под жилетом. Он встретил меня словами:

— Хорошо, что не опоздали, а то я тороплюсь к П. А. Столыпину. Я кое-что успел уже сделать по вашему делу; в принципе мне обещано ваше назначение, но в данную минуту, кроме Якутска, вакансий нет. Ну а Якутск с полугодовой ночью и шестимесячным солнцем вряд ли вас устроит. Но мне говорили о кой-каких перемещениях. Словом, ваше дело на мази. Это меня особенно радует, так как по министерству внутренних дел я хлопоту сравнительно редко, уделяя свое внимание главным образом министерству двора и придворным званиям с ним связанным. Приходите ко мне ровно через неделю, т. е. во вторник, к 12 часам, и я надеюсь к тому времени дать вам окончательный ответ по вашему делу...

— Скажите, ваше сиятельство, вы можете и придворное звание устроить?

— Отчего же, конечно, могу! Барон Фредерикс со мной считается и редко отказывается в моих ходатайствах.

— А что стоит это?

— Разно. Камер-юнкерство дешевле; камергеры, шталмейстеры, егермейстеры — дороже; гофмейстеры — еще дороже. Впрочем, многое зависит от кандидата и положения его в обществе.

— Видите ли, князь, — сказал я, — есть у меня приятель из крупного петербургского купечества. Вечно жертвует он деньги на разные благотворительные учреждения ради чинов и орденов. Вот от этого самого приятеля я не раз слышал восклицания вроде: «Что чины? что ордена? Вот устроил бы меня кто-нибудь камер-юнкером, так, честное слово, сто тысяч бы уплатил, не мигнув глазом». У меня заблестели глаза.

— Купец? Это трудно, очень трудно! Но не невозможно. За сто тысяч готов похлопотать. Вы вот что: когда придете ко мне через неделю, приводите и вашего приятеля. Мы поговорим. Ну, а теперь вы извините, Петр Аркадьевич (Столыпин) меня ждет. Да, кстати: вам опять придется раскошелиться на пятьсот рублей. Уж вы простите, что я все забираю, так сказать, вперед. Но завтра предстоит мне дорогой ужин у «Медведя» с лицом, от которого зависит ваша судьба.

Скрепя сердце, вынул я пятьсот рублей и передал князю. Он спокойно спрятал их в бумажник и, подойдя ко мне вплотную, протянул руку. Я близорук от природы, но князь подошел ко мне так близко, что я успел разглядеть звезду на его груди. К моему удивлению, звезда была Станиславская. Уж что-что, а насчет чинов, орденов, петличек — я не ошибусь! Это моя сфера. Придя домой, я стал соображать. И чем больше думал, тем сильнее охватывали меня сомнения: князь живет в дорогой гостинице, а сидит

без денег и бессовестно забирает их у меня, ничего еще не сделав; купца обещает провести в камер-юнкеры, между тем подобных случаев еще не бывало; наконец, — лента Белого Орла, а звезда — Станиславская, опять абсурд. Как поразмыслил и взвесил все, так и решил, что налетел я на мошенника, и, не долго думая, явился к вашему превосходительству просить защиты.

— И хорошо сделали, так как сомнений нет! — сказал я. — Но только чем же помочь вам?

— Арестуйте жулика, ваше превосходительство!

— Ну, и что же дальше? Он от всего отопрется, свидетелей нет, доказательств — тоже.

— Так неужели же пропали мои деньги?

— На деньги вы поставьте крест, дело теперь не в них, важно задержать мошенника! Мы вот что сделаем. Вам когда назначено быть у него?

— В следующий вторник в 12 часов.

— О, почти еще неделя! Но ничего не поделаешь — придется ждать. Я дам вам во вторник агента, и он под видом вашего приятеля-купца, мечтающего о камер-юнкерстве, явится с вами к князю. Вы постарайтесь навести разговор о подробностях вашего вице-губернаторства, а еще лучше попытайтесь всучить ему денег (не бойтесь, их отберут при аресте!). Таким образом, у нас будет свидетель. Поняли?

— Понял, понял прекрасно! — сказал повеселевший Панов. — Ну, подожди же, мошенник, попадешься и ты.

Мы распрощались.

Все вышло как по писаному. Во вторник при свидании с клиентами князь, не подозревавший беды, принялся разглагольствовать о своих мнимых связях и о своем якобы всемогуществе. Панова он уже «назначил» в Тобольск, а с моего агента успел сорвать пятьсот рублей на предварительные расходы, после чего был арестован и препровожден в полицию. Князь Одоевский оказался ямбургским мещанином Михайловым с тремя судимостями в прошлом.

— А-а-а... князь дорогой! Покорнейше прошу садиться, — приветствовал я афериста при его появлении у меня в кабинете.

— Не измывайтесь надо много, г. начальник, — сказал грустно Михайлов. — Поверьте, что лишь тяжелая судьба толкнула меня на это дело.

— Удивительно бесцеремонна с вами судьба, Михайлов, вот уже четвертый раз, что она вас все толкает. Пора бы и перестать!

— Что же поделаешь? — развел он руками. — Стоит стать на этот путь, а уж там не остановишься! Впрочем, должен сознаться, что совесть меня не терзает, так как, в сущности, зла я не делал. Бедных я не обирал, моими жертвами были обычно люди с достатком, претендующие на лучшее служебное или общественное положение, не брезгающие при этом средствами для достижения своих целей. Вы не поверите, кто-кто ко мне не обращался только!

Ради чина, ордена, какого-нибудь звания, люди, на вид уравновешенные и серьезные, лезли доверчиво в мои сети. Господи! Да если я — какой-то несчастный Михайлов, бывший актер, без роду и племени, мог вселять доверие и зарабатывать немалые деньги, то что должно делаться в приемной у Распутина, действительно обладающего и связями и фактической властью?

Я прервал этот поток философии, и «князь» водворен был в камеру.

За «камер-юнкера», «вице-губернатора», «Белого Орла» и прочие художества он поплатился полутора годами тюремного заключения.

НЕУДАЧНАЯ ВЫЛАЗКА

— Господин начальник, ваше превосходительство, явите Божескую милость, не оставьте без внимания бедную невесту без роду и племени.

С таким восклицанием обратилась ко мне на приеме женщина лет 30, одетая не без претензий, на вид — не то горничная, не то лавочница.

— Почему без роду и племени? — спросил я.

— Да, как же! Приехала я сегодня утром в Москву. Здесь у меня ни одной знакомой души, а московские жулики не только обчистили меня как липку, но и документ сперли. А без паспорта, сами знаете, куда сунешься? Ни в одну гостиницу не пускают, — и она разлилась в три ручья.

— Успокойтесь, что могу — то сделаю. Расскажите, в чем дело?

Она успокоилась, обтерла глаза и принялась за рассказ.

— Я сама из Вышнего Волочка, там родилась, выросла, вышла замуж и овдовела. У покойного мужа был трактир. После смерти его дела я не оставила и все шло, слава Богу, по-хорошему. С год тому назад зачастил в мое заведение наш сосед, эдакий степенный человек, непьющий, с деньгою и вроде как бы образованный. Все чаще да чаще стал заходить, да разговоры со мною разговаривать, а месяц тому назад предложение руки своей и сердца мне сделал. Я согласилась: еще бы, от такого жениха отказываться. Однако подумала, как бы и мне себя показать в лучшем виде. И надумала я съездить в Москву и справить себе кое-что из приданого: два суконных и одно поплиновое платье, опять же драповое осеннее пальто. Какие у нас в Волочке портники, прости Господи. Одна порча материала. К тому же в Москве я отродясь не бывала и очень уже мне захотелось на столичное разнообразие посмотреть, к Иверской съездить, на трамвае покататься и все прочее. Словом, набила я чемодан шелками да сукнами, перекрестилась, села в ночной поезд да поехала. Разместилась я в купе третьего класса, рядом со мной сидела какая-то женщина, а насупротив на лавке двое мужчин. Вскоре на соседних станциях вылезла сперва женщина, а потом мужчина, и мы остались вдвоем. Мой попутчик был не старым человеком с эдакой красивой бородкой и ласковым лицом. Поглядел он на меня, поглядел да и вежливо спрашивает:

— До самой столицы ехать изволите?

— Да, — отвечаю, — в Белокаменную.

— Вы там постоянно проживаете?

— Нет, — говорю, — я отродясь в Москве не бывала, а еду по своему женскому делу.

— Стало быть, вы насчет здоровья?

— Станные вы говорите вещи. Я, слава те Господи, болезней не знаю. А просто собралась замуж и еду к столичным портникам приданое шить. Ведь московские мастерицы, поди, не чета нашей провинции.

— Это вы правильно говорите, наши портники — хоть куда! На всякую угодят.

— Вот так мне про них и говорили. Я и везу шелка и сукна свои, а за фасон заплачу, что полагается.

— Вы где же в Москве пристанете? У родных или знакомых?

— Нет, в Москве у меня нет никого. Но мне говорили, что все гостиницы на вокзал рабочих своих посылают, а те зазывают к себе публику.

— Это точно. К каждому поезду выезжают гостиницы, кто в карете, а кто в моторе. А только экономный человек на их удочку не идет. В самой завалающей гостинице гони за номер рубля два, а то и три, а уезжать станете — так на вас налетят, как вороны: и горничная, и лакей, и коридорный, и посыльный, и швейцар. Каждому суй в руку на чай, а там, глядишь, и вскочит тебе номер вдвое.

— Что поделаешь, — говорю, — не на улице же ночевать.

— Известное дело, не на улице. А только немало есть в Москве честных людей, что в квартире своей сдают комнату-другую для приезжей публики; оно и не так накладно: за целковый можете получить хорошую комнату с мягкой постелью. Опять же при отъезде «на чай» никому давать не надо. Да вот, хотя бы у моего брата постоянно приезжие бывают. И публике удобно, и ему доход. Между прочим, позвольте представиться. Я Иван Иванович Зазнобушкин, — и он, встав, протянул мне руку.

— Очень, — говорю, — приятно. Я Настасья Петровна Брыкина, владею трактиром в Вышнем Волочке.

Поглядела я на него, поглядела, и очень уж его личность показала мне симпатичной, к тому же и фамилия такая чувствительная. Подумала да и говорю:

— Может быть, вы, Иван Иванович, поможете мне у брата устроиться?

— Отчего же. С превеликим удовольствием: и вам одолжение сделаю, и брату заработать дам. Он человек женатый, смирный и вообще честный человек.

За такими разговорами стали мы подъезжать к Москве. Гляжу из окна, а дороги во все стороны идут, и на каждой по поезду, то по товарному, то по пассажирскому. А наш поезд — хоть бы что, так и задувает.

— Ой, — говорю, — боязно-то как. Долго ли до греха. Соскочит наш поезд со своего направления, да как шарахнет в посторонние, и поминай как звали, косточек не соберешь!

— Да, — отвечает, — действительно такие кораблекрушения часто приключаются, и даже в газетах об этом постоянно пишут.

— Ой, какие ужасы вы говорите, — а у самой эдак вроде как голова закружилась, и я прислонилась даже к его объятиям. Иван Иванович оказался мужчиной честным, не воспользовался моим умопомрачением и даже не ущипнул меня, и вообще не позволил себе ничего такого-эдакого, а вежливо спросил:

— Может быть, попрыскать на вас свежей водицей?

— Мерси, — отвечаю, — не надобно, уже прошло, и я прихожу в собственную температуру.

Но вот, наконец, поезд стал замедлять ход, и мы выехали не то в какую-то залу, не то в стеклянный сарай.

— Вот мы и приехали, — сказал Иван Иванович. — Вылазьте, а я ваш чемоданчик понесу.

— Не трудитесь, я и сама справлюсь.

Вышли мы с Иваном Ивановичем из вокзала, и я так и ахнула: огромная площадь, народ так и идет, извозчики кричат, трамваи звенят, автомобили гудят. Я ажно растерялась. А Иван Иванович тащит меня с чемоданом в сторону. Здесь, говорит, извозчики дороги, пойдемте, там подальше за полцены найдем. Пошли, гляжу, а Ивана Ивановича будто и нет, в толпе затерялся. Смотрю по сторонам туда-сюда и вдруг вижу, он стоит и с каким-то босяком разговаривает, оглянулся и помахал мне рукой. Подхожу.

— Ну, — говорит, — Анастасья Петровна, родились вы, можно сказать, в сорочке. Чуть приехали, а Москва-матушка вам сурприз подносит, эдакий редкий случай. Досадно, что у меня с собой денег таких нет. Вот посмотрите, этот человек золотые часы с цепью продает за четвертную, деньги, говорит, до зарезу нужны.

Я взглянула: действительно, здоровенные мужские часы с тяжелой цепью, на худой конец — целковых двести стоят. У покойного мужа за полторы сотни много жиде были.

— Да вы, барынька, очень-то не разглядывайте, — заволновался босяк, а то как бы фараон не заметил.

— Это у нас так в Москве городских называют, — пояснил Иван Иванович. — Не скрою от вас, господин начальник, сообразила я, что вещь, наверное, краденая, да жадность обуяла. Вынула я из кошелька 25 целковых и, уплатив сполна, спрятала часы в ридикюль.

— С покупочкой вас, — поздравил меня Иван Иванович.

— Да, — говорю, — вещь недурную купила.

Тут сели мы с ним на извозчика, и Иван Иванович приказал ему ехать прямо. Переехали мы несколько улиц, сворачивали направо, налево и, наконец, подкатили к хорошему большому дому. Заплатили мы с Иваном Ивановичем извозчику по двугривенному и вошли в подъезд. В дверях стоял швейцар в пальто с эдакими

золотыми пуговицами и в золотой фуражке. Поднялись мы на третий этаж. Иван Иванович позвонил в дверь направо. С открывшей нам женщиной он приветливо поздоровался: «Здравствуйте, невестушка. А я вам тут пассажирку с вокзала привез. Если комната свободна, то вот договаривайтесь. А братец дома ли?»

— Нет, Коли нету. Но я и без него управлюсь. Пожалуйста осмотреть комнату, — сказала она мне ласково и открыла тут же левую дверь, выходящую в прихожую. Комната мне очень понравилась, и я наняла ее за рубль в сутки.

Оставшись одна, я вынула из чемодана запасенную провизию и собиралась было закусить, как раскрылась дверь и снова вошла моя хозяйка:

— Позвольте двугривенный и документик для прописки. У нас в Москве на этот счет строго, а с полицией мы живем всегда в миру и ладу.

— Что ж, — отвечаю, — это правильно. А документ мой в исправности. Извольте получить.

Она собралась уходить, но я задержала ее.

— Скажите, пожалуйста, где бы мне отыскать в Москве хорошую, стоящую портниху? Не знаете ли адресочка?

— Нет, адресочка точно не знаю, а вы пройдитеесь только по Тверской, это наша главная улица, так сразу и сами увидите, что ни окно, то портниха, и на разные цены, от самых завалящих до поставщиц высочайшего двора.

— А это что будет, а и в толк не возьму?

— А то, что эти поставщицы самих государынь и царских дочек обшивают.

— Да ну, неужто? — а у самой в голове эдакие фантазии проносятся: спросят меня вышневолоцкие знакомые: кто это вам, Анастасия Петровна, это поплиновое платье смастерил? А я отвечу: та самая портниха, что шьет и царице, мы с нею вместе у одной заказываем.

Закусила я и, не теряя времени, захотела приняться за дела. Съезжу к Иверской, разыщу портниху, да, кстати, и продам часы.

Позвала я хозяйку да и спрашиваю:

— Как ваш адрес будет, а то заверчусь по городу и домой не вернуся...

А она и говорит:

— Это действительно может случиться, уже вы запомните хо-рошенько. А то еще лучше — я напишу вам на бумажке, а вы припрятуйте записку понадежнее.

И тут же на клочке бумаги написала адрес. Вот он: Никитская, дом 5, кв. 6. Иван Иванович захотел проводить меня. Вышли мы с ним на улицу, и, помню, в воротах на фонаре я заметила цифру 5. Иван Иванович как-то поспешно свернул за угол, другой, перешли мы какую-то площадку, тут он распрощался, и я пошла. Расспросила дорогу, добралась до Тверской. Иду, а самой так жутко, того и гляди оглоблей в лоб ткнут. Смотрю по сторонам, ишу

вывесок портнихи, а ничего подходящего не попадаетея. Прочла я на одной: «Поставщик Высочайшего Двора», а в окне, между прочим, товар не подходящий: колбасы да фрукты разные. Наконец попало мне большое стекло, а за ним все женские куклы по пояс выставлены, эдакие красивые, разбурмяненные и все в разноцветных блузках. Вот оно, думаю, — высочайшего двора портниха. Вхожу, спрашиваю, что, мол, возьмете за работу поплинового платья, матерьял мой. А они скалят зубы и говорят:

— Платьев мы не шьем, это не по нашей части, а вот ежели завить или причесать, — так в лучшем виде можем, пожалуйста, мадам.

Выскочила я из магазина, ажно в краску бросило. Нет, думаю, надо будет толком адрес расспросить, не иначе.

Собралась я домой, да думаю, вот только часы продам, тут ошибки не выйдет, подходящих магазинов — сколько хочешь. Захожу, спрашиваю:

— Не купите ли, дескать, у меня золотые часы мужские с цепочкой.

— Покажите, — говорят.

Повертели мои часы да и отдают назад:

— Нам такого товару не надобно.

— Почему, — говорю, — а если по сходной цене?

А приказчик эдак ядовито улыбнулся и спрашивает:

— Сколько же вы хотите за них?

— Да за сто пятьдесят отдам.

— Нет, — говорит, — красная цена вашим часам пять целковых.

— Как? — вскричала я. — Пять целковых за золотые часы?

— Да они у вас кастрюльного золота, т. е. медные-с.

Как я вышла на улицу — не помню, испугалась, но не поверила: не может этого быть. Зашла к другому часовщику, а тот за них трешку мне дает.

Тыфу ты пропасть, думаю. Ну я, конечно, женского полу, провинциалка: ну а Иван-то Иванович чего же глядел?.. Ну, подожди же, думаю, задам я тебе. Вытащила я из кошелька записку с адресом, прочла и наняла извозчика на Никитскую. Еду, а сама от нетерпения и злости так и ерзаю, так и ерзаю на пролетке. Подкатили мы к дому, пробежала я в подъезд опять мимо швейцара с золотыми пуговицами, поднялась на третий этаж — та же дверь направо, полуоткрыта. Взглянула: над дверью номер шестой. Вхожу, а мне навстречу горничная. Спрашиваю сердито: «Что, ваш Иван Иванович будет ли дома?» — «Дома, пожалуйста», — отвечает и открывает мне дверь направо.

Вхожу и вижу: в глубине комнаты за столом сидит человек и на меня смотрит. Евонный брат, подумала я.

— Позовите ко мне Ивана Ивановича, — говорю.

А он отвечает:

— Я и есть Иван Иванович.

— То есть в каких смыслах? — спрашиваю.

— А очень, — говорит, — просто: отца моего звали Иваном и меня тем же именем крестили.

— Странно, — говорю.

А он:

— Садитесь, пожалуйста, сударыня. Скажите, вы часто страдаете головными болями?

— Вы мне, пожалуйста, тут зубы не заговаривайте, а подайте-ка лучше мне мой чемодан, что привезла я сегодня утром к вам с вокзала, да позовите скорее Ивана Ивановича.

Он ласково посмотрел на меня и успокоительно заметил:

— Хорошо, хорошо, голубушка, и чемодан ваш сейчас принесу, и Ивана Ивановича позову. Успокойтесь, не волнуйтесь. — А затем, передохнув, еще ласковее сказал: — Разденьтесь, пожалуйста.

— Это что же такое? — вскочила я. — Какое такое право имеете вы эдакие бесстыжие слова произносить? Впрочем, я вижу, все тут одна шайка мошенников и не о чем мне с вами разговаривать.

С этими словами я вышла из его комнаты и в прихожей, чуть не сбив с ног горничную, кинулась в левую дверь, в свою комнату к чемодану. Что за притча, а комната-то и не моя. Круглый стол с пустыми бутылками и какой-то полуголый мужчина в кровати.

Я так и остолбенела, а он усмехнулся пьяной улыбкой и проговорил:

— Экую красавицу мне шлет судьба.

Я бегом из комнаты, скатилась по лестнице да прямо к швейцару:

— Кто у вас, мол, проживает в шестом номере?

— Как кто, — отвечает, — да доктор по нервным болезням, Иван Иванович Белов.

— Не может этого быть, — говорю, — это квартира Зазнобушкина.

— Какого, — говорит, — Зазнобушкина, у нас такого и в доме не имеется!

— Да, может быть, вы, милый человек, запомнили?

— Чего там запомнить, слава те Господи, двенадцатый год при доме живу и не то что по фамилиям, а и по именам каждую квартиру знаю.

Я поглядела в записку и говорю:

— Да это Никитская?

— Никитская, — отвечает.

— Дом номер пятый?

— Пятый.

— Так вот, нате, читайте сами.

— Действительно, — говорит, — адрес наш. А только в шестом номере живет доктор Белов. Тут у вас какая-нибудь промашка вышла.

Вышла я на улицу, так и плачу.

И на себя-то мне досадно, и добра своего жалко. Конечно, на мне 300 р. припрятано на шее да в кошечке больше двадцати осталось. Перееду в гостиницу, да там и заявлю в полицию. Хотя тошно мне было, а начала помаленьку успокаиваться. Как вдруг вспомнила: а паспорт у меня будто для прописки мошенники отобрали. В гостиницу ж без документа не пустят. Тут я взвыла белугой. Села на бульваре на скамейку и ревмя реву. Подошел какой-то старичок, подсел и спрашивает:

— О чем вы, голубушка, надываетесь?

— Как же, — говорю, — не надываться, когда я в эдакий, можно сказать, переплет попала?

— А что такое?

Я коротко рассказала ему. Старичок покачал головой да и молвил:

— Да это, можно сказать, не поездка, а светопреставление.

— Что же, господин, вы посоветуете мне?

— Да что тут советовать, — поезжайте вы на угол Большого и Малого Гнездиковского переулков в сыскную полицию, обратитесь к начальнику, расскажите ему во всех подробностях дело, может, и будет толк.

Поблагодарила я его и пошла, а он еще крикнул мне вдогонку: «Гнездиковский переулок. Помните слово «Гнездо».

Села я на извозчика и поехала. Еду, а сама думаю:

— Может, и этот набрехал. Вон ведь в Москве народ-то какой. Еду в полицию, а того и гляди привезут к архиерею или в родильный приют. Вот, господин начальник, все рассказала по совести. Помогите моему горю, не оставьте без внимания, — и, встав, она поклонилась мне в пояс.

— Вот что, — сказал я ей, — зайдите в мою канцелярию, оставьте точную опись украденного имущества и ваш вышневолоцкий адрес. Если хотите оставаться в Москве, то я могу выдать вам временное свидетельство на жительство. Конечно, вас кругом обмошенничали, но радуйтесь тому, что часы оказались медными.

— Какая же мне от этого радость, господин начальник?

— А та, что будь они золотыми, и вы могли бы угодить в тюрьму за скупку заведомо краденого.

— Господи Ты Боже мой, мать честная. С часами надули, лишили имущества, паспорт украли и меня же в тюрьму. Нет, ваше превосходительство, не нужно мне вашего свидетельства, уже я лучше по добру по здорову махну на вокзал, да айда в Волочек. Ну уж и Москва, ну уж и столица. Сто лет буду жить — не забуду. Если будет вашей милости угодно, то прикажите вашим людям меня известить в Волочек, если разыщется мое добро.

Я обещал, и она, раскланявшись, вышла.

Так как трюк с часами не являлся случайным эпизодом и за последнее время до чинов полиции не раз доходили частные слухи об аналогичных проделках, то я решил усилить наблюдение перед всеми вокзалами, обычным местом такой своеобразной коммерции.

Особое внимание я приказал обратить на Николаевский вокзал. На следующее же утро с последнего было доставлено три оборванца, застигнутые на месте преступления. Им поочередно предъявлены были часы вышневолоцкой невесты. Первые двое их не признали, третий же, взглянув, довольно неожиданно заявил:

— Что тут заператься. Осень на дворе, куда мне деваться, на зиму глядя, пора на казенные харчи садиться. Да, господин начальник, действительно я продал эти часы вчерашний день какой-то дамочке.

— Ну, молодец, — поощрил я его, — раз виноват, так и нечего заператься. Начал рассказывать, так и рассказывай до конца. Поможешь мне, так я прикажу накормить и напоить тебя, передану в казенное чистое платье и табачку велю отсыпать. Говори, кто был тот мужчина, что помог тебе вчера сплавить часы приезжей женщине.

Оборванец помялся немного, подумал и, решительно тряхнув головой, произнес:

— Да и вправду, чего же жмота шадить. Этот выжига проклятый никогда в беде не поможет. Вот и вчерась утром: дамочку на покупку подвел, а вечером с меня половину потребовал, заграбастал 12 с полтиной, а того не подсчитал, что товар мне самому в пять целковых обошелся. Одно слово — собака.

— Как же его зовут и где он живет?

— Зовут его Василий Ефимович Чернов, а проживает он на Мясницкой, дом № 5, кв. 6.

По этому адресу мною были немедленно отправлены чиновники с агентами, и вскоре же мошенники с чемоданом и паспортом были доставлены в сыскную полицию.

Суд присяжных, перед которым они вскоре предстали, однако, оправдал жену с братом. Что же касается мнимого Ивана Ивановича, то он был приговорен к году тюрьмы по совокупности преступлений. Я исполнил свое обещание и приказал даже выслать чемодан багажной посылкой в Волочек. Вскоре я получил оттуда ответ, написанный в весьма чувствительных выражениях и чуть ли не с приглашением на предстоящую свадьбу.

ЖЕСТОКИЕ УБИЙЦЫ

Спускались вечерние сумерки. Была страстная суббота. В квартире моей царил то волнение, что присуще обычно в этот день всякой русской семье. Поспешно накрывали стол и в художественном порядке расставляли на нем снедь и пития. Незабываемая минута! Особенно в эмигрантской жизни. Где найдешь теперь такую совокупность и разнообразие кулинарных шедевров.

Перебрасываясь словами с прибывшими на разговенья родными и друзьями, я, изголодавшийся за неделю поста, мысленно прикидывал, с чего начать — с куска ли малосоленной ветчины или с маринованного груздочка под рюмку водки, как вдруг раздался телефон, и... померкли мечты. Звонил начальник Петроградской сысской полиции В. Г. Филиппов и просил меня, как своего помощника, немедленно отправиться на 10 линию Васильевского острова в дом № 16, для производства осмотра квартиры № 4, где несколько часов тому назад произошло убийство некоей генеральши Максимовой.

Я немедленно по телефону вызвал двух агентов, невольно оторвав их также от пасхальных столов, и мы все трое, «обиженные судьбой», принялись за исполнение нашего сурового служебного долга.

Подъехав к дому на десятой линии, я прежде всего направился под ворота в дворницкую, так как старший дворник Михаил Ефимов Захарихин первый обнаружил убийство и известил о нем полицию. Спустя несколько ступенек, мы раскрыли двери и очутились в дворницкой. Это была довольно большая комната, с огромной русской печью, весьма опрятно убранная: большой чистый стол, несколько табуреток, в углу икона Божьей Матери, перед ней горящая лампада. Часть комнаты была огорожена ситцевым пологом, из-за которого неслышно детский плач. В несколько спертom воздухе пахло какой-то кислятиной, не то печеным хлебом, не то пеленками. Нас встретил старший дворник Захарихин с женой, они сразу произвели на меня приятное впечатление. Он — высокого роста, лет 45, черный с проседью, с величаво степенным лицом; она, баба лет под 40, раздобревшая, в повойнике. Оба поклонились, приветливо приглашая сесть.

— Расскажите, как вы обнаружили убийство? — спросил я его.

— Дело было так, — взволнованно заговорил он. — В 4-м номере пятый год проживает генеральша Максимова. Царство ей

небесное... Хорошая была барыня, — проговорил с чувством он. — Квартирку они занимали небольшую, в три комнаты с кухней. Барыня, видимо, не очень богатая, существование имели больше на пенсию, а положена им была пенсия в 150 рублей. Жила генеральша одиноко, прислуги не держала, а за пять рублей в месяц нанимала мою жену для уборки и стряпни. Любили они вообще деток, и можно сказать, привязались к нашему сынишке: то ему игрушку, то платяице подарят, да и нам, старикам, перепадало от них немало. Вчерась жена моя помогла ей напечь разных куличей да посох, сегодня поутру отправилась моя супруга как всегда к ним, стучит — никто не отпирает. Станным нам это показалось, да решили обождать — вышли, мол, куда-нибудь, скоро вернется. Часика в четыре опять пошла жена, стучит, и опять молчание. Тут нас взяла тревога. Подождал я еще часок-другой да взял швейцара в свидетели, и решили взломать двери. Конечно, в иной день я бы и подумал еще, а тут канун Пасхи, генеральша и вообще редко выходит, и сегодня к вечеру поджидала гостей разговляться и еще вчерашний день наказывала моей жене придти помочь ей с утра пораньше. Взломали мы двери, вошли, глядим: в кухне беспорядок, одна пасха даже на полу валяется; прошли коридорчиком в столовую, а там все буфетные ящики выворочены, а как взглянули в спальню, так ажно не поверили.

Подробно не разглядели, увидели только, что лежит генеральша на коврике у кровати в одной рубашке и вся в крови. Прикрыли мы тут с швейцаром двери да и побежали в полицию.

— Ну-ка проводите нас к убитой.

Квартира покойной и беспорядок, в ней царящий, были дворником довольно точно описаны. Войдя в кухню, дворник широко перекрестился на икону, провел нас в столовую, небольшую гостиную и, наконец, в спальню. Дворник, озираясь по сторонам, часто охал, покачивал головой и то и дело смахивал с глаз набегавшую слезу. Он робко вошел с нами в спальню и не без колебаний помог перевернуть труп по требованию полицейского врача, тут же подъехавшего для осмотра тела. Но затем, несколько успокоившись и, видимо, искренно соболезнуя убитой, он попытался даже помочь чем мог, с ужасом и возмущением указывая на нанесенные раны.

— Взгляните, ваше высокородие, вот здесь у шеи ранища-то какая, ишь, изверги окаянные, как искромсали Божью старушку, ну подождите, кровопийцы, отольются вам ейные слезы.

После осмотра я спросил его:

— Кто из родных и знакомых чаще бывал у покойной?

— Да родных, говорила она, у них не было ни души, да и знакомых, можно сказать, никого, если не считать одной старой подруги с сыном, живущих на 1-й Линии. Она и разговляться их нонче поджидала.

— Вы знаете адрес и фамилию этой подруги?

— Как же-с. Фамилия им будет Сметанина, а проживают в доме № 45-й.

— А кто такой ее сын?

— Да Господь его знает, мужчина лет двадцати.

— Служит где-нибудь или учится?

— Нет, он какой-то непутевый и просто при мамаше проживает.

— Чем же он непутевый?

— Пьет, говорят, больно быстро. Впрочем, откуда нам знать, люди сказывают, а я повторяю.

Я принялся за детальный осмотр у покойной. По внешнему впечатлению квартирка была типичным гнездом одинокой интеллигентной женщины, не очень богатой, но привыкшей к известному, хотя и скромному, комфорту. Буфет в столовой, туалет в спальне и ряд шкафов и шкафчиков во всем помещении были перерыты с очевидной целью грабежа. Что похищено, установить было трудно, так как никто не знал точно имущества покойной. Хотя ценностей никаких не нашлось, но в записной книжке покойной, найденной в ящике комода, был записан номер двадцатипяти тысячной ренты, а сбоку от него приписка «декабрьские купоны мною разменяны». Однако этой ренты при обыске мы не нашли. Оставалось предположить, что Максимова хранила ее где-либо в банке.

Допрошенный швейцар ничего нового сообщить не мог. На следующее утро я командировал чиновников на 1-ю Линию к Сметаниным, как для наведения справок об убитой, так и для расспроса молодого Сметанина, столь невыгодно охарактеризованного дворником Захарихиным. Я был удивлен, когда через несколько часов явился мой чиновник, привезя с собой арестованного Сметанина.

— За что вы его арестовали? — спросил я его.

— Видите ли, господин помощник, его поведение внушало мне самое серьезное опасение: он как-то мало удивился известию о смерти г-жи Максимовой, на расспросы отвечал неохотно. Когда же я его спросил о том, как он проводил предыдущую ночь, он ответил, что дома, между тем дворник их дома показал, что барин Сметанин вернулись в восьмом часу утра. Когда я напомнил ему об этом обстоятельстве и попросил объяснений, он отказался сначала, а затем, под угрозой ареста, рассказал мне, видимо, сказку о похищении какой-то девицы на Невском и о ночевке с ней в гостинице на Караванной. Перед тем как арестовать и привести его сюда, я съездил с ним на Караванную, но там он никем не был узнан. Конечно, это еще не решающее доказательство, но в общей совокупности поведение Сметанина мне показалось очень подозрительным, и я счел за лучшее его арестовать.

— И хорошо сделали. После я его сам допрошу.

Начались усиленные розыски. Несколько раз допрашивались и обыскивались Сметанины. Была установлена слежка и за ними, и за швейцаром, и за Захарихиным. На третий день состоялись похороны убитой, причем следящий за Захарихиным агент видел,

как последние возложили на гроб скромный венок с трогательной надписью: «Нашей благодетельнице от супругов Захарихиных». Это обстоятельство показалось мне настолько красноречивым и трогательным, что я немедленно отменил слежку за ними, тем более что и попервоначалу они произвели на меня впечатление вполне честных людей.

Недели через две была прекращена слежка и за швейцаром, как явно бесцельная. Сметанина, упорно повторяющего свою версию, пришлось вскоре отпустить, так как улики против него, в сущности, никаких не имелось.

Запрошенные банки и банкирские конторы ответили, что вклада г-жи Максимовой, в виде 25-тысячной ренты, не хранят и вообще означенное лицо клиенткой у них не состоит. Прошло месяцев шесть в бесплодных исканиях, и я с грустью махнул рукой на это дело.

Между тем жизнь не ждала. Злоба, хитрость и алчность людские не дремали, и приходилось рассеивать внимание и напрягать силы к раскрытию новых и новых убийств, грабежей, краж и мошенничеств.

Помню, в эту пору я был особенно занят громким убийством на станции «Дно». Не только я, но чуть ли не весь штат полиции был поглощен этим вопиющим преступлением. И вот, как-то в самый разгар его, полицеймейстер, кажется Галле, доставляет в сыскную полицию анонимное письмо со своеобразным адресом на конверте: «Господину петербургскому полицеймейстеру». Текст его был таков:

«Господин полицеймейстер города Петербурга, Вам следовало бы знать, что Настасье Бобровой, крестьянке деревни Волково, Петерб. уезда доставлено из столицы разного добра — шубы, шелка, золото — и прислал их ей ейный зятек Михаил Ефимов, что проживал дворником в Петербурге. Боброва — баба нестоящая и счастья такова не заслужила. Вообще имущество нажито нечисто и даже, как понимаем, ворованное. Проявите закон и Ваше полное право».

Доносов, подобных этому, мы всегда получали немало. Вот почему я и не придавал ему большого значения и принял лишь меры, обычные в таких случаях: был запрошен адресный стол и полицейские участки, кто из петербургских дворников значится под именем Михаила Ефимова. Таких дворников нашлось 5 человек: три старика — вдовца бессемейных, да два молодых холостых, причем ни один из них не был Петербургской губ. Вместе с тем я отправил одного из агентов переодетым коробейником в деревню Волково, благо последняя была под самой столицей. Ему было поручено незаметно порасспросить старуху Боброву и ее односельчан. Боброва оказалась очень скрытной. Мой агент пробыл в Волкове два дня, а на третий, когда Боброва собралась пешком в город, он незаметно последовал за ней и проследил ее. Агент, ничего не звавший об убийстве Максимовой, спокойно доложил мне, что Боб-

рова направилась на 10-ю Линию Васильевского острова, д. № 16, где, войдя в ворота, постучала в дворницкую и была радостно принята дворником и его женой. Агенту удалось узнать фамилию дворника, и он назвал мне Захарихина. Услышав это имя, я вздрогнул: сразу вспыхнуло воспоминание о нераскрытом убийстве Максимовой, и я судорожно принялся разыскивать протокол этого дела. В нем я прочел имя дворника — Михаила Ефимова Захарихина. Разыскав анонимное письмо, я увидел в нем имя зятя — дворника Михаила Ефимова. Очевидно, речь шла об одном и том же лице, но в письме, по просторечию, фамилия дворника была заменена отчеством (явление совершенно обычное для нашей деревни).

Взяв трех агентов, я немедленно помчался на 10-ю Линию и, войдя к Захарихиным, объявил их и тут же находящуюся тещу арестованными. На их недоуменные вопросы я резко ответил, назвав его убийцей и указав ему на место сокрытия награбленного. Этот наскок ошеломил их и, не принося еще сознания, они как-то сразу увяли, стали тревожно переглядываться, а старуха Боброва, не выдержав, заревела и заголосила. Мои люди принялись за тщательный обыск и после нескольких часов обнаружили, наконец, на задней стенке иконы аккуратно выпиленную, а затем подклеенную тонкую дощечку. Отняли ее и нашли под ней сложенный и примятый билет, оказавшийся рентой убитой Максимовой. При этой находке убийцы перестали отпираться, и Захарихин откровенно покаялся.

— Давно, — говорил он, — задумали мы это дело с женой. Надоело жить в дворниках да перебиваться с хлеба на квас. Мы знали, что у генеральши водились деньги, да и добра было немало. Выбрали мы канун Пасхи, надеясь, что в праздничные дни полиции не до нас будет — ведь и они, чай, люди. В пятницу на Страстной вечером вернулась от генеральши жена, и мы, уложив мальчонку, начали готовиться: вытащили припасенную пару ножей и начали их оттачивать. В комнате темно, одна лампада мерцает. Я и говорю жене:

— В такой великий день, а мы что задумали.

А она меня только подзадоривает:

— Не согрешишь — не покаешься.

Ну, одним словом, пробрались мы по лестнице к дверям генеральши, позвонили тихонько, подходят они, спрашивают:

— Кто там?

А жена моя эдаким сладким голоском:

— Барыня, это я. Давеча я у вас решето для протирки творога оставила, теперь самой надобно, дозвоьте взять.

И только это генеральша открыла дверь, как я ее тюк по голове заранее припасенным камнем. Вскрикнула старушка, схватилась за голову, а промеж пальцев кровь так и хлещет. Однако памяти не потеряла и с эдаким укором ко мне: «Опомнитесь, Михаил Ефимыч, побойтесь Бога, ведь вы от меня одно добро видели». У меня голос срывается, отвечаю:

— Это правильно вы говорите, барыня, и жаль мне вас от души; да только планида уже ваша такая. Говорю, чуть не плачу, а сам ее ножом раз, другой. Заголосили они и кинулись от нас в спальню. Тут с женой моей что-то приключилось. Кровь, что ли, одурманила ее, а только как завизжит, да как кинется вдогонку, она же ее и прикончила. Обшарили квартиру, отобрали что поценнее и в эту же ночь жена с вещами слетала к матери в Волково, а я ценную бумажку заклеил за икону. Наутро привели мы нашу квартиру в порядок, отмыли кровь с платья, ножи бросил я в Неву и под вечер известил полицию.

Это дело осталось мне памятным, так как лишний раз показало, с какой осторожностью следует относиться к собственным впечатлениям, к собственному первому восприятию. На моей стороне имелся и широкий жизненный опыт, и обширная служебная практика, тысячи преступников разнообразных колеров перевидал я до Захарихина, а в нем готов был признать честного человека, и если бы не случайность, то убийство это так бы и осталось нераскрытым.

Захарихины были приговорены к 12-ти годам каторги каждый.

ЖЕРТВА РАДИЯ

В России по давно заведенной практике в апреле месяце формировались отряды из агентов Петербургской и Московской сыскной полиции, возглавляемые чиновниками для поручений из Петербурга и Москвы, и направлялись на минеральные воды на Кавказ. Районами их действия были Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Эта особая мера охраны была решительно необходима, так как ежегодно в лечашуюся празднующуюся толпу этих курортов внедрялись элементы, чающие легкой наживы. Прodelки этих господ редко отличались свирепостью и обычно проделывались в виде шантажа и вымогательств. Случай, о котором я хочу рассказать, хотя и представляет собою довольно обычную кражу, но не лишен специфических элементов, столь свойственных курортным мошенникам.

Дело происходило в Пятигорске в 1913 году. В этом сезоне наши соединенные отряды отправились на минеральные воды под начальством моего чиновника Михайлова. Героем настоящего грустного рассказа является все тот же Александров, о котором, быть может, помнят мои читатели. Его подвиг я в свое время описал в рассказе «Современный Хлестаков». Напомню читателю, что Александров был красивым, более чем предприимчивым мужчиной лет 25, прекрасно воспитанным, с безукоризненными манерами. Он не раз в административном порядке высылался из Москвы, но благодаря хлопотам старика отца, занимавшего в свое время довольно видный пост в Петербурге, Александрову было разрешено вернуться в Первопрестольную, где к описываемому мною времени он и проживал с родителями. Став более сдержанным, он по существу не изменил своего образа жизни и продолжал балансировать на грани уголовщины.

В мае 1913 года Александров, запасшись достаточною суммою денег, безукоризненно одетый, с элегантными дорожными принадлежностями сел в купе первого класса специального скорого кавказского поезда. По его собственным признаниям, он в ту минуту был полон радужных надежд. Никакого определенного плана у него не имелось.

В голове проносились смутные комбинации: пожить за счет какой-либо скужающей женщины, обыграть в карты какого-либо «нарзанящегося» генерала, а то при удаче и жениться, пожалуй,

на миллионе, другом рублей. В таком «приятном» настроении прибыл Александров в Пятигорск и остановился в лучшей местной гостинице — «Бристоле».

Случилось так, что группа русских профессоров и ученых, проводивших это лето в Пятигорске, уговорила немецкого профессора Р. приехать в Пятигорск полечиться серными ваннами. Профессор Р. приехал на курорт вместе со своей дочерью Эммой. Но кроме Эммы, профессор привез с собой некоторое количество драгоценного радия, купленного им по пути в Вене. Крупинки этого драгоценного металла были заключены в свинцовый капсюль с вделанной в верхнюю крышку слюдой, позволяющей видеть его содержимое. Весь этот капсюль помещался в небольшом свинцовом ларце, ключик от которого профессор всегда носил при себе. Самый же ларчик он прятал в своем чемодане.

Профессор с дочерью остановились в том же «Бристоле». Александров скоро с ними познакомился, и не раз Р. в его присутствии показывал своим русским коллегам чудодейственный радий.

Но все это стало мне известно лишь впоследствии. В те же майские дни картина разворачивалась следующим образом: красавец Александров повел ярую атаку на сентиментальную Эмму. Вечные пикники на Машуке, Бештау, на Провале, частые экскурсии по ущельям, долинам и бурным потокам ослепительно прекрасного, сурового Кавказа, и в результате немецкая «Тамара» была покорена.

Узнав об увлечении своей дочери, профессор решил ближе познакомиться с прошлым своего будущего зятя. Он обратился к Михайлову, прося навести справки и последить за Александровым. Справка ему была дана тотчас же, так как Михайлов знал прекрасно о художественных проделках Александрова в Москве. Р. поделился с дочерью полученными сведениями, и после долгих уговоров влюбленной Эммы авантюрист получил от невесты отказ.

Несколько дней, симулируя отчаяние, Александров тенью слонялся по Пятигорску, после чего бесследно исчез.

Через месяц примерно после его отъезда профессору понадобилось показать кому-то радий, но его не оказалось. Р. поднял тревогу и обратился за помощью к тому же Михайлову. Начались розыски, причем одна из прислуг «Бристоля» показала, что уехавший Александров очень часто бывал в номерах, занимаемых Р. с его дочерью. Номера эти были смежны и нередко Александров сиживал подолгу в номере профессора, дожидаясь появления барышни из ее комнаты. Михайлов обратил внимание на это обстоятельство, но профессор, видимо, под влиянием дочери заявил, что считает Александрова вне подозрений. О всех этих подробностях я узнал значительно позднее, то есть по возвращении Михайлова в Москву в конце сентября. В июле же месяце, присылая мне свой очередной рапорт и перечисляя в нем наиболее выдающиеся преступления, происшедшие за это время на курортах, Михайлов лишь в общих чертах известил о краже радия. Отвечая на июльский рапорт, я

предложил ему обратить сугубое внимание на это дело, так как похищенная ценность принадлежала видному иностранцу и русской сыскной полиции надлежит не ударить лицом в грязь.

Михайлов, по просьбе профессора, не преследовал Александра, за что и получил от меня «разнос» по возвращении. Беседуя об этом деле с Михайловым, я припомнил, что примерно в августе месяце в «Русском Слове» промелькнула глухая заметка о том, что харьковскому университету было сделано кем-то предложение о приобретении радия. Вспомнив об этом, я немедленно написал харьковскому начальнику сысского отделения, предлагая ему подробно выяснить, кто и при каких обстоятельствах предлагал радий местному университету. Недели через три получился обстоятельный ответ. В нем указывалось, что в августе месяце некий молодой человек, назвавшийся фон Адлером из Вены, действительно предлагал университету радий за 80 000 руб. Ученая комиссия университета, осмотрев и обследовав предлагаемый радий, решила его приобрести, но потребовала от фон Адлера указания источника, из которого он его получил. Фон Адлер обещал на следующий же день доставить нужные документы, но обещания не сдержал и больше не являлся. Внешние приметы фон Адлера походили на Александра. Я срочно выслал карточку последнего в Харьков, и университетская комиссия признала в нем продавца радия. После этого я немедленно же отправил агентов по московскому адресу Александра для его ареста. Оказалось, однако, что Александров находится в клинике, где ему недавно была произведена операция. Дня через три я лично приехал в больницу, но Александра уже не застал там. Профессор, делавший ему операцию, не мог точно определить характер его недуга, но выразил мнение, что больной может быть потревожен допросом без ущерба для его здоровья. Я отправился в квартиру Александра. Александров лежал в кровати на кружевных подушках. В ногах на шелковом одеяле лежал какой-то мех. У кровати висело не то кимоно, не то шелковый японский халат с вышитыми белыми ирисами. У стены чисто дамский туалет с множеством флаконов с духами, помадами, пудрой и проч. Словом, ни дать ни взять кокетка, а не мужчина. Александров грустно на меня взглянул, узнал и, горько улыбнувшись, промолвил:

— А, Кошко! Вы, конечно, за мной по делу радия. Но, увы. Вы опоздали. Правосудие небес опередило людей. Дни мои сочтены.

— Что же с вами произошло после Пятигорска и Харькова?

— А нечто совершенно невероятное и неожиданное. Получив от Эммы радий, я не расставался с ним и все время носил его в правом жилетном кармане. Месяца полтора тому назад я заметил на правой стороне живота красное пятно величиной с гривенник. Я особого внимания на него не обратил, но вскоре пятно уже удвоилось, потом утроилось и появилось какое-то затвердение. Я обратился за врачебной помощью, и хирург вырезал эту опухоль. Едва рана затянулась, как снова появилась краснота, снова опу-

холь, и на этот раз образовалась страшная язва. Две недели тому назад мне сделали вторичную операцию, и вот я третий день как дома. Из общего тона профессоров я понял, что дело мое плохо. Да что профессора, я и без них чую конец, а если бы вы знали, как грустно умирать в двадцать семь лет. Ну, да впрочем, все это ни к чему. Вас интересует, конечно, где радий, — вот там в туалете, в правом ящике в серебряной пудренице. Видите, я облегчаю вам вашу задачу и прошу за это у вас одного: не трогайте меня — дайте мне спокойно умереть.

Через две недели Александров скончался от страшных изъязвлений в желудке.

Злополучный радий был вскоре возвращен его владельцу.

ИВАН ЕГОРОВИЧ

При Московской сыскной полиции имелся так называемый «стол приводов». Служил он как для опознавания приводимых преступников, скрывавших свои истинные и уже зарегистрированные полицией имена, так и для регистрации людей, впервые попавшихся в преступлениях. Десятки лиц ежедневно дефилировали перед этим столом, а в дни облав по его спискам проходило иногда даже по несколько сот человек.

Столом «приводов» в течение 25 лет заведовал некий Иван Егорович Бояр, — личность весьма примечательная. Этот маленький, толстый человек угрюмого вида, из бывших ротных фельдшеров, за служебную практику свою пропустил такое множество людей, и до того, что называется, набил себе глаз, что в конце концов стал проявлять чуть ли не сверхъестественную прозорливость: окинет лишь беглым взглядом и почти безошибочно определяет профессию данного человека.

Он был широко известен в преступном мире и пользовался у него если не любовью, то известным престижем и уважением.

Иван Егорович, несмотря на свою постоянную мрачность, не только не тяготился службой, но даже любил ее, как любит артист свое дело. Не было для него большего удовольствия, как уличить во лжи скрывающегося под чужим именем мошенника и, порывшись в пыльных регистрах, в антропологических и дактилоскопических отметках, доказать непререкаемо какому-нибудь Петрову, что он вовсе не Петров, а Карпов, такой-то губернии, уезда, волости и деревни, и имеет за собой столько-то судимостей.

При допросах он бывал обычно лаконичен и сух; но когда того требовало дело, пускался и на хитрости, часто до смерти запугивая своих невежественных «клиентов» необычным видом антропометрических приборов.

Мне вспоминается несколько сценок из обширнейшей практики Ивана Егоровича.

— Как звать? — спрашивает он у здорового малого, только что приведенного с облавы.

— Похомов, Николай.

Бояр исподлобья окидывает его пронизательным взглядом.

— Судился?

— Не то что не судился, а и в свидетелях-то у мирового не бывал!

— Врешь, негодяй!

— Ей-Богу, чистую правду говорю!

— А ну-ка, давай пальчики!

Парень, с помощью Ивана Егоровича, проделывает дактилоскопическую операцию; снимок подводится под формулу и через некоторое время аналогичный разыскивается в архиве. Похомов Николай оказывается Сидоровым Иваном с тремя судимостями у мирового и четвертой — в окружном суде. Тут же и фотографическая карточка. Иван Егорович бегло переводит взор с карточки на Сидорова и как ни в чем не бывало начинает читать:

— Сидоров Иван, такой-то губернии, уезда и волости, столько-то лет. Православный. Отбыл в таком-то году по приговору мирового судьи такого-то участка 3 месяца тюрьмы за кражу.

Пауза и строгий взгляд на вора. Затем дальше:

— По приговору мирового судьи такого-то участка отбыл 6 месяцев тюрьмы тогда-то.

Опять пауза и опять взгляд на Сидорова.

— По приговору такого-то судьи, тогда-то и столько-то, и, наконец:

— По приговору Московского окружного суда был присужден к арестантским ротам на 4 года за то-то. А вот и мурло, — говорит Иван Егорович, поднося фотографию к носу допрашиваемого.

Сидоров, выслушивая этот «*curticulum vitae*», приходит в сильное волнение, переминается с ноги на ногу и затем, мотнув как-то в сторону шеей, неожиданно выпаливает:

— Да это же, Иван Егорыч, еще до военной службы было!..

А то вот еще картинка.

Подходит к столу какой-то босяк. Вид его жалок и смешон: без штанов, на ногах опорки, вместо верхнего платья — одна лишь жилетка. Лицо, распухшее от пьянства, лишено всякого выражения. Кто он? Что он? Чем существует? — известно одному Богу... и Ивану Егоровичу.

Последний окидывает его взглядом, быстро какими-то путями приходит к заключению и, не поворачивая головы, протягивает к босяку руку со словами:

— Подавай присягу!¹

— Извольте получить, Иван Егорович! — говорит босяк и, вынув поспешно из жилетного кармана наперсток и нанизав на палец, покорно его протягивает Бояру.

Что дало повод Ивану Егоровичу распознать мгновенно в босяке портного — остается для меня тайной.

¹ С «присягой», т. е. наперстком, портные не расстаются. Она является своего рода эмблемой их труда и традиционно хранится ими, как зеница ока, при всяких даже самых безотраднейших жизненных обстоятельствах.

Всех свежих преступников, т. е. людей, впервые попадавших в преступления, тотчас же регистрировали за столом приводов и снимали с них фотографии и дактилоскопические снимки, производя вместе с тем и антропометрические измерения. В тех случаях, когда вина очевидна, но преступник продолжал запереться, Иван Егорович, играя на темноте и невежестве простого русского человека, прибегал к своеобразному методу запугивания и нередко достигал цели.

— Так как же-с? — говорил он какому-нибудь вору. — Не твоих рук дело?

— Нет, Иван Егорыч, как перед Истинным — не виновен!

— Ладно! — заявляет Бояр. — Разувайся!

— А это зачем же, Иван Егорович?

— А вот увидишь — зачем. Ну, поворачивайся живей!

И пока жертва с упавшим сердцем снимала сапоги, Бояр принимался действовать. Он с шумом придвигал особую платформочку, на цинковой доске которой виднелся черный рисунок следа, куда ставилась нога, подлежащая измерению; потрясал в воздухе огромным циркулем, служащим для измерений объема черепа; для большего эффекта у него имелся и предлинный нож, который он натачивал тут же бруском.

После больших колебаний напуганный преступник выкладывал огромную грязную ножищу, и Иван Егорович, быстро отметив ее особенности, с безразличностью говорил:

— Ты, подлец, хоть помыл бы ноги, а то — просто противно! Убирай вон ножищу, я тебя с другой стороны общупаю! — И, схватив циркуль, подходил к жертве. — А ну-ка, что это ухо слышало?! — и он мерил ухо. — А где здесь точка? — и он ножку циркуля прикладывал к выпуклой части лобной кости. — А что, доктор, — обращался он к какому-нибудь агенту, — глаза выворачивать будем?

— А то как же! — отвечал «доктор».

Тут часто нервы жертвы не выдерживали, и она с воплем молила:

— Отпустите вы, Иван Егорыч, душу на покаяние. Мочи нет! Ведь это что же такое?! Эвона у вас тут и ножи, и инструменты разные наготовлены. Нет, уж я расскажу все по совести, что там запереться?!

Когда же вся эта «фантазмагория» не приводила к желанным результатам, то Иван Егорович, выходя из себя, принимался ворчать себе под нос:

— Эка! Выдумали разные циркули и думают всякого мошенника распознать! Дать бы ему раза два в морду или всыпать полсотни горячих — ну, и заговорил бы! Тоже — антропология!..

Мне говорили, что ныне Иван Егорович совсем опрохвостился и рьяно служит большевицкой чека, изошряясь в своем искусстве уже не над уголовным элементом, а над нашим братом!

ТРЕФ

Одно время московская полиция чрезвычайно носилась с мыслью о применении в розыске собак-ищек. Был даже разведен целый питомник, где животных дрессировали в соответствующем направлении. Я не препятствовал этой затее, но придавал ей мало значения. Тем не менее несколько дрессированных собак не раз были использованы моими агентами для розыска, и два-три преступления, удачно раскрытых благодаря чутью и нюху знаменитого Трефа, создали этой собаке широкую популярность в Москве. Толпа, падкая до всего нового и необычайного, в стоустой молве принялась разносить по городу слухи о чуть ли не сверхчеловеческом уме и способностях Трефа. Рассказы эти изукрашивались самыми невероятными примерами. Многие журналы помещали его изображения, иногда Треф фигурировал даже в кинематографических фильмах. Повторяю — бравый Треф сделал необычайную карьеру. По виду это был пес довольно неопределенной породы: помесь лайки не то с сеттером, не то с догом. Нрава он был не свирепого, но строгого, серьезного, не то что какая-нибудь трясушаяся, слезливая левретка.

На почве популярности Трефа мне вспоминается следующий забавный случай: проходя как-то к себе в кабинет через приемную, я наткнулся в ней на убого одетую старушку. Завидя меня, она в пояс поклонилась и что-то зашамкала.

— Тебе что, бабушка?

— Я к вашей милости.

— В чем дело?

— Уже вы простите меня, дуру, ваше высокоблагородие, а только я к вам с покорнейшей просьбой, утешьте старуху.

— Да кто ты такая, и что тебе нужно?

— Я-то. Да я в кухарках у господ служу, тут недалеко от вас, на Гнездиковом. Господа хорошие, пожаловаться не могу; жалостливые тоже и всякую животную любят и жалеют не меньше моего. И уж очень мы с ними обожаем собак да кошек. Так вот я к вам и пришла, не откажите мне, старухе. — И она снова мне поклонилась.

— Ровно ничего не понимаю. Говори толком, что тебе от меня нужно.

— Да вот, наслышались мы про вашу знаменитую собачку Трефа. Люди говорят, что как взглянет она на человека, так сразу

же насквозь его видит. Тявкнет раз, стало быть, вор, а тьявкнет два — убивца.

Я невольно расхохотался.

— Правильно, правильно, бабушка, тебе люди говорили, да только не досказали, что тьявкнет три — значит, дурак, а тьявкнет четыре — стало быть, умный человек.

— Что же, и очень просто, — сказала старуха, не уловив иронии.

— Так что же, потешить тебя, что ли, бабушка.

— Уж будьте милостивы, утешьте старуху. А то просто до смерти охота поглядеть, какие это такие они из себя есть. Я им и котлетку и сахарку принесла, чай, не побрезгают.

Я велел привести Трефа, а сам через открытую дверь соседней комнаты принялся наблюдать за старухой. Она села на стул, стала рыться в корзинке, очевидно, приготовляя «дары».

Вскоре в приемную тревожно вошел Треф и молча уставился на старуху. Она почтительно встала и, как показалось мне, даже поклонилась, затем не без робости протянула принесенную пищу и сахар.

Вымуштрованный Треф никогда не принимал пищи от посторонних, а поэтому и на этот раз не обратил на «дары» старухи никакого внимания. Склонив голову сначала на один бок, потом на другой и словно придя к какому-то заключению, он, как нарочно, трижды свирепо пролаял.

— Мать честная, — всплеснула руками старуха. — Сразу распознал. Правильно, батюшка, правильно. Дура я и есть. Я вот тебе мясца да сахарку принесла, а не сообразила того, что ты здесь, поди, чуть ли не апельсинчики кушаешь.

Треф прервал аудиенцию и вышел из комнаты.

Старуха постояла на месте, покачала головой и, тихо промолвив: «Ишь, смысленный, сразу определил. Ну, и чудеса», тихонько поплелась к выходу.

И пошла по Москве о Трефе слава пуще прежней.

ЧЕСТНЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК

— Господин начальник, там какой-то оборванец домогается вас видеть, как прикажете быть? — доложил мне однажды дежурный надзиратель.

— Оборванец? Что ему нужно?

— Говорит — по делу.

Я пожал плечами:

— Ну, зовите.

Ко мне в кабинет, как-то боком, проскользнул из двери здоровенный детина, но, Боже мой, какого вида! Только на Руси может человек рисковать показаться публично в столь своеобразном «наряде», не возбуждая против себя хотя бы насмешливых преследований уличных мальчишек и удивленного взгляда прохожих.

Предо мной предстал чистой воды «золоторотец», в широких грязных подштанниках, со штанинами разной длины, в какой-то дырявой, не то женской кофте без рукавов, не то в бывшей мужской жилетке. На одной ноге его красовался лапоть, на другой — рваная калоша.

— Что тебе нужно? — спросил я сурово.

— Так что я к вам по делу, г. начальник! — сказал хрипло босаяк.

— Говори!

— Слышал я, будто вы разыскиваете Кольку Серегина, что прикончил на прошлой неделе хозяев в зеленой Ивановых, на Арбате.

— Ну так что? Разыскиваем, да.

— Так вот, г. начальник, явите Божескую милость, одолжите пятерку, а я вам отслужу и найду Кольку. Мы ведь с ним вместе на огородах у этих зеленщиков все лето проработали, и я не только Кольку в лицо знаю, я знаю и места, где искать его надо.

— Да сам-то ты кто такой? Что-то на работника мало походишь.

— Зовут меня Гаврилой, по фамилии Пахомовым буду, — сказал тихо босаяк, опустив голову. — Работал я честь-честью, да вот попала вожжа под хвост, начал пить, чем дальше, тем пуще, пропил, что было, а вот теперь и дошел до своего состояния. Глаза бы на себя не глядели!

— Наверняка надует! — подумал я. Да жаль стало человека, и я протянул ему пятерку.

Прошло с год, а то и больше. Колька Серегин давно был разыскан, осужден и отбывал каторжные работы, как вдруг в приемные часы является ко мне какой-то мужчина купеческой складки и с широкой улыбкой приветствует, как старого хорошего знакомого.

Я вытаращил глаза и уставился на него. Это был человек высокого роста, в черной поддевке, в лакированных сапогах и «при часах».

— Да неужели же не узнаете меня, г. начальник.

— Нет, не узнаю.

— Господи ты Боже мой! А Гаврилу-то Пахомова не помните разве?

— Какого Пахомова?

— Да пятерку-то вы мне давали али нет? Я еще обещался убийцу Кольку Серегина разыскать?

— А-а-а! Теперь вспомнил, как же!

— Так вот я пришел, г. начальник, долг свой вернуть и в ножки вам поклониться. Спасли вы, можно сказать, человека! С вашей легкой руки стал я оправляться помаленьку и вот, слава Тебе Господи, снова человеком стал. Истратил я из той пятерки рубль на поимку Кольки, да зря — не нашел, а на остальные деньги купил на толкучке замочков. Продал с прибылью, купил еще — опять продал. Потом купил перочинных ножей и их распродал без убытку. Ну, а там — и пошло, и пошло! Одно можно сказать — оправился! Извольте получить обратно пять целковых и премного за них вам благодарны!

Я предложил Пахомову опустить пять рублей в кружку (сбор, открытый в пользу семьи недавно убитого надзирателя), а затем, позвав полицейского фотографа фон Менгдена, приказал ему снять Гаврилу, портрет которого я долго сохранял в «назидание потомству».

ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ПРОСИТЕЛЬНИЦА

Среди множества лиц, осаждавших меня с разными, часто неосновательными просьбами, мне вспоминается одна просительница, явившаяся как-то ко мне не на общий служебный прием, а на дом.

Это была очень красивая и элегантная женщина: высокая, стройная, с англазированным акцентом и с манерами англичанки. Не без волнения вошла она ко мне в кабинет, но, подавив в себе это чувство, подчеркнуто спокойно села в кресло, заложила по-мужски ногу на ногу и, приветливо улыбнувшись, обратилась ко мне:

— Простите, что я беспокою вас не в служебное время, но мне не хотелось появляться в сыскной полиции на глазах у всех. Это могло бы вызвать разные сплетни... Я обращаюсь к вам, так как уверена в вашем молчании, не правда ли?

— Разумеется, сударыня, вы можете быть спокойны!

— Видите ли, я очень-очень колебалась, прежде чем прийти к вам, так как не привыкла выносить наружу свои семейные дела; но, с другой стороны, — было бы глупо радикально менять жизнь, не выяснив даже имени виновницы этой грустной перемены.

— Что же вы хотите, сударыня?

— А вот я вам сейчас расскажу. Восемь лет тому назад я вышла замуж за капитана N-ского полка, князя X. Мы поселились и живем с ним поныне в Царском. До прошлого года моя жизнь текла ровно и спокойно, муж мой был по отношению ко мне *aux petits soins*, нрава он был тихого, кроткого. Но вот с прошлого года с ним что-то случилось, он в корне изменился. Будучи до того домоседом, он стал вдруг тяготиться домом, вечера принялся проводить то у друзей, то в собрании, зачастил в Петербург. Заметная перемена сказалась и в его отношениях ко мне: всегда корректный, выдержанный, он, разговаривая со мной, стал проявлять признаки раздражения, а однажды дело дошло до того, что в присутствии прислуги он позволил себе даже возвысить на меня голос. Чем дальше — тем хуже, и вот, наконец, князь из тихого, трезвого офицера превратился чуть ли не в дебошира и бретера. Заговорили о каких-то пьяных скандалах, о каких-то дуэлях и т. д.

— Напрасно, княгиня, вы придаете значение всяким слухам, обычно они либо вздорны, либо сильно преувеличены, — попытался я ее успокоить.

— Помилуйте, какие преувеличения?! Да вот вам для иллюстрации хотя бы случай, происшедший с мужем месяц тому назад. Придравшись, как обычно, к какому-то им же выдуманному предлогу, князь заявил мне, что немедленно уезжает на три дня в Петербург. Разумеется, из гордости, я не стала его удерживать, и он помчался на вокзал. Тоскливо для меня прошел день, наступил вечер. Не скрою от вас, что мысли мои были не в Царском, а в Петербурге, где, как я слышала стороной, князь завел какой-то роман. Сижу я дома и рассеянно перелистываю Claude Farrer'a, как вдруг звонок и входит ко мне приятель мужа по полку Котик Z. Поцеловав мне руку, Z. сел и, едва сдерживая улыбку, заговорил:

— Ради Бога, княгиня, простите меня, что я являюсь к вам с нерадостной вестью. Но вы не пугайтесь — страшного ничего, но смешного много.

С трудом скрывая волнение, я вопросительно на него посмотрела. Он продолжал:

— Знаете ли вы, где Серж? (это имя моего мужа).

— Знаю: в Петербурге.

— Вовсе не в Петербурге, а здесь в Царском и притом на гауптвахте!

— Как на гауптвахте? За что? Почему?

— А видите ли, княгинюшка, дело было так. Возвращаюсь я сегодня из Петербурга на трехчасовом поезде, выхожу на платформу и первого кого вижу — Серж.

— Представь себе, какое свинство! — говорит он мне. — Мне до зарезу нужно ехать в Петербург, а поезд только что ушел. Следующий же чуть ли не через два часа. Ведь этакое невезение!

Ну, делать нечего, пошли мы с ним в буфет и молча выпили по бутылке Мума. Выходим опять на платформу и видим, на Петербургский путь подают какой-то поезд.

— *Voilà mon affaire!* — говорит Серж и, обращаясь к начальнику станции, запальчиво заявляет:

— Послушайте, господин начальник станции, как же это вы говорите, что ближайший поезд через 45 минут, а это что?

— Это подают императорский поезд, а частным лицам билетов на него не продают.

— Но неужели же нельзя мне устроиться в вагоне для свиты?

— Вот этого не знаю. Обратитесь, капитан, к инспектору императорских поездов, гофмейстеру Копыткину. Вот он стоит в конце платформы, видите того господина в форменном пальто на красной подкладке?

— Отлично, благодарю вас. Пойдем, Котик! — и он потащил меня за рукав.

Мы пошли не торопясь. По пути Серж принялся закуривать папиросу, она долго не зажигалась. Наконец, мы добрались до гофмейстера. Я знал последнего за большого сноба, а потому пришел в ужас, когда увидел небрежно козырнувшего ему Сержа и услышал следующий диалог:

— Скажите, пожалуйста, вы — господин Подковкин?

Гофмейстера передернуло и, свирепо взглянув на Сержа, он сухо ответил:

— Я гофмейстер Копыткин. Что вам угодно?

— Ах, ради Бога, простите! Но не разрешите ли вы мне доехать до Петербурга в этом поезде?

— Не могу-с! В императорском поезде частные лица не ездят.

— Да какой же я частный человек! Вы же видите, что я капитан N-ского полка, господин Кобылкин?!

Тут терпение гофмейстера Копыткина лопнуло. Свирепо сверкнув глазами, он круто повернулся и быстрыми шагами направился в павильон, где и принялся звонить по телефону царскосельскому коменданту. И вот, в результате, Серж очутился на гауптвахте.

— Не правда ли, хорошенькая история? — обратилась ко мне княгиня, нервно покусывая губы.

Переживая мысленно сцену с гофмейстером Копыткиным и всячески сдерживая душивший меня смех, я сжал плотно зубы, не будучи в силах ей серьезно ответить. Эта невольная пауза длилась настолько долго, что моя встревоженная посетительница, вскинув лорнет, не без удивления на меня покосилась. Наконец, я приобрел способность говорить:

— Видите ли, княгиня, я плохо улавливаю ваши намерения. Вся ваша история, конечно, очень грустная, но я не вижу, чем бы я мог тут помочь?

— Я не сказала вам главного. Дело в том, что все эти истории с мужем, а их было немало, мне решительно надоели, тем более что причина его неожиданной перемены ко мне особенно оскорбительна. Мне прямо не говорят, но из намеков и слухов я знаю, что князь увлекся какой-то недостойной особой и потерял голову. И я решила разойтись с ним. В этих условиях, казалось бы, мне должно было бы быть безразличным имя его предмета страсти. Но сознаюсь вам откровенно, что не успокоюсь до тех пор, пока оно не станет мне известно. Для ускорения дела я решила обратиться за вашей помощью.

Я, конечно, отказал моей посетительнице в ее просьбе, вежливо указав, что сыскная полиция разыскивает лишь уголовных преступников и отнюдь не занимается ни бракоразводными, ни матримониальными делами.

Если память моя и сохранила до сих пор образ красивой княгини, то по совести скажу, что причиной тому забавная сцена с гофмейстером Копыткиным.

ИЗ ОБЛАСТИ ЧУДЕСНОГО

В памяти некоторых сотрудников Петербургской сыскной полиции долго жил рассказ, наделавший в свое время немало шума в столице. Подробности дела, о котором я хочу рассказать, мне знакомы по данным полицейского архива. Оно заключалось в следующем.

В девяностых годах прошлого столетия столица, жившая жизнью несравненно более мирной, чем в первое десятилетие нашего века, была потрясена сенсационным убийством, происшедшим на Васильевском острове в конце Среднего проспекта. На чердаке одного из домов был обнаружен труп изнасилованной девочки лет 14-ти. Ребенок был задушен, и труп его валялся среди беспорядка, не оставляющего сомнений в совершенном над жертвой гнусном акте.

Забилла тревогу печать, взволновалось общественное мнение, но полиция, поставленная на ноги, тщетно билась в поисках злодеев. Прошел месяц, другой, третий, наконец, полгода, и дело было прекращено за необнаружением виновного.

Вот тут-то и начинается «нечто», относимое мною к области чудесного. Я говорил уже, что население столицы было потрясено этим убийством. Потрясен был и художник Б. Драматические описания этого преступления, месяца два появлявшиеся непрерывно во всех газетах, повлияли на его художественное воображение, и он написал картину на соответствующий сюжет. Картина вышла блестящей, удостоилась академической премии и была затем выставлена у Дациаро.

Она привлекала толпы людей своей экспрессией. На ней был в точности воспроизведен чердак — место убийства; и точный портрет задушенной и распростертой девочки. На втором плане картины, в темных тонах, виднелся зловещий силуэт поспешно удаляющегося убийцы, только что свершившего свое гнусное дело. Ладонью правой руки он раскрывал чердачную дверь, полуобернувшись на свою жертву. Это был отвратительный горбун; особенно поражало выражение его уродливого и отталкивающего лица; огромный рот, клинообразная рыжая борода, маленькие злые глазки, оттопыренные уши.

Картина эта у Дациаро появилась месяцев через шесть со дня самого убийства. И вот однажды среди толпы, глазающей на нее,

раздался крик, и какой-то мужчина, упав ничком на землю, забился в судорогах. Подошедшие к нему на помощь были удивлены его разительным сходством с героем картины — тот же отвратительный горбун!

Он был перенесен в ближайшую аптеку, где, придя в себя, пожелал сам быть доставленным в полицию. Здесь, в величайшем волнении, объятый мистическим ужасом, он сознался в своем преступлении и объяснил тот преступный импульс, который толкнул его на преступление.

— С того самого дня, — говорил он, — образ задушенной девочки меня неотступно преследовал, я день и ночь слышал ее душераздирающие крики. Совершенно неожиданно подошел я к толпе у Адмиралтейства и глазам не поверил: на картине я увидел не только мою жертву, не только тот же чердак со всеми малейшими подробностями, но и самого себя! Как могло это случиться, кто мог зарисовать меня в эту страшную минуту — ума не приложу! Это какое-то наваждение, это какая-то чертовщина...

Тогдашний начальник Петербургской сыскной полиции Чулицкий плохо, очевидно, верил в чудеса и не без основания решил арестовать художника Б., резонно подозревая его если не в соучастии, то, по крайней мере, в укрывательстве и недоносительстве. Арестовать, однако, его немедленно не удалось, так как Б. находился в то время в Италии, где, очевидно, набирался художественных впечатлений. Он вернулся оттуда примерно через месяц. За это время Чулицкий тщетно пытался проникнуть в тайну преступления. Он не мог выбраться из заколдованного круга логических противоречий. И в самом деле: трудно было сомневаться в признании горбуна, добровольно им сделанном, да и приключившийся с ним припадок при виде картины был засвидетельствован и прохожими, и аптекарем. Из этого следовало, что художник Б. был неведом горбуну. С другой стороны, художник Б. не мог не знать горбуна, раз горбун был им запечатлен и именно в той обстановке и за тем преступлением, в котором он сам сознался. Предположить же, что горбун добровольно согласился позировать художнику для подобной картины — трудно, так как горбун тщательно скрывал свое преступление и не рискнул бы играть с огнем, не столько из логических соображений, сколько по безотчетному чувству страха.

Наконец, тайна разъяснилась.

Во время заграничного пребывания Б. о художнике были наведены самые точные и подробные справки, оказавшиеся для него вполне благоприятными; тем не менее он был арестован по приезде. Узнав об обвинении, ему предъявленном, он рассказал следующее:

— Как и многие другие, я был захвачен рассказами о сенсационном убийстве и решил на этот сюжет нарисовать картину. Я немедленно отправился на место происшествия и сделал подробные наброски чердака. Тело ее я видел и зарисовал в покойницкой. Стараясь в воображении своем воспроизвести всю картину злоде-

яния, я навел точнейшие справки о том, в каком положении было найдено тело. Все это я нарисовал. Мне недоставало главного действующего лица, т. е. поспешно скрывающегося убийцы. Воображение мое рисовало его почему-то физически отвратительным, чем-то вроде Квазимодо. Я имел обыкновение бродить по своему Васильевскому острову, где не раз по трактирам Галерной гавани отыскивал себе подходящих натурщиц и натурщиков. Лелея мысль подыскать Квазимодо, я зашел на угол 20-й Линии в трактир. И вдруг, на мое счастье, входит человек, удивительно отвечающий на образ, намечавшийся в моем воображении.

Он заказал себе пару чая и уселся невдалеке от меня. Я вынул блокнот и осторожно принялся его зарисовывать: но он торопился и, напившись чаю, быстро ушел. Я спросил у трактирщика, кто он такой и где проживает. Трактирщик этого не знал, но заявил, что человек этот бывает каждый день приблизительно в то же время. Я этим воспользовался и сеансов в пять нарисовал его точный портрет.

— Я бесконечно удивлен странным совпадением, — закончил художник, — но это так!

Полицией был опрошен трактирщик, в точности подтвердивший слова художника, и Б. немедленно был отпущен.

Горбун был присужден к 20-ти годам каторги.

«ШАЛЯПИН»

Как-то в служебные часы я обходил мою канцелярию, как вдруг раскрылась входная дверь и в управление ввалилась целая гурьба народа: двое мне неизвестных — один небольшого роста человек лет 30-ти, другой — сущий великан, за ними следовали три моих агента. Лицо великана мне показалось знакомым (где бы я мог видеть эту физиономию?). Маленький человек, по виду мелкий торговец, визжал тенорком: «Нет, врешь, не отвертись, я покажу тебе, как честный народ обманывать».

— Кто вы и что вы орете? — спросил я его.

— Кто я — это все едино, — отвечал он. — А видеть мне надо начальника.

— Я начальник и есть, говорите, в чем дело.

Он почтительно снял фуражку и порывисто заговорил.

Я сел, предвидя долгие объяснения.

— Я из города Осы, Пермской губернии; купеческого звания, у покойного родителя лесопильный завод по Каме был; я же коммерцией не занимаюсь и живу на свои капиталы. С неделю тому назад приехал в Москву погулять, а сейчас шел по Гнездиковскому переулку и нос к носу столкнулся с этим мошенником. Как прозывает он нынче себя, не знаю, а только явился этот жулик месяца два назад к нам в Осу, назвался Шаляпиным, дал концерт и обчехрыжил всю честную публику, а так как я человек культурный и понимаю, что от таких выходок может произойти немалое зло, то я и прошу вас, господин начальник, посадить его под замок за его выходки.

Так вот кого напоминал мне великан!

Я внимательно поглядел на него, и в самом деле сходство с Шаляпиным было разительное. Предвидя немало забавного, я прошел к себе в кабинет, позвав их обоих за собою, и, усевшись поудобнее, предложил подробно рассказать, как было дело. Купчик откашлялся и начал:

— Как я изволил вам говорить, коммерцией не занимаюсь и живу в Осе духовной жизнью. Состою сотрудником местной газеты «Осинский листок», пописываю в ней иной раз занятные статейки. Страсть люблю музыку, иконопись, архитектуру, вообще профессии. Жизнь в нашем городке самая что ни на есть серенькая, культуры никакой: сидят на завалинках да сплетничают, лущат

семечки да шлятся без толку в городском садишке. Есть у нас, между прочим, в городишке и наспех выстроенный дощатый театр, да только в нем мало пользы. Труппа любительская, плохенькая, а что насчет музыки, то какие уж концерты: почтмейстерша на рояле тринкает, казначейша утробным голосом ревет, и приставша разные стихотворения читает, да и та пришепetyвает, словом, декаданс! И вот месяца два тому назад в редакцию нашей газеты вваливается некий человек, называет себя антрепренером Шкловским и заявляет: «Хочу почтенную публику Осы осчастливить и сделать ей сурприз, да такой, какого она и отродясь не видывала. Наш знаменитый певец, краса Европы и Америки, отправляясь в кругосветное турне по Сибири, наш бесценный Федор Иванович Шаляпин дал мне, его антрепренеру, согласие на устройство одного концерта и в Осе. Конечно, наша «национальная гордость» наплевала бы на столь ничтожный городишко, но, проезжая в Сибирь, по Каме до Перми, решила не пренебрегать и Осой, благо последняя по пути. Короче говоря, великий Шаляпин будет здесь через неделю, цены, конечно, бенефисные, пропоет часика два-три и айда дальше».

Нечего говорить, что редакция наша, как культурный центр, с восторгом встретила эту весть и протрубила о ней на газетных столбах. Шкловский расклеил по городу саженные афишы, засел в кассу и в один день распродал все билеты на тысячу с лишним целковых. Не передать вам словами о столпотворении, начавшемся в городе. Разговоры только, конечно, о Шаляпине. Ко мне, как к знатоку музыки, пристают с расспросами, — что, мол, и как поет Шаляпин — зычнее ли губернского соборного дьякона, отца Варнавы, али нет? Некоторые жители, знающие светское обращение, предлагали попробовать раздобыть архиерейскую карету для встречи знаменитости. Да и я, сознаюсь откровенно, дня за три до концерта, часами заводил граммофон, стараясь в точности раскусить пение Шаляпина.

Концерт был назначен в 8 час. вечера, но уже с 7-ми театр был битком набит. В первых рядах господин исправник с супругою на казенных местах, городской голова, именитое купечество. Дальше народ попроще, в ложах купеческие семьи, иные с грудными младенцами и прислугой; на галерке, известное дело, пролетариат. Скажу по совести — в день концерта волновался я немало. Мне, как представителю печати, хотелось лично побеседовать с великим певцом и о нашей беседе напечатать в газете. Шкловский любезно обещал устроить это свидание перед концертом, но заявил мне, что это дело нелегкое, что Федор Иванович не любит бесед с посторонними, и тут же перехватил у меня 25 рублей для подкупа антуража знаменитости. В половине восьмого задним ходом пробрался я в театр к Шкловскому. «Ну что?» — спрашиваю. Он отвечает: «Изыявил согласие, но только обождите немного, сейчас евонная камер-юнгфрау массирует его глотку перед выходом». — «Вот что! — говорю. — Ладно!»

Ровно в 8 часов Шкловский на цыпочках подошел к двери уборной, почтительно постучал, просунул голову в дверь и затем поманил меня пальцем. Сердце забилося, пальцы похолодели, сжалось горло, но, пересилив себя, я вошел в уборную. «Блоха, ха-ха-ха!» — раздался громоподобный голос, и я узрел Федора Ивановича (будь ему неладно!), развалившегося в кресле. Я растерянно пролепетал: «Я, конечно, понимаю, Федор Иванович, что насчет блохи это вы из вашего гениального репертуара, но если бы это вы и про меня сказали, то что ж, в сравнении с вами я и есть блоха, насекомое». Мошеннику моя кротость, видимо, понравилась. «Садитесь, — пробасил он. — Я революционер, и для меня все люди едины. Мне наплевать, что с королями, что с горчишниками разговаривать».

— Я, Федор Иванович, корреспондент местной газеты. Хотелось бы дать статейку с вашим жизнеописанием. Может быть, снизойдете, поделитесь, так сказать, мемуарами-с.

А он:

— Что ж, извольте! В детстве учился грамоте на медные деньги, вырос и кули таскал на барже, лакал казенку, после пел в архиерейском хоре, да так, что свечи в паникадилах гасли, ну а там и пошло, и пошло... Сначала Мамонтов помог, затем отличался у Зимина, потом императорские театры, ну а теперь всё передо мной пляшет и гнется. Итальянский король меня обожает, да и народ ихний мне цену знает, между прочим, в свое время итальянцы думали меня сковырнуть, выступал я в ихнем театре; в день спектакля явился ко мне их главный хлопальщик, так и так говорит, гоните тыщу лир, а не то мои молодцы освищут вас по первое число. Пошел вон, такой-эдакий, говорю, да и спустил с лестницы, и что бы вы думали? Не освистали, шалишь, брат, успех агромадный стяжал, так-то!

— А каких композиторов, Федор Иванович, предпочитаете?

— Гм!.. всяких... разных, и русских, и немецких!

— Ну, а все-таки, например?

— Да как вам сказать: Чайковского, Моцарта, Рубинштейна, Сальери, Циммермана, Вольф-Израиля.

— А ваше любимое музыкальное произведение, позвольте вас спросить.

— Крейцера соната Толстого, — ответил, не мигнув, мошенник.

— Извольте шутить, Федор Иванович.

— Однако пора кончить нашу беседу, — заявил мнимый Шалпин, — мне необходимо поупражняться, — и он заревел гамму. Оглушенный, но счастливый, вышел я в коридор.

Прошло пятнадцать минут, полчаса, но концерт не начинался. Публика ерзала от нетерпения. Из уважения к великому таланту хлопать не смели. Жара стояла адская, дыхание толпы, усугубленное несколькими десятками керосиновых ламп, отравляло воздух. Пот со всех катился градом, но публика терпеливо ждала. В начале

десятого Шкловский вышел на сцену, заявил, что сейчас произойдет событие, что почтенная публика услышит лучшего певца мира, просил соблюдать полнейшую тишину, дабы не спугнуть певца «хрупкой музыки», как он выразился, и, поклонившись, исчез. Прошло еще томительных минут пятнадцать. Тайное нетерпение публики дошло до крайности. Наконец, вышел какой-то всклокоченный человек во фраке, положил ноты на рояль и в почтительном ожидании остановился у стула. Толпа было захлопала, приняв его за Шаляпина, но человек судорожно замахал рукой и выразительно прижал палец к губам. Снова все замерло. Вдруг в глубокой тишине раздались три громких удара колокола и из-за кулис полетели цветы, брошенные, очевидно, Шкловским, и медленно, не торопясь, величаво вышел на сцену «Шаляпин». Что тут поднялось — трудно описать! Публика заревела, занеистовствовала, раздались пискливые бабьи голоса, захныкали дети, одним словом, столпотворение вавилонское. «Шаляпин» подошел к рампе, остановился, милостиво улыбнулся, кивнул направо и налево и, сделав строгую морду, окаменел. Мгновенно толпа смолкла. «Шаляпин» минуты три постоял в полной тишине, затем, скосив глаз вправо, рявкнул: «Не кашляй, борода»; потом поглядев влево, сердито шикнул и, повернувшись к аккомпаниатору, сказал: «Начинайте, генерал!»

Лохматый ударил во клавишам, и «Шаляпин», состроив невероятную рожу, запел: «На земле весь род людской». Конечно, господин начальник, музыку я очень люблю и кое-что в ней понимаю, но Бог его знает, что тут приключилось со мной — не разобрал подделки. Не скажу, конечно, чтобы и тогда мне пение его очень понравилось, а только действительно голос здоровенный, не человек, а пушка, куда нашему дьякону Варнаве! К тому же и нахальство свое берет, а держался мошенник как сущая знаменитость. Не только публика рядовая, но и я сам оторопел, когда «Шаляпин» пропел про блоху и при тех самых словах, где говорится, что самому королю и королеве от блох не стало мочи и житься, этот мошенник скорчил не только пренахальную морду, но и, злобно прогнусавив: «Ага!», либерально ткнул перстом в самого господина исправника. Публика осталась от концерта, конечно, в восторге, а Шаляпин со Шкловским и аккомпаниатором поделили выручку и в ту же ночь с пароходом уехали. Я бы, пожалуй, и по сей день не узнал бы правды, да случилось так, что кто-то у нас через несколько дней в столичной газете прочел отчет о выступлении Шаляпина в Павловском вокзале, как раз в тот день, что и у нас в Осе. Слух быстро разнесся, и народ стал осаждать нашу редакцию. Ну, и натерпелся я ругани и насмешек за свои статьи и рекламы, даже вспомнить страшно. Не оставьте без внимания, господин начальник, мое заявление и упрячьте мазурика куда следует.

Великан, много раз пытавшийся вставить свое слово и перебить велеречивого рассказчика, но сдерживаемый мною, наконец, словно

сорвался с цепи, быстро, быстро, с сильным немецким акцентом заговорил:

— Доннерветэр! Это шорт знайт што такой! Этот шеловек сумасшедший. Эр ист феррикт! Их бин Вильгельм Фукс, я представитель фирмы Ферейн и К° и фсего неделя фернулся от Берлин. Фот мои бумаги, фот майн пасс, фот виз!

Я осмотрел его документы, позвонил Ферейну, которого знал лично, и с большими извинениями отпустил Фукса.

— Что вы на это скажете, г-н репортер? — строго обратился я к осинскому обывателю.

Тот только беспомощно развел руками.

В ПОГОНЕ ЗА ГОЛУБОЙ КРОВЬЮ

— Не извольте сердчать на меня, ваше превосходительство, за то, что я, так сказать, отнимаю от вас время, но московское жулье так меня обчекрыжило, что я не могу безмолвно пройти мимо этого факта, опять же всякие расходы по моему делу я приму на себя, так как при наших капиталах это нам наплевать.

С такой фразой обратился ко мне еще совсем молодой человек, лет двадцати, краснощекий, пышущий здоровьем, крайне пестро и вычурно одетый.

— Послушайте, дорогой мой, здесь вам не лавочка, и денег мы с клиентов не берем. Вы находитесь в правительственном учреждении и не забывайте этого. Ну, а теперь говорите, что вам угодно?

Мой проситель конфузливо откашлялся в руку, помялся и начал: «Я сам из Елабуги буду, всего две недели в Москве. В этой провинции я родился и вырос. Родитель мой занимался лесным промыслом и слыл первым богачом в городе. С детства к наукам склонностей у меня не было; так что на третьем классе гимназии я и прикончил свое образование. Было мне осемнадцать лет, когда родители мои сошли в таинственную сень, короче говоря, померли. Погоревал я, а затем и успокоился: что ж, пожили в свое удовольствие, пора и честь знать! Остался я после них единственным наследником. Пять каменных домов в Елабуге, стотысячный капитал в банке, да векселей чужих тысяч на пятьдесят. Одним словом, майорат. Побесился годик, другой, да и прискучила мне моя Елабуга. Куда ни взглянешь — серость одна и людей настоящих нет.

Опять же начитался я разных знаменитых романов и захотел я построить свою жизнь по-благородному. «Нет, — сказал я себе, — покрутил Николай Синюхин, и будет. Пора за ум взяться и династию Синюхиных на прочный фундамент поставить». Ну, одним словом, задумал жениться. Конечно, для меня, как для первого жениха Елабуги, отказа ни от кого последовать не могло. Да какая невеста у нас? Так — фрикадельки, а я задумал облагородить свой род да породниться с белой костью да голубой кровью. Поделился я моими мечтаниями с бывшим старшим приказчиком родителя, таким степенным человеком. Выслушал он меня да и говорит:

— Ой, Коленька, мудреное задумали. Конечно, при ваших капиталах все нипочем, а только мой вам совет, если желаете в

жены взять какую-нибудь графиню или княгиню, то не иначе найдете, как в столицах. Недаром сказывают люди, что в Москве да в Питере за деньги все достать можно. Авось на ваше счастье и окажется там какая-нибудь завалящая графиня, что не побрезгует вами и позарится на ваши капиталы.

Подумал я с месяц, подумал с другой, да и решил двинуться в Москву-матушку, в поиске счастья. «Что же, — говорил я себе, — ежели и съезжу зря, то все же взгляну на столичное просвещение, да и себя людям покажу. Ведь я отродясь, можно сказать, из Елабуги не выезжал. Раз только в детстве с отцом по Каме в Оханск съездил».

Итак, не долго думая, отслужил я 1 июня молебен, угостил духовенство и друзей-приятелей обильной закуской и 3-го числа решил выезжать на пароходе на Казань-Нишний, а оттуда по чунке в Москву. Тут же за молебном шел я приятелю, что следует, мол, 3-го числа собраться на пристани да и проводить меня в путь-дорогу, да, пожалуй, и икону поднести, и даже на этот случай отпустил ему сто целковых. Ну, и действительно, проводили меня высокаторжественно, поднесли икону, и один отставной артист сказал даже чувствительное слово: земной шар и мы с ним глубоко потрясены временной утратой нашего дорогого Николая Ивановича, но подует сирокко, и он вернется к нам и, быть может, не один, а с великолепным бутоном, увенчанным девятиглавой короной.

Это напутствие, ваше превосходительство, мне так понравилось, что я прослезился и с той поры помню его наизусть».

— Послушайте, все это прекрасно, но я дорожу своим временем и не могу выслушивать все эти, быть может, ненужные подробности. Нельзя ли покороче?

— Никак невозможно, ваше превосходительство, иначе вам дело будет неясно. А раз вы так торопитесь, то позвольте мне занести вам мою тетрадь. В ней я во всех подробностях описал мое путешествие и все, что со мной приключилось. Прочтите, пожалуйста, на свободе. Оно и лучше будет, а то на словах, да второпях, могу забыть и не досказать нужного.

— Ну, что ж, валяйте, заносите тетрадь сегодня же, а денька через три приходите за ответом, и что могу — сделаю, а сейчас, извините, я очень тороплюсь.

Синюхин поблагодарил, откланялся и исчез.

Предчувствуя нечто забавное, я с любопытством раскрыл толстую тетрадь, решив на сон грядущий позабавить себя этим курьезным писанием. Само заглавие говорило за себя: «Путевые заметки Н. И. Синюхина с борта судна «Петербург».

4 июня 19** г.

Ну, и трещит же башка! Будь она проклята. Точно кто-то карамболит в мозгах. Ну, и выдался же вчера денек! Не денек, а какое-то столпотворение вавилонское. Но расскажу все кряду. В

11 ч. 42 м. утра мы отчалили от пристани. Я стоял на корме и махал в воздухе платочком товарищам на прощанье. Наше судно двигалось по Каме со скоростью многих узлов. Елабужская пристань все удалялась и удалялась и, наконец, скрылась по причине выпуклости земли. Я обвел духовным взором пароход. Что и говорить — зрелище! Не то что дом, а целый дворец, покорный воле капитана: хочет — дернет вправо, хочет — влево. Судно это необыкновенное. Еще в 1905 г. разбойник Лбов с шайкой где-то под Пермью остановил и ограбил его, перестреляв команду. Ну, да слава Те Господи, меня тогда там не было. Я обошел кругом палубу — чистота, простор, все удобства для господ пассажиров. Народу ехало порядочно. И вдруг на одной из скамеечек я заметил священника. Подошел ближе, а тот оказался вовсе не священник, а архиерей: не наперстный крест висел на его груди, а панагия. Вот так штука! Я справился в буфете у лакея, кто этот владыка. Мне ответили, что это епископ Пермский и Соликамский Преосвященный Палладий и едет он от самой Перми. Эвона, в какую компанию попал! Помню, раза два к нам в Елабугу приезжал викарный епископ, так что с народом делалось: люди впрягались в его карету, при проезде его на улицах останавливались, крестились, чуть не земные поклоны клали. А тут не викарный, а сам епархиальный владыка, и ничего, хоть бы что. Захочу и подойду: так мол и так, скажите, пожалуйста, который теперича час? И ответит, непременно ответит. Одним словом, культура.

На носу стали толпиться пассажиры. Подошел и я. Все глядят вниз, в третий класс, а там какой-то мальчишка, усевшись на канатах, бренчит на балалайках и поет песнь про Государственную Думу да про Пуришкевича. Народ стал бросать ему медяки да гривенники, я же вынул серебряный рубль, повертел его эдак в пальцах, чтобы все хорошенько видели, да и бросил мальчонке. Люди поглядели на меня с уважением — вот, мол, капиталист. Ну, и пушай!

Побродил я эдак с часок по пароходу, да и захотел подняться наверх к капитану. Он здесь начальник и хозяин, и познакомиться следует. Поднялся к нему. Подхожу и вежливо спрашиваю: «По какой, мол, параллели теперича плывем?» А он как заорут: «Проваливайте, проваливайте отсюда! Не знаете разве, что посторонним на рубку вход воспрещен». — «Позвольте», — говорю... «Ничего не позволю, убирайтесь!» И, нажав на что-то ногой, он оглушительно засвистел. От неожиданности я чуть живой скатился вниз. Ну и собака! Одним словом, необразованный. После эдакого эксперимента я уселся на носу в плетеное кресло и взгрустнул. В другом кресле, недалеко от меня сидел какой-то важный бритый господин, еще молодой, годов тридцати. Посмотрел он на меня, посмотрел, да и спрашивает: откуда и куда, мол, еду. Я ответил. «А по какой надобности в Москву?» — спросил он у меня. Я рассказал, что желаю повидать свет, обзавестись благородными знакомствами и прочее все как есть. Он выслушал и говорит:

— Это вы очень умно придумали. Что вам мариноваться в Елабуге. Повезет, и найдете свое счастье. А что вы везучий, так это я сразу вижу.

— Это почему же, позвольте вас спросить?

— Да как же, и тридцати верст от дома не отъехали, а этокое знакомство приобрели.

— Что-то не возьму в толк, мусье.

— Да как же, знаете ли, с кем вы разговариваете? (И он ткнул себя пальцем в грудь.)

— Не могу знать.

— Я граф Строганов, пермский помещик, владелец обширных камских лесов. Чай, слышали в Елабуге мою фамилию?

Я так и привскочил.

— Еще бы не слышать, ваше сиятельство. Ваша фамилия древняя и знаменитая.

— То-то и оно. Если хотите, я займусь вами и во время дороги обучу тому, как обращаются благородные люди друг с другом.

— Сделайте милость! Век буду благодарить.

— Вот и отлично. Мы сразу же начнем. Запомните, молодой человек, что когда благородные люди знакомятся друг с другом, то младший всячески должен стараться разубавить старшего. Ну, там, угостить его сигарой, завтраком и т. д. Вы не вообразите, что я напрашиваюсь на угощение. О, нет! Я сыт. Но это я так к примеру говорю.

— Отчего же, господин граф, я с превеликим удовольствием. Для меня большая честь, к тому же и в утробе сосет. Покушал бы в лучшем виде.

— Вы думаете? — сказал задумчиво граф. — Ну, что ж. Пожалуй, я принимаю ваше угощение. Но только с одним условием: я сам буду заказывать меню и вина, так как мой желудок не может переварить всякую дрянь. Затем, вот еще что. Чтобы было веселее, пригласите позавтракать с нами двух знаменитых артисток. Они едут с нами, и я вчера с ними познакомился. Одна из них Вяльцева, ну, а другая, другая... Патти.

У меня так и екнуло сердце.

— Неужто та Вяльцева, что так здорово поет у меня в граммофоне «Гайда, тройка»!

— Она самая, а ее подруга познаменитее будет.

— Не слыхивал.

— Не слыхали о Патти? Да ее каждая собака знает. Хотите биться об заклад на десять рублей, что вон тот старенький офицер, и тот ее имя слыхал. Подите спросите у него.

Хоть мне и не хотелось иттить спрашивать, да уж больно было желательно ударить об заклад и пожать графскую ручку. Мы хлопнули по рукам, и я отправился.

— Извините, пожалуйста, за любопытство, господин офицер. Скажите, пожалуйста, слышали ли вы про артистку Патти?

Он удивленно поглядел на меня и говорит:

— Кто же про нее не слышал?

Они хотели еще что-то добавить, да я поскорее раскланялся и отошел. Тоже много вас найдется желающих выпить за чужой счет, а какая мне от тебя польза?

— Да, — говорю, — господин граф, ваша правда!

— То-то и оно, раскошеляйтесь!

Я почтительно подал графу десятирублевый золотой, и он как-то нехотя заложил его в жилетный карман.

— Вы здесь посидите, — сказал он мне, — а я пойду справлюсь у дам, желают ли они нового знакомства и завтрака.

Я остался один.

5 июня

Вчера с актерками высадился под вечер в Казани. Я не прощался, так как, можно сказать, с ними рассорившись. Расскажу с подробностями. Долго дождался я графа. Прошло с полчаса времени, а ни его, ни дамочек не было. Не иначе, кобелятся, подумал я, ну да что, мне наплевать. Не хотят, и не надо. Однако они показались, и граф поманил меня пальцем. Я подошел. «Вот, позвольте Вас познакомить, — сказал мне граф. — Это — г-жа Вяльцева, а это мадам Патти». — «Очень рады, — говорю. — Много про вас наслышавшись. Обожаю граммофон и часто в Елабуге запузыриваю ваши пластинки, мадам Вяльцева. Очень даже прилично поете, особенно «Гайда, тройка». Она улыбнулась и заметила: «Да это моя любимая песнь». И тут же запела: «Гайда, тройка, снег пушистый, да ночь морозная кругом». — «Она, ей-Богу, она! Ейный голос, те же слова и в голосе те же переборы». Посидели, поговорили о разных умных вещах и в конце концов граф говорит: «Соловья-де баснями не кормят, воздух аппетитный, пора и за харчи приняться». — «Что ж, разлюбезное дело», — говорю. И мы отправились в столовую 1-го класса. Граф сам заказал завтрак, и пока половой накрывал, г-жа Вяльцева села за пьянино и спела про какую-то чайку. Очень у нее ладно и чувствительно вышло. Уселись мы за стол. Подали нам огромное блюдо раков. «Что ж вы не едите», — спросил меня граф. «Нет-с, — говорю, — не употребляю этих шутов». — «Как хотите, — говорит, — нам больше останется». Затем приволокли нам миску свежей икры. Затем стерляжью уху, затем сибирских рябчиков, отъевшихся кедровым орехом. Какое-то сладкое, кофе, фрукты. Сажу и сам себе не верю. А тут еще подошел владыко, сел за окном на лавочку — камскими видами любит. А виды первый сорт: направо горизонты, сзади даль, а налево местоположение. Пьем мы рюмку за рюмкой, стакан за стаканом, и так на душе хорошо делается. Господи Ты Боже мой, и куда это я только попал. Кругом мозаика да бронза. Насупротив меня граф Строганов с Патти. Под боком сама Вяльцева вино хлещет. Фу-ты ну-ты, ножки гнуты, гайда тройка, епископ Палладий...

Долго просидели мы за столом. Наконец, граф встали и пошли вскрапнуть часочек. Вскоре и Патти удалилась к себе в каюту. А Вяльцева говорит мне: «Хорошо бы выйти на свежий воздух подышать». — «Что же, — говорю, — пойдемте». Вышли на палубу, обошли кругом раза три парход, да только чувствую, что от свежего воздуха меня порядком развезло, в голове все ходуном пошло, так что и сообразить толком не могу, где нос, а где корма. Замутило меня сильно, я и говорю: «Пройдитесь, мадам, вперед и не оглядывайтесь, а я ужю...» Она действительно послушалась и ушла, я же перегнулся через перила, подумал маленько, да и что грех таить, опоганил матушку-Каму. Выпрямился, вытер слезинку на глазах, повернулся — мать честная, аккурат против меня из окошка каюты сам владыка Палладий смотрит. Мне бы, дураку, шагнуть в сторону, будто не заметил ничего, а не знаю, как случилось, с конфуза ли или со страху, а только руки мои сложились корабликом и что-то потянуло меня к нему — благословите, мол, владыко, а они как посмотрят, да и проговорили сердито:

— Проходите, проходите, скотоподобный человек.

Красный от стыда, кинулся я от них и на носу столкнулся с актерками, и рассказал им все, как было. Вяльцева улыбнулась, а Патти, упав в кресло, заготовала на весь парход: «Вот так история! Ха-ха, это великолепно, воображаю эту сцену. Владыко из окошечка захотел наслаждаться благорастворением воздухов, а вы явили ему этакое изобилие плодов земных. Ха-ха-ха! Побегу, расскажу графу — вот посмеется!» И она умчалась.

— Что это подруга ваша ржет как кобыла? — сказал я в сердцах. — Лишнее она о себе воображает, а приглядеться хорошенько, так ни кожи ни рожи в ней нет...

— Чего вы сердитесь, голубчик? — сказала мне Вяльцева. — Ведь история с вами приключилась действительно смешная. А что касается рожи и кожи, так это вы правильно говорите. Рылом она действительно не вышла.

И долго еще успокаивала она меня и, наконец, приведя в равновесие, пригласила даже к себе в каюту...

Всякий писатель должен авторитет свой соблюдать и учить своих читателей хорошему, а не плохому. Опять же, оберегая подрастающие поколения, которые будут зачитываться моими записками, от всяких венерических соблазнов, я и не буду описывать все то, что произошло у нас в каюте. А жаль, ей-Богу, жаль! Есть о чем порассказать. Показала она мне «гайда тройку», одним словом... оскоромился!

Перейду прямо к утру. Протянул я ей четвертной билет и говорю:

— Позвольте пять рублей сдачи.

А она как швырнет мне деньги прямо в харю:

— Что это, — говорит, — вы никак с ума сошли. Мне, такой знаменитости, и такую сумму? Нет, брат, меньше ста рублей не отдаетесь!..

— Позвольте, — говорю, — странные слова вы говорите, и 25 руб. деньги немалые, а вы, эвона, сто. Взгляните на любую пристань, много мы их проехали, там батраки какие тяжести на спине таскают, а ни один из них, поди, ста рублей за целое лето не выгонит. Вы же одно удовольствие получили, это надо тоже понимать.

А она:

— Вы мне тут зубы не заговаривайте, и если не заплатите, то я вас ошельмую на всю Россию: напою пластинку да и пушу в продажу по дешевке. Зайдете вы там в Елабуге в гости, а хозяева будто невзначай и заведут вам в граммофоне что-нибудь вроде:

Ехал из ярмарки Синюхин купец,
Синюхин купец, мошенник, подлец...

А то и почище еще, на то я и артистка.

— Экая ядовитая, — подумал я, — и в самом деле осрамит на весь мир.

Ну и черт с ней, отвалил я ей сто рублей, плюнул и ушел к себе в каюту. Весь день просидел у себя в каюте и только после Казани (где они слезли) я вышел на палубу...

Щадя терпение моих читателей, я опускаю несколько десятков страниц из этого своеобразного дневника и перехожу прямо к записи, датированной 12 июня. Под этим числом следовало:

Ура! Наконец дело налаживается. Целых три дня убил на посещение столицы да на разные справочки по своему делу. Однако никто толком мне не помог. Сегодня в Лоскутной гостинице, где я стою, познакомился с одним барином, Александром Ивановичем Рыковым. Ну, конечно, разговорились. Рассказал ему, по какой причине нахожусь в Москве. Они выслушали да и говорят:

— Будьте без сомнений, я вашу женитьбу обстряпаю.

— А сколько возьмете за вашу услугу? — спрашиваю.

А они:

— Да вы что, голубчик, с ума, что ли, сошли? Я не сваха и, конечно, с вас ни копейки не возьму.

— Как так? — говорю. — С чего вы будете стараться?

— Очень просто, — отвечает, — есть у меня тут в Москве дальняя родственница, польская графиня Подгурская. Хоть происхождения она и знатного, но за душой у нее ни копейки. Хочу устроить ее судьбу, а вы мне кажетесь человеком подходящим. Не знаю, что из этого выйдет, а попробовать можно. Сегодня же повидаюсь и поговорю с ней.

13 июня

Кипит работа. Александр Иванович сказал мне, что ихняя графиня желают получить мой портрет и подробное письмецо с моим жизнеописанием. Бегу в фотографию.

14 июня

Вышел я на портрете ничего себе. Цепь во всю грудь, опять же перстень хорошо приметен. Сажусь за письмо.

Тут в дневнике следовало аккуратно списанное письмо — шедевр синюхинской элоквиции. Пропускаю его, предоставляя воображению моих читателей воспроизвести этот документ.

15 июня

Ответа нет.

16 июня

Ответа все еще нет.

17 июня

Молчит как проклятая, а того не понимает, какой вред моему организму наносит.

18 июня

Александр Иванович мне передал, что мурло мое пондравилось и графиня желают свести со мною знакомство. Я собрался было ехать немедленно, но Александр Иванович сказали, что это невозможно, потому что графиня уезжает сегодня в Питер на поклон к царице. Эвона какая птица! Даже страх берет.

22 июня

Все эти дни промучился, ожидая прибытия графини. Сегодня вечером с Александром Ивановичем еду знакомиться. Стало быть, будто смотрины. Ну что же, не ударим лицом в грязь.

23 июня

Фу-ты ну-ты! Ну и ассамблея вчера выдалась. Хоть напившись я был и здорово, однако что помню — расскажу. Разоделся я вовсе: длинный черный сюртук, белый галстук, белые перчатки и в петлице белый цветок, чуть не с подсолнух величиной, опять же лаковые ботинки. Вошли в прихожую, прошли коридорчиком, и Александр Иванович постучал в закрытую дверь.

— Антре, — послышался аристократический голос.

Мы вошли, Александр Иванович впереди, я сзади. Порядочная комната, вроде гостиной. На диване, подперев рукой голову, сидела сама графиня в голубом шелковом платье, красивая собой, с благородной такой личностью. В комнате окромя нас находилось еще человек пять-шесть мужчин. Кто в пиджаке, кто в сюртуке.

Графиня нас усадила и представила гостям. У меня просто в ушах зазвенело — все князья, да графья, на худой конец, бароны. Минут через пятнадцать мы говорили с ней по душам, точно и век знали друг друга. А через часок она отвела меня в сторону и шепнула:

— Если я вам нравлюсь, то докажите мне это и исполните мою просьбу.

— Да хоть сейчас, — отвечаю, — прикажите — и птичьего молока достану.

— Нет, — говорит, — птичьего молока я не пью, а закусить и выпить было бы действительно не вредно. Вы же знаете от Александра Ивановича, что я благородна, но бедна. Вот, милый, вы и слетайте, да живо дюжинку вина, да закусок разных привезите... А то и дядюшку, с которым я вас познакомила, и гостей моих угостить нечем.

— С превеликим удовольствием, я сию минуту слетаю.

И действительно не поскупился. В полночь мы сели за стол и начался пир горой. Все шло очень интересно: общество, разговоры, графиня, коих в лорнетку оглядывает. Со мной ласково шутит. Однако стал я примечать, что публика начинает поднапиваться. Конечно, все по-благородному. Не орут и в ухо не заедут, а так только раскрасневшись, да спорят чаще и погромче. Но к концу ужина приключилась такая история, что просто ужас меня взял. На конце стола один из графов с князем заспорили. Сначала о чем — не слышал, а только граф говорит:

— Да знаете ли вы, что род мой я веду с основания Руси-матушки?

А князь отвечает:

— Эка невидаль! Я свой род веду, можно сказать, чуть ли не с основания мира.

А граф:

— Ну, это пардон, не может быть, врите!

Тут князь гневно вскочил:

— Прошу вас, граф, не выражаться!

Граф что-то ответил, и пошло, и пошло. А потом все стали кричать: «Дуэль, дуэль». Моя графиня заплакала, ейный дядюшка стал успокаивать ее и помахивать перламутровым веером. Поздно ночью мы выбрались с Александром Ивановичем и вернулись в гостиницу. Что-то будет теперь?! Неужто и в самом деле стреляться будут?

24 июня

Вчера вечером был опять у своей графини. Разговоры разговаривали. Прямо я еще ничего не говорил, разные намеки делал. Графиня сентиментально слушала. Очень она тревожится о дуэли. Говорит, что теперича, разругавшись, граф и князь сидят по домам, составляют духовные завещания и друг другу разные неприятности пишут. Сегодня с утра набрался духа да и налетел опять к ней, решил разом покончить, чего тут зря лясы точить. Приехал, повертелся на стуле, ну, конечно, для начала спросил о здоровье, не колет ли в животе, не болит ли горло и все прочее.

— Нет, — говорит, — мерси, я здорова.

— Так позвольте вам предложение руки и сердца сделать.

— Очень приятно, — говорит, — за мной дело не станет, а только в нашем кругу такие вопросы дамы сами не решают. Поговорите с моим дядюшкой, что он скажет.

— А где же мне его повидать?

— Да приезжайте завтра часика в два ко мне. Он к этому времени будет, вы и поговорите, а только, боюсь, он не согласится, ну да что Бог даст!

25 июня

Победа по всем швам! Дело синюхинской династии на мази.

Было так: приезжаю сегодня в 2 часа, подождал в гостиной, наконец выходит дядюшка — граф Подгурский. Я ему прямо выкладываю: так, мол, и так, влюбился в вашу племянницу, желаю ее в жены взять, и хоть знаю, что насчет денег у ней не того, но это нам все равно, так как немалыми капиталами сами обладаем. Граф выслушал и говорит:

— Не подходящее дело вы задумали. Разве моя племянница вам пара? Хоть вы и очень симпатичный человек и от души мне нравитесь, но подумайте сами, разного мы круга, разных понятий, опять же Вандочка моя (ее зовут Ванда Брониславовна) привыкла к свету, хоть и бедна, но избалована. Подумайте, каково ей будет в Елабуге?!

— А что же, очень хорошо будет. Шикарная квартира, обстановка в стиле. Свои лошади и кучер, и вообще все удобства. Конечно, и родственников своих мы не забудем...

Это, видимо, поколебало графа. Он задумался; помолчал долго, а затем решительно заговорил:

— Ну, будь по-вашему, все равно от судьбы не уйдешь, почему знать, может, вы и составите счастье Ванды.

Голос их дрогнул, и граф, вынув платок, обтер глаза. Опосля и говорит:

— Ну, дорогой зятек, поздравляю вас с высокаторжественным происшествием.

И, обняв меня, он трижды поцеловал.

— А теперь приступим к делу. Как для Ванды, так и для вас важно, чтобы невеста или жена ваша появилась в Елабуге и прилично одетая, и с сундуками с приданым. Вы же знаете, что у бедняжки и лишней рубашонки не имеется. Конечно, я чем могу, помогу, но и мои средства очень ограничены, вот почему я требую, чтобы вы помогли нам и дали бы хоть тысяч пятнадцать немедленно на шляпки, тряпки, белье, обувь и прочее.

— Хорошо, — отвечаю, — граф, мы согласны, но только больше десяти дать не можем, так как при себе всего-навсего пятнадцать имеем, а из Елабуги выписывать уж больно несподручно.

Граф поморщился:

— Ну хорошо, давайте десять, я доложу, как-нибудь справимся.

Вытащил я бумажник, отсчитал десять тысяч да и говорю:

— Позвольте расписочку.

— Какую расписочку, в чем?

— Да в том, что вы на наш брак согласие дали и десять тысяч рублей от меня получили на обзаведение приданым.

Граф пожал плечами, однако присел и расписку написал. Одной рукой протянул я ему деньги, а другой принял от него расписку. После этого граф крикнул:

— Ванда!

Из соседней комнаты вошла графиня.

— Ну, племянница, поздравляю тебя. Вот твой жених. Благоговляю вас, живите в добром мире и счастливо.

Я поцеловал графиню в самые губки, посидел с ней часок да и вернулся домой. И на душе такая-то радость, вроде как бы из почетных граждан да прямо в графья попал.

26 июня

Сегодня проснулся очень в духах. Однако чаю выпил всего 3 стакана, аппетиту не было. После чаю, одевшись, отправился за покупками: невесте хотелось кой-чего из белишка приобрести да дюжину серебряных столовых ложек заказать с вензелями Веди-Слово и графской короной над ними. Вышел из гостиницы, подошел к извозчику, говорю:

— Мне тут, милый человек, купить белья, серебра и всего прочего требуется, ну-ка, свежи меня по магазинам.

— Пожалуйте, господин, — отвечает, — у нас в Москве есть такой магазин, где от гвоздей и дегтя и до золота разного все имеется.

Сели, поехали, и привез он меня к громадному магазину с зеркальными окнами в три этажа. Расплатился. А смотрю только чудно больно: в парадном крыльце магазина двери не обыкновенные, а какое-то диковинное приспособление. Вертится какой-то будто огромный барабан, и из него на полном ходу то выскакивают люди, то вскакивают в него. Поглядел я, поглядел, да и думаю, чем я хуже других. Раз ходят люди, так, стало быть, и нужно. Ну, подождал, конечно, пока эта хитрая механика остановилась, да и шмыгнул под одну из лопастей. Толкнул вперед стекло, а сам стою, а меня вдруг как что-то огреет по затылку, ажно шляпа слетела. Я нагнулся было подбирать, а меня как что-то шарахнет. Нет, вижу, плохо дело, надо толкаться вперед, да не останавливаться. И пошло, и пошло; я уже бегу бегом, все кружится, вертится, а как позамедлю шаг, так сзади что-то и прет в спину. Напугался я до смерти, не своим голосом кричать стал. Наконец, кто-то изнутри остановил чертову мышеловку да чуть ли не за руку втащил меня в магазин и спрашивает:

— Чего это вы кричите, мусью?

А я со страху и обиды чуть в ухо ему не заехал и говорю:

— Что это у вас тут в Москве, везде этак покупателя ловят? Этаких капканов настроили, прости Господи!

А человек отвечает:

— Это вовсе не капкан, а двери, и устроены они так, чтобы и в помещение не дуло, да и человека при них держать не надобно. Не стал я с ним спориться, а, отдышавшись, принялся за покупки.

— А где у вас здесь отделение по серебряной части?

— Пожалуйте, господин, в третий этаж, — отвечают.

Подошел я было к лестнице, а тут выскакивает мальчонка, распахивает какую-то дверцу.

— Пожалуйте, — говорит.

— Чего тебе от меня надобно, — спрашиваю.

— А я вас вмиг на третий этаж доставлю.

Посмотрел я на него: такой дохленький, щупленький.

— Что ты, братец, никак с ума спятил? Во мне больше пяти пудов весу.

— Ничего не значит, — говорит, — пожалуйста, — и указывает на какую-то будку.

Перешагнул я через порог, мальчишка за мною; затем запер дверь, нажал какую-то пуговицу и... Господи твоя воля! началось сущее вознесение, мчимся по какому-то колодцу кверху, промелькнул этаж, в нем люди, мы дальше, наконец, остановились.

Вышел я на волю, а сердце так и стучит. Оглянувшись, а мальчишка с аппаратом сквозь землю уходит. Ну и диковинка! На что Лоскутная перворазрядная гостиница, а эдакой хиромантией не обзавелась.

Выбрал я увесистые ложки, а насчет вензелей, говорят, приходите через 3 дня — готовы будут. Как, думаю, назад на воздух выбраться, неужто опять через проклятую вертушку. Однако дело обошлось, на хитрость пустился: попросил мальчика, вынеси, мол, голубчик, мои покупки на извозчика, да шмыг с ним в одно гнездо двери и вплотную за ним высочил.

Приезжаю в Лоскутную. Думаю: подзакушу, да и айда к невесте. Не успел я отдохнуть, как стук в дверь и входит Александр Иванович с каким-то расстроенным лицом.

— Что невесело глядите? — спрашиваю.

— Какое тут веселье? — отвечает. — Эдакая беда стряслась.

— А что такое? — испугался я.

— Да как же, сегодня на заре поссорившиеся князь и граф выехали за Бутырскую заставу со свидетелями и доктором. Отмерили им на полянке 10 шагов друг от друга, дали по пистолету в руки, подали сигнал, и оба враз пальнули и оба же упали. Подбежал доктор и, представьте, оба убиты. У князя прострелено сердце, а у графа печенка. Повезли убитых к родным, те, конечно, в горе, сейчас же дали телеграмму в Питер, и последовало государево распоряжение: «Наложить 48-часовой придворный траур — 24 часа за одного покойника и 24 за другого».

— Вот так штука, — говорю, — жили, веселились люди, и нет их больше. Царство им небесное. Но а невесту свою все навестить нужно.

— Что вы, что вы, — замахал на меня руками Александр Иванович, — да разве это возможно сейчас?

— А почему бы нет? — спрашиваю.

— Я же говорю вам, что наложен придворный траур, и пока не истечет срок, графиня не только никого не может видеть, а обязана сидеть взаперти, шторы на окнах у нее спущены, на зеркалах кисея, а сама она сидит, грустит да постное кушает. Если вы вздумаете к ней сейчас поехать, то глубоко оскорбите всех ваших будущих родственников, а то, того и гляди, дядюшка вернут вам деньги и слово, т. е. не видать вам тогда графини как своих ушей. Впрочем, делайте как хотите, я вас предупредил, а там как знаете. Я отправлюсь сейчас к себе, запираюсь в номере и не увижусь с вами до послезавтра, т. е. до конца траура.

И он ушел.

— Что же мне теперича делать? — подумал я. — Экая, в самом деле, оказия. Неужто тоже запереться в номере на 48 часов? А, пожалуй, следует. Хоть я и не граф, а все-таки, можно сказать, почти что графского происхождения.

Подумав еще маленько, я спустил шторку в окне, завесил простыней на шкафу зеркало и, усевшись в кресле, вздремнул. Скучища страшная была за весь день. Вечерком съел холодной осетринки, маринованных грибков, киселя, вспомнил покойничков, выпил стаканчиков пять чаю, да и на боковую.

27 июня

Продрал глаза и испугался. В комнате тьма египетская. Уж не ослеп ли? Но затем припомнил траур! И шторка на окне наглухо завешана. Зажег электричество. Весь день не одевался, ни к чему, все равно в трауре, даже рожи не вымыл. Для занятия перечитывал свой дневник. Бойко, можно сказать, написано: со вкусом и с выражением. Опасаюсь, что описание времяпрепровождения в каюте с Вяльцевой больно по-похабному вышло, ну да наплевать — правда для писателя прежде всего! Днем поел блинчиков с икоркой, опять же кисель (упокой душу родственников!). Тощища смертная! Завтра увижу Вандочку, поди, похвалит за этикетность.

28 июня

Караул!.. Ограбили!.. Ах, они, чтоб им... Вот уж опростоволочился. И князя, и графя, и сам Александр Иванович — все оказались жуликами первосортными. А я-то, дурак, десять тысяч отвалил, ложки заказал, вот тебе и Веди-Слово, вот тебе и графская корона!

Ровно в 12 подкатываю по Скатертному переулку к 12 номеру дома, бегу через двор в подъездок, звоню во 2-м этаже к графине. Звоню раз, звоню другой — не открывают. Стал стучаться громче, громче — никого. А тут на площадку открывается дверь насупротив, высовывается бабья голова:

— Вам кого, господин, надобно?

— Как кого? — говорю. — Невесту, графиню Подгурскую.
— Никаких здесь графинь нет и не было.
— Что же вы, с ума спятили? Говорю вам, невеста моя здесь живет, графиня Подгурская.

Баба покачала головой и говорит:

— Нет, жила здесь девица Николаева, да только вчера утром выехала. Я сама видела, как дворник пожитки выносил. А коль не верите, справьтесь сами у него.

Сперло у меня дыхание, а в голове промелькнуло: уж не обчекрыжили ли меня? Полетел к дворнику.

— Да, действительно, — говорит, — в четвертом номере проживала по паспорту девица Николаева, а только вчерашний день от нас уехали. — И, подумав, добавил: — Да только это не жилища была — прожили у нас четыре месяца, за квартиру деньги задерживали, домой водили разных мужчин, одним словом, гулящая.

Вижу, дело плохо. Раз дворник, посторонний человек, и так карикатурно о ней выражается, значит птица не Бог весть какая. Испугался я, обозлился я, да и денег жалко. Экий мерзавец Александр Иванович, ведь это он свел меня с графиней. Хоть денег с него и не получу, конечно, а все же за евонные пакости личность ему разобью.

Прыгнул на извозчика, помчался обратно в Лоскутную. На душе кипит, кулаки сжимаются, будто сам не свой. Приехал. Влетел по лестнице и прямо к Александру Иванычу в номер. В комнате пусто.

— Что? Дрыхнешь еще, мошенник? — вскричал я и рванул полог на кольцах, закрывавший кровать. Что за черт! В кровати растрепанная женщина с искривленным от страха лицом прямо на меня смотрит, а потом как завизжит:

— Помогите! Спасите! Убивают...

— И чего вы орете, мадам? — сердито сказал я. — Ну, ошибся номером, пардон, велика штука.

Она не унималась:

— Вон, негодяй, да как вы смеете? Я честная женщина!

Тут я вовсе обозлился:

— Плевать бы я хотел на вашу честность, тоже графиня Подгурская, много о себе воображаете, вы хоть озолотите меня, а мне и то вас не надобно.

— Сумасшедший, караул! — завизжала она пуще прежнего.

Сгреб я со стола коробку раскупоренных сардинок, запустил ими ей в морду и выбежал в коридор. Кричу, требую управляющего. Прибежал.

— Куда у вас здесь девался мошенник Рыков из 27 номера?

— Да он еще вчера к ночи расплатился, потребовал паспорт и уехал.

— Куда уехал?

— Этого мы знать не можем.

Я рассказал управляющему, как обмошенничал меня этот самый Рыков со всей своей шайкой. Управляющий развел руками, пожал плечами да и посоветовал обратиться в сыскную полицию. Я, конечно, туда отправился немедля, повидал начальника г. Кошкина, обещал принести ему эту тетрадь и, вернувшись от него, скорее записал все, что произошло со мной сегодня. Теперь бегу к нему с тетрадью. Что-то будет! Эх, Синюхин, дал маху ты, братец!...

* * *

Этим заканчивается дневник Синюхина. Уже шел 4-й час ночи. Глаза мои слипались, но, засыпая, я невольно обдумывал синюхинское дело. Не подлежало сомнению, что елабужский донжуан налетел на шайку ловких мошенников. Это явствовало хотя бы из той предусмотрительности «графини», каковую она проявила перед знакомством с Синюхиным. Она потребовала от него фотографию и письмо с подробным «жизнеописанием». И то, и другое ей были нужны для того, чтобы составить себе точное представление о мирозерцании и, так сказать, культурном уровне Синюхина. Последний постарался блеснуть образованностью и наворотил ей такое письмо, ознакомившись с которым «графиня» нашла возможным применить, не стесняясь, грубую тактику и повела игру хотя и не тонкую, но достаточно убедительную для Синюхина. Я решил было заняться этим делом лично, но мне это не удалось, так как на следующий день я совершенно неожиданно получил срочную телеграмму от министра юстиции Щегловитова, вызывающего меня в Петербург. Я предполагал истратить на эту поездку не более 3-4 дней, но просидел в Петербурге более месяца, так как министр поручил мне подробно ознакомиться с огромным материалом, накопившимся по громкому делу Бейлиса и дать по этому делу мое заключение, что я и исполнил. Таким образом, всю текущую работу в Москве (в том числе и синюхинское дело) мне пришлось передать на это время моему помощнику В. Е. Андрееву. Вот почему я не знаю, вернее, не помню, чем закончилась эпопея елабужского простофили. Я не знаю также, дул ли «сирокко» при возвращении последнего в Елабугу, но знаю наверное, что вернулся он туда в блестящем одиночестве — «без нежного бутона, увенчанного девятиглавой короной».

ТЯЖЕЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Как-то ко мне в кабинет вбежал взволнованный надзиратель и доложил:

— Господин начальник, сейчас какой-то негодяй выстрелом из револьвера уложил на месте нашего постового городского Алексева. Он схвачен, обезоружен и приведен сюда. Как прикажете быть?

Убийство было, очевидно, политического характера. Расследования по этим преступлениям были вне моей компетенции, но раз арестованный уже при полиции, я счел необходимым снять с него первый допрос.

Убийцей оказался весьма благообразный господин, элегантно одетый, лет под пятьдесят, с сильной проседью, с усталым болезненным лицом. Он, не торопясь, подошел к письменному столу, взглянул на меня и тихо спросил:

— С кем имею честь разговаривать?

— С кем? — сердито отвечал я. — С начальником Московской сыскальной полиции.

Он вежливо поклонился.

— Что побудило вас совершить это гнусное злодейство?

— Ну, знаете, — отвечал он, — этого в двух словах не расскажешь.

— Я не требую от вас лаконичности и по долгу службы готов выслушать ваше полное показание.

— Хорошо, но позвольте предварительно узнать, какая кара мне угрожает за совершенное преступление.

— Надеюсь — бессрочная каторга, а еще вернее — виселица.

— Как каторга?! — взволновался он. — Позвольте, ведь Москва объявлена на положении усиленной охраны: я с заранее обдуманном намерением убил должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей, а вы говорите — каторга! Не может этого быть, вы ошибаетесь!

— Следовательно, вы настаиваете на смертной казни?

— Именно, именно! — убежденно и радостно сказал он.

Я удивленно вскинул глазами.

— Вы удивлены? Но вы все поймете, выслушав меня.

— Говорите!

— Я очень утомлен, разрешите сесть.

— Садитесь.

Мой странный субъект уселся в кресло, устало провел руками по лицу и начал:

— Мне было 25 лет, когда я блестяще окончил юридический факультет N-ского университета и был оставлен при нем. В 28 лет я получил доцентуру, в тридцать был назначен экстраординарным профессором по кафедре энциклопедии права. К этому же времени я написал замечательное исследование «Эмоциональность правосознания». Я сказал совершенно новое слово и имел все основания полагать, что мой труд явится капитальным вкладом в науку.

— Положим, судя по теме, тут ничего нового нет, так как профессор Петражицкий создал уже подобную теорию.

— Петражицкий?! — и он презрительно усмехнулся. — Нет-с! Моя теория ничего общего с ним не имеет. Впрочем — все это не важно и не в этом теперь дело. Однако для последовательности изложения должен вам сказать, что свой труд я перевел на иностранные языки и разослал всем монархам, президентам и университетам мира. Я не сомневался ни минуты, что Кембриджский, Оксфордский, Берлинский, Парижский и другие университеты не замедлят поднести мне свои почетные дипломы. Но прошел месяц-другой, третий, монархи не отозвались, школы не откликнулись. Надо думать, что главы правительств научно недостаточно подготовлены, а моим иностранным коллегам просто зависть помешала оценить мой труд. Так или иначе, но этот страшный удар сокрушил меня. Я с горечью оглянулся на прожитую жизнь и вновь пережил в воспоминаниях сотни бессонных ночей, проведенных мною за пыльными фолиантами. В будущем ничего не мог ждать, кроме одинокой, бесплодной, немощной старости. «Безумец и тысячу раз безумец! — подумал я, — так-то ты распорядился тем кратким промежутком времени, что отмежеван судьбой каждому из нас от вечности?!» Какой нелепостью, непроходимой глупостью показались мне гуманизм, альтруизм, работа на благо человечества, — словом, все то, чем я жил доселе! «Конечно, — сказал я себе, — время упущено, тридцать лет пропали даром, старость не за горами. Но все же, быть может, мне удастся еще наверстать потерянное и пережить всю сумму удовольствий и наслаждений, что рассеяны на житейском пути людей богатых, независимых и счастливых! Я ненавижу и боюсь старости — этой медленной агонии, этого постепенного увядания организма, сопряженного зачастую с физическими страданиями. Старости у меня не будет, как, в сущности, не было и молодости. Я вырву из своей жизни десятилетний период от 30 до 40 лет и посвящу его себе и только себе». К этому времени мое состояние определялось в пятьсот тысяч рублей. Я разбил его на десять равных частей, обеспечил себе, таким образом, 50 тысяч в год, не считая процентов. Я был одинок, и этой суммы мне было достаточно. Я был свободен, как ветер. Общественное мнение отныне для меня не существовало. О сохранении здоровья заботиться не приходилось, а к конечному сроку (21 ноября 19... года) я

надеялся, что жизнь успеет для меня потерять всякую привлекательность, что я буду пресыщен ею. И в этом отношении я не ошибся.

Свою новую эру земного существования я начал с путешествий: я исколесил земной шар вдоль и поперек, принимал участие в полярных экспедициях, бороздил моря на подводных лодках, перенес одно из очередных землетрясений в Японии; привязанный ремнями к седлу, я проделывал на аэроплане самые рискованные полеты. Наконец, микроб туризма и авантюры, гнездившийся во мне, понизил свою вирулентность, и я вернулся на родину. В своих долгих скитаниях я утратил последнюю человеческую черту — пытливость и превратился, в сущности, в животное. Я широко пошел навстречу всем своим низменным инстинктам и нет тех «содомских» грехов, которыми бы я не был замаран. В диких оргиях проводил я время, обзаведаясь для этой цели целыми гаремами. Однако, быстро пресытившись всем, я вскоре почувствовал тяготение к наркотикам. Окутываемый голубыми клубами опиума, я витал в царстве теней и полутонов. Так я дотянул, наконец, до вчерашнего дня, т. е. до положенного срока. Вчера я вынул револьвер, но здесь приключилось со мной совершенно непредвиденное: меня обуял дикий ужас. Не смерти желанной страшился я, конечно, а того неизбежного болевого мига, что связан с нею. Тут я понял впервые, что желать и стремиться не то же, что мочь. «О если бы нашелся друг или враг, кто согласился бы взять на себя роль палача!» — воскликнул я громко, и вместе с этим звуком мой мозг пронзила мысль: в Москве усиленная охрана. Если я убью должностное лицо, палач свершит надо мной операцию, на которую у меня не хватает собственных сил. На минуту, правда, что-то дрогнуло в сердце: за что я убью человека? Но я быстро отогнал эти малодушные соображения. Что значит жизнь какого-нибудь городского, когда мной загублено уже столько юных душ? Итак, я принял решение. Положив заряженный револьвер в карман, я вышел на улицу. На перекрестке я увидел городского, подошел и в упор выстрелил ему в голову. Теперь я требую справедливого применения ко мне закона.

В кабинете воцарилось молчание. Я прервал его словами:

— Конечно, ваше преступление гнусно, но все же вам место не на эшафоте, а в сумасшедшем доме.

Мой собеседник вскочил.

— Как, и вы туда же?! И вы страшаете меня проклятым призраком. Ложь, тысячу раз ложь! Я здоров, как вы, и действовал в здравом уме и твердой памяти! Вы не смеете отказывать мне в правосудии. Если вы не казните меня, я сбегу из любой тюрьмы и убью вас, вашего градоначальника, вашего министра и, если понадобится, самого государя.

Я пустился на хитрость.

— Хорошо, я исполню вашу просьбу. Успокойтесь. Но еще раз подумайте, твердо ли вами принято решение умереть?

— О, да, да! — сказал он с дрожью в голосе, простирая руки. Я нажал кнопку:

— Попросите ко мне Николая Ивановича (так звали нашего полицейского врача), — сказал я вошедшему курьеру.

И когда тот явился, я, подмигнув ему, приказал:

— Палач, вот твоя жертва! Сегодня же повесить!

Часа через два врач, отвезший больного в лечебницу, мне рассказывал:

— Всю дорогу в карете длился припадок больного. Он был решительно невменяем и умолял меня лишь об одном: «Как можно скорее и меньше боли. Намыльте как следует быть веревку и сделайте хорошенько петлю. Чрезвычайно важно, чтобы смерть наступила не от задушения, а с переломом шейного позвонка — от мгновенного паралича!» Я обещал и, привезя в больницу, сдал пациента старшему врачу, т. е. «председателю военного суда», как я пояснил больному.

НЕГОДЯЙ

Я уже говорил в одном из моих очерков, что начальнику сысской полиции нередко приходится фигурировать в роли исповедника. Иной раз самые сокровенные тайны поверяются ему клиентами. В этом отношении мне вспоминается следующий характерный случай.

В девятисотых годах, как-то осенью, начальник Петербургской сысской полиции Филиппов был в отсутствии и я заменял его. В приемные часы в мой кабинет вошла элегантно одетая дама, с густым вуалем на лице. Сев в предложенное кресло, она приподняла вуаль, и я увидел перед собой лицо, не лишенное следов былой красоты. На вид ей было лет сорок.

— Я приехала к вам, — сказала она с большим волнением в голосе, — по весьма щепетильному и мучающему меня делу. Но, ради самого Господа, все, все, что я вынуждена буду рассказать вам, должно навсегда остаться между нами. Этого требует и моя женская честь, и доброе имя моего мужа и детей!

— Вы можете, сударыня, говорить с полной откровенностью. Поверьте, мне нередко по долгу службы приходится выслушивать самые откровенные признания людей и, разумеется, все ими сказанное не идет далее этих стен.

— Хорошо, я вам верю! Но мне так трудно говорить! — и дама, вынув из сумочки флакончик с английской солью, усиленно принялась ее нюхать.

— Говорите, сударыня, я вас слушаю.

Дама, краснея и волнуясь, принялась поспешно рассказывать.

— Я жена тайного советника Н. (она назвала довольно громкую фамилию одного из петербургских сановников). Как муж, так и я, мы пользуемся оба безукоризненной репутацией. Вот уже пятнадцать лет как я замужем и, конечно, всегда была честной женой и порядочной женщиной. Так продолжалось до встречи с моим теперешним другом. Мы познакомились с ним полгода тому назад. Он молодой, начинающий артист; впервые я увидела его на одном из благотворительных вечеров, организованных под моим председательством. Милый, воспитанный, талантливый! Он стал бывать у нас. Как это все случилось — не знаю; но вскоре я потеряла голову и как ни боролась с охватившей меня преступной страстью, не смогла побороть себя и... постыдно пала.

Дама прижала платок к глазам и остановилась на минуту. Затем продолжала:

— Мой муж чрезвычайно ревнив, всегда желает быть в курсе моего времяпрепровождения и любит проводить вечера в моем обществе. Дома дети, гувернантки, прислуга, словом — видеться нам с глазу на глаз с моим другом очень трудно, тем более что он живет не один, а с приятелем. Все это вместе взятое заставило меня поддаться на его уговоры, и я как-то согласилась устроить наше randevu в Дмитровском переулке, в гостинице «Гигиена». Конечно, это была непростительная оплошность с моей стороны, так как, оказывается, эта гостиница имеет специальную репутацию в Петербурге и подъезжать к ней среди белого дня — значит сильно рисковать своим именем. Но мой друг так настаивал, так полагался на мою плотную вуаль, что я, наконец, уступила. Все, как мне казалось, обошлось благополучно. Как вдруг, дня через три после этого злополучного свидания, я получаю письмо, написанное на машинке, с приложением фотографии. Взглянув на нее, я чуть не упала в обморок! Представьте, на фоне карточки подъезд пресловутой гостиницы, с отчетливой на нем вывеской, а перед ним наш лихач. Снимок был сделан в тот момент, когда я только что сошла с пролетки и направлялась в подъезд. Конечно, благодаря вуали, лица моего не видно, но по костюму, шляпке и вообще по фигуре не узнать меня невозможно. Мой друг же, как живой: задрал голову кверху, лицо ярко освещено солнцем и протягивает деньги извозчику. Впрочем, вот, взгляните сами.

И дама, порывшись в сумочке, извлекла оттуда письмо и фотографию. Действительно, снимок был весьма отчетлив. В письме значилось:

М.Г.

«Я уже давно слежу за Вашей преступной связью. Третьего дня мне удалось запечатлеть один из пикантных ее моментов. Даю Вам недельный срок и предлагаю в будущую среду явиться в Летний сад, ровно в 12 ч. дня, и положить в конверт 5000 р. под крайнюю правую скамейку, считая от вазы, что против входа. Положив конверт, замаскируйте его песком и опавшими листьями. Я явлюсь за деньгами ровно в час. Не вздумайте меня подстергать, а, положив конверт, уходите немедленно. Я предварительно внимательно осмотрю местность и если только хоть издали завижу Вас, то сочту это за отказ с Вашей стороны и фотография, подобная прилагаемой, будет мною немедленно переслана Вашему мужу. Не вздумайте обратиться к полиции, так как Вам же будет хуже — я отомщу!»

Дав мне время прочесть письмо, г-жа Н. продолжала:

— Каким образом удалось этому шантажисту сделать снимок — не представляю себе, кругом нас никого не было. Может быть, с противоположной стороны улицы, или из дома визави? Мы, с моим другом, теряемся в догадках. Получив это письмо, я, конечно,

страшно взволновалась и решила посоветоваться с ним. Он был напуган, видимо, еще больше, чем я. Я выразила было желание немедленно обратиться к вам, но мой друг горячо запротестовал:

— Ради Бога, не делайте этого. Разве вы не понимаете, что это наша гибель?! Ну, — сцапают негодяя, отсидит он, в лучшем случае, несколько месяцев, а затем, выйдя из тюрьмы, а может быть, и ранее того, непременно исполнит свою угрозу и отомстит. Как ни грустно, а требование его исполнить придется, послушайте меня, я верно вам говорю». Наконец, он уговорил меня, и я обещала последовать его совету. Он сразу успокоился, и мы пошли даже вместе в Летний сад осмотреть скамейку. «Как жаль, — сказал он мне, — что в среду у меня как раз дневной спектакль, а то я бы непременно выследил этого милостивого государя! Но не вздумайте, конечно, делать это вы!» Я его успокоила. Однако, поразмыслив на свободе, я вернулась к прежнему решению и решила все же повидать вас, рассказать все и поступить согласно вашему совету. Ведь какая же у меня может быть уверенность в том, что, получив эти пять тысяч, он оставит меня в покое.

— Вы совершенно правы, сударыня, — никакой!

— Что же вы посоветуете мне?

Подумав, я сказал:

— Мы вот что сделаем. В среду, в условленное время вы положите объемистый конверт и в нем рублей на двести бумажек не крупного достоинства. Номера билетов перепишите и доставьте мне этот список. При аресте шантажиста список номеров ему будет предъявлен и, ввиду точного совпадения с найденными при нем деньгами, он увидит, что заpirаться бесполезно, а главное, — у нас будет, так сказать, вещественное доказательство.

Лучше всего будет уличить и арестовать этого типа, а затем, припугнув хорошенько, выпустить, предупредив, что при малейшей попытке к новому шантажу он будет немедленно арестован и понесет уже тогда судебное наказание.

Моя собеседница согласилась на эту программу, и мы расстались.

Я отдал соответствующие распоряжения, и три агента дежурили в среду в Летнем саду: один у входа, двое — фланируя по аллеям на приличном расстоянии от обозначенной скамейки. В 12 ч. появилась дама, села на скамейку, подбросила под нее конверт и незаметно ногой нагребла на него сухих листьев, после чего исчезла. В час появился какой-то тип, прошелся несколько раз взад и вперед, внимательно оглядываясь, и, непринужденно сев на скамейку, закурил. Посматривая по сторонам, он пошарил тросточкой под ней и вскоре, уронив палку, нагнулся и вместе с нею поднял и конверт, каковой быстро сунул в карман пальто. Посидев еще минуты две, он встал и, играя тросточкой, направился к выходу. Здесь ему агент любезно предложил сесть с ним на извозчика, и тип был доставлен в полицию.

В среду с утра я был занят срочным делом. Около двух часов мне доложили о привозе арестованного.

— Хорошо, посадите его в камеру, мне сейчас некогда, я допрошу его позднее.

Часа в четыре явилась за результатом дама.

— Ну что? — спросила она с любопытством и тревогой. — Вам удалось его задержать?

— Как же-с!

— Кто же он такой?

— Я все утро был занят, сударыня, а потому не успел его ни допросить, ни видеть. Но я сейчас его вызову и допрошу при вас.

— Ах, нет. Я лучше уйду, а то как-то неловко.

— Напротив, сударыня, останьтесь, так будет лучше.

— Вы думаете?!

— Конечно!

— Ну что же, хорошо! — сказала она нерешительно.

Я велел привести арестованного. Минут через десять в кабинет вошел молодой человек лет двадцати пяти, отлично одетый, бритый, красивой внешности. Но здесь произошло нечто совершенно для меня неожиданное. С его появлением раздался вдруг задущенный крик моей посетительницы:

— Саша?!!

И в этом слове мне послышалось и изумление, и отчаяние, и ужас, и горе. Арестованный яростно взглянул на нее и, передразнивая, также протянул к ней руки, соорудил страстно умильную рожу и с тремолем в голосе, с пафосом простонал:

— Офелия?! — после чего злобно отвернулся и плюнул.

— Господи, Саша, да как это ты мог?! Зачем было хитрить? За что?

— За что-о-о? И вы еще спрашиваете?! Да неужели же вы настолько глупы и нечутки? Неужели же вы воображали до сих пор, что ваши ласки мне нужны? Ведь посмотрите на себя хорошенько: вы поблекшая, старая женщина, почти старуха! Я с дрожью вспоминаю об этих отвратительных минутах, эти дряблые щеки, эта измятая кожа на шее! брр...! Да знаете ли вы, что в минуты ваших страстных ласк я плотно закрывал глаза, чтобы не видеть всего вашего убожества! Я несколько раз намекал вам о том, что крайне нуждаюсь в деньгах, что имею срочные долги и т. д. Вы же, не то по глупости, не то по скупости, пропускали это мимо ушей и в результате заставили меня прибегнуть к хитрости. Вы же, вы мне противны, понимаете ли, — противны, старая Мессалина!

Несчастливая женщина, закрыв лицо руками, безудержно рыдала.

На меня накатила злоба, и, полузадыхаясь, я проговорил:

— Ну, и негодяй же вы, милостивый государь! Много мошенников и негодяев видали эти стены, но вы побили рекорд!

— Ах, нет, не надо! — взмолилась дама. — Бог с ним, я ему прощаю, отпустите его, исполните мою просьбу! — и встав, шатающейся походкой направилась к выходу.

— Как ваше имя, где вы живете и кто был фотографом? — спросил я сурово арестованного.

Он назвал себя, указал адрес и выдал приятеля. Я записал и, позвонив, вызвал агента:

— Отправляйтесь по этому адресу, произведите тщательный обыск и непременно отберите фотографии, подобные этой (я протянул агенту записанный адрес и фотографию, переданную мне дамой); разыщите и соответствующий негатив, конечно.

— Излишние предосторожности, — иронически сказал арестованный. — Поверьте, что если отпустите меня, то я и думать забуду об этой дурище!

— Да разве можно верить таким типам, как вы? Ведь этакая гнусность! Пытались неудачно альфонсировать несчастную женщину, затем не более удачно прошантажировали ее и, наконец, влипнув, подло озлобились и принялись наносить ей удары по самым больным местам. Какая гадость! Конечно, я должен исполнить ее просьбу, хотя бы для того, чтобы не предавать огласке всю эту историю. Но помните, что если вы только вздумаете дать о себе знать, то не только немедленно я вас арестую, но и, отбыв тюрьму, вы будете высланы административным порядком и лишены права въезда в столицы. Не забывайте, что 200 рублей, отобранные у вас, были заранее переписаны и засвидетельствованный список их мне представлен, вот он. Ну, а теперь убирайтесь вон, вы мне органически противны.

Он не заставил себя долго просить и исчез немедленно.

Таким образом несчастной женщине удалось спасти свой семейный покой, но... но какой ценою!

ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС

Как-то на утренний служебный прием является ко мне Тамбовский начальник сыскного отделения и заявляет, что, получив отпуск, приехал по личным делам в Москву и зашел ко мне представиться и просить совета. По его словам, у них в губернии произошел случай попытки поджога при довольно странных обстоятельствах, разъяснить которые до сих пор не удастся.

— С неделю тому назад, — рассказывал он, — обратился ко мне некий моршанский купец Коновалов и в большой тревоге сообщил, что им только что получено письмо, написанное на машинке и без подписи. В нем его предупреждали, что в ночь на 22 августа, т. е. как раз в момент истечения срока страхового полиса, предполагается поджог его многочисленных амбаров, а посему доброжелатели его предлагают ему принять соответствующие меры охраны. Об этом Коновалов сообщал мне за сутки до назначенной ночи.

— Что же, — сказал я ему, — вы, конечно, перестраховали ваше имущество?

— В том-то и дело, что нет. Мы уже более 10 лет страхуемся в Московском Н-ом Обществе. Так было и нонче. Недели за две до срока я перевел деньги в Москву, прося продлить страховку опять на год, как вдруг дня три тому назад мне деньги возвращают по почте с извещением, что страховое общество, сокращая свои дела, не желает возобновлять страховки. Я бросился туда-сюда, да в нашем городишке подходящих надежных учреждений нету, ведь имущество свое я страхую в 250 тысяч рублей, опять то да се, да и дела задержали — ну, словом, помогите.

— Что же я могу для вас сделать? — спрашиваю.

— Будьте милостивы, — говорит, — дайте мне верную охрану, пускай ваши люди ночки три подежурят у моих амбаров, может, они изверга и изловят. Я же в это время смахаю в Москву и застрахуюсь в каком-нибудь другом Обществе.

Он мне показал и анонимное письмо, и извещение страхового общества с отказом. У меня как раз имелись свободные люди, и, дав Коновалову пятерых человек, я отправил их с ним в Моршанск. Мои люди пополнили свои ряды тремя стражниками, отпущенными им местным исправником, и эти восемь человек вместе с коноваловскими молодцами принялись дежурить у амбаров.

Письмо с предупреждением оказалось не праздной выдумкой. В 3 часа ночи с 21 на 22 августа один из моих дежуривших людей заметил какой-то огонек, дал сигнал, и сбежавшиеся агенты, приметив удирающего человека, пустились за ним и не замедлили задержать его. Они быстро потушили вспыхнувший у стены одного из амбаров огонь и обнаружили при этом несомненные признаки поджога. Стена была облита керосином, тут же валялись жгуты соломы и т. д.

Схваченный поджигатель от неожиданности и гнева проронил неосторожную фразу: «Это меня, я знаю, директора московские, подлецы, предали!» Он оказался бывшим моршанским акцизным чиновником, опустившимся и уволенным со службы, по фамилии Кротов. Наведенные мною о нем справки в Моршанске установили какую-то связь между ним и купцом Коноваловым. Люди говорили, впрочем, довольно глухо, что Коновалов пустил по миру Кротова и вообще причинил ему немало обиды и зла. Таким образом, было очевидно, что Кротов пытался мстить, что он подтвердил на первом же допросе. Он был, видимо, поглощен единственной мыслью, — это неудавшимся поджогом. Сжимая кулаки, он свирепо говорил:

— Ладно, не уйдешь, отбуду наказание, а тогда уж сожгу как следует...

— Бросьте эту дурь, — пробовал я говорить ему. — Теперь Коновалов, наверно, уж поспешит застраховаться. Раз прозевал, и будет.

— Ничего, — отвечает, — вы не знаете этого жмота. Если и застрахует свое имущество, так опять, поди, тысяч за 200-300, не больше, а его у него на миллионы!

Когда дня через два на третьем допросе я сообщил ему, что Коновалов вернулся и благополучно застраховал в Москве свой хлеб и амбары в 800 тысяч рублей, то Кротов вздрогнул, сразу как-то осунулся и не пожелал больше сказать ни слова. Он был отведен в камеру, а наутро его нашли повесившимся. Как-то умудрился выдавить стекло в высоко расположенном окне, и привязав за железную решетку конец штанов, обмотал вокруг шеи и, поджав ноги, повесился.

Конечно, это самоубийство было мне во всех отношениях неприятно, однако ни недосмотра, ни вины с моей стороны не имелось. Со смертью Кротова дело можно было бы и прекратить, я так и хотел сделать, но купец Коновалов, что называется, на дыбы.

— Как?! — говорит. — Может, у этого кровопийцы сообщники были?.. Они теперь еще пуще обозлятся и не то что спалят, а и меня самого живота лишат.

Словом, поднял целую бучу, пожелал поехать со мною в Москву, просить, хлопотать и все начистоту выяснить. Вот я к вам и обращаюсь за советом и помощью. Быть может, вы возьмете это дело в свои руки...

Случай мне показался незаурядным, заинтересовал меня, и я принялся за него. Прежде всего я навел справки о том, принимало

ли Н-ское страховое общество за это время страховки, и тотчас же выяснилось, что, помимо многочисленных сделок, Общество заключило с неделю тому назад и 2 крупные, в общей сложности на полмиллиона рублей.

Поведение Н-ского страхового общества становилось решительно подозрительным. Я позвонил по телефону директору-распорядителю, прося его немедленно пожаловать для деловых объяснений, и вскоре в мой кабинет вошел полный господин в золотом пенсне и с осанкой, не лишенной гордости.

— Вы желали меня видеть? — сказал он мне. — Я к вашим услугам. Должен вас, однако, предупредить, что я чрезвычайно дорожу своим временем. Итак, чем я могу служить.

— Надеюсь, вы даром у меня не потеряете времени, — ответил я сухо, — быть может, вы не откажете мне сообщить, из каких соображений Общество отказало моршанскому купцу Коновалову, вашему давнишнему клиенту, в перестраховании его имущества?

— Простите, но мне этот вопрос кажется несколько неуместным, — с подчеркнутым достоинством заявил директор. — Дела нашего Общества составляют, так сказать, нашу коммерческую тайну...

— Мой вопрос вам покажется более уместным, — возразил я, — когда я вам сообщу, что Н-ское Общество заподозривается в соучастии в поджоге недвижимого имущества купца Коновалова.

Мой собеседник изменился в лице и попробовал улыбнуться.

— Надеюсь, вы этому не верите, г-н Кошко?

— А почему бы и нет?

— Но наше коммерческое предприятие за долгие годы своего существования успело зарекомендовать себя с лучшей стороны и уж, конечно, ни на какие недостойные комбинации не пойдет...

— Все это прекрасно, но не забывайте, что поджигатель Кротов арестован на месте преступления, находится в наших руках и, верьте, не молчит. Мне еще пока не все ясно, но очень рекомендую вам отбросить в сторону ваши коммерческие тайны и рассказать мне — начальнику Московской сыскной полиции — все, что вам известно по этому делу, иначе я, вероятно, буду вынужден вас арестовать...

— Ну, что ж. Это верно... у нас этот Кротов был... — сказал он смущенно, — кое о чем мы с ним действительно говорили, хотели даже спасти молодого человека... но, верьте, вины за нами никакой нет...

— Не можете ли вы объясниться возможно подробнее...

Директор старательно вытер вспотевшую лысину и начал свой поистине удивительный рассказ.

— Месяцев восемь тому назад мне в правлении доложили, что какой-то человек непременно желает меня видеть по крайне важному, как он говорит, делу. Я был удивлен, так как обыкновенно никого из клиентов нашего Общества не принимал. Но, ввиду настоячивых домогательств пришедшего, я согласился, наконец, его

принять. В мой кабинет вошел человек лет 28, весьма странного вида: красивое, умное, вполне интеллигентное лицо с каким-то застывшим отпечатком горя, несколько тревожный взгляд, в то же время полный решимости, — все это придавало ему необычайный вид. Одет он был очень бедно — потертый синенький пиджак, сильно истоптанные сапоги и т. д.

— Что вам угодно? — спросил я его.

Посетитель, не теряясь, твердо и спокойно отвечал:

— Я пришел к вам, г-н директор, по весьма важному делу. Вы видите перед собой человека, во власти которого сохранить вашему Обществу несколько сот тысяч рублей...

— Или сумасшедший, или аферист, — подумал я.

Молодой человек, словно угадав мою мысль, продолжал:

— Вот вы, пожалуй, принимаете меня за мошенника, за вымогателя, но успокойтесь, это не так. Имейте терпение и выслушайте меня. Я в силу необходимости вынужден коснуться той душевной раны, до которой я обычно никого не допускаю. Всего два года тому назад жизнь моя текла гладко и беспечно. Я был акцизным чиновником, жил в своем домишке в одном из уездных городков. При мне жила старуха-мать и сестра, подросток. Жил я не по средствам, и немало моих векселей гуляло по городу, — что поделать, ведь раз в жизни бываешь молод...

Проживал в нашем городе и некий очень богатый купец. Скуп он был до легендарности, но при этом отличался неудержимой страстью к женщинам. Приглянулась этому сатиру моя сестра. Начались с его стороны всякие выпады, и дело дошло до того, что однажды, встретив меня, он стал всячески намекать на те материальные выгоды, которые посыпятся на меня в случае моей сговорчивости. Я выругал похотливого старика и перестал с ним кланяться. Мой отказ, видимо, распалил его еще больше, и он решил взять меня измором. Скупив под шумок мои векселя, он, выждав сроки, предъявил их ко взысканию. В результате посыпались исполнительные листы на мое жалование, дом мой был продан с молотка, я с горя забросил службу, был уволен, и, наконец, мы очутились в подвале, буквально умирая с голода. Месяца три крепилась моя сестренка, да что вы хотите, в 15 лет без привычки к труду, не ведав доселе нужды, не устояла она перед соблазнителем и погибла за несколько сот рублей. Но и тут этот негодяй не оставил в покое меня. Незадолго до разорения была у меня невеста, скромная прелестная девушка. Любил я ее так, как редко кому суждено любить... Старик вдруг воспылал и к ней страстью, но напрасны были его ухаживания, она оставалась верна мне, несмотря на все мои несчастья. Однако, когда старик пошел на все и предложил ее родителям на ней жениться, последние угрозами и уговорами настояли на своем, и свадьба состоялась. Месяца через два она прискучила этому негодяю, и началась для нее нестерпимая жизнь, полная попреков, огорчений, а иногда и побоев. Она стала кашлять кровью и теперь умирает в злой чахотке.

Вы теперь, надеюсь, понимаете, что имелась почва, на которой пышно расцвело самое страшное, самое лютое желание мести. Жажда мести положительно заполняла меня, и с тех пор составляет весь смысл моего дальнейшего существования. Я хотел было убить его, но затем нашел, что смерть, а следовательно покой, недостаточное наказание. Я знал, как скуп был старик, а потому пустить его по миру или лишить хотя трех четвертей состояния — значило довести его до кондрашки и медленной агонии. Вот почему я решил спалить его. Я знал, что этот скупердяй застраховал свое имущество в вашем Обществе, но по соображениям идиотской экономии застраховал его в четверть цены истинной стоимости. Я готов был привести свою мысль в исполнение, но в последнюю минуту у меня мелькнуло следующее соображение: спалив старика, я нанесу этим значительный ущерб и ни в чем не повинному страховому обществу, между тем это обстоятельство может быть обойдено к обоюдной нашей пользе. Если я дождусь окончания срока страховки и лишь тогда приведу свою месть в исполнение, то этим самым я сберегу вам несколько сот тысяч рублей.

Вы, конечно, понимаете, что я готов это сделать даром. Я хочу за эту услугу 10 000 рублей. Они мне необходимы. Поверьте, не корысть мной руководит. Если, совершив поджог, я не навлеку на себя подозрения, вернее, если я не буду уличен в нем и наказан, то с этими деньгами, забрав мать и сестру, уеду я подальше, где и попытаюсь начать новую жизнь. Если же я буду пойман в поджоге, то уйду в Сибирь с сознанием, что у близких моих имеется 10 тысяч и что с ними они, быть может, и без меня не погибнут. Итак, решайте...

Взволнованный вид этого человека, звук его голоса, каждый жест, словом, все давало мне уверенность, что передо мной не вымогатель, изложивший заранее выдуманную сказку, а человек, несомненно, глубоко потрясенный, искренний, отчаянием доведенный до преступного решения. Однако я подавил в себе это впечатление и заявил:

— А что вы скажете, если я позвоню курьеру, велю не выпускать вас и вызову полицию?

Мой собеседник горько усмехнулся:

— Какой вздор! Вы никогда этого не сделаете. Вы коммерсант до мозга костей, директор-распорядитель солидного предприятия — и 250-ю тысячами не станете рисковать и жонглировать. Вы говорите о полиции, но неужели же вы думаете, что мне, потерявшему все, готовому к каторге, может быть страшен арест? В чем вы сможете обвинить меня? В вымогательстве? Но это нужно еще доказать, да, наконец, что грозит мне за это? Месяц, другой тюрьмы... Между тем до истечения срока полиса остается около года. Таким образом, отбыв наказание, я десять раз успею осуществить мою месть и в то же время вы потеряете четверть миллиона...

Сознаюсь, я несколько поколебался.

— Будьте же благоразумны и войдите в наше положение, — сказал я. — Не можем же мы в самом деле дать 10 000 первому встречному? Какая же гарантия в том, что все вами сказанное не есть злостная выдумка.

— Гарантия? — и странный пришелец усмехнулся. — Прежде всего ваша чуткость и нервы, а затем... могу вам дать и реальную до некоторой степени гарантию. Извольте...

И он назвал свое имя, город Моршанск, адрес дома, где в подвале проживали его мать и сестра, назвал имя купца Коновалова и точный срок истечения его страховки и размеры ее, предложив недельный срок для проверки и наведения справок. Я заявил ему, что решение зависит не от меня, а от правления Общества, и что через неделю я передам ему ответ. На этом мы расстались.

Как раз в этот вечер было назначено заседание нашего Правления, и, исчерпав на нем дела, значащиеся на повестке, я довел до сведения Правления о моем странном визитере, рассказав подробным образом историю его и передав то впечатление, которое произвел он на меня.

Сначала раздались негодующие голоса и заявления:

— Гоните в шею этого мошенника, — заявили некоторые члены Правления, — мы не можем создавать столь соблазнительные прецеденты и т. д. Словом, каждый попытался выразить свое благородное негодование. Когда же я, резюмируя сказанное, заявил:

— Итак, ответ Правления решительно отрицательный? — то наступило сначала гробовое молчание, а затем раздались отдельные робкие голоса:

— А что, если это правда?.. Следует осмотрительнее отнестись к этому вопросу... 250 тысяч цифра немалая... и пошло, и пошло...

Разгорелся спор, и в результате чуть ли не под утро вынесли решение немедленно послать двух наших агентов в Моршанск для выяснения подробностей рассказа Кротова. Дней через пять вернулись наши служащие и подтвердили в точности мною слышанное. Это обстоятельство окончательно сбило нас с толку. Опять до глубокой ночи заседало наше Правление, опять споры, опять пикировка и наконец... было решено дать Кротову просимые им 10 тысяч... Не желая быть заподозренными в каком-либо преступном соучастии, Правление порешило принять все меры, не вредящие интересам Общества, но и охраняющие в то же время интересы нашего клиента Коновалова. Было решено известить его за несколько дней до истечения страховки об отказе нашего Общества в дальнейшем страховании. Кроме того, за сутки до срока послать письмо ему без подписи с предостережением об опасности, грозящей его имуществу вообще и особенно в ночь на 22 августа. Все это и было исполнено.

Хотелось бы мне еще отметить, что Правление руководилось не только коммерческими соображениями. Давая 10 тысяч, мы думали так: получит, мол, молодой человек свои деньги, за 8 месяцев поупокоится и, быть может, оставит свою месть. Таким образом,

мы делали и доброе дело, и не только перед существующими законами, но и перед самим Богом нисколько не повинны.

— Кто из членов Правления в курсе этой истории? — спросил я его.

Он назвал ряд фамилий. Я наудачу записал три из них, вызвал их и каждого допросил в отдельности. Их показания вполне совпадали с показаниями директора-распорядителя. Правдивость этих показаний казалась вполне вероятной еще и потому, что сведения Тамбовского начальника сыскного отделения и рапорта вернувшегося из Моршанска моего агента рисовали ту же картину травли Кротова Коноваловым.

Вызвав последнего, я изложил ему в общих чертах суть дела, упомянув об услугах, которые были оказаны ему страховым обществом. Он сдался не сразу, продолжая называть Общество мошенническим, но, убедившись в том, что у Кротова сообщников не было, он отказался от всяких дальнейших претензий, тем более что мною было указано ему на его низкое поведение по отношению к Кротову. Итак, главный виновник покончил счеты с жизнью, а лицо пострадавшее претензий не имело. Оставалось поведение Общества, и, разбираясь в нем, я крайне затруднялся в окончательной оценке. Имелось ли какое-либо правонарушение, на основании которого я мог бы привлечь его к законной ответственности? Общество вступило в переговоры с человеком, грозящим поджогом, но ведь разговаривать с кем-либо не возбраняется. Общество дало Кротову 10 000 рублей, но на какую цель? Для того, чтобы на 8 месяцев оттянуть исполнение его преступного решения, а если верить директору, то в надежде удержать его вовсе от преступления. Ввело ли Общество своими действиями кого-либо в убыток? Нет, не ввело. Укрывало ли оно преступника? Ничуть, и более того, сделало все от себя зависящее (предупредив Коновалова) не только для предупреждения пожара, но и для поимки поджигателя. Следовало ли Обществу заранее известить полицию о готовящемся поджоге? Да, со стороны нравственной, но не юридической, так как попустительство, доноительство и укрывательство в такого рода случаях могли бы иметь место с момента преступления, но не при наличии лишь одной угрозы.

Я не смог, однако, отделаться от какого-то скверного осадка, оставшегося у меня от всего этого, и прежде чем прекратить это дело, я решил посоветоваться, частным образом, с моим добрым знакомым, прокурором Московского окружного суда — Брюном де Сент-Ипполитом. Последний также не нашел в деятельности Общества наличия состава преступления, и дело было прекращено.

В этом казуистическом случае проявилась с особой наглядностью неполнота нашего законодательства, не всегда предусматривающего жизненные случаи, иногда весьма важные и тяжкие.

ПРОШЛОЕ ЧЕКИСТА

Как-то в 1906 году или 1907, точно не помню, начальник Петербургской сыскной полиции В. Г. Филиппов, призвав меня — своего помощника — в кабинет, сказал:

— Вы, конечно, Аркадий Францевич, слышали о трупе, доставленном нам третьего дня из Пскова. Займитесь лично этим делом и, выяснив его, доложите мне.

По докладу псковских агентов, привезших труп, дело обстояло так: в курьерском поезде, отходящем из Петербурга в Варшаву в 11 ч. вечера, на перегоне между Гатчиной и Псковом, проводником вагона первого класса в одном из купе был обнаружен мертвый человек с обезображенным лицом. По прибытии поезда в Псков местной жандармерией был составлен протокол и произведен обыск в купе. Пассажир оказался убитым ударом колющего оружия в сердце, причем лицо было совершенно обезображено серной кислотой. Дорожных вещей при покойном не имелось, карманы пиджака и пальто — пусты, но золотые часы с цепочкой целы. Ни паспорта, ни карточек, ни записки, словом, ничего, что могло бы пролить хоть некоторый свет на личность покойного. Вместе с тем в купе на полу у оконного столика было подобрано 2 весьма странных предмета: две деревянные полированные палочки, вершка по полтора длиною, с какими-то белыми костяными набалдашниками на одном из концов их — карандаши — не карандаши, игольники — не игольники, словом, предметы странные.

Получив это дело от Филиппова, я лично отправился в анатомический покой при Военно-Медицинской академии для осмотра трупа. Нового я ничего не установил. Доклад псковских агентов был точен. Убитый среднего роста, по определению врача, лет 45—50, одет в скромный поношенный черный пиджак, на вешалке которого виднелось клеймо магазина готового платья «Мандель». На довольно грубом белье меток не имелось, сапоги изрядно истоптаны.

Об этом убийстве протрубили газеты, и, как всегда в этих случаях, особенно постаралась «Петербургская газета». Огромными буквами печатала она сенсационные заголовки. Тут и «Лиловый труп», и «Псковский покойник», и «Мертвый иностранец» и т. д. Ввиду этой шумихи я был уверен, что с часу на час явятся родные или знакомые убитого для опознания тела, но прошли еще

сутки-другие — и никакого движения. Это обстоятельство изумляло меня. И в самом деле — трудно допустить, чтобы в столице пропал человек, чтобы труп его был найден, о находке население широко оповещено, а вместе с тем заявления об исчезновении не поступало. Впрочем, все в этом деле было необычно и странно: столь скромно одетый человек, а путешествовал почему-то в первом классе. Бумажник и вещи исчезли, а золотые часы и цепочка имелись налицо; были ли это часы умышленно оставлены грабителями, чтобы скрыть корыстную цель своего деяния, или же тут действительно корыстных побуждений не имелось, а исчезновение бумажника и вещей следует объяснять лишь желанием скрыть личность убитого. Последнее казалось более вероятным, ввиду обезображенного лица. В этом таинственном происшествии не имелось решительно никаких концов, за которые розыск мог бы ухватиться. Оставался один лишь довольно зыбкий путь — логика и теория вероятности. На него волей-неволей мне и пришлось встать. Прежде всего я попытался разрешить следующий вопрос: является ли убитый постоянным жителем Петербурга, выехавшим куда-либо на побывку, или наоборот — не приезжал ли покойный временно в Петербург, живя постоянно в провинции? Никаких прочных указаний не имелось, если не считать фирмы Манделя на вешалке пиджака. Трудно предположить, чтобы какой-либо провинциал, бывая случайно в Петербурге, соблазнился пиджаком от Манделя: провинциальный франт и лев полез бы к хорошему портному и не приобретал бы, конечно, дешевого готового платья, имея полную возможность заказать не худшее и примерно по той же цене у себя дома. Следует предположить поэтому, что убитый постоянный житель столицы. Но кто он? К какому сорту людей мог он принадлежать? Если это чиновник, служащий, торговец, да, наконец, просто не одинокий человек, то конечно, министерство, предприятие, семья или друзья всполошились бы и так или иначе навели бы справки. Между тем все молчат. Из этого следует, что покойный, по всей вероятности, нигде не служил, ничем не занимался, а жил на какую-либо ренту в полном одиночестве. Несоответствие платья с комфортом путешествия могло объясняться просто привычкой к удобствам и отсутствием потребности в элегантности. Такое сочетание в людях нередко встречается. Подобные умозрительные заключения подвинули меня вперед мало. Ведь факт убийства оставался по-прежнему не освещенным. Допустим даже, что я в своих предположениях не ошибался, но что же дальше? А между тем печать продолжала волноваться, и газета «Речь» помещала ядовитые заметки по адресу Петербургской сыскной полиции, вроде: «Убитый в варшавском поезде не оставил в кармане своей визитной карточки, а потому полиции и по сегодняшний день не удалось установить имя жертвы».

Я нервничал не менее Филиппова. Сидя у себя в кабинете, я в сотый раз перебирал все обстоятельства дела, тщетно пытаюсь

разрешить эту головоломную задачу. И вдруг у меня забрезжил слабый луч надежды! Я быстро надел пальто, вскочил в автомобиль и помчался в анатомический покой.

Как эта мысль не приходила мне раньше в голову? — говорил я себе, — ведь я почти уверен, что при первом моем осмотре трупа у убитого имелось на пальце обручальное кольцо, между тем в сохраняемых при полиции вещах покойного его не имеется. Очевидно, мои люди прозевали эту важную подробность.

Взяв понятыми двух сторожей, я проник с ними в анатомический покой. Жутко было пробираться в полночь, лавируя меж длинных столов, накрытых белыми простынями, хранящими под собою окоченелые мертвые тела. Меня подвели к указанному номеру, и я с лихорадочной поспешностью сдернул покрывало. Труп с красно-лиловым лицом и оскаленными зубами глядел на меня мертвыми впадинами глаз. Я быстро направил электрический фонарь на его правую руку и вздохнул с облегчением: кольцо существовало не только в моем воображении, но и, к счастью, никем не было украдено. Не без труда снял я его и тут же на кольцо направил сноп света. На его внутренней стороне я ясно прочел: «Анна 1 ноября 1901 года». Итак, теперь я имел нить, правда, непрочную, правда, неверную, но все же нить того запутанного клубка, над распутыванием какого я тщетно бился столько времени. Вернувшись к себе, я тут же ночью набросал план действий: с раннего утра пошлю десяток людей по консисторским и нотариальным архивам для проверки церковных метрических книг за 1901 год всех петербургских приходов. Пусть мои люди составят мне список всех Анн, венчавшихся 1 ноября этого года в столице. Работа эта была, конечно, хлопотлива, убитый мог венчаться и не в Петербурге, наконец, дата на кольце могла относиться ко дню обручения, а не ко дню свадьбы, но выбора у меня не было и приходилось действовать хотя бы так.

К вечеру следующего дня мои агенты представили мне список с 9-ю фамилиями. Со следующего же дня начались справки. Оказалось: из девяти Анн две за это время успели овдоветь, три переселились с мужьями в провинцию, где благополучно здравствуют, из оставшихся четырех — трое живут при мужьях, находящихся налицо. Анна же Сергеевна Лапина, жена отставного коллежского советника Антона Антоновича Лапина, живущего в доме 32 по Николаевской улице, проживает сейчас одна, сам же Лапин, по сведениям старшего дворника, с неделю как уехал за границу. Я немедленно навел справку в канцелярии градоначальника, где оказалось, что, действительно, коллежский советник Антон Лапин, проживающий по Николаевской, десять дней тому назад получил заграничный паспорт. Я срочно запросил по телефону пограничные станции (Вержболово, Границу, Александрово, Бело-Остров и пр.), но мне ответили, что коллежский советник Лапин границы не переезжал. Итак, я был как будто на верном пути.

По справке в полицейском участке, покойный Лапин оказался оставленным чиновником министерства народного просвещения, живущим на пенсию с женой, значительно моложе его. В квартире, кроме жены, проживала и кухарка Авдотья Федорова. Мне показалось более чем странным, что вдова покойного не удосужилась до сегодняшнего дня известить полицию о каких-либо подозрениях, и я начал за ней наблюдение.

Один из моих агентов, предложив дежурному дворнику папироску у ворот лапинского дома, разговорился с ним и невзначай добыл нужные сведения. Оказалось, что Лапины живут уже 5-й год в этом доме. Он беден и скуповат, барыня же щедрая, богатая — имеет свой дом на Лиговке. По словам дворника, барыня молодая, веселая, образованная, часто по «тиатрам ездют», а с тех пор, как уехал за границу муж, так редкий день дома сидит.

Эти данные заставили меня обратить сугубое внимание на Лапину, так как теперь казалось уже маловероятным, чтобы эта женщина не читала и не слыхала ничего про убитого в варшавском поезде.

Для дальнейших розысков я направил моего агента Леонтьева, своего рода сердцеда, пользовавшегося при желании огромным успехом у женского пола, на кухню к Лапиным. Несколько дней, несколько истраченных рублей на леденцы и пряники, и Леонтьев покорил Авдотью Федорову. От нее он узнал, что Лапин женат вторично и, как говорят, в припадке ревности убил свою первую жену; что, женившись вторично на богатой сироте, он живет с ней не дружно, часто ссорится; что за барыней ухаживает какой-то красавец князь, но в последнее время поссорился с барином и месяца два как у них не бывал. С тех пор же как уехал барин, зачастил каждый день. К тому же оказалось, что Лапины получают две газеты — «Новое время» и «Петербургскую газету».

Все это усилило мои подозрения против Лапиной. Я постарался представить себе ее вероятное дальнейшее поведение: если убийство мужа было с ее ведома, то, естественно, она позаботится об устранении близкого свидетеля ее семейной жизни, т. е. прислуги, и, вероятно, для прекращения неизбежных толков и пересуд в доме, попытается переменить квартиру и район местожительства. Не прошло и недели, как мои предположения сбылись в точности: придравшись к разбитой миске, Лапина рассчитала Авдотью, а еще через неделю переехала на Вторую Линию Васильевского острова.

За это время был установлен постоянный надзор за ее ухаживателем-князем, оказавшимся кавказцем (фамилии не помню). Этот кавказец был личностью темной, нечисто играл в карты, жил на средства увядших красавиц и вообще балансировал на грани уголовного. Чрезвычайно важно было установить, за кого выдает себя Лапина на новой квартире. Оказалось, что она не нашла даже нужным переменить фамилии и была прописана все по тому же паспорту. Очевидно, она считала себя достаточно забронированной

от полицейских преследований. Я приказал произвести обыск в меблированных комнатах «Заремба» на Невском, где проживал «герой» Лапиной, причем люди мои обнаружили очень важную подробность: одна из черкесок князя, заброшенная за шкаф, имела на фалде своей две круглые дырки, края которых носили явные следы прожога серной кислотой (химический анализ установил это в точности). Разглядывая эту черкеску, меня осенила мысль: я поспешно вынул из ящика две таинственные палочки с костяными концами, найденные при убитом в купе, и, вставив их в пустые гнезда от патронов на черкеске, я убедился в полной их тождественности с остальными.

Омерзительная репутация кавказца вообще и находка черкески в частности дали мне право арестовать последнего, что я и сделал. Для ареста Лапиной у меня, кроме нравственного убеждения в ее виновности, ничего не имелось. Произведи я ее арест, и она, замкнувшись в своем упорстве, могла бы приняться утверждать, что о судьбе мужа не подозревала, что переменила квартиру с его ведома и согласия, пользуясь его временным отсутствием и т. д. Следовательно, важно было получить ее заявление при свидетелях, либо о мнимом вдовстве, либо о несуществующем разводе с мужем, чтобы, поймав ее во лжи, попытаться привести ее к сознанию. С этой целью в одно прекрасное утро к Лапиной явился молодой студент в потертой тужурке с двумя стриженными девицами и, будучи принятыми Лапиной в гостиную, заявили ей: «Не желаете ли приобрести билеты на концерт, устраиваемый в пользу студенческого общежития Петербургского университета. Свое участие нам обещали и Федор Иванович Шаляпин, и Северский, и Леонид Собинов, и Баттистини, и Кякшт, и др.». Лапина замаялась несколько:

— Ах, право, не знаю, пожалуй.

— Вы разрешите два билета — вам и супругу? — спросил студент. — Какого ряда прикажете?

— Нет, дайте один, зачем же мне два? Я одинокая женщина и вдовею уже третий год.

Студент, встав, резко сказал:

— Довольно этого балагана. Я и мои помощники — агенты Петербургской сыскной полиции. Вы обвиняетесь в убийстве вашего мужа Антона Антоновича Лапина, против вас собраны неопровержимые улики, и если мы явились к вам под масками, то только для того, чтобы убедиться еще и в том, что вы ложью упорно пытаетесь скрыть ваше преступление. Ваш сообщник князь Х. арестован и во всем сознался. Не пытайтесь отрицать своей вины, так как вы сами понимаете, что самый факт вашего молчания, вашего незаявления полиции об исчезновении мужа, в связи со сведениями, наполняющими газетные столбцы, ваш скоропальный переезд на новую квартиру, неожиданный расчет опасной свидетельницы вашей семейной жизни — прислуги, наконец, ваша сегодняшняя ложь, — все это и помимо признания вашего любовника изобличают вас. И более того, арестованный сообщник у-

верждает, что душой преступления были вы. Вы подстроили это убийство и взяли клятву с князя о молчании.

Растерявшаяся Лапина горячо заговорила:

— Ну, уж нет! Это он лжет. Он во всем виноват. Он уговорил меня согласиться на это дело, рисуя радужные перспективы нашего будущего с ним счастья, причем подло обманул меня и завел романы, слухи о которых до меня уже дошли.

Лапина была арестована и на допросе в сыскной полиции показала:

— Я без особой любви вышла замуж за своего мужа. Я была 18-летней сиротой, жизни не знала, скучала. Подвернулся мне Антон Антонович, сделал предложение, и я вышла. Человек он оказался прескучный, желчный, болезненный и ревнивый. Лишь после замужества узнала я, что первую свою жену он убил в припадке ревности, но был по суду оправдан. Двадцать пять лет прослужил он в мужской гимназии, преподавая географию, и ко времени нашей свадьбы был в отставке и жил на пенсию. Ревновал он меня ко всем, а особенно к князю Х., с которым даже поссорился, запрета ему бывать у нас. Между тем мы не могли с князем жить друг без друга, виделись с ним тайно, каждый раз опасаясь мести мужа. Наконец, такое положение стало невыносимым, и Х. уговорил меня покончить с назойливым супругом. Он же и выработал план. Я принялась уговаривать Антона Антоновича поехать за границу. Я обещала ему 1000 рублей на лечение и уверила, что оставлю полным комфортом его путешествие. Мужу не хотелось ехать, но соображения о здоровье, как и следовало ожидать, взяли верх, и он поехал. Хотелось ему меня взять с собой, но чувство скупости удержало от этого. Князь выехал тем же поездом и, уловив удобный момент, убил кинжалом мужа, облил для неузнаваемости его лицо серной кислотой, выкинул из окна его бумажник и дорожные вещи, пользуясь темнотой ночи, после чего, сойдя на первой станции, вернулся в Петербург обратным поездом. Я признаю всю мерзость моего поступка, но что ж мне было делать? Мужа я не любила, без князя жить не могла, о желанном разводе и заикнуться не смела. Судьба наказала меня уже: мой Георгий оказался не тем, кем я его считала. Не столько любовь моя, сколько деньги манили его ко мне. Свершенное злодеяние и горчайшее разочарование в любимом — это удары, от которых вряд ли я оправлюсь. Жизнь мне опостылела и да свершится надо мной людское правосудие — мне все равно!

Князь оказался не только негодяем, но и дураком. Он врал и отрицал самые очевидные факты, отплевывался от неоспоримых вещественных доказательств и, говоря о Лапиной, твердил все одну и ту же фразу:

— Врет, стэрва. Князь честный человек!

Однако суд не согласился с «честным человеком», признал факт убийства доказанным и приговорил кавказца к 20, а его сообщницу к 8 годам каторжных работ.

Впрочем, последняя каторги не отбывала, так как скончалась месяца через три от скоротечной чахотки в тюремной бутырской больнице.

Много позднее, в г. Виннице, Каменец-Подольской губернии, где я скрывался от большевиков, после падения гетмана Скоропадского, демонический профиль князя как-то промелькнул передо мной на одном из перекрестков улиц. Этот негодяй был вооружен до зубов, ехал развалиясь в автомобиле, в сопровождении всем известных местных чекистов. К величайшему счастью, он не заметил меня; будь иначе — я, конечно, не писал бы теперь этих очерков.

МОЙ ДЕБЮТ

В самом начале 900-х годов я был назначен начальником Рижского сыскного отделения. В ту пору я был новичком в сыском деле, а потому не без робости принял это назначение. Рига и тогда была крупным центром с весьма пестрым населением, особенно преобладали латыши и немцы, а следовательно, в борьбе с преступностью приходилось учитывать и их психологию, весьма своеобразную и мало схожую с русской.

Судьба отнеслась ко мне строго и с места в карьер предъявила мне на разрешение ряд сложных задач.

В первые же месяцы моей службы в городе вспыхнула эпидемия убийств, весьма свирепого свойства. Так, в центре города за православным собором на том месте, где находится теперь эспланада, а в ту пору простиралась голая пустошь, вечерами плохо освещаемая редкими керосиновыми фонарями, был обнаружен убитый мальчик гимназист 17-ти лет Детерс, сын местного богатого купца, игравшего заметную роль в городском самоуправлении. Тело мальчика было истерзано: множество ножевых ран, поломаны ребра, сломан нос, выбит глаз; на шее кровоподтеки. Характерно, что из рта убитого был извлечен кусок мяса, оказавшийся первой фалангой мизинца. Этот кусок мизинца, как и общий вид трупа, не оставлял сомнений в отчаянной самозащите убитого. Это было тем более вероятно, что Детерс был очень крепкого телосложения и, как оказалось, много занимался спортом.

Убийство, видимо, было совершено с целью грабежа, так как все карманы покойного были выворочены. Известили несчастных родителей и узнали от них, что у сына, видимо, были похищены золотые часы с инициалами, подарок отца за хорошее учение, да бумажник, в котором могло находиться всего лишь несколько рублей.

Мной немедленно были оповещены как местные ломбарды, так и ювелирные магазины. Мои агенты рассыпались по городу и принялись обшаривать все подозрительные притоны. Обыскивали известных полиции скупщиков краденого, и я с часу на час ждал, что похищенные часы будут обнаружены и таким образом в моих руках будет нить для отыскания убийц. На третий день после убийства на Задвинье, у ночной чайной близ понтонного моста был обнаружен новый труп, в котором мы узнали Ганса Ульпэ, по прозвищу

Грешный затылок. Ганс Ульпэ, как вор рецидивист, был хорошо известен рижской полиции. Попадался он обыкновенно в кражах некрупных, при допросах не завырался, с легкостью выдавая своих сообщников. У Ульпэ был разможен затылок и в оскаленных зубах торчала записка; на ней значилось: «собаке собачья смерть». Примерно через неделю после этого убийства был в пригороде убит и ограблен фурман (извозчик). Еще через несколько дней опять в Задвинье — дворник.

Я положительно растерялся.

Тщетно мои люди рыскали по городу в надежде уловить какой-нибудь слух, наводящий на след, — все было напрасно.

Взвешивая и обдумывая происшедшее, я пришел к заключению, что в городе орудует шайка, так как если Ганс Ульпэ, как человек хилый, и мог стать жертвой единоличного нападения, то трудно было предположить то же об убийстве Детерса, хотя бы по количеству и роду повреждений, ему нанесенных. Вряд ли и извозчик, ехавший на пролетке, мог подвергнуться нападению, ограблению и убийству одним человеком. С другой стороны, убийцы и грабители были размаха некрупного, так как довольствовались столь скромной добычей, а записка, извлеченная изо рта Ганса Ульпэ, была написана корявым почерком малограмотного человека и этим самым давала как бы некоторое указание на ту социальную среду, в каковой и следует разыскивать преступников. Конечно, если бы подобного рода преступления мне пришлось бы расследовать, скажем, десятью годами позднее, т. е. уже в бытность мою в Москве, то задача моя сильно упростилась бы, так как в деле этом имелся бесценный след, — я говорю об откушенном мизинце. Этот мизинец при помощи дактилоскопии явился бы визитной карточкой убийцы, но в тот рижский период дактилоскопия еще не применялась полицейскими органами и розыск обходился лишь антропометрией.

Таким образом, придя к заключению, что все эти убийства являются делом рук шайки, членами которой состоят, по-видимому, низкопробные мазурики, я и направил все силы розыска на городское мазурье этого калибра. Совершенно неожиданно, недели через полторы-две после убийства Детерса, родители его сделали мне дополнительное заявление: они указали, что, кроме часов и бумажника, у покойного похищен и серебряный портсигар с эмалевым украшением в виде двух ласточек в уголке — подарок его дяди.

— Отчего вы не заявили мне об этом раньше? — спросил я их.

Они ответили, что их сын не всегда носил портсигар при себе, но что, пересмотрев все вещи покойного, портсигара они не нашли, а потому полагают, что он был при их сыне в момент убийства. Вновь оповестил я ломбарды и магазины и в тот же день получил ответ из ссудной кассы Граупнера, что портсигар, подходящий по приметам, был недели полторы тому назад заложен. По предъявлении его Детерсам, он был ими опознан.

Я допросил кассира и оценщика ссудной кассы. Кассир решительно ничего не помнил, а оценщик заявил, что будто припоминает, что портсигар был заложен женщиной высокого роста с полным, несколько одутловатым лицом. Более точных примет он указать не мог. Само собой разумеется, что имя, проставленное на налоговой квитанции, оказалось подложным и принадлежавшим какой-то давно умершей женщине. Пришлось прибегнуть к мерам героическим: по воровским притонам, ночлежным домам, вертепам и «ямам» были временно задержаны все зарегистрированные воровки, мошенницы, сводни высокого роста, препровождены в сыскную полицию и в количестве около сотни душ были поодиночно предъявлены оценщику ссудной кассы. Ни в одной из них он не признал женщины, закладывавшей портсигар.

Дней за пять до этих «смотрин» меня известил заведующий колонией малолетних преступников из Роденпойса о побеге одного из своих питомцев, некоего воришки Александра Круминя, прося меня разыскать его. Александр Круминь не раз попадался в кражах и был известен полиции. Уведомленные о его побеге агенты, производя в притонах вышеописанные облавы, наткнулись в ночлежном приюте «Булит» на Задвинье и на Александра Круминя. Попытались у него выведать сведения о ряде убийств, недавно происшедших в городе, но мальчишка лишь выразительно свистнул и не без гордости заявил:

— Чтобы я, «шкет», да «налягавил» на товарищей, этого не дождетесь. Если Наташка Шпурман не выдала, то от меня и по-давно не дождетесь.

Его спросили, откуда он знает, что Шпурман допрашивали. На это он заявил, что Шпурманша всюду рассказывает, какой кукиш поднесла она не только шпикам, но и самому «лелькунгс Кошкас» (главному начальнику г-ну Кошко). Мальчишка говорил, очевидно, о только что состоявшемся осмотре оценщиком задержанных высокорослых женщин. Я пожелал лично допросить Круминя.

— Послушай, Сашка, — сказал я ему, — хоть ты и «шкет» и не «лягавый» (доносчик), а все-таки подумай над тем, что тебе предстоит. Ты третий раз бежал из колонии и знаешь, что за это полагается жестокая порка. Если будешь заператься, то я со своей стороны попрошу заведующего колонией прибавить тебе и от меня ударов пятьдесят; расскажешь же подробно и толком, что говорила Шпурман, обещаю избавить тебя от порки вовсе, сам выбирай.

— Нет, господин начальник, вы хоть насмерть меня запорите, а выдавать не стану.

Так я и не добился от него ни слова. Однако из невольных разглагольствований Круминя о «достойном» якобы поведении Шпурман «на смотринах» невольно создавалось впечатление, что женщина эта может и знать кое-что о недавних убийствах, а потому все внимание розыска я направил на нее.

Судьба этого опустившегося существа была поистине трагична: происходила она из хорошей зажиточной семьи, выросла в доволь-

стве и кончила местную женскую гимназию. Тут приключился у нее несчастный роман, длился он недолго, и Наталья с ребенком на руках была брошена любовником. Семья от нее не только отвернулась, но и прокляла. Ребенок скоро умер, и осталась она одинока, без всяких средств, без привычки к труду, да еще с подмоченной репутацией. Падение ее быстро завершалось: сначала более или менее длительные незаконные связи, затем Шпурман пошла по рукам и, наконец, очутилась в доме терпимости. Задыхаясь в этой клоаке, она сумела, наконец, из нее вырваться. Теперь пути к честному труду были закрыты и оставалось лишь приобрести к уголовщине, что Шпурман и сделала, приобретя вскоре славу скупщицы краденого и ловкой укрывательницы воров. Неоднократное пребывание в тюрьме не способствовало ее возрождению, и к описываемому времени Шпурман пала окончательно и бесповоротно. К этому времени присоединилась еще пагубная привычка к водке, и часто городовые подбирали ее под заборами в бесчувственном виде и отвозили в участок для отрезвления. Пила она, как говорили, запоем.

Я пожелал лично и немедленно ее допросить. Мне не повезло: Шпурман оказалась в пьяной полосе и, что называется, лыка не вязала. Я сдал ее на руки моей агентше Эмме Зеринг, отпустил последней известную сумму и просил ее принять на себя роль благовоспитательницы и выходить Шпурман.

В ту пору мне плохо еще были ведомы глубины человеческого падения, зачерствелость преступных сердец и часто неисцелимая жажда преступных вожделений. Мне наивно представилось, что к Шпурман следует подойти с лаской, с увещеванием, и я надеялся, что под влиянием горячей проповеди растает у нее лед и на сердце. Вызвав ее к себе, я начал так:

— Садитесь, Шпурман. Я с радостью вижу, как вы преобразились. Вы снова стали человеком и, надеюсь, не временно, а навсегда. Добрая женщина, вас приютившая, сделала поистине хорошее дело, подняв вас сейчас до уровня, на который вы имеете право по рождению, воспитанию и образованию.

И, словно растроганный этими словами и звуком собственного голоса, я вытащил платок из кармана и, помигав выразительно, высморкался. Покаяюсь, однако, что роль кликушествоющего миссионера мне решительно не удалась. Шпурман огорошила меня словами:

— Такой большой и такой глупый. Вы положительно принимаете меня за дуру. Во всяком случае, вашей агентше, меня приютившей, я очень признательна.

И, подумав, она рассказала мне следующее:

— Вы, конечно, желаете выпытать у меня что-либо о последних убийствах? Так скажу вам на то, что родились вы в рубашке: не ворвись в мою жизнь два привходящих обстоятельства, и калеными клещами не заставили бы вы меня говорить. Я так ненавижу людей, я так глубоко презираю общество, выбросившее

меня из своих рядов, я так проклинаю судьбу и небо за ниспосланный на мою земную долю ужас, что всякое зло, всякое убийство наполняют мое сердце отрадой. В этих грабителях, мошенниках и убийцах я склонна видеть заступников, сводящих за меня счеты с этой подлой, часто от жира бесящейся средой, меня заклевывшей. Скажу откровенно, что не только выдавать убийц я бы не стала, но сочла бы своим радостным долгом посодействовать им в укрывательстве. Но как я уже говорила, в данном случае имеются обстоятельства, принуждающие меня поступить иначе. Эти негодяи убили Ганса Ульпэ, моего любовника, и за его смерть я желаю мстить. Тем более что в убийстве этом есть и моя невольная вина: с пьяных глаз я проболталась убийцам, спустившим мне портсигар Детерса, о том, что имена их известны через меня и Ульпэ. Ганс же пользовался репутацией человека ненадежного, легко выдававшего всех и каждого, попадаясь в кражах. До меня дошли слухи, что у шайки убийц ночью в саду Аркадия на Альтюнасской улице было совещание, на котором порешили устранить опасных свидетелей — Ульпэ и меня. Я было не поверила этим слухам, но к ужасу моему Ульпэ был убит на следующий день. И теперь я на очереди. Конечно, жизнь для меня не красна, но при одной мысли о смерти меня охватывает животный страх. Вот почему берите карандаш и бумагу, записывайте, я назову вам главаря и членов шайки, убивших и гимназиста, и Ганса, и извозчика, и дворника. Я вздохну свободно лишь после того, как все они будут у вас под замком. Меня же пока оставьте здесь, в камере, под охраной, мне будет спокойнее. Если вам нужен законный повод для моего задержания, то знайте — портсигар убитого закладывала я.

И Шпурман назвала мне главаря шайки Карла Озолинш. Он как злостный преступник давно был известен рижской полиции. Отец его и вся его семья, жившая в уезде, были темными преступниками. Из членов шайки Шпурман назвала беглого каторжника циркового атлета Христофорова (по кличке Капут), Иоанна Бозе, лишившегося мизинца после убийства Детерса и прозванного потому Фингергутом. Остальных двух, имеющихися якобы членов шайки, Шпурман не знала, но о них лишь слышала. Она тут же заявила, что Фингергут сразу после убийства мальчика, боясь быть узнанным по недостающему пальцу, уехал в Нижний. Христофоров скрывается в городе у своей «шмары» (любовницы) Лейцис, а главарь Озолинш выехал к отцу в деревню.

Слова ее в точности подтвердились. Христофоров был арестован у своей любовницы; о Бозе я телеграфировал в Нижний начальнику сысканого отделения, переслав последнему фотографическую карточку этого давно у нас зарегистрированного мазурика, и недели через две Бозе был привезен в кандалах из Нижнего. С главарем шайки пришлось повозиться. Его сельский адрес хотя и был нам известен, но дело осложнялось тем, что родной дядюшка его служил писарем в волостном правлении, а следовательно, в случае

запроса о месте пребывания Озолинша последний был бы им извещен. Пришлось выработать иной план.

Наступал конец весны, т. е. время, когда скупщики овечьей шерсти разъезжают по губернии, скупая товар. Я в Риге знал одного такого скупщика и после долгих уговариваний упросил его взять меня и моего агента Швабо с собой в турне в качестве приказчиков. Ранним утром подходили мы втроем к хутору старика Озолинша. Хутор этот стоял на открытом поле. За ним в полуверсте виднелась дубовая роща. Приближаясь к хутору, я заметил на дворе какое-то смятение.

Кто-то выбежал из дому, перепрыгнул через забор и помчался к дубовой роще. Но когда мы вошли в самую усадьбу, то нам представилась весьма мирная картина: старуха вязала чулок, старик на крылечке покуривал трубку, а две «лунс кундзинь» (молодые девицы) приплясывали, подпевая популярную латышскую песенку — «Тудулин, сегадин, пастельниэкумс танцен».

Поздоровавшись, мы сообщили причину нашего приезда и принялись рассматривать и сортировать предложенную нам к покупке овечью шерсть. Весь день провели мы за этой операцией, тут же обедали, пили чай, но, не покончив со всей партией, отложили нашу работу до утра. От зоркого наблюдения не могла ускользнуть некоторая как бы тревога хозяев. Они то о чем-то шептались, то грустно вздыхали, а то становились вдруг неестественно веселыми. На ночь нам отвели мезонин, окнами выходящий как раз на дубовую рощу. Я решил дежурить поочередно со Швабо всю ночь. Часа в два утра, наблюдая за двором, я увидел одну из хозяйских дочерей, шмыгнувшую с корзинкой в руках по двору. Девушка вышла за ворота и направилась к роще. Я осторожно сошел вниз и шагах в трехстах за ней последовал.

Ночь была лунная, светлая. Осторожно согнувшись, перебежал я от куста к кусту. Так я добежал чуть ли не до самой рощи. Девушка вошла в нее и, пройдя несколько шагов, остановилась и поставила к подножию старого дуба, одиноко росшего на небольшой полянке, корзину. Махнула как-то рукой, словно что-то бросая, и поспешно пошла обратно домой. Я остался наблюдать за тем, что будет дальше. Мне думалось, что корзина поставлена на условное место и что вот из лесу выйдет кто-либо за ней.

Было около четырех часов. Светало, хотелось спать, и я зевнул, закрыв глаза и сладко потянувшись. Открыв их, я чуть не подпрыгнул. Что за черт, корзина исчезла. В изумлении я протер глаза. Случай казался невероятным: ведь на мое зевание пошло секунд пять, много десять, между тем и самому ловкому человеку понадобилась бы, по крайней мере, минута, чтобы перебежать поляну, схватить корзину и утащить ее в лес. Я пребывал в полном недоумении, но вдруг, осененный мыслью, сразу успокоился: разбойник, конечно, сидел на дереве и просто подтянул к себе корзину. Ведь недаром девушка, ее принесшая, что-то швырнула, как мне показалось; конечно, она закинула конец веревки на одну из

ветвей дуба. Наблюдать далее казалось излишним: не вступать же мне в единоборство с убийцей, тем более что мне пришлось бы быть на открытой поляне, а ему за прикрытием ветвистого дерева. Я вернулся и также тихо пробрался в мезонин.

Разбудив Швабо, я рассказал ему о результатах моего наблюдения, и, растолкав нашего скупщика шерсти, мы совместно выработали ближайший план. Мы условились утром для видимости провозиться над разбором шерсти часа полтора-два, после чего наш «патрон» даст хозяину задаток и заявит ему, что явится с подводами завтра, произведет окончательный расчет и увезет закупленную шерсть. Все так и произошло: рано утром появились: «пенс» (молоко), «скаба-путра» (латышская каша) и даже пара бутылок «аллус» (пива). Если в корзинке был такой же завтрак, подумал я, то «птичка Божья» не голодает. Дав задаток и распрощавшись, мы направились по дороге, но, конечно, не в ту сторону, откуда пришли, а как бы продолжая наш обход и покупки. Сделав здоровый крюк, версты в четыре, мы вновь вышли на дорогу и отправились к станции. Здесь мы расстались: наш скупщик вернулся в Ригу, а мы со Швабо направились в ближайший уездный город Вольмар. Здесь, взяв десять урядников, мы вернулись на эту же станцию и двинулись к хутору Озолинша. Шли мы нарочно медленно и, не доходя до него, даже присели покурить на высоком открытом холмике. Я зорко следил за усадьбой. На ней повторилось в точности то же, что и в прошлый раз: общий переполох, а затем какой-то человек перебежал двор, перемахнул через забор и пустился наутек к дубовой роще.

Я направил Швабо с тремя урядниками на хутор для производства тщательного обыска, а сам с оставшимися семью человеками кинулся к роще. Окружив полянку все с тем же дубом, я крикнул разбойнику:

— Эй, ты, Карл Озолинш, слезай!

Ответа не последовало. Мы внимательно всматривались в густое дерево, но Озолинша не было видно. Не получив ответа, мы кинулись с топорами к старому дубу, намереваясь его срубить, но из-под вершины дерева щелкнул выстрел и один из урядников, раненный в плечо, выронил топор. Мы разбежались и, прикрывшись деревьями, открыли беспорядочную стрельбу.

— Не стреляйте, — заорал Озолинш. — Я сдаюсь! — и, швырнув на землю револьвер, стал медленно сползать с дерева.

Он тотчас же очутился в наручниках. Оказалось, что у убийцы было сооружено целое логовище в ветвях дуба, своего рода крепкий замок, обнесенный со всех сторон, так сказать, живым трельяжем.

Мы вернулись на хутор, обыск был в полном разгаре.

Дом Озолинша оказался сущим интендантским складом: в подвале и на чердаке были обнаружены целые батареи сахарных голов, цибики чая, пуды кофе, огромное количество мануфактуры и т. п. Среди разных бумаг была найдена и квитанция Вольмарской ссудной кассы на золотые часы, оказавшиеся принадлежащими Детерсу.

Вся почтенная семейка была мною арестована и под конвоем привезена в Ригу. Таким образом, недельки через две после этого в моих руках находились не только главарь шайки, но и два видных ее члена, причем против каждого из них имелись веские улики. Против главаря Озолинша ломбардная квитанция на заложенные часы; против Христофорова говорила записка, вынутая изо рта Грешного Затылка, написанная рукой его, Христофорова; привезенный из Нижнего Фингергут не мог сколько-нибудь правдоподобно объяснить потерю фаланги мизинца. Эти улики да ряд противоречий на перекрестных допросах заставили их, наконец, сознаться. Но остальных двух членов шайки, о которых глухо упоминала Шпурман, все они назвать наотрез отказались. Впрочем, эти два «молодца» попались значительно позднее и по другому делу, причем были присуждены по совокупности преступлений.

Судьба участников этой далекой кровавой драмы была весьма разнообразна: главарь Озолинш был приговорен к пожизненной каторге, но пробыв в Сибири года четыре, бежал оттуда, появился в Риге и свел счеты с несчастной Шпурман, размолив ей голову ударом топора, за что и был повешен по приказанию начальника карательной экспедиции Орлова. Христофоров и Фингергут, приговоренные к двадцатилетней каторге, отбывали ее вплоть до революции, после чего вернулись обратно в Латвию. «Шкетишка» Крумен сделал головокружительную карьеру. Этот «обещающий» мальчик, как я слышал, играет ныне видную роль в европейских дипломатических кругах. Что же касается моего Швабо, то на днях газеты сообщили об его аресте в Совдепии, где он занимал должность начальника Московского уголовного розыска. Если газетные сведения точны, то не встречать мне уже, конечно, Швабо на этом свете.

КОРОЛЬ ШУЛЕРОВ

В 1905 году на рижском горизонте появилась фигура, быстро обратившая на себя всеобщее внимание. То был граф Рокетти де ля Рокка.

Этот «испанский гранд», кстати прекрасно говоривший по-русски, занял лучший номер гостиницы «Франкфурт-на-Майне», что помещалась на Александровской улице, и зажил на широкую ногу. Граф был высоким желтолицым брюнетом с черной красиво расчесанной бородой, прекрасно одевался, обладал изящными, несколько развязными манерами, словом, был знатным иностранцем. Он как-то быстро сумел втереться в местное общество, стал появляться в офицерском собрании 29-й артиллерийской бригады, сделался членом местного клуба и, как говорили, даже пытался записаться в клуб Черноголовых — в это кастовое и фешенебельное учреждение.

Граф повел крупную карточную игру и сразу прослыл за чрезвычайно счастливого игрока. Его удачливость в игре стала вскоре притчей во языцех и повела к тому, что ко мне, как к начальнику местного сыскного отделения, стали обращаться почтенные горожане, сыновья которых легкомысленно проигрывали графу крупные суммы. Так, помнится мне, обратился за моей помощью некий Ранк, рижский коммерсант и домовладелец. Он жаловался, что сын его днюет и ночует у графа во «Франкфурте», безудержно предается игре и проигрывает большие деньги.

Ранк никаких подозрений не высказал, а просил лишь обратить внимание на то, что игра производится в гостинице. Но так как слава о невероятном счастье графа все разрасталась, то я нашел нелишним навести негласно о нем справки.

Я запросил гостиницу. Оказалось, что Рокетти живет большим барином, щедро сыплет чаевыми, за все платит аккуратно и вообще является желанным постояльцем.

Между тем удачи Рокетти продолжались, и у меня все больше крепло подозрение: уж не шулер ли он? Я обратился за справками в Москву и Петербург, описав возможно точнее наружность графа, но из обеих столиц мне ответили, что граф Рокетти де ля Рокка местным полициям неизвестен и в списках профессиональных шулеров не значится. Я, откровенно говоря, ожидал того ответа. Теперь приходилось предположить, что Рокетти вовсе не Рокетти, а

под этим именем скрывается кто-то другой. Для более точного ответа из столиц потребовалась бы фотография заподозренного, но у меня ее не было, а следовательно, нужно было ее достать, как и паспорт, не возбуждая при этом в «графе» подозрений.

Я не видел другого способа, как командировать для этой цели своего человека под видом случайного проезжего, остановившегося в «Франкфурте». Сделать это было нелегко, так как штат рижской полиции был не так уж велик и сколько-нибудь способные агенты его могли быть известны прислуге и администрации гостиницы, что в свою очередь могло бы помешать делу. Тут я вспомнил о некоем Янтовском, ловком разбитном поляке, хотя и не служащем у меня, но не раз напрашивавшемся на службу в сыскную полицию.

Я позвал его к себе.

— Хотите, Янтовский, испробовать ваши силы и, в случае удачи, быть зачисленным в наш штат? — спросил я его.

Он с радостью выразил полную готовность, и я, растолковав ему, что от него требуется, благословил его на работу.

Янтовский в тот же вечер с чемоданчиком в руках прибыл в «Франкфурт» «с вокзала» и, заняв номер в том же коридоре, где и Рокетти, прописался лодзинским коммерсантом, приехавшим в Ригу по делам.

Однако попасть к «графу» было не так просто. Он был «недоступен» и, видимо, завязывал знакомства «с большим разбором». В бесплодных попытках прошла целая неделя, и лишь в начале второй Янтовскому за табль д-отом и бутылкой Кристалля удалось обратить на себя высокомиловитое внимание почтенного графа. Они разговорились и вскоре вместе как следует выпили.

С этого момента началась их дружба. Янтовский выдавал себя за крупного коммерсанта, богатого, но прижимистого, лишь изредка, словно прорываясь, открывал графу «перспективы и возможности». Раза два играл с ним в железку по маленькой, проиграв ему скромно сто рублей (бюджет рижской полиции не позволил большего). Вскоре Янтовский явился ко мне и заявил, что у Рокетти в номере фотографий не имеется, но что ему, Янтовскому, удалось на несколько часов похитить паспорт графа из письменного стола.

Паспорт этот был немедленно сфотографирован и внимательно осмотрен. Оказался он выданным в Петербурге испанским посольством года полтора тому назад. Печати, подписи, текст — все было в полной исправности и не могло внушать подозрений. Янтовскому я поручил подложить паспорт на прежнее место и во что бы то ни стало уговорить «графа» сняться. Сам же я телеграфировал в Петербург в испанское посольство, прося указать мне дату выдачи паспорта графу Рокетти де ля Рокка. Через несколько дней канцелярия посольства мне любезно сообщила год, месяц и число выдачи означенного паспорта, и, к моему величайшему изумлению, они были те же, что и на паспорте.

Между тем мой «граф» окончательно распоясался: бил направо и налево, выдерживал тальи по 15 карт и загребал деньги, что называется, лопатой.

Несмотря на благоприятные для графа сведения из столиц, во мне, однако, росла уверенность в том, что он играет нечисто. Ведь не может же, в самом деле, счастье никогда не изменять? Рокетти же никогда не проигрывал. Между тем Янтовскому удалось, наконец, добиться цели. Как-то утром, после сильного кутежа в «Варьете Шнелле» Янтовский возвращался домой под руку с Рокетти и, проходя мимо какой-то маленькой фотографии, припал к «графу» на грудь и, признаваясь ему в любви и дружбе, уговорил последнего сняться с ним на память. Хотя час был довольно ранний, но пьяная энергия и деньги сделали свое дело, и нечесаный фотограф снял обнявшихся приятелей. Карточка была мне доставлена, изображение Янтовского я срезал, и фотография «графа» с рукой Янтовского, обрубленной по плечо и обнимающей Рокетти, отправилась в Петербург.

Через двое суток меня известили, что присланная физиономия принадлежит известнейшему шулеру, некоему Ракову, бывшему поручику одного из армейских кавалерийских полков, выгнанному из части за те же грехи. Раков хорошо известен петербургской полиции и давно зарегистрирован ею в число своих постоянных «клиентов». К тому же имеет в прошлом судимость за кражу.

— Вот тебе и граф Рокетти де ля Рокка!

Воображение загалопировало: ведь если паспорт у Ракова не поддельный, то куда же девался истинный его владелец? И не перешагнул ли Раков где-либо за границей через труп графа де ля Рокка?

Церемониться теперь было нечего, и, взяв своего агента Швабо и все того же Янтовского, я в их сопровождении нагрянул ночью во «Франкфурт» для производства обыска у Ракова. «Граф», как водится, попытался изобразить оскорбленное достоинство, но, будучи назван мною по фамилии, быстро увял. Обыск дал кое-что: было найдено несколько дюжин нераспечатанных колод, присутствие которых Раков объяснил частой игрой в карты.

Однако на дне его элегантного чемодана в особой коробочке была обнаружена карта поистине филигранной работы. По виду это был обыкновенный валет пик, но при детальном осмотре этот валет превращался в короля той же масти. Трюк заключался в следующем: был взят валет пик обычного вида и на одной из половин этой карты была искусно наклеена на тончайшей бумаге половина карты короля пик; другая половина короля не была подклеена вовсе и могла свободно сгибаться и разгибаться при помощи тончайшего волоска, подклеенного на сгибе и игравшего роль шарнира; на обратной стороне этой движущейся плоскости было изображение половинного вала. Таким образом, разложенная плоскость давала короля, а сложенная — вала пик.

Раков уверил, что эта карта у него ради забавы для фокусов. «Граф» был, конечно, арестован и доставлен в сыскную полицию. Оставалось выяснить судьбу настоящего Рокетти. Вызвав Ракова на допрос, я сказал ему следующее:

— Вы, Раков, снова попались, т. е. с вами произошло то же, что и в свое время в полку и не раз в столицах. Вы давно зарегистрированный шулер, к тому же еще судились за воровство. Отпираться бесцельно. Вы обязаны будете рассказать, откуда и как раздобыли паспорт графа де ля Рокка, а затем посвятить меня во все подробности вашего позорного ремесла. Расскажите — несколько месяцев тюрьмы; не захотите говорить — и вам грозит высылка за пределы Европейской России.

Раков поколебался и сказал:

— Про паспорт я расскажу вам охотно. Но относительно карт разрешите не распространяться — это моя профессиональная тайна...

— Как угодно, — сухо сказал я.

Раков долго молчал и, наконец, махнув отчаянно рукой, заявил:

— Будь по-вашему, расскажу вам.

И Раков начал свой рассказ.

— Итак, — начал Раков, — сначала о паспорте. Все это очень несложно: принялся я одно время разъезжать в так называемых трен-де-люксах, курсирующих от Петербурга через Варшаву, Вену и Вентимиле до Ниццы; заводил в них знакомства и, пользуясь сном соседа, похищал у него бумажник. Так случилось и с графом де ля Рокка. Познакомился с ним, поужинал вместе в вагоне-ресторане, выпили изрядно. Вернулись в наше купе, граф крепко заснул, и я, завладев его бумажником (в нем находился и паспорт), вылез в Пскове. По этому паспорту я благополучно прожил месяца два и изучил этот документ в совершенстве. Наконец, я попался на одной из своих очередных краж, был судим и отбыл годичное тюремное заключение, причем паспорт у меня, конечно, был отобран. Выйдя из тюрьмы, я разыскал своего знакомого, мелкого служащего в испанском посольстве, каковой за известную мзду согласился похитить из канцелярии посольства новенький бланк. Этот же чиновник заполнил, как полагалось, текст, проставил даты, имя и фамилию, указанные мною, приложил нужные печати, подделал подписи, в точности отвечающие подписям на моем бывшем отобранном паспорте. Таким образом, был создан в моем лице граф Рокетти де ля Рокка. Вы можете проверить эти сведения, так как отобранный у меня тогда паспорт, очевидно, хранится в каком-либо архиве с вещественными доказательствами по моему бывшему делу. (Впоследствии это было проверено, и слова Ракова подтвердились.)

— Теперь о моем искусстве, — сказал Раков и словно преобразился: глаза его заблестели вдохновенным блеском, лицо расплылось в счастливую улыбку, и как-то восторженно, тоном убежденного фанатика он заговорил:

— Карты! Это, изволите видеть, особый волшебный мир! Это широчайшее опытное поле для всевозможнейших переживаний. Если жизнь наша вообще борьба в широком смысле этого слова, то на зеленом поле она принимает конкретные, весьма ощутительные формы... Еще бы! Вчерашний нищий сегодня может стать богачом!

Многие склонны видеть в картах нечто мистическое. Следя за полосами счастья и упорного невезения, они готовы усматривать в этом чуть ли не вмешательство каких-то флюидов, каких-то сверхъестественных сил. Мы на это смотрим несколько иначе и, не полагаясь на астральные силы, всецело доверяем законам физическим и, если хотите, законам своего рода механики. Хороший игрок (Раков, видимо, избегал слова шулер) встречается так же редко, как и хороший, скажем, дегустатор. И в нашем деле имеются ремесленники и артисты. Артист должен обладать не только выдержкой и находчивостью, но и все пять внешних чувств должны быть в нем развиты до совершенства. Не говоря уже об осязании, но зрение и слух, равно как обоняние и вкус, должны работать у него без отказа.

— Ну, что касается обоняния и вкуса, это, надо полагать, с вашей стороны цветок красноречия!

— Вовсе нет! Из дальнейшего рассказа вы в этом убедитесь. Итак, от общих мест перехожу к практической сути. Маэстро нашего дела дня за два до крупной игры должен беречь пальцы и не снимать по возможности перчаток. Перед самой игрой, вымыв тщательно руки, полезно кончики пальцев опустить на мгновение в спирт с целью уничтожения жировых частиц с поверхности кожи. Этими приемами вы достигаете максимальной чувствительности. Теперь о самих приемах игры. Их много: от грубого передергиванья трилистников на волжских пароходах и до моих утонченных приемов включительно. Не буду говорить вам о крапах: ногтевом, шершавом и проч.

Тут я его перебил:

— Не считайте всех знатоками вашего искусства, а потому расскажите и о крапах.

— Извольте! Это чрезвычайно просто: во время игры на нужных вам картах вы незаметно проводите ногтем, конечно, на лицевой стороне, вследствие чего на рубашке образуется бугорок, легко ощущаемый. Таким образом, по этому бугорку при вытягивании карты из машинки вы заранее ее определяете. Шершавый крап, в сущности, тот же ногтевой, с той лишь разницей, что вы ногтем делаете отметки по острому ребру карты. Образуется своего рода пилочка, легко ощущаемая при тасовании. Наконец, широко распространен следующий прием, особенно пригодный для железки: вы дома заранее приготавливаете дюжину колод, делаете это так: с крайней осторожностью отклеиваете бандероль на запечатанной колоде, бритвой делаете надрез на желтой бумаге, бережно извлекаете оттуда карты, подтасовываете их для накладки, не забывая

оставить туза бубен снизу, и затем снова заделываете пакет. Входите в контакт с дежурным клубным лакеем и передаете ему подготовленные колоды. Садитесь играть, проигрываете некоторое время и, раздосадованные проигрышем, вы пользуетесь правом всякого игрока требовать новые карты. Ваш сообщник приносит вам на подносе переданную ему дюжину, и, бросив их на стол, вы принимаетесь их распечатывать; играющие, разумеется, вам помогают. Предоставив вашим партнерам на тасовку колод 10, вы пару из них тасуете лично, вернее, делаете вид, что тасуете, вы подсовываете ваши колоды в уже собранные карты и, наложив руку именно на них, пододвигаете все карты для снятия и подрезки, после чего карты укладываются в машинку, и вы замечаете, куда приблизительно попали ваши две колоды: в начало, в середину или в конец машинки. Игра начинается! Проходит ударов 10—15, карты в машинке быстро убавляются, и, наконец, дело доходит до ваших двух колод.

Тут-то и начинается главное.

Разумеется, редко подойдет так, что ваш черед метать совпадет с подошедшей накладкой, чаще она достается другому, и вы видите, как мечущий игрок дает свободно две-три карты, на четвертой удивится, поколебается, с восхищением убьет пятаку, много шестую, после чего судорожно оттолкнет машинку (подальше, дескать, от соблазна). Банк продается дальше. Иногда, если вы не на очереди, найдется до вас любитель сильных ощущений и купит наросший банк, но такой перекупщик, убив к собственному изумлению еще одну карту, спешит отделаться от метки, и, наконец, банк по покупке достается вам. Вы, отчаянно тряхнув головой и крикнув, убиваете на удивление всем еще 2—3 очень крупных карты, после чего наступает реакция. Игроки, терроризированные невероятной талией, резко понижают свои ставки, а затем и перестают понтировать вовсе. Вы возмущенно отшвыриваете машинку; банка, конечно, никто не покупает, и начинается очередная метка, обыкновенно чуть ли не с рубля. Хорошо в таких случаях вмешаться в дело в качестве понтирующего и, умышленно остановившись на жире или очке, перешибить этим самым оставшиеся комбинации в накладке (дабы не возбудить подозрений в невероятно длинной талье).

А вот вам способ, за который я от моих немногих коллег получил прозвище «клубного короля». До него я додумался лично. Вы с той же осторожностью вынимаете дома карты из оберток, отбираете в каждой колоде тузы, двойки и тройки и смачиваете их слегка особым, мною составленным химическим раствором. Раствор этот не видоизменяет внешне карту, остается та же свежесть и блеск. Такая карта, будучи высушенной, не имеет запаха, но стоит коснуться ее влажным пальцем и поднести палец к носу, как вы ясно ощутите нежный аромат фиалки, притом до того приторный, что даже во рту сделается сладко (это благодаря хлороформу, отчасти входящему в мой состав). Клубный лакей также

по вашему требованию приносит эти врученные ему заранее карты, их распечатывают, тасуют, подрезывают, укладывают в машинку, и игра начинается.

Теперь представьте: вы мечете банк в железку, в банке у вас накопился изрядный куш. Вы решаетесь дать последнюю карту, начинаете метать: одну ему, одну себе, одну ему, одну себе, смотрите свои карты — предположим, у вас пять или шесть очков. Вы предлагаете купить третью карту, а партнер вам говорит спокойно: «не надо». Положение для вас создается пиковое. Вы мгновенно соображаете — ведь 9 или 8 он бы открыл, к жиру, к очку, к 2-м, 3-м, 4-м и к 5-ти он бы купил, следовательно, у него 6 или 7. Итак, у вас 50 шансов за проигрыш, 50 шансов быть *en carte* и ни одного шанса на выигрыш. Покупать к шести, разумеется, очень трудно, и тут начинается комедия: приложив палец к губе и подумав, вы нерешительно тянетесь к машинке, но не вытаскиваете из нее карту, а лишь прижимаете палец к ней, затем, словно раздумав, отдергиваете руку и, снова глядя в свои карты, будто еще колеблясь, подносите палец к верхней губе. Если не запахло фиалкой, то и не покупайте — бесцельно, авось на 6 будете *en carte*, если же во рту стало сладко и нежный аромат поразил ваше обоняние, тяните смело — выигрыш почти обеспечен, так как при двойке и тройке у вас образуется 8 или 9, а при тузе 7. Конечно, этот способ не так действителен, как первый, так как всего лишь 12 карт из каждой колоды вами отмечены, но зато он имеет и свои преимущества: вы не можете быть пойманным.

Затем Раков мне дал весьма ценное указание. Оказалось, что императорская карточная фабрика выпустила по недосмотру за последний год несколько десятков тысяч карт, в которых синяя рубашка на картах была неодинакова во всей колоде, а именно: рубашка эта представляла собой, скажем, 16 (точное число не помню) параллельных рядов, как бы ромбиков (нечто вроде сетки), но таких 16 полных рядов имели лишь фигуры и десятки; рубашка же на девятках и до двоек включительно имела всего 15 рядов, 16-й же дополнялся двумя полурядами срезанных ромбов, расположенных один полуряд наверху, другой внизу карты. Конечно, столь приметный крап был шулерами использован и, по словам Ракова, он особенно годился для игры в польский банк, где понтирующий, как известно, получив три карты и идя втемную, выигрывает вдвое против названной суммы.

— А для чего у вас эта двойная карта? — спросил я Ракова.

— Ну, это так, игрушка, разве по пьяному делу в домашней игре. Я иногда пускаю ее в ход в двадцать одно. Ведь все-таки как-никак, а знаете ли лестно к 17 купить короля, а то и к 19 валета.

Итак, господин Кошко, вы видите, что зрение, слух (условные сигналы стуком), об осязании и говорить не приходится, но даже обоняние и вкус — все работает в нашем тонком деле!

Раков не налгал, говоря о промахе карточной фабрики. Я проверил его заявление, приказав в нескольких рижских лавках достать по игре карт, после чего и известил Петербург.

Я несколько колебался печатать это своего рода руководство для шулеров. Чем черт не шутит, еще соблазнишь, чего доброго, нестойкую душу. Но затем соображения иного порядка взяли верх: ведь доводя до широкого сведения о приемах, практикуемых клубными акулами, я этим самым предостерегу, быть может, многих людей от ловких сетей Раковых и им подобных.

«МЕЧТА ЛЮБВИ»

Как-то Московская сыскная полиция была оповещена о крупной краже, происшедшей в доме одного из нефтяных королей, проживавших на Леонтьевском переулке, в собственном особняке. У г-на А., вернее у его жены, исчезли драгоценности на сумму свыше 100 тысяч рублей. В числе их пропала нитка жемчуга, что особенно огорчало ее владелицу. Кража произошла при совершенно невероятных условиях. Говоря о них, я вынужден дать кое-какие топографические описания. Особняк, занимаемый А., был высоким, двухэтажным зданием, внизу помещались приемные комнаты, в верхнем этаже, так сказать, интимные покои хозяев. Будуар, спальня и ванная комната г-жи А. окнами выходили на узенький асфальтовый двор, отделявший этот дом от соседнего высокого 4-этажного. На дворик выходил и подъезд особняка. В глубине двора помещался небольшой флигелек — дворницкая. Перед дворовым фасадом росли 2 высокие тенистые липы, ветвями своими несколько прикрывавшие открытый балкон, прилежавший к будуару. Ванная комната и спальня были комнатами непроходными и имели лишь единственный выход в будуар; из последнего же имелась еще дверь в небольшую гостиную, окнами выходящую на Леонтьевский переулок. Направо от гостиной помещалась небольшая столовая, отделенная от нее аркой. Таким образом, сидя в столовой, у сидящих в поле зрения всегда находилась дверь будуара, а следовательно, никто не мог бы проникнуть в него из гостиной незамеченным.

В день исчезновения драгоценностей г-жа А., приняв ванну и накинув пеньюар, сидела у себя в будуаре, перебирала какие-то письма и мысленно распределяла свой день. В это утро, как это с ней часто случалось, она подошла к стенному шкафику, вынула из шкатулочки любимый жемчуг, полюбовалась им и положила его на туалетный столик вместе с несколькими кольцами, предполагая их надеть при выезде в город. Ровно в час лакей доложил о завтраке, и г-жа А., пройдя через гостиную в столовую, уселась с мужем за завтрак. Муж ее сегодня торопился, и позавтракали они быстро. За столом, как всегда, подавали им двое лакеев, горничная дожидалась внизу звонка барыни, повар и поваренок были на кухне. Таким образом, с уверенностью супруги А. утверждали, что решительно никто в час завтрака не проходил в будуар. Между

тем, вернувшись к себе, г-жа А. с изумлением обнаружила исчезновение и жемчуга, и колец. Это показалось им чуть ли не волшебством!

А. позвал к себе дворника, расспросил, но последний заявил, что все это время подметал двор и никого, однако, выходящим из подъезда и черного хода не видел.

Я это дело поручил моему чиновнику Ксавельеву, каковой рьяно и принялся за работу.

Он по несколько раз допросил всю прислугу, внимательно осмотрел все помещение, простукал чуть ли не каждый вершок крыши и, тщетно пробившись месяца два, с тоскою заявил мне:

— Нет, г. начальник, не в силах моих распутать это чертовое дело. Не то что подозрений я ни на кого не имею, но мне не удастся обнаружить и самомалейшего следа.

Выбравив его за никчемность, я взял это дело в свои руки. Кража представлялась мне действительно загадочной и незаурядной. В ней не имелось определенного конца, за который можно было бы ухватиться, а следовательно, приходилось уповать на логический ход мышления. В этой краже имелся один лишь более или менее уязвимый пункт: так как чудес не бывает, факт же исчезновения драгоценностей несомненен, то, следовательно, кто-нибудь да их похитил. Подозрений на прислугу не имеется, ввиду удостоверения хозяев о том, что никто не проходил во время завтрака в будуар, следовательно, вор проник извне и, похитив драгоценности, тотчас же скрылся, так как уже часа через три после пропажи весь дом был моими людьми безрезультатно обыскан. Как при таких условиях мог дворник, подметающий двор, не заметить постороннего, выходящего или вылезавшего из дома человека? На это обстоятельство я и обратил свое внимание. Я вызвал к себе Никиту Сушкина (так звали дворника), допросил его лично. Этот допрос утвердил меня в убеждении правильности взятого пути. Сушкин давал довольно сбивчивые показания: то утверждал, что с часа до двух безотлучно мел двор, то заявлял, что выходил и за ворота, а то будто бы и бегал в дворницкую за новой метлой.

— Ты что-то, брат, врешь и путаешь, — сказал я ему, — раз вор похитил свою добычу в час, а ты в это время мел во дворе, ты не мог его не заметить, а если говоришь, что ничего не видел, то, стало быть, ты с вором заодно.

— Никак нет, ваше высокородие, я как перед Истинным не виноват и ничего по этому делу не знаю.

Однако я счел нужным арестовать Сушкина. Просидел он у меня в полицейской камере дней пять, после чего пожелал дать новое показание.

— Ну что, Сушкин, надумал? — встретил я его.

— Так точно, ваше высокородие, надумал. Чего мне ее жалеть, проклятую? Все одно — как сквозь землю провалилась. Может быть, вы ее и разыщете, а я ей, непутевой, посылочку в тюрьму соберу, да хошь через решетку, а повидаясь.

— Что ты говоришь, говори толком! Я не пойму!

— Да известное дело, расскажу все как было. Не век же сидеть мне зря под замком.

— Говори!

Никита почесал в затылке, потоптался на месте и начал:

— Недель, пожалуй, за пять до кражи, стоял я у ворот, опершись на метлу, да по сторонам поглядывал. Вижу, идет эдакая бабочка московская, высокая, румяная, зубы сахарные, глаза с поволокой, одним словом, красавица; в платочке и по всем видимостям из простого звания. Я загляделся. «Откелева, — думаю, — эдакая краля плывет?» А она поравнялась со мной, улыбнулась во всю ширь да и спрашивает:

— Скажи, милый человек, как мне тут на Медвежий переулочек пройтись?

Ну я, конечно, стал растолковывать — так, мол, и так, спросил, где, мол, живете, какой губернии будете, обожаете ли кинематограф, ну там и о разном поговорили. И она полюбопытствовала, как, дескать, прозываюсь, давно ли на месте служу, и вообще о всем прочем. Очень она мне сразу пондравилась. Денька через три гляжу, опять плывет. Этот раз встретились как знакомые, поздоровкались за ручку. Дня через два опять была, потом опять и, что скрывать, скажу по совести, полюбились она мне — во как! (Тут Никита ударил себя кулаком в грудь.) Однако должен сказать, что препятствие вышло: оказалась она замужней, муж ейный служил половым в трактире Тестова. Сказала, что мужа не любит, что он старый, ворчит, а иногда и с... с... за волосы треплет. Много раз звал я ее зайти в дворницкую, да не тут-то было! Я, говорит, женщина честная, к чужим мужчинам не шляюсь, извините, с меня взятки гладки. Вижу, дело сурьезное, иначе, как без брака, ничего не выйдет, ну и стал я урезонивать: поговори, дескать, добром с мужем, может, и уломаешь, мы ему новую тройку сошьем и рублев пятьдесят отвалим, пушай дает развод, а я обзакониться не прочь.

— Ладно, — говорит Настя, — поговорю, а с ответом жди меня в четверг (это, стало быть, было за три дня до кражи).

Ну, конечно, ваше высокородие, не захотел я ударить лицом в грязь, опять же в первый раз буду принимать гостью дорогую. Накупил я леденцов, пряников, отмочил 2 селедки, раздул самовар и вышел к воротам молодцом: шапка набекрень, ус подкручен, в лакированных сапогах, в новых галошах, с серебряной цепью на грудях. Ждал, ждал, а ее все нет. Что за притча такая! Измучился весь. А она так и не пожаловала. Всю ночь не спал, а наутро мне письмецо: так, мол, и так, заочно вам кланяюсь и сообщаю, что вчера притить не могла, муж спьяна побил, а в воскресенье, мол, непременно буду полчаса первого. Мой на дежурство в двенадцать отправляется к Тестову, заменяет товарища.

— Ладно, — думаю, — буду ждать. Селедки, конечно, сожрал сам, а конфеты и пряники оставил до воскресенья. Действительно,

в воскресенье не надула, пришла ровнехонько полчасу первого, и просидели мы с ней за самоварчиком до двух часов, да и дело порешили. Говорит: муж согласен, а только окромя тройки, сто целковых требует. Ну, куда ни шло для такого дела. Растянусь, а недостающую полсотню из-под земли раздобуду. Только что Настя ушла, бежит горничная — барин-де требует. Стали они меня расспрашивать, как и что видел? Ну, как скажешь им правду? С места, пожалуй, за недосмотр выгонит, а тут на носу свадьба. А только, между прочим, с того самого дня Настенька моя как в воду канула, носу не покажет, письмеца не пришлет, изумился я весь, истерзался. И к Тестову бегал, да без толку. Явите Божескую милость, хошь она, может, и стерва, и воровка, и глаза мне отводила, а разыщите ее, пушай сидит в тюрьме, вшей кормит, хошь она и не стоящая моих чувств, все-таки иной раз в воскресный день я ей посылочку справлю да на личико ейное скрозь решетку погляжу.

— Ну, братец, на это не надейся. Пропивает она, поди, со своим любовником краденое да посмеивается над тобой.

— Неужто, ваше высокородие?

— Скажи, сообщала она тебе свой адрес?

— Да, действительно, говорила, а только, можно сказать, наврала. Сбегал я на Никитинскую, дому номер 37, спрашиваю, у вас-де проживает половой от Тестова Николай, а мне говорят, что в этом доме живут господа разные и половых никогда не проживало.

— Ты сберег ее письмо?

— Как же, схоронил его в сундучке промеж чистых рубаш.

— Ты сейчас отправишься к себе с моим агентом и принесешь мне его, а там увидим.

Конечно, больших результатов от письма я не ждал, разве по штемпелю удастся лишь установить часть города, откуда было оно отправлено. Но мой опыт говорил мне, что часто секрет удачного розыска заключается в пренебрежении всякими мелочами. В данном случае это положение блестяще оправдалось. Сушкин принес мне письмо, я взглянул на конверт, надписанный корявым, явно деланным, почерком. Штемпель был Мясищской части. Развернув письмо, я был приятно удивлен: на нижнем краю бумаги выделялся отчетливый отпечаток пальца, очевидно, писавшего. Судьба мне посылала дактилоскопический оттиск, и я не преминул им воспользоваться.

— Ну, Сушкин, вижу, ты мне правду сказал. Иди себе с Богом, а если понадобится как свидетель — вызову.

Не прошло и часу, как чиновник, заведующий дактилоскопическим кабинетом, доложил мне, что аналогичный оттиск имеется у нас в архиве и принадлежит известнейшему шулеру и вору — Ракову. С этим ловким мошенником я уже сталкивался в Риге, где он фигурировал под ложным именем графа Рокетти де ля Рокка. Об его шулерских проделках я писал уже в одном из предыдущих своих очерков («Король шулеров»).

Теперь предстояла нелегкая задача разыскать Ракова и им награбленное. Московские ювелирные магазины давным-давно были оповещены о пропавшем жемчуге и кольцах. Им были даны точные рисунки пропавших вещей, но они молчали, из чего следовало, что Раков либо бежал из Москвы, либо, оставаясь в ней, временно отсрочивает ликвидацию. Для очистки совести я тотчас же навел справки и в адресном столе, и во всех полицейских участках, но, как и следовало ожидать, Раков не был прописан и не значился в числе выбывших. Этот милостивый государь если и пребывал в настоящее время в Москве, то проживал, очевидно, в ней снова под чужим именем.

Пришлось выработать следующий план: мой способный агент Швабо, переведенный мною в Москву из Риги, принимавший в свое время деятельное участие в аресте графа де ля Рокка и хорошо знавший его в лицо, был поставлен во главе этого розыска и бесменно дежурил в сыскальной полиции и у своего домашнего телефона. Ему в помощь я дал 20 агентов, снабженных фотографиями Ракова. Эти 20 человек рассыпались по всему городу по двое и принялись биться в железку и прочие азартные игры по всем клубам и более или менее известным карточным притонам Москвы. Первая неделя прошла безуспешно. Швабо всего лишь раз вызывался, но и то не признал в заподозренном Ракова. На вторую неделю мошенник попался. Об его довольно необычном аресте Швабо мне рассказывал так:

— Звонит мне наш Ефимов из купеческого клуба. Раков, мол, здесь, и Ильин (другой агент) играет с ним за одним столом. Взяв трех товарищей, двоих с собой в автомобиль, третий поехал на велосипеде, — мы помчались в клуб. Сомнений не было — за столом сидел Раков. Я не хотел его немедленно арестовывать, так как он мог не указать своего настоящего адреса, где, быть может, и хранятся украденные драгоценности. Пришлось ждать. В третьем часу ночи выигравший Раков встал из-за стола, не торопясь прошел в буфет, вкусно поужинал, после чего вышел из клуба. Мы, разумеется, следом. Он нанял автомобиль, и мы двинулись. Наша машина держалась в саженях 50-ти от его. Между нами непринужденно катил велосипедист. Проехав изрядное расстояние, мы добрались до Чистых прудов. Раков свернул в переулок, пересек небольшую площадку и грузно завернул в Лобковский переулок. Мы остановили наш мотор на площадке, агент же на велосипеде следовал не отставая, видел, как Раков остановился у второго номера дома, рассчитался с шофером и, пропущенный сонным швейцаром, вошел в подъезд. Оставив свой автомобиль на площадке с агентом-шофером, я с двумя сослуживцами присоединился к нашему велосипедисту и позвонил к швейцару.

— Я чиновник сыскальной полиции, — сказал я ему, — кто этот господин, которого ты только что впускал, и в какой квартире он живет?

— Они здесь не живут, а только очень часто бывают, в третьем этаже, у актеры.

— Фамилию его знаешь?

— Так точно — это князь Чекаридзе.

— Вот что! Помни — ни слова о том, что я тебя расспрашивал, не то ответишь по закону.

— Да нам что! Мы ничего!

— Ну, то-то же, смотри! — и я погрозил ему пальцем.

Так как было важно выяснить точное местожительство Ракова, то я решил, господин начальник, не покидать дежурства в переулке. Дождаться пришлось долго. Лишь часов в 11 утра Раков вышел из подъезда в сопровождении какой-то дамы. Оставив двух своих людей у подъезда для производства обыска и допроса у актрисы при ее возвращении (так как Раков, очевидно, вышел с ней), я вплотную последовал за удаляющейся парочкой.

Женщина говорила:

— Я не понимаю, Жорж, куда ты так вечно торопишься, позавтракали бы вместе, а там бы и отправился на свой Леонтьевский, так сказать, в домашний очаг, в объятия своей Дульцинеи... И ненавижу же я ее, она подлая, подлая, подлая!

— Иди ты к черту! — отвечал Раков, — надоела ты мне со своей ревностью.

— Ах так, хорошо! — взвизгнула женщина и круто повернула обратно. Раков злобно плюнул и зашагал дальше. Выйдя на площадку и завидя мой автомобиль, он спросил у шофера: «Свободен?»

В ту же минуту я задал шоферу тот же вопрос. Раков запротестовал:

— Позвольте, я, кажется, первый подошел, — и затем, обратясь к шоферу: — Леонтьевский переулок, 14.

Я взволнованно заговорил:

— Господи! Какое совпадение! Мне тоже на Леонтьевский, 28, нужно. Конечно, вы подошли первым, но, ради Бога, войдите в мое положение, — мне только что звонили по телефону, у меня умирает жена, каждая минута дорога, разрешите присоединиться к вам, я охотно заплачу не только половину, но и за всю поездку. Будьте великодушны, не откажите!

— Сделайте одолжение, разумеется, такой случай... Какие тут могут быть разговоры...

И я влез в автомобиль следом за Раковым.

— Три целковых на чай, — сказал я шоферу. — Гоните вовсю. — И, подмигнув ему, шепнул: — В сыскную!

Мы понеслись с головокружительной быстротой. За нами пулей летел наш велосипедист, впрочем, отставший, кувырнувшись на какой-то собаке у Мясницкой. Мы пролетели Мясницкую, перерезали Лубянскую площадь, выскочили на Тверскую и, не убавляя хода, понеслись по ней к Страстному бульвару. Не успел мой попутчик опомниться, как мы завернули в Малый Гнездиковский и

затормозили перед сыскной. По данному мной свистку выбежали наши люди и окружили автомобиль.

— Вот мы и дома, граф Рокетти де ля Рокка, князь Чекаридзе, шулер Раков, — сказал я ему. — Пожалуйста!

На том же автомобиле, с двумя людьми, я проехал на Леонтьевский, 14. Этот дом оказался соседним с особняком А., окнами своими выходящий на двор последнего. Князь Чекаридзе оказался прописанным и живущим в квартире третьего этажа. Мы позвонили, и нам открыла дверь красивая молодая женщина (очевидно, «Настя»).

— Что вам угодно? — изумилась она.

Я отвечал:

— Мы приехали к вам сватами от Никиты Сушкина.

От этого ответа с ней чуть не сделался обморок.

— Довольно балагана, — сказал я строго, — не заставляйте нас зря переворачивать всю квартиру. Где жемчуг и кольца г-жи А.?

Она не сдавалась. Тщательный обыск ничего не дал, пришлось вызвать агентшу, каковая заставила раздеться «Настю» и в корсете последней нашла украденные драгоценности. «Настя», оказавшаяся Екатериной Петровной (кстати, довольно видной актрисой), объяснила мне, что вещи подарены ей ее другом, а откуда они у него, она не знает.

Поблагодарив Швабо, я вызвал на допрос «Настю».

Она пробовала было отпираться, но, уличенная Никитой, быстро сдалась. Встреча Никиты с «Настей» была не из веселых.

— Она? — спросил я его.

— Они-то они, — отвечал изумленный Никита, — а только понять не могу, что за чудо-юдо, эвоно, как дело обернулось, — и, вздохнув, добавил: — Стало быть, судьба моя уже такая...

Он понуро ушел от меня.

— Запираться, Раков, бессмысленно, — сказал я мошеннику, — откровенное признание не избавит вас от наказания, но, быть может, смягчит его несколько. Говорите, как было дело?

И он рассказал:

— С год я работал по нефтяному делу у А. Бывал по делам у него в доме, изучил более или менее распорядок жизни и т. д. Однако А. меня от службы уволил. Заметив, что его жена часто носит дорогой жемчуг и кольца, мне пришла мысль похитить их. Дело было опасное и требовало тонкой подготовки. Месяца за три до похищения я занял квартиру третьего этажа в соседнем доме. Эта квартира имела то огромное преимущество, что окнами своими выходила как раз на дворовый фасад особняка. Весь верхний фасад последнего был как на ладони. Более двух месяцев я терпеливо проводил долгие часы у окна, наблюдая за всем происходившим в будуаре и спальне жены А. Не перечисляю вам ненужных пикантных подробностей, виденных мною, скажу лишь, что я точно установил место хранения драгоценностей, аккуратный час завтрака

и неизменные ежедневные отсутствия хозяйки в будуаре от часу до двух дня. Имелось серьезное препятствие в лице дворника, торчащего обычно в эти часы на дворе, но я устранил его, поручив эту задачу моей подруге, каковая и выполнила ее блестяще. Я боялся еще быть узнанным жильцами из окон нашего дома, вот почему в день кражи я с 12 часов дня был наготове, в рыжих усах, бороде и парике. Когда Катя увлекла донжуана в дворецкую, я дождался доклада лакея и выхода г-жи А. к завтраку, вышел из дому черным ходом, шмыгнул на двор А., влез на дерево, перемахнул на балкон, оттуда через открытую дверь в будуар, схватил с туалетного столика жемчуг и кольца и тем же ходом обратно. Я из осторожности не вернулся сразу домой, а, промчавшись в какую-то боковую улицу, забежал на чужой двор, где в уборной сорвал с себя парик, бороду, усы, переменял головной убор и не принужденно вернулся к себе с противоположного конца Леонтьевского.

Суд приговорил Ракова к трем, а его сообщницу к двум годам арестантских рот. Что касается Никиты, то мне говорили позже, что, потрясенный суровой действительностью и надолго отравленный миражом несбывшегося счастья, он запил горькую.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	3

КНИГА ПЕРВАЯ

Предисловие	7
РОЗОВЫЙ БРИЛЛИАНТ	9
ВАСЬКА СМЫСЛОВ	17
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ	20
ТЯЖЕЛАЯ КОМАНДИРОВКА	30
ДЕЛО ГИЛЕВИЧА	32
ЖЕРТВЫ ПИНКЕРТОНА	40
САШКА СЕМИНАРИСТ	45
ПСИХОПАТКА	55
НЕСКОЛЬКО ПОРТРЕТОВ	58
РАЗИНЯ	59
НАХАЛ	61
ГУЛЯКА	62
НЕДОСТОЙНЫЙ ИЕРЕИ	64
КРАЖА В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ	68
УБИЙСТВО В ИПАТЬЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ	75
МАРИЕНБУРГСКИЕ ПОДЖОГИ	80
ДАКТИЛОСКОПИЯ	84
«НАЧАЛЬНИК ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ»	96
КРАЖА У ГРАФА МЕЛЛИНА	103
МИЛЛИОН НА МОНАХА	112
300 000 РУБЛЕЙ ПО ПОДЛОЖНОЙ АССИГНОВКЕ	118
РУССКАЯ ЗАБЛУДШАЯ ДУША	126
КРАЖА В ХАРЬКОВСКОМ БАНКЕ	134

КНИГА ВТОРАЯ

Предисловие	151
УБИЙСТВО ТИМЕ	153
ШАНТАЖ	163
РИЖСКИЕ АЛХИМИКИ	171
НЕВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ	180
ГНУСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ	187
РЫЖИЙ ГРОВОЩИК	209
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА	218
СОВРЕМЕННЫЙ ХЛЕСТАКОВ	226
КАК БЫЛО НАЙДЕНО ТЕЛО РАСПУТИНА	232
НЕЧТО НОВОГОДНЕЕ	238
СВЕТЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ	245
СЫСКНОЙ АППАРАТ	250
«СПИРИТЫ»	258
ДЕБОШИРЫ	263
БРАК ПО ПУБЛИКАЦИИ	267

КНИГА ТРЕТЬЯ

УБИЙСТВО БУТУРЛИНА	277
КРАЖА У ГОРДОНА	281
ПОДДЕЛКА СТОРУБЛЕВОК	289
АФЕРИСТ	295
НЕУДАЧНАЯ ВЫЛАЗКА	301
ЖЕСТОКИЕ УБИЙЦЫ	309
ЖЕРТВА РАДИЯ	315
ИВАН ЕГОРОВИЧ	319
ТРЕФ	322
ЧЕСТНЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК	324
ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ПРОСИТЕЛЬНИЦА	326
ИЗ ОБЛАСТИ ЧУДЕСНОГО	329
«ШАЛЯПИН»	332
В ПОГОНЕ ЗА ГОЛУБОЙ КРОВЬЮ	337
ТЯЖЕЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ	352
НЕГОДЯЙ	356
ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС	361
ПРОШЛОЕ ЧЕКИСТА	368
МОЙ ДЕБЮТ	375
КОРОЛЬ ШУЛЕРОВ	383
«МЕЧТА ЛЮБВИ»	391

Аркадий Францевич
Кошко

СРЕДИ УБИЙЦ И ГРАБИТЕЛЕЙ

Редактор *В. Третьякова*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *Н. Привезенцева*
Корректор *В. Антонова*

ЛР № 030129 от 23.10.96 г.
Подписано в печать 03.06.97 г.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Уч.-изд. л. 25,81. Цена 22 300 р.
Цена для членов клуба 20 300 р.

Издательский центр «ТЕРРА».
113184, Москва, Озерковская наб.,
18/1, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ТОО «Макет».
141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, 21.

ТАЙНЫ

Кошко Аркадий Францевич (1867–1928) — «самый главный сыщик России» — не сразу пришел в криминалистику. Закончив военное училище и прослужив некоторое время в Симбирске, он ушел в отставку. Затем он поступает в полицию рядовым инспектором. Однако его исключительные способности на поприще уголовного сыска позволили ему вскоре возглавить Московскую сыскную полицию.

В 1913 г. на Международном съезде криминалистов деятельность генерала Кошко была признана лучшей в мире.

В сборник включены очерки, дающие представление как об изобретательности представителей уголовного мира, так и о приемах, к которым приходилось прибегать начальнику сыскной полиции для борьбы с преступностью.

ИСТОРИИ

ISBN 5-300-01187-8



9 785300 011871